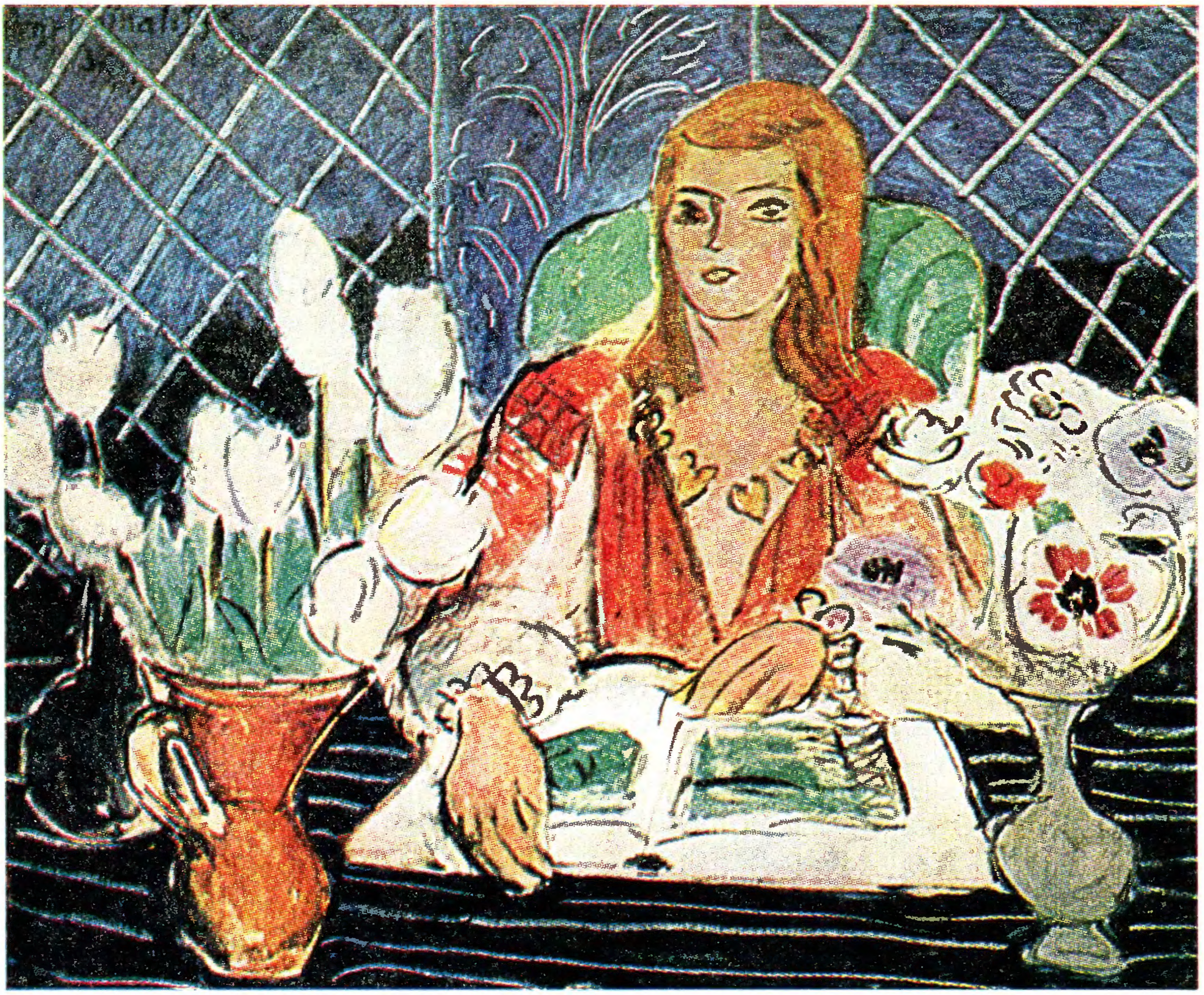
1.1977

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Аннелиз, тюльпаны и анемоны.

На цветных иллюстрациях номера работы французского художника Анри Матисса.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ», МОСКВА

1 1977 ЯНВАРЬ

Содержание

Молодые поэты Болгарии

ИВАН ЦАНЕВ. ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ. РАДА АЛЕКСАНДРОВА. КАЛИН ДОНКОВ *(Переводы Евг. Винокурова и Лорины Дымовой. Вступление Андрея Германова)* 3

МАРГАРЕТА НОЙМАН — Рассказы *(Перевод с немецкого Э. Львовой)* 12

РОБЕР АНДРЕ — Взгляд египтянки *(Повесть. Перевод с французского Мориса Ваксмахера)* 38

СЮГОРО ЯМАМОТО — Три новеллы *(Перевод с японского и вступление Б. Раскина)* 73

ЗИГФРИД ЛЕНЦ — Запах мирабели *(Рассказы. Перевод с немецкого Нины Федоровой)* 102

Литературное наследие

ЛУИС ДЕ ГОНГОРА И АРГОТЕ—Стихи *(Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко)* 136

Ф. СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД — Последний магнат *(Роман. Перевод с английского О. Сороки)* 145

Критика

ТОНЧО ЖЕЧЕВ — Новые проблемы — новые романы *(Перевод с болгарского М. Тарасовой)* 181

Обсуждая напечатанное

Л. ДЕЛЮСИН — Дискуссия о культурах Востока и Запада в Китае 20-х годов 185

Интервью

ГАБОР ГАРАИ — «Мой писательский кабинет». Беседа с Иштваном Шимоном *(Перевод с венгерского Т. Воронкиной)* 192

Культура и современность

Заметки на полях

И. Рубанова — Кино без литературы? 201

Советская литература за рубежом

А. Кондратович — Польский критик о советском писателе 205

Публицистика

ДЖЕБ СТЮАРТ МАГРУДЕР — Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту *(Фрагменты книги. Перевод с английского В. Воронина)* 210
С. КОНДРАШОВ — В зеркале Уотергейта 240

Антирубрика

Испанская классическая и анонимная эпиграмма *(Перевод с испанского Павла Грушко)* 248

УИЛЬЯМ САРОЯН — Вы когда-нибудь влюблялись в крошку? *(Рассказ. Перевод с английского Марины Аксеновой)* 252
АРТУР МАРШАЛЛ — От первого лица *(Перевод с английского Андрея Дубровского)* 255

Наши гости

Н. Попова — Розмари Киффер (Люксембург) 260

Среди книг

Издано в СССР

«Чтобы писать для детей, надо быть поэтом...» Джеймс Олдридж о своей книге. Никита Разговоров — Кто же побеждает? ◆ Р. Доронина — С верой в человека 262

Издано за рубежом

Ц. Кин — Современная сказка. ◆ С. Прожогина — Лабиринт смерти. или «Идеальная топография для типичной агрессии». ◆ А. Мулярчик — В начале века 265

Из нашей почты 272

Из месяца в месяц 275

Авторы этого номера 285

На обложке: картина АНРИ МАТИССА (Франция) «Черный стол. Антуанетта в мавританском костюме».

© «Иностранная литература», 1977.

Молодые поэты Болгарии

Последние двадцать лет были очень плодотворными для болгарской поэзии. Именно в это время смогли полностью проявить себя революционные и пролетарские поэты тридцатых годов. Активизировались, пережили период возрождения и долгое время молчавшие поэты. Так, например, Дора Габе именно в преклонном возрасте создала свои шедевры.

В полную силу проявило себя и поколение, которое начинало свой творческий путь непосредственно перед или во время второй мировой войны. Для многих из этих поэтов борьба против фашизма была каждодневным делом, она оставила неизгладимый след в их жизни, и до сих пор ее отблеск наполняет силой и социальным содержанием их поэзию.

Реакцией на некоторую сухость, схематизм литературы начала пятидесятых годов было и творчество «апрельского поколения». Апрельским его стали называть после Апрельского пленума ЦК БКП 1956 года. Это группа, состоящая более чем из двадцати поэтов, выросших в новых, послевоенных условиях, с очень похожими биографиями мирного времени: среднее образование, университет, год-два работы в провинции, литературный труд. Для них война — далекое детское воспоминание. Появились эти поэты на уже занятой территории и были вынуждены поначалу заниматься освоением этой территории — освоением достигнутого. Поэтому возмужали они сравнительно поздно, и тем не менее каждый поэт имеет свое резко очерченное творческое лицо. Нельзя спутать стихи Пеньо Пенева и Любомира Левчева, Слава Хр. Караславова и Владимира Башева, Петра Караангова и Дамяна П. Дамянова, Пырвана Стефанова и Петра Алипиева, Ивана Николова и Марко Ганчева, Димитра Стефанова, Евтима Евтимова и Анастаса Стоянова. Это поколение сейчас в расцвете сил, тематический диапазон его поэзии широк, а поиски новых форм — естественное творческое состояние.

А последние несколько лет внимание нашей литературной общественности и критики привлекают произведения более молодого поэтического поколения, к которому принадлежат и четверо авторов, представляемых «Иностранной литературой». Эти поэты пытаются как можно глубже проникнуть в духовный мир современника. Их поэзия как будто менее драматична, она внешне более сдержанна, но сила ее в простоте, точности детали, строгости выражения.

Иван Цанев, родившийся в 1941 году, автор двух поэтических книг для взрослых (он пишет также стихи для детей) — поэт с наиболее четко очерченным профилем. Цанев — мастер предметного рисунка с тонким и нежным психологическим подтекстом, с ненавязчивым национальным чувством. Стихи его излучают тихий свет, будничную праздничность, покоряют своей завершенностью — все в этой поэзии размеренно, точно, сдержанно, соответствует болгарскому национальному характеру. «Говори меньше...» — произносит поэт, и эти слова звучат афористично, превращаются в нарицательные. Он до такой степени требователен к себе, что. когда его первая книга «Неделя» уже находилась в типографии, он забрал ее оттуда и снова долго работал над ней. Зато потом она была встречена как событие. Так же встретили и его вторую книгу — «Воскресное землетрясение».

Калин Донков тоже родился в 1941 году и тоже является автором двух книг стихов. И он любит точные детали, но его привлекает прежде всего психологическое состояние, тонкие движения души. Он предпочитает размеренный классический стих, но при этом он любит неожиданную метафору, яркое сравнение — например, образ деда, генерала осени с двумя золотыми листьями на плечах. Его поэзия — это порыв к душевной чистоте и совершенству. Калин Донков медленнее находил свой путь. Критика высоко оценила его вторую книгу — «Внезапная зрелость». Два больших цикла стихов, напечатанных в последнее время в журнале «Пламк», были встречены с интересом и снова доказали, что поэт по-настоящему талантлив.

По сравнению с Иваном Цаневым и Калином Донковым, Георги Константинов (род. в 1943 г.) кажется более эмоциональным, более подверженным переменам настроения. От его стихов веет чем-то юношеским, какой-то умной добротой и тогда,

когда стихи его исполнены патетики, и тогда, когда они острокритичны,— никогда они не бывают равнодушными. Константинов реагирует эмоционально, непосредственно и быстро, откликаясь на то, что его взволновало. Очевидно, этим и объясняется его большая продуктивность — он автор нескольких книг стихов.

Рада Александрова (род. в 1943 г.) — автор двух книг стихов, особенно высоко критика оценила вторую, «Невозможное бегство». Александрова отличается от своих коллег не только тем, что, естественно, воспринимает мир по-женски, но и тем, что предпочитает освобожденный от рифм, а иногда и от ритма стих, ее поэзия более ассоциативна. Многоплановые стихи ее заставляют читателя быть активным, раскрывать их глубинный смысл. О Раде Александровой писать трудно, и я бы не хотел заниматься сравнительным анализом, но можно ли описать запах или цвет, не сравнивая его с другим запахом или цветом? Я уверен, что хорошие переводы смогут показать своеобразие каждого из четырех поэтов лучше, чем эти короткие заметки.

Хочу подчеркнуть, все эти поэты в своей сущности — поэты гражданские, многого они уже достигли, и еще большего болгарская литература от них ждет.

Но время идет, и они уже не самые молодые поэты. Минувший год был счастливым для нашей поэзии: вышли первые книги почти у трех десятков поэтов. И среди них есть имена, которые радуют нас и вновь подтверждают, что поэзия жива и в наш стремительный машинный век и что она — доказательство духовных глубин народа, из недр которого она бьет ключом.

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ

ИВАН ЦАНЕВ

Мемориальная доска

Он съедал свой ужин на кухне
и спал за стеной,
он делал многое, что нами не замечалось.
Сколько раз в день он встречался с нами на лестнице!
Но мы не в состоянии объяснить
глубокого смысла этих букв,
выбитых на камне:
«Тут жил герой...»
Он давно уже умер, а мы о его подвиге
узнали только через много лет.
Неужели мы думали, что он придет
и скажет: — Эй, сохраните-ка для меня место
в пантеоне!
Наивная слепота к тому, что может произойти.
Почему, девушка, ты даже не помахала рукой
солдату, пока поезд еще не отошел от перрона?
Может быть, пуля вместо твоей руки нежно
дотронется до него?
И разве не видят прохожие,
что вон тот чудак,
близоруко сутулящийся над раскрытою книгой,
идет прямо на мчащийся трамвай?
Окликните его!
Что из того, что он не открыл лекарства против рака?

Какая презрительная и умная усмешка
появляется на наших лицах
при виде заикающегося от вдохновения юноши!
Он говорит слова резкие и наивные,
но достойные того, чтобы они
передавались из уст в уста.
Но все ли мы слушаем его
с вниманием и любовью?
Значительное перемешано в наши дни с мелочами,
и нет герольда, чтобы возвещать о его появлении.
Апостолы бродят среди нас,
переодетые в угольщиков,
а мимолетные случайности будней
на наших глазах
навеки окаменевают
в последних и трагических позах.

Ресторан

Когда посуды звон нетерпеливый
нам говорит про час обеда — полдень
уж наступил. И толстый повар в белом,
похожий на сугроб, вот-вот растает
от кухонной жары.
Колпак над ним, как пара клуб, витает.
Тарелки с супом на столах дымятся.
И ноздри раздуваются людей.
Вот девочка с надутыми губами
послушно, но лениво ест десерт.
Отец ее вздыхает облегченно,
что, наконец, покончено с едой.
Я тоже прихожу сюда нередко,
чтоб с наслажденьем выпить кружку пива
с высокой шапкой белоснежной пены,
что обжигает горло, словно лед.
И все хитросплетенья метафизик,
тревоги века, суета, заботы
остались за тяжелыми дверьми.
Вот в зал вошла компания и села,
шумя, за стол в углу большого зала,
где царствует сейчас официантка
на тоненьких высоких каблучках.
Как будто лопнул звонкий детский шарик —
вслед анекдоту громкий смех раздался,
и обнажились молодые зубы
счастливых и улыбчивых людей.
Никто ни перед кем тут не виновен —
в дешевом этом славном ресторане,
где дух беспечности, уюта и покоя
и сытости витает над людьми.
Но кто-то вдруг включает репродуктор,
передают последние известья,
и голос диктора перекрывает
посуды звон, и разговор, и смех:
«Опять бомбардировщики напалмом
сожгли индокитайские деревни...»

И тут мгновенно оборвался смех.
И я заметил:
люди виновато
глаза свои в смятенье опустили.
Задумались. И в горле хлеб застрял.

Перевод ЕВГ. ВИНОКУРОВА

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

■ ■ ■

Твердят обо мне не напрасно:
рожден
под счастливой звездой.
Звезда —
пять лучей ярко-красных —
сияет всегда надо мной.

Она к каждой жизни
причастна,
к надежде любой
и судьбе.
и дарит нелегкое счастье
и мне,
и ему,
и тебе.

Глядит из глубин небосвода
на смелость дерзаний людских
и дарит мечту, и свободу,
и мысли о благе других.

Согретая нашей мечтою,
горит,
наше счастье храня.
Рожден
под счастливой звездою —
не зря говорят про меня.

Кактус

Нет, кактус все-таки цветок —
поверьте.
И он цветет.
Раз в жизни —
но цветет.

И странное
случается на свете
в мгновенья те:
в пустыне дождь идет,
иль шторм
под чьей-то лодкой утихает,
иль клады открываются
людьми.
Завистливый
другим добра желает,
а равнодушный
плачет от любви.
А может,
чью-то смерть или потерю
от глаз людских
в тот миг скрывает тьма.
Или во что-то
начинает верить
не верующий ни во что Фома.
...Да, он — цветок.
И тайною отмечен.
Он зацветет —
и прошлое не в счет.
Любимая,
шагни ко мне
навстречу:
ведь кактус в этот миг цветет!

Стадион

Может быть, я чудак и бездельник,
но нашел я, где буду спасен
от пустой суеты:
в понедельник
необъятен и пуст стадион.

В небе птиц быстрокрылых круженье.
Моя тропка тиха и длинна.
Все победы
и все пораженья
заслонила собой тишина.

После спешки, страстей и событий
сладок чистого воздуха плен.
Я сегодня единственный зритель —
так дерзай, неизвестный спортсмен!

На античных героев похожий,
веришь ты, как они, в чудеса.
И над сложным сплетеньем дорожек
улетает копье в небеса.

Был к победе твой путь многотрудным,
и не зря
ты взволнован и горд!

Пусть трибуны сегодня безлюдны —
я запомню
твой славный рекорд.
Твой бросок,
чемпионов достойный,
и волненье, и счастье твое...
Пусть меня в этот век беспокойный
защитит наших предков копье.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

РАДА АЛЕКСАНДРОВА

Зависимость

Я зависима
от разрушенных столетий,
от надвигающихся пространств и времен,
от расположения Луны и Солнца,
от сумерек, тишины и шума.
Меня берет в плен музыка,
чье-то прикосновение,
чей-то взгляд,
чьи-то идеи, чьи-то мысли,
которыми полон воздух.
Ах, эта моя зависимость от хлеба,
от работы, от отдыха,
от моей плоти.
Я противлюсь зависимости,
я живу в ней...
Я зависима от каждой твоей картины,
от каждой твоей скупой улыбки.
Даже от обеда космонавтов!
Уж не говоря о катаклизмах,
о вечно проливаемой крови,
о политических пререканиях,
тирадах, коммюнике...
И это не во сне,
они уже в каждой моей клетке,
в моей смерти и моем рождении.

Я так зависима
от вся и всех,
что меня берет сомнение,
являюсь ли я сама собой?

А вы твердите мне,
что я ухожу
от проблем эпохи!

■ ■ ■

Когда мы были птицами с тобою,
нам одного гнезда вполне хватало
и неба одного, зерна и капли
весеннего дождя!
Мы об одежде
не думали и перья поправляли
друг другу.
Мы красивы были,
мы были веселы тогда с тобой!
Когда мы были птицами с тобою,
своих детей тогда растили мудро.
Они ж тогда любили бесконечность
и песню, что, как небо, глубока.
Когда мы были птицами с тобою,
мы умерли спокойно, без обиды.
Ведь мы бесстрашно воздух рассекали
и сладкую изведали любовь.
Мы умерли без капли сожаленья,
когда зима лишила нас дыханья,
когда с размаху мы с тобой врезались
в березу, самолет или забор...

Когда мы были птицами с тобою.

■ ■ ■

В то лето
долго солнце я пила
и осени ждала,
чтоб отдохнули
все мои чувства...
Новая настала
сухая осень.
Твердая дорога,
как ящерица юркая, петляет
все время предо мной.
Мои ресницы
дрожат от утомления
закатов, кустарника,
пригорков.
Я не знаю,
как уцелели от высоких пиков
мои глаза,
а сердце вышло крепким
из тягостной любви
и трудных слов...

Иду по старой
и сухой дороге.
И лето свое новое зову.

Перевод ЕВГ. ВИНОКУРОВА

КАЛИН ДОНКОВ

Как соль

От инея вокруг светло,
белы ступени.
И пахнет старое село
вином осенним.

Устало в дом войду простой —
чужак, прохожий.
Но соль поставят предо мной
и хлеб положат.

Поставят молоко на стол,
чеснок зеленый.
Сажусь на стул, как на престол,
вконец смущенный.

...Он вовсе не придуман мной,
тот день случайный.
Сверчок почти совсем ручной
поет прощально.

Замерзнет он в дровах сухих —
окончен праздник.
Его предсмертный голос тих,
но так прекрасен!..

И приоткрывший свой секрет
и тайну будней
добрее кажется нам свет
и многолюдней.

Когда ж он причиняет боль —
не уклоняйся,
а растворяйся в нем, как соль,
с ним изменяйся...

Черта

О, где начало, где конец явлений?
И кто границу эту проведет?
На улице холодной дождь весенний
вот здесь идет. А рядом — не идет.

И чтоб домой попасть из магазина
или в аптеке что-нибудь купить,
из солнечной ты должен половины
в дождливую решительно вступить.

А дождь подстерегает терпеливо
тебя и у дверей и у окна.
И чтобы выйти под холодный ливень,
как ни смешно — решительность нужна.

Раздумывать и ждать тут бесполезно:
природа пересечь черту велит.
Ах, человек, тебе ли не известно:
вот здесь болит. А рядом не болит.

Маленький человек

С годами ушибаться все привычней,
без ран прожить — и думать не моги.
Моя судьба понятна и обычна:
я весь свой век плачу свои долги.

Расплаты избежать я не стараюсь,
сочувствия не жду ни от кого.
И от плеча отца я отрываюсь,
стремясь к плечу сынишки своего.

Вероучение

Хоть был ты за доверчивость наказан,
в предательстве коварном обвинен —
ты все-таки, мой мальчик, жить обязан,
будь горд всегда, спокоен и силен.

Пусть под рукой лишь сплав сентиментальный,
но мастер из него металл кует
ценнейший, на обычной наковальне —
она и под ударами поет.

Перевод ЛОРИНЫ ДЫМОВОЙ

■

МАРГАРЕТА НОЙМАН

Рассказы

■

Перевод с немецкого Э. ЛЬВОВОЙ

Маргарета Нойман принадлежит к старшему поколению писателей ГДР. Первые произведения ее увидели свет в пятидесятых годах, и с тех пор опубликованы семь романов, несколько сборников рассказов и очерков, книги для детей, стихи. Произведения М. Нойман нашли своего читателя, были замечены критикой, творчество писательницы удостоено литературных премий. Отличающаяся в целом очень сдержанной манерой письма, М. Нойман высказалась, пожалуй, откровеннее и непосредственнее о самых глубоких мотивах своего творчества в лирике:

...Я повторю в который раз подряд
мою мольбу: не ведать страха смерти.
И обещанье: справедливо жить...

И я клянусь:
смотреть глазами друга,
и взращивать сады на пепелищах,
и песню недопетую допеть.
перо поднять что выпало
когда-то из рук чужих.

(Перевод И. Грицковой)

Стихотворение, из которого взяты эти строки, называется «Павшему товарищу». Оно многое объясняет в жизни и творчестве самой писательницы. Объясняет, например, почему ее, городскую жительницу потянуло «взращивать сады на пепелищах»,— после войны М. Нойман в течение ряда лет жила и работала в деревне под Мекленбургом.

Осознавая постепенно свое писательское призвание, М. Нойман почувствовала необходимость расширить жизненный кругозор и начала работать на новостройках в Галле, освоив нелегкую профессию сварщицы. Став профессиональной писательницей, она до сих пор сохраняет непосредственные контакты с трудовыми коллективами города и деревни. Вплоть до последних лет ее нередко можно было встретить в производственных бригадах. Думается, это связано и с органической потребностью «справедливо жить», которая обусловила основную проблематику творчества М. Нойман и которая присуща многим героям ее книг: крестьянам, рабочим, учителям, врачам, инженерам. Как правило, это люди не исключительные и показаны в будничном освещении. Но все-таки герои М. Нойман привлекают к себе и вызывают симпатию цельностью и чистотой своих переживаний, неспособностью к компромиссам и обостренным чувством справедливости.

© Aufbau-Verlag. Berlin und Weimar, 1974.

Лес

С тех пор как он остался без собаки — это была немецкая овчарка, большой, сильный зверь, но состарившаяся и почти слепая,— с тех пор он все чаще проводил семь свободных от работы дней в городе у одной из своих дочерей. Реже у младшей, она несколько лет назад вышла замуж за водителя автобуса, которого он недолюбливал. Охотней он располагался у старшей. Она жила одна с тремя детьми, муж ее бросил.

Но так или иначе ему для этого требовалась причина или, если хотите, предлог.

Весной он вместе с жильцами строил площадку для детей — заменяя дочь,— другой раз починил ей пылесос и повесил лампу, теперь, зимой, хотел заново покрасить детскую и переднюю, в светло-желтый цвет — комнату, в матово-серый — переднюю: синеватые в крапинку обои дочь не выносила.

Он радовался любой работе; в своем маленьком доме, где он остался один, теперь нечего было делать: дрова сложены в поленницу, их хватит года на два. Дочерям в квартирах с центральным отоплением дрова не нужны. Он не любил эти квартиры, хотя и признавал, что они удобны. Он не знал, чем там заняться, крутился среди полированной мебели и, наконец, включал телевизор, думая про себя: для жизни в такой квартире надо быть другим человеком.

Пока он жил у дочери, наступили зимние холода, он и не заметил как. Когда ранним утром он вышел из дому, чтобы снова идти на работу, ему в лицо ударил холодный ветер, и снег, выпавший за ночь, захрустел под ногами. Он пересек пустынную площадь перед магазином и свернул к автобусной остановке. Подошел ярко освещенный автобус, но не остановился. Группа молодых людей переговаривалась громко и весело, но он не понимал ни слова. Потом сразу два автобуса свернули с шоссе, блеснули правыми подфарниками и остановились у самой обочины.

Он удивился, откуда могло набраться столько народу, толпа понесла его и втолкнула в автобус. Он поискал бумажный билетик, засунул его в кассу и стоял теперь в проходе среди молодых людей, продолжавших громкий разговор. Один из них, с волнистыми каштановыми волосами, уступил ему место. Он из вежливости сел, хотя охотнее остался бы стоять. Сидя, он чувствовал себя стесненным и затиснутым в угол.

Обычно, когда он выходил из своего дома, то шел пешком. В крайнем случае, если очень спешил, брал из чулана велосипед.

Он жил недалеко от завода, в лесу, полоса которого еще уцелела. Двести — триста метров по песчаной дороге — и он на шоссе.

Они ехали по широкой главной улице, по обе стороны стояли высокие, холодные, разукрашенные инеем дома, во многих из бесчисленных окон горел свет. За тонкими гардинами покачивались подвесные цветочные горшки, иногда мелькали тени.

Наконец, дома кончились, шоссе шло мимо строительной площадки: штабеля панелей и бетонные детали, гора щебня, бетономешалка, котлован и в нем мощный кран на минуту осветились и снова исчезли в темноте. Затем он увидел впереди красный сноп пламени, вздымающийся в небо. Автобус описал петлю и остановился перед входом.

Он вытащил из кармана контрольную карточку, поднял воротник, прикрывая уши от резкого ветра, и пошел в потоке людей, уст-

ремившихся к воротам, держа карту на уровне глаз вахтера, маленького, худого и бледного.

Толпа тут же рассеялась. Одни снова влезли, теперь уже в другой автобус, который развозил их по отдаленным рабочим площадкам, другие поспешно расходились, кто направо, кто налево, по въездной аллее. Он не торопился. Поглядел на часы при входе и знал, что до начала смены осталось еще двадцать минут, а его дежурка располагалась недалеко от ворот.

Он любил ходить один. Мог тогда возвратиться в мыслях к тому, что хотел воскресить. Он заставлял исчезнуть все это — блестящие фонарные столбы по обеим сторонам дороги, тучи дыма, шипение, огненные факелы над трубами, само бетонированное шоссе и даже едкие запахи.

Он мог снова увидеть лес. Как раз здесь был молодой ельник — в рост человека и очень густой. Иногда, в разгар лета, он забирался туда. Там были лисички, а на маленькой круглой полянке росла земляника.

По левую руку на пригорке был лиственный лес — буки и клены,— поздней весной среди прошлогодней палой листвы тесно одна к другой стояли ветреницы.

Вероятно, в мае, он уже не помнил точно, он увидел в двух шагах от дороги белку, она сдирала с тонкого ствола липы кору и засовывала за щеки — с набитыми щеками она сделалась похожа на хомяка,— потом белка перебралась на соседний куст, а когда услышала шорох, перелетела через ветку, которая долго еще раскачивалась, и исчезла в кроне дерева.

Он вспомнил осину, в ее стволе дятел пробил длинное тонкое отверстие, красноватые древесные крошки еще долго валялись вокруг.

Так он шел, глядя по сторонам и вспоминая. Но шел достаточно быстро и без пяти шесть был в дежурке.

Яркий свет ослепил его. Здесь было уютно и тепло среди ящиков с приборами, наклонные пульты которых располагались по кругу, оставляя свободной середину помещения, где возвышался стол с письменными принадлежностями и селектором и горели лампочки — желтые, красные и зеленые. Пахло трубочным табаком и кофе. За столом сидел контролер агрегатов из третьей смены, бледный человек с прилизанными рыжеватыми волосами и большими широкими руками, с ухоженными и даже, кажется, покрытыми лаком ногтями.

Рыжеволосый записывал в тетрадь какие-то цифры.

— Прибыл уже? — спросил он, не поднимая глаз.

Хотя здесь было тепло и светло, он обрадовался, когда собралась его смена: контролер агрегатов Франц, Райнер — маленький строгий контролер насосов и Ферди с Францем — два обходчика с первого и третьего участков. Он принял контрольную книгу, достал из шкафчика в комнате, где они обычно отдыхали и завтракали, ключ. Разумеется, Эгон из третьей бригады опять пошел в обход без инструментов, а ведь всегда надо исправить какой-нибудь пустяк — подтянуть гайку или еще что-нибудь в этом роде. Ничего серьезного, сколько он здесь работает, никогда не случалось.

Он взял ключи и пошел.

После смерти жены он особенно часто вспоминал, в сумерках, когда оставался один, как началась его жизнь. Потому что время до встречи с ней он не считал своей жизнью; он ничего не мог тогда сделать по-своему. Ему нужно было только выдержать это время и пережить его. Пока он не очутился в Магдебурге в бункере около вокзала, где лежал в самой середине, около столба.

Когда он открыл глаза, он впервые увидел свою будущую жену. Она пришла ночью. Если б она была здесь вечером, он не смог бы ее не заметить. Ей было семнадцать-восемнадцать, не больше. Прежде всего бросались в глаза ее волосы. Они составляли особую ее красоту или как бы это еще назвать, ибо лицо у нее было совсем детское, розовое, совсем не военное лицо. Когда он открыл глаза, она рассмеялась. Он не знал почему, возможно, она смеялась над ним. Но смех ее был так заразителен, что он рассмеялся вместе с ней, и все вдруг показалось ему не грустным, а веселым, и он сразу понял, какое счастье выпало на его долю.

Два дня назад они пришли из Италии, впятером, у них не было карты и они не знали точно, где Германия, знали только, что за горами.

Они карабкались по горам, все время двигаясь на север. Вечером, когда перевал остался позади, они увидели в лесу свет.

И пошли на него.

Сначала они потихоньку заглянули в окно. Женщины — пожилая и молодая — мирно сидели за столом. Остальную часть комнаты скрывала темнота.

Если б здесь был мужчина, рассудили они, он сидел бы с женщинами за столом. Наверное, они действительно одни, может быть, с детьми. Они осторожно постучали, дверь открыла молодая. Внутри стояли патронные ящики, набитые сеном, в них спали дети. маленькие дети. Женщины за столом вязали. Одна из серого клубка, у другой на коленях лежали солдатские носки, она распускала их и из ниток вязала, распускала и вязала. Солдатские носки превращались в детский свитер, это было уже видно.

Молодая этой же ночью провела их мимо американских постов, она знала дороги, знала, где стоят часовые... «Американцы боятся эсэсовцев, которые еще прячутся в горах,— сказала она,— и, если соблюдать осторожность, можно благополучно пройти мимо них».

Она довела его до железной дороги. Дальше он просто поехал на поезде, никто не спрашивал билета.

В Мюнхене он вскочил на платформу с углем. Но ему пришлось по дороге слезть, так как англичане проверяли состав. Он прошел пешком до зональной границы и благополучно перебрался через нее в группе солдат. Потом он снова приблизился к железной дороге и стал ждать поезда на подъеме. Первым пришел состав. груженный лесом, он устроился на буфере между предпоследней и последней платформой. Все шло хорошо. только на поворотах приходилось трудно, и он разорвал штаны, которые ему подарили добрые люди. Так или иначе, он попал в Магдебург.

Все вместе это было почти непозволительным счастьем. он подумал об этом, когда увидел рядом девушку. Она была тоже одинока, и они весь день провели вместе и уже начали строить общие планы.

— Вдвоем все легче,— сказала она на следующий день. вернее, на следующую ночь под утро. Они лежали под одним одеялом которое принадлежало ей, и она не сопротивлялась, когда он прижал ее к себе, он до сих пор помнил ее сильные колени, ее дыхание, ее тепло.

Он часто спрашивал себя, не виноват ли он в ее смерти.

Они жили счастливо. Первый ребенок родился в сорок шестом, второй — через три года. То, что происходило в ней. как рос ребенок в ее теле, рождение ребенка оставалось для него непостижимым.

После рождения второго ребенка она стала болеть и через три года умерла.

К этому времени они жили в маленьком доме в лесу, в стороне от деревни. Прежние владельцы, старики, переехали к детям. Соломенная крыша прохудилась, дождь попадал прямо в комнату. Но он починил крышу, даже достал денег на черепицу, все побелил и покрасил. Они жили очень экономно, главным образом за счет сада и кур, которых она разводила. На его заработок они купили мебель и все необходимое для хозяйства, так что вскоре могли сказать: худшее осталось позади.

Он работал в лесничестве, валил деревья, обдирал кору, иногда занимался посадками нового леса. В первое время после смерти жены за детьми приглядывала тетка. Он не очень ладил с ней, и, когда вторая дочка пошла в школу, тетка стала приходить все реже, пока не исчезла совсем.

Так оно и шло. Он не думал о новой женитьбе, несмотря на то что был завидным женихом. От него бы не отказались многие. И вдов было достаточно, с полной горницей детей.

Он не мог решиться.

Он сросся с лесом. И чем взрослей и непослушней становились дочери, тем больше завоевывал его лес. Лес был близок ему, как лицо самого любимого человека. Вместе с лесом он ощущал благотворность весеннего дождя, страдал в засуху, испытывал боль от ран, нанесенных бурей. Он узнавал всех птиц, барсука, всех лесных тварей вплоть до диких пчел.

Он всегда ощущал, что дерево, которое он повалил, не умирает. Для него начинается новая жизнь. Оно становится столом, скамьей, партой, балкой или дверью, ящиком, в который складывают яблоки, ножками кровати. Он любил запах свежих бревен так же, как любил запахи листвы и земли после дождя. По субботам он убирал свой дом, а в воскресенье сидел перед ним и глядел на кроны деревьев, которые каждый день менялись.

Вначале строительство комбината не беспокоило его. Хотя ему было больно видеть, как вырубали целые участки леса. И даже молодые посадки — он думал, что лес еще очень велик. Но лес становился все меньше и меньше. Потом пришли бульдозеры и экскаваторы и началось строительство.

Его дети играли на строительной площадке, они купались в прудах, карабкались на штабеля досок, влезали на строительные леса и визжали, когда их гнали прочь.

Лес таял. Работа становилась все тяжелей для него. Он слишком долго скитался без цели. пока, наконец, нашел пристанище. Сначала рядом с женой, потом в лесу. А теперь он вырубал лес.

Не он один, нет, конечно, и не по своей воле. Он часто спрашивал себя: не уйти ли ему. Но у него не хватало духу.

Когда строительная площадка была закончена, от леса осталась одна полоска, почти прозрачная. Он видел теперь из своего дома огни и трубы, и ветер доносил до него по временам гудение и шипение.

Теперь, когда нечего было рубить для строительства, лесничество перевело его бригаду в другой район. Достаточно близко и удобно — несколько остановок автобусом. Старшая дочь вышла замуж за человека, приехавшего с севера. Сюда теперь приезжали люди отовсюду.

Младшая начала работать на заводе. Она уговорила и его.

Он работал на загрузке сырья. Работа грязная и тяжелая, но она нравилась ему. Однажды он поскользнулся на мокрых мостках и

сломал ключицу; хотя перелом быстро зажил, он больше не мог достаточно быстро и ловко справляться со шлангами и насосами.

С тех пор он стал контрольным обходчиком.

Никто не мог сказать, что он относится к своей работе недостаточно сознательно. Он дотошно осматривал свой участок, проверял все задвижки, подтягивал муфты, где просачивался пар, он замечал любое повреждение изоляции.

Он проверял каждую цистерну, отмечал поврежденные места и заносил в свою книгу.

Сегодня он с удивлением заметил, как рано стало светать. В это время года дни увеличиваются быстро. За семь свободных смен день заметно прибавился.

Уже почти рассвело, когда он добрался до легкой серебристой лесенки перед воротами, которые следовало отпереть, чтобы осмотреть цистерну с горючим, но лампы еще светили; зеленые на цистерне, желтые — на агрегате для нефтеперегонки. Красноватый туман лежал на рельсах. Он достал из кармана ватника связку ключей.

Из охладительных башен подымался голубоватый дым. Петли ворот, еще влажных от ночной росы, скрипели.

Запах аммиака в воздухе напоминал о лошадях. Он захлопнул за собой замок и подошел к цистернам. Осмотрел первую, на пути ко второй он услышал шорох и обернулся.

Через дорогу озабоченно и деловито перебегали три коричневые куропатки, три петушка, они быстро вынырнули по ту сторону зеленых труб, словно знали, что то, что течет по этим трубам,— лес, древний лес. Он глядел им вслед, пока не перестала колебаться бурая трава, в которой они исчезли.

Р-709

Вряд ли я сумею рассказать, как все было на самом деле. Надеюсь, что вы дополните мои слова своим собственным воображением и размышлениями. Ведь я знаю только внешние события, а то, что я видела через окно своей комнаты, этого слишком мало.

Когда они вернулись, то прошли по коридору, Клаус открыл дверь в мою комнату и спросил, нет ли у меня кофе, сейчас было бы хорошо выпить кофе.

Я ответила:

— Ну конечно. Что за вопрос!

Я смутилась, что сама не подумала о кофе, ведь было холодно. Я достала из шкафа две чашки, чашки для гостей, и чайные ложечки. Клаус пододвинул для себя и для того, второго, стулья, я собрала свои письменные принадлежности, чтобы им было просторней.

Того, второго, я знала только по виду, встречала его на собраниях, да иногда утром он садился в тот же автобус, что я. Я даже не знала, как его зовут.

Едва усевшись, он стал смотреть в окно, на резервуары. Покрытые серебристой краской, они стояли в утреннем тумане, светящиеся и безучастные, как холмы на равнине, как башни и дома чужеземного города.

Я тоже посмотрела на резервуары, от которых они только что пришли, и заметила, что спутник Клауса промерз и был рад, что он теперь в тепле. Я не знала, о чем он думает.

Прежде чем сесть, Клаус подошел к окну и заполнил всю оконную раму своей спиной.

Клаус. Клаус Брайткройц. Для многих его имя полно значения: Брайткройц — широкая спина. Но на самом деле он человек физически слабый, а широкая спина у него потому, что он любит поесть. Достаточно взглянуть на него один раз, когда он ест, с удовольствием смакуя еду. Это у него осталось с сорок пятого года, наверное, с тех пор,— кто знает? Удивительно, как быстро он движется. Как легки и стремительны были только что его действия.

Лицо второго было в тени, он повернул голову, я на мгновение поймала его взгляд.

Я уверена, что в эту секунду я все поняла. Его мысли, то значение, которое имела для него, для них обоих эта работа, а значит, и для меня, и для всех нас.

Мне трудно выразить это так, чтобы вы поняли. Мы каждый день читаем, смотрим, слышим рассказы о мужестве, о преодолении собственной слабости, о больших, даже о великих делах.

Но этот свет светит где-то вдали, и когда мы говорим, что нам это понятно, то мы часто забываем, как близко нас это касается.

Мне следует объяснить, что произошло этим утром: собственно говоря, не произошло ничего особенного. Установка Ф-3 передала, что в Р-709 давление поднялось до четырехсот двадцати. Пятьсот — крайний предел.

Это значит, что фильтр, который установлен вверху резервуара, засорился и его нужно сменить. Но давление было уже очень высоким.

Клаус пробежал мимо меня, я не знала, что он решил, чуть позже я увидела, как он и этот второй полезли наверх и потащили фильтр на резервуар по узкой крутой железной лестнице. Они были видны на фоне красноватого света. Факел над высокой трубой справа был окружен желтым дымом, охладительные башни курились голубоватым паром, длинные сосульки у их подножий сверкали. От труб электростанции падали длинные тени.

Я видела, как они оба возятся там наверху, но не слышала ни слова. Я подумала: «Господи, сколько это тянется!» Они, вероятно, перекрыли подачу сырья, но водород продолжает выделяться, и давление еще повысится. Год назад у нас уже было такое, правда, тогда еще никто не понимал, в чем дело. Установку только опробовали. С этим веществом мы еще практически не имели дела.

Водород, который оно выделяет, соединяется с кислородом воздуха. Возникает гремучий газ. Это известно каждому. Наши инженеры нашли выход: азот теперь находится между содержимым резервуара и воздухом. Но производимое на установке вещество выделяет также аммиак. Аммиак разрушает медь, из которой сделаны ситафильтры, и их проницаемость нарушается. Тогда внутри резервуара повышается давление.

В прошлом году произошел взрыв резервуара. Взрывная волна пронеслась у нас над головой.

Что случится с ними обоими там наверху, такими маленькими на фоне неба если они недостаточно быстро вынут фильтр?

Они там уже целую вечность. О чем они говорят друг с другом? О чем думают?

Я много раз читала и слышала, что в такие минуты человек думает только о самом необходимом. О тех движениях, которые он должен сделать.

Когда я посмотрела на человека, сидевшего напротив меня за столом, когда я встретила его взгляд, я поняла, что это неправда.

Они думали обо всем.

Если только можно понять, что это значит: *все*.

Они видели утро, и оно охватывало это *все*, всю действительность. Они ощущали окружающее гораздо сильнее, чем мы ощущаем обычно. Они видели всю землю вокруг, завод, лес, в котором были вырублены площадки для агрегатов, измерительных станций, подъездных путей, фабричных труб, охладительных башен, трубопроводов, цистерн.

Вода закипела. Я налила кипяток в чашки, где уже лежал растворимый кофе.

Клаус отошел от окна и сел. Но прежде чем приняться за кофе, он снял трубку и набрал номер двадцать два.

Отозвался маленький Ули, второй аппаратчик установки Ф-3.

— Как дела? — спросил Клаус.

— Давление падает!

— Ну, ладно,— сказал Клаус и, повернувшись к соседу, объявил: — Порядок!

Тот уже пил кофе. Я видела его лицо сквозь пар, который поднимался над чашкой.

Клаус сказал:

— Фильтры. С ними нужно что-нибудь придумать.

Я заметила, как второй оторвался от своих мыслей.

— Ну, ясно,— сказал он и провел пальцем по краю чашки. Может быть, он только в этот момент понял, что сказал Клаус. Я даже уверена, что это так.

Они вовсе не должны были делать того, что только что сделали. У нас есть ремонтная мастерская. Но слесарей пришлось бы слишком долго ждать. И понадобилось бы еще дополнительное время, чтобы объяснить им, в чем дело. Так было быстрее и надежнее.

— Для фильтров надо найти другой материал,— сказал Клаус и помешал кофе.

Второй допил свою чашку и встал. Я только сейчас заметила, как он молод, он только что кончил расти, хотя у него уже широкие плечи. «Может, он занимается плаванием»,— подумала я.

В дверях он кивает мне. Но его взгляд, хотя он и направлен на меня, скользит мимо, точнее, он включает меня в это утро, освещенное красноватым светом.

Большое дерево

Шум, словно от порыва ветра, пробежал по его листве, хотя утренний воздух был неподвижен. Потом дерево снова застыло, широко раскинув на солнце ветви с листьями и медово-желтыми цветами.

Ночью шел дождь. Шумный грозовой ливень пузырями отскакивал от земли. Вдалеке погрохатывало. Я широко раскрыл окно, меня разбудил шум дождя. Отвесным водяным занавесом обрушивался он вниз, я слышал его удары по перилам балкона.

Я зашел в комнату сына и закрыл окно. Дождь туда не заливал, и приближающаяся гроза не была достаточной причиной... В четырнадцать лет мальчик уже не ребенок. Кроме того, он не боится грозы. Так в чем же дело?

Я задернул гардины, тихо, чтобы не разбудить его. Когда я взял сына к себе, я обосновал свое упрямое желание быть с ним тем, что он не девочка. Он должен стать мужчиной. Не таким, как тот слабосильный, ради которого мать мальчика бросила меня и за которого вышла теперь замуж.

Иные говорят, я забрал у нее сына, чтобы наказать, обидеть ее, ответить злом на зло. Это неправда: просто я не верил, что она действительно уйдет и уйдет навсегда.

Я думал: если я останусь в нашей квартире и ребенок со мной, наш сын, она вернется. Не может же она взять и просто уйти из его жизни. Но она не вернулась.

Не следовало мне отпускать ее на курсы. Она никогда бы не встретила того человека. А он ее. Наверное, это решило все.

Потому что он и вправду любит ее. А как иначе?

Как может не полюбить ее человек, которого она хоть один раз слушала?

Ты сел рядом с ней, может быть, случайно. Ты сам не сможешь объяснить этого потом, но ты начинаешь говорить. И неизбежно говоришь о себе. Говоришь то, что никогда и никому не говорил раньше.

Наверное, все дело в том, как она слушает. Даже если она ничего не может сказать тебе, ничего посоветовать, все равно то, что ты рассказал ей, уже стало иным.

Ты поднялся на гору, а оно осталось внизу, в долине.

Тысячу раз я рисовал себе, как это было. Вот так она встретила того человека, и вот так он ее полюбил. Она идет с ним рядом уверенным шагом, а он старается не отстать от нее.

Но однажды она вернется...

Она не могла уйти от нас навсегда, от мальчика, от меня, от себя самой, она не может навсегда покинуть нас троих.

Даже если мне придется ждать, пока вырастут дети, которых она родила ему. Обе девочки.

Что значит десять—пятнадцать лет ожидания рядом с одним годом счастья!

Дождь перестал, словно обрезало. И только тут началась гроза: могучий, злой, лающий гром, сильные молнии. Они взрывались в небе голубым светом или уходили вниз, в темноту.

Я заставил себя остаться у окна. С тех самых пор, с детства, с ночей в убежище, безумия взрывов и пожаров, меня в грозу охватывает дрожь. Но я никому не показываю этого. Только она, по-моему, знала, как знала все обо мне.

Я часто говорю себе: она оставила мне сына, потому что понимала, как много значит для меня надежда. Ей было нелегко, конечно, нелегко.

Мы оба думали, что будем жить в одном городе. Она сможет часто видеться с сыном. Иногда будем встречаться и мы.

Но, должно быть, для того, другого, это было слишком тяжело. Пожалуй, и для меня тоже, но точно я не могу сказать. Наверняка я этого не знаю.

Слепящие молнии вспарывали небо, дома на той стороне улицы белым светом вспыхивали в темноте.

Не надо было мне переезжать сюда. Но маленький дом, в котором мы жили, снесли, как и всю одряхлевшую кривую улицу.

Я подумал: если она вернется, она даже не догадается, где нас найти. Ей придется искать улицу, квартиру. Когда она думает о нас, она не представляет себе, где и как мы живем.

Разумеется, все это смешно. Но разве не бывает таких часов, ко-

гда человек внезапно принимает решение, срывается с места нечаянно, неожиданно для себя?

Если бы она в такую минуту приехала сюда, она не нашла бы нас, она очутилась бы в пустоте.

А не может быть, что такая минута уже прошла?

Из окна маленького покосившегося домишка, в котором мы жили, был виден ресторанчик в саду. Мы часто сидели там втроем. Террасу перед домом и посыпанную гравием площадку со столиками, стульями и пестрыми зонтиками окружали цветочные клумбы. Но в том конце, где деревянный забор отделял ресторанчик от парка, стояло могучее дерево, очень старая липа. Из наших окон виднелись на фоне неба ее сильные ветви.

С тех пор как мы переехали, мы каждое воскресенье весной, летом, вплоть до осени, ходим в этот сад, мальчик и я. Я медленно потягиваю пиво, он мгновенно выпивает свой лимонад, а потом мчится к липе, в прозрачной тени которой играет, один, а иногда с белокурой дочкой хозяев.

Воскресное утро после грозы было ясным. Мы шли под чисто вымытым небом на наше обычное место, из садов веяло ароматом жасмина. Фридрих, кельнер, откидывал стулья, прислоненные к столам из-за дождя, стирал тряпкой капли со столиков, расстилал белые скатерти и расставлял пепельницы.

Когда все было готово, он поздоровался с нами. Мы, как обычно, были первыми посетителями.

Всегда он подходит с таким выражением лица, будто ждет бог весть какого заказа. И никогда не выражает разочарования, приняв наш, который вот уже из года в год остается одним и тем же, самое большее — добавляется пирожное для мальчика.

Как раз в ту минуту, когда он ставил перед нами бокалы, внутри дерева раздался треск. Старый кельнер поднял голову.

— Оно упадет сегодня,— сказал он.

— Что? — спросил я.

— Дерево,— ответил он.

— Это дерево?

«Он становится чудаковатым»,— подумал я.

Мальчик взглянул на старика с любопытством, уважением и напряженным вниманием, которое меня болезненно задело.

— Вы так думаете? — спросил он.

Старик кивнул.

— Оно упадет туда, назад,— сказал он.— Видите, оно наклонилось.

Утреннее солнце освещало могучие ветви. Я видел светлые пучки цветов и слышал жужжание пчел. Ни одного мертвого сучка. Кора нигде не ободрана.

Ресторанчик наполнялся народом. Молодые люди, пожилая супружеская пара. Кто-то поздоровался с нами.

Дерево стояло неподвижно, пожалуй, слишком неподвижно рядом с игрой листьев на кустарнике у его подножья, распрямившись и словно затаив дыхание. Внезапно с невыразимым шумом, пробежавшим по нему от макушки вниз оно наклонилось, повернулось, падая, и с глухим грохотом рухнуло. Земля содрогнулась у нас под ногами.

Все вскочили и застывшим взглядом глядели туда.

Мальчик после слов кельнера не отводил глаз от дерева. Он тоже вскочил и оперся о столешницу. Я заметил, как на его глаза набежали слезы. Я не понимал, что с ним.

Прежде чем идти домой, мы подошли к дереву. Оно сломилось над самыми корнями, остаток ствола торчал как шип.

Только теперь мы разглядели, как велико и могуче было дерево. Оно покоилось, раскинувшись на кустах жасмина. Сильные ветви вонзились в землю. Внутри оно было пустым, словно выжженным, но до сих пор зеленело и цвело.

Красные и зеленые стулья, пестрые скатерти, полосатые зонты, лица людей — все было освещено утренним солнцем.

— Я никогда больше не приду сюда,— сказал мальчик.

Я поглядел на него. Я испугался, когда понял: сразу окончилось его детство. Единственное детство, которое бывает у человека, а я, полный ожидания, не заметил этого. Ничего нельзя вернуть, ничего нельзя позвать назад. В его голосе уже появился чужой звук. Я еще не двинулся с места, а он уже уходил, мне стоило труда нагнать его.

Листья на кустах были мокрыми после ночного дождя.

Вечер перед отъездом

В прошедшие недели ей пришлось много работать, так что на конгресс она собиралась сломя голову и даже забыла туфли к голубому платью; это платье она взяла с собой для банкета, потому что после всей ученой суетни несомненно был запланирован банкет — встреча коллег.

Первый вечер — всего она пробудет здесь два — был посвящен осмотру прекрасного старого города на берегу реки и прогулке к крепости.

Она долго сидела наверху одна — так ей больше всего нравилось знакомиться с новыми городами. Она смотрела, как над башнями и крышами расстилался, отражаясь в реке, вечер, сначала яркий, потом окутанный синевой, пока, наконец, не вспыхнули гирлянды огней.

На другой день профессор С. своим докладом дал повод для таких оживленных, чтобы не сказать страстных, споров, что пришлось прервать дискуссию.

Утомленные и все еще взволнованные, они сидели в ресторане отеля, где остановились участники конгресса, и быстро с аппетитом поедали все, что подавалось на стол. Рано утром они уедут обратно в свои города и страны.

Ханна подумала: «А пока надо выспаться». Возможно, ее просто утомила жара, лето не скупилось на знойные дни, но, наверное, и множество лиц, и нетерпение, с которым она слушала, как повторяются одни и те же мысли, которые казались ей давно высказанными и разложенными по полочкам.

Она и не заметила, как съела все, что ей поставили. Когда Клаус — он работал в том же институте — наклонился к ней, она вздрогнула.

— Ты поедешь с нами?

— Я очень устала,— быстро ответила она.

Ханна знала, что Клаус надеялся провести вечер с ней. Он все еще верил, что она та, кому суждено освободить его. Потому что он жил как заколдованный принц под серым покрывалом. Он плотно замкнулся в этой своей оболочке, и прятался от света, и надеялся, что придет кто-то и освободит его. Ему казалось, что именно она может

сделать это. И Клаус готов был заплатить любую цену... Всю любовь и доброту, на которые он способен, отдаст он ей, до самой смерти. В этом Ханна была уверена. Но она не знала волшебного слова, чтобы расколдовать его, не было у Ханны заветного ключа.

Она охотно и хорошо работала вместе с ним, но его внимание, его безмолвная, упрямая надежда угнетали ее.

Клаус придвинул бы свой стул к ее стулу, положил бы свою руку рядом с ее, он ловил бы ее взгляд, наливал ей вино, зажигал сигарету. И все время она чувствовала бы себя виноватой, несправедливой к нему.

Не было у нее разумной причины отвергать его. Они были почти ровесниками, он был высок ростом, строен, умен, образован, он знал свое дело, интересовался и многим другим. Оба они были одиноки.

— Я устала,— повторила она и постаралась улыбнуться, понимая, как беспомощна и насильственна ее улыбка. Они сидели втроем. Третьим был Вебер, старый профессор.

Он положил руку, слишком широкую и костлявую для ученого, на детские загорелые пальцы Ханны.

— Пойдемте с нами,— попросил он,— у Клауса завтра день рождения. Мы чокнемся с ним в полночь и пожелаем ему счастливого года.

— Ну, придется мне согласиться.— Она улыбнулась профессору, улыбкой показывая, что заставило ее уступить.

— Тогда пошли наводить красоту,— сказал профессор.

Ханна встала и тут же вспомнила про туфли; развеселившись, она подумала: как странно, у меня действительно есть причина для отказа, но никак невозможно объяснить ее профессору, да и мне самой это безразлично, а из-за Клауса, пожалуй, так даже лучше, и тем не менее почему-то это беспокоило ее...

Потом, на улице, в ярком свете и людском водовороте на красивой площади, она забыла об этом. Они шли на звуки музыки, доносившейся до них.

— Поглядим, как танцуют,— сказал старый Вебер. Клаус и Ханна не возражали.

Толпа молодежи увлекла их с собой в кафе, уставленное круглыми мраморными столиками, широкая лестница вела наверх, здесь столики стояли только по краям зала, в середине блестел золотисто-желтый паркет. Сейчас там было пусто. Оркестранты, вероятно, ужинали.

Впереди, у самой балконной двери, приоткрытой из-за жары, был свободный столик.

Они сели, заказали белое вино, светловолосая маленькая кельнерша тотчас принесла бокалы на тонких ножках. Вино было свежим и терпким; повеяло вечерней прохладой, вокруг раздавался гул голосов.

Ханна не знала языка этой страны и не понимала ни слова. Да в этом и не было нужды, все, что говорилось и делалось здесь, было и так понятно. Это напоминало луг под солнцем, цветение, шмелей, мотыльков и прилежных пчел.

Старый Вебер откинулся на спинку стула.

— Здесь вполне терпимо,— сказал Клаус, выпил свой бокал и осторожно поставил его перед собой. Он избегал смотреть на Ханну.

Она не заметила, когда вернулись оркестранты. При первых тактах площадка для танцев заполнилась парами. Было так тесно, что все танцевали на месте. Мужчины и девушки стояли друг против друга на расстоянии шага и двигали руками, бедрами и ногами в ритме музыки, быстрее или медленнее, как им нравилось.

— Ну,— сказал Клаус,— танцем я бы это не назвал.

На ударных играл высокий юноша, с не очень длинными мягкими каштановыми волосами.

Ханне эта мелодия не была знакома. Она не понимала такой музыки и не ценила ее. Для нее этот мир был уже чужим, и она не стремилась в него проникнуть.

Даже молоденькой девушкой она не увлекалась танцами. Ее интересы лежали в другой области. На танцы она смотрела скорее несколько свысока.

Этот юноша-ударник напомнил ей кого-то или что-то, она не знала кого или что, какую-то картину. Может быть... В белой рубахе с пышными в сборку рукавами — буфами над коричневыми запястьями,— он словно сошел со старинной картины: сосредоточенно-серьезный, строгий, немного печальный. И так он играл — сосредоточенно, строго, серьезно, и ничего поверхностного не было в его игре.

Пока она разглядывала его, пытаясь понять, почему он показался ей знакомым, юноша повернулся к ней лицом. Она хотела отвести глаза, но он словно сковал ее своим взглядом, и в этом взгляде она уловила удивление, восхищение и легкую насмешку.

Она в испуге схватила свой бокал и отвернулась, сказала что-то профессору, улыбнулась ему и потушила сигарету в пепельнице. Песня — если это было песней — внезапно оборвалась. Танцующие захлопали в ладоши. Мелодия началась снова резким ударом, так, что Ханна подняла глаза. Только на третьем такте он обратил к ней лицо, серьезный и строгий, поймал ее взгляд и не отпускал его больше. «Это невероятно»,— подумала она. Она заставила себя отвернуться и подвинула свой стул так, чтобы профиль Клауса был между нею и музыкантом. И тут она по звуку его ударов услышала, что он зовет ее.

«Я все придумала»,— мысленно сказала она себе. И чтобы доказать это, подвинула стул обратно; она увидела, что музыкант ищет ее, и, встретив ее взгляд, юноша приветствовал ее ликующей барабанной дробью.

Профессор обратился к ней, Клаус сказал ей что-то, она отвечала, сама не зная что.

Теперь он играл, ни на секунду не отпуская ее, его инструменты рокотали, и ликовали, и вели за собой трубу и гитары, он знал, что он, и она, и весь мир едины: в ритме, который он отбивал, стучат сердца их обоих, ибо он заставил ее сердце биться в одном ритме со своим.

Ханна не замечала больше, как менялись пары на площадке. Она не слышала, о чем говорили ее собеседники, не слышала, когда они обращались к ней.

В полночь профессор поднялся, подал Ханне бокал, чтобы она осушила его за здоровье их коллеги. Она сделала это приветливо, но рассеянно она пила вино и чувствовала серьезный, сосредоточенный и строгий взгляд на своей шее, на своем лице, на своих волосах.

Клаус обнял ее за плечи, она спокойно отстранила его руку. Сейчас Ханна не видела незнакомца, она могла увидеть его, только повернув голову. Но она услышала, как он обрадовался.

Когда они встали, чтобы уйти, мелодия, которую исполняли, была сыграна почти до конца. Она услышала: он видел, что она встала. Танцующие пары расходились по своим местам; когда она пересекла зал, инструменты молчали. Но он проводил ее до самых дверей сильными ударами барабана. И там отпустил ее барабанной дробью, ликующей и незабываемой.

Озеро

После полудня разразилась гроза, она долго медлила в нерешительности — такими здесь обычно бывают грозы. Но ливень все же был сильный. А сейчас небо опять прояснилось, и на юге, над противоположным берегом, одиноко мерцала зеленоватая в закатном свете звезда.

Он уложил спать ребенка, к ужину накрыл на маленькой террасе стол на двоих: для Ингеборг и для себя. Они третий год проводили здесь отпуск. Маленький дом из двух комнат и крошечной кухни стоял не у самой воды, а на склоне холма, одного из цепи холмов, покрытых густым смешанным лесом: буки, липы, клены. Кусты сирени отделяли дом от плоской, заросшей камышом бухты.

Он подождал, пока ребенок уснет, а потом спустился к причалу. У входа в бухту стояла белая моторная лодка с кирпично-красной крышей каюты, а на ней — два неподвижных удильщика, он ощутил досаду в их взглядах. «Только этих рыбаков нам не хватало,— подумал он,— мы ведь купаемся здесь каждый вечер».

Он начал раздеваться. Снял рубашку, джинсы, сандалии. И увидел, как мужчины вытянули лески и недовольно удалились.

«Скатертью дорожка,— подумал он,— все равно солнце давно село и вам пора восвояси».

Он вошел в воду, дно здесь было каменистое; красные, синие, серые камни, круглые и плоские, лежали на песке, просвечивали сквозь прозрачную воду.

Лодки Ингеборг нигде не было.

После обеда она пришла в его тенистый уголок, сдвинула газеты и присела на краешек табуретки.

— Кончай читать,— сказала Ингеборг,— уже около двух, ты обещал, что мы переправимся сегодня на ту сторону.

Он ответил:

— Статья очень интересная. А кроме того, завтра ведь тоже будет день.

— И наверное, дождь.

Ингеборг пошла в дом. Он продолжал читать.

Немного погодя она крикнула:

— Я покатаюсь одна.

Ссоры не было, нет, ссоры не было. Но он не поверил, что она решится сама переплыть озеро. «А почему бы и нет? — говорил он себе теперь.— И вообще нехорошо, мы все время словно приклеены друг к другу».

Солнце освещало противоположный берег, лес подступал там прямо к береговой кромке. На открытой воде плавали лебедь и лебедята. Три птенца, еще серые, он поглядел на них и поглядел на закат, на мерцающий вдалеке белый город.

И нырнул.

Сразу за полосой камыша озеро становилось глубоким, темно-зеленым, дышало широкими взмахами волн.

Он доплыл до верш, на шестах неподвижно застыли чайки. «Как фарфоровые изоляторы на столбах»,— подумал он. Впереди заметил диких уток и попробовал догнать их. Утки с шумом взлетели.

Заплыл он так далеко, как они с Ингеборг заплывали каждый вечер: отсюда мысленно можно было провести прямую линию между дальним мысом, где косо вонзалось в небо кривое дерево, и башней на востоке, над городом.

Он начал описывать широкую дугу по направлению к башне, к городу, но никак не мог решиться поплыть обратно, перевернулся на спину, взбил фонтан брызг ногами, нырнул, проверяя, увидит ли что-нибудь под водой.

Все это вместе наполнило его давно неиспытанным наслаждением. Казалось, он до сих пор не видел по-настоящему ни зеленой, ласковой воды, ни неба, ни полосы леса, строго и серьезно отраженного озером, вообще ничего не видел.

Он закончил петлю поворота — снова перед ним был берег, он почти со стыдом подумал, что совсем не ощущает отсутствия Ингеборг, и огляделся в поисках ее голубой лодки.

Вдруг решился и взял направление на другой берег, на желтый кусочек пляжа и пестрые палатки, красные и зеленые.

Сначала плыл быстро. Он думал: вот-вот появится Ингеборг.

Чем дальше он плыл, тем сильнее становились волны. Сначала, однако, он хорошо справлялся с ними. Они подымали его на вздохе, а на выходе он скользил вниз. Только иногда вода ударяла его в лицо.

Звезда, стоявшая над берегом, упрямо бросала перед ним световую дорожку, которую дробили на куски волны и удары его рук.

Он оглянулся: их берег был теперь далеко. Едва виднелся камыш, темнел лес. Пожалуй, теперь ближе был другой берег. Светился пляж.

Вдруг перед ним возникла тонкая шея с посаженной под прямым углом головкой чомги: явилась из ничего и снова исчезла.

Он не знал, то ли волны и впрямь стали выше и набегали быстрее, так что руки больше не справлялись с их толчками и не хватало воздуха, то ли сдали его ловкость и внимание. Волны захлестывали его, он ловил воздух ртом, волны в белых коронах грозно, отвесной стеной, вырастали перед ним и закрывали берег.

Он сказал себе, что все дело в том, чтобы плыть спокойно, уверенно и ровно дышать. В конце концов не такое уж это большое расстояние! Он увидел вдали пассажирский пароход, далекий и деловитый, пароход подходил к причалу у Старого монастыря.

У пловца заныли руки. Теперь он не видел берега, к которому стремился, даже когда его подымало на гребень волны.

То ли недоставало вечернего света, то ли пловец неверно рассчитал расстояние. Берег, от которого он уплывал, наверное, тоже исчез в сумерках. Чтобы не тратить сил, он не оглядывался назад.

Маленький приветливый пароходик стремился к западной стороне озера, а на востоке сверкал холодный и далекий город. Небо потемнело, его усеяли звезды.

Пловец подумал, что озеро под ним глубиной с церковную башню, внизу — причудливое дно, полное водорослей, раковин, рыб, камней.

«Я должен отдохнуть, я должен отдохнуть и сделать это как можно лучше, все равно — поперек или вдоль волн, это вовсе не какие-то особенные волны, я же знаю».

Он лег на спину, раскинул руки и слегка подвигал ими. Ему удалось лечь так, чтобы волны несли его. Но он выдержал только несколько секунд — не смог дольше глядеть в повисшее прямо над ним небо; казалось, волны унесут его туда.

Захлестнутый волной, задыхаясь, он испуганно перевернулся, сориентировался по огням города и поплыл, делая неуверенные гребки.

«А если я не справлюсь? Что будет тогда? Озеро сомкнется надо мной, словно меня никогда и не было. Какое ему дело до меня.

Но люди, Ингеборг?

Но ведь Ингеборг все еще не вернулась.

Она будет обо мне хорошо вспоминать. Ребенок скоро забудет. А в отделе...

Я давно уже собирался все записывать, чтобы тот, кому, может быть, неожиданно придется занять мое место, сразу во всем разобрался. Обычно отпуск тянется спокойно, ну, а если что-нибудь случится. Как знать».

Может быть, завтра кто-нибудь придумает новый способ строить дома, соединять и ставить друг на друга панели. Ему пришло в голову, что можно изготовить целые горы легкого, негорючего, изолирующего материала и на месте вырезать из него квартиры, такие, какие нужны. Что за многообразие вариантов открылось бы тогда.

Балконы, купола — и никаких проблем статики. А оставшийся материал пойдет на другую стройку.

Теперь он плыл спокойнее.

«Возможно,— подумал он,— такие мысли и более удачные уже рождались в головах других людей, и какое значение имеет тогда мое существование?»

Он дышал ровнее, руки стали послушнее. Берег должен быть уже близко.

Лебедь он заметил только, когда она, шипя и хлопая крыльями, бросилась на него.

Он подумал: вот, значит, и конец.

Он оборонялся не потому, что надеялся, а в страхе, в отчаянье.

Он защищался, подняв руку, стараясь не погружаться в воду. Странным образом, он боялся причинить ей вред так же, как боялся, что она потопит его.

Наконец, ему удалось, ныряя, спастись от птицы.

Когда он снова успокоился, он увидел берег. Он узнал камыш и кроны деревьев на фоне неба. Вплывая в маленькую бухту, почувствовал, что его касаются водоросли и наконец можно встать на ноги. Тяжело дыша, перебрался вброд через полосу камышей. Теперь он услышал голоса и увидел красноватый свет.

Они сидели в стороне у костра.

Они пели.

Ингеборг сидела с ними. Когда он раздвинул кусты сирени, она увидела его, бросилась навстречу, потянула к костру.

— Ты дрожишь и задыхаешься,— сказала она.

Юноша подложил хворосту в красные угли костра, и ветки послушно вспыхнули желтым зубчатым пламенем.

Остальные приветствовали его взглядом и подвинулись, продолжая петь. Он не понимал слов песни, печальной, чужой и прекрасной.

Возле него сидела седая женщина с пышными волосами и лбом, перерезанным морщинами. Она обхватила колени руками и слегка покачивалась в ритме песни. Ее серьезный и строгий голос вел за собой других.

Когда кончилась песня, она обняла Ингеборг за плечи и притянула к себе. Он не понял, что она сказала.

Но ведь и на родном языке мы не для всего умеем найти слова.

Мануэль

Учитель Иоахим Б., тридцати пяти лет, впервые познакомился со своим сыном на первом после летних каникул уроке математики в пятом классе «В». Он знал этот класс еще в прошлом году. Он вел здесь физику и математику, это был хороший класс, ровный и дружный.

Войдя в класс, он увидел два новых лица: толстую, крепкую и сдержанную девочку и впереди у окна долговязого мальчика, светловолосого и нервного. «Где же я его видел?» — подумал учитель.

Он спросил обоих, как их зовут. Девочку звали Гертруда, Гертруда Бауэр [1]. Подходящая фамилия для нее, отметил он мельком.

Мальчик встал, откинул волосы со лба и сказал: «Мануэль Людерер».

Услышав имя, учитель испугался. Он давно не вспоминал о ребенке. Собственно говоря, он просто забыл о нем. Фамилия подтвердила: перед ним его сын. Никакого сомнения.

И в самом деле. С тех пор прошло десять или одиннадцать лет. Десять лет — именно это удивило его теперь больше всего.

Он внимательно поглядел на мальчика. Он не мог установить никакого сходства ни с девушкой, которая жила в его воспоминании, ни с женщиной, которой она стала. Он встречал ее за эти годы несколько раз.

Она вышла замуж за того химика, с которым была близка еще до него. Их отношения — он избегал даже наедине с самим собой произносить слово «любовь»,— их знакомство пришлось на время разрыва с химиком. Разумеется, у него тогда и в мыслях не было, что она собирается вернуться к тому.

Но потом, когда это случилось, она откровенно рассказала ему о своих намерениях.

Он, конечно, страдал от разрыва, но еще больше от чувства, что его обманули. Иногда, особенно по ночам, он утешал себя мыслью, что ее отношения с химиком более давние, нередко девушки возвращаются к своей первой любви.

Недоразумения, которые возникали иногда между ними, он мог теперь задним числом объяснить этим же.

Однажды в жаркий день в середине лета она поднялась своей быстрой походкой по лестнице к нему наверх. Он узнал ее шаги прежде, чем она позвонила.

— Не сердись,— сказала она,— мне нужно с тобой поговорить.

Он подвинул ей кресло и отложил в сторону тетради, которые проверял.

Она села несколько неуклюже, он заметил это. У него екнуло сердце. Значит, у них что-то не ладится. Может быть, тот просто бросил ее. Он был готов сделать для нее все, даже самое необычайное. Даже так — чем труднее, тем лучше.

Но мысль о том, что ребенок, которого она, судя по всему, носила, может быть его, ему вообще не пришла в голову. Слишком далеким казалось то время, далеким и счастливым прошлым.

Она улыбнулась и отерла бусинки пота со лба.

— Ужасная жара,— сказал он.— Я принесу чего-нибудь прохладительного.

— Не стоит,— сказала она.— Я спешу.

Он достал из шкафа два бокала и пошел на кухню. Из-под окна

---

[1] Bauer — крестьянин *(нем.)*.

вытащил бутылки, взял с полки жестянку с печеньем. У него дрожали руки, и он никак не мог ее открыть.

Пока он лихорадочно возился, он прислушивался к звукам в комнате. Но там было тихо.

Он поставил бутылку и тарелку с печеньем на поднос. Она сидела в той же позе и повернула к нему лицо, на котором по-прежнему была улыбка и бусинки пота.

Он налил сельтерской и поставил печенье на стол. Он искал слова, чтобы сказать ей, как он счастлив, что она вернулась к нему.

И тут она сказала:

— Мы поженимся на той неделе.— И когда он не понял, добавила: — Мы хотели подождать, пока все будет позади. Но для чего ждать?

Она облизнула губы, держа прохладный бокал обеими руками.

— На той неделе,— повторил он, чтобы разрушить тишину в комнате.

У нее было приветливое, как всегда, лицо, приветливое, и красивое, и невинное.

— Он знает, что ребенок не от него, он говорит, ему это безразлично. Он такой. Я ему рассказала про нас.

— Он мог бы и сам высчитать,— сказал Иоахим. Его внезапно зазнобило, несмотря на августовскую жару.— Чего же вы хотите от меня? — спросил он.

— Ничего,— ответила она небрежно,— совсем ничего. Мы просто подумали; лучше, чтобы не было разговоров. И для ребенка. Как ты считаешь?

— Да,— ответил он. Однако она продолжала сидеть и говорила о посторонних вещах, о квартире, о мебели.

Затем он долго не видел ее, однажды он встретил ее у магазина уже после рождения ребенка. Она была одета по последней моде. Длинный шарф развевался на ветру. Она протянула руку, ему всегда была неприятна ее рука, слишком маленькая и влажная.

Она приветливо сказала, что сегодня, к сожалению, не взяла с собой ребенка. Да, да, это сын. Мануэль, если ему интересно.

— Красивое имя,— сказала она,— не правда ли?

— Разумеется,— ответил он.— Конечно.

Ее лицо не изменилось. Она, казалось, была удивлена, что он так быстро попрощался, но продолжала улыбаться.

— Мы еще не раз тут встретимся,— сказала она.

И действительно, потом он видел ее иногда мельком на улице, в кино, однажды на концерте. Но всегда вместе с мужем, который производил впечатление приятного и воспитанного человека.

В этот первый день занятий Иоахим написал на доске задачу.

— Кто хочет решить?

Несколько рук поднялись вверх. Поднял руку и Мануэль. Однако учитель вызвал не его, а девочку, которая в прошлом году училась посредственно. Она считала медленно и сосредоточенно. Под конец сделала ошибку. Весь класс поправил ее.

Иоахим стер с доски и написал вторую задачу, более трудную. Мануэль тотчас снова вызвался отвечать. Задачу решил. За ней последовала третья, на вид подобная двум первым, но в ней таилась ловушка.

Мануэль и на этот раз поднял руку.

Как он справится?

Иоахим напряженно ждал: заметит ли он ловушку? Что станет делать, если ошибется? Сохранит ли эту небрежную уверенность, которой так щеголяет?

Мануэль взял мел и, прищурившись и закусив губу, изучал задачу. Он решал правильно, словно считывая с книги. Класс захлопал.

То, как он сел, как принял аплодисменты, показало, что он тщеславен, если не высокомерен.

«Я тебя от этого отучу»,— подумал Иоахим. И еще подумал: «Это от нее». Он больше не вызывал мальчика на этом уроке, хотя тот схватывал на лету все, что объяснял учитель.

На пути домой Иоахима мучили противоречивые мысли и чувства. Он не в силах был разобраться в них. Ясно было одно: перед ним неожиданно встала задача, от решения которой он не может уклониться.

В последующие дни он наблюдал за мальчиком, пытаясь проникнуть в его сущность, скрытую за уверенной манерой вести себя. Он сравнивал его с остальными детьми, с самим собой. Заносчивость Мануэля казалась непрошибаемой. Даже тогда, когда он не блистал. Он пожимал плечами с вежливой улыбкой, которую можно обозначить словом «sorry».

— Ты этого, значит, не знаешь?

— Нет,— отвечал он дружелюбно.

Плохие отметки он принимал с таким же видом — как второстепенные мелочи, которые ничем не могут умалить его превосходства над остальными. Несомненно, то, как он был одет, укрепляло его самоуверенность, его манеру принимал весь класс, за исключением двух-трех ребят.

Он был одет не столько по моде, сколько подчиняясь тому неписаному закону, о котором никто не знает, откуда он пришел, но который определяет, как низко носить пояс на бедрах, насколько закатывать рукава, какие предпочитать цвета. И в то же время было нечто вызывающее в его одежде — в пуговицах, в пряжках, в ремешке часов.

Иоахим искал возможности проникнуть сквозь эту лощеную гладкость. Он спрашивал себя, какая же обстановка у мальчика дома, если он в наше время ведет себя так. Ничему не придает он значения, все словно отскакивает от него. Ни для кого и ни для чего он пальцем о палец не ударит.

Что может сделать для него Иоахим, его отец?

Четыре часа математики в неделю, и из них на долю Мануэля выпадает тридцатая часть.

Разумеется, это не совсем так. На самом деле он уделял ему больше внимания, чем двадцати девяти остальным, хотя и не имел на это права.

Над раскрытой книгой, ночью в обрывках снов, за едой и проверяя тетради — он размышлял, как приобрести влияние на мальчика. Простейший путь — через мать и мнимого отца — он отверг с самого начала.

Наконец ему на помощь пришел случай.

Один из слабых учеников Иоахима получил за контрольную работу низкий балл. Это для него было особенно плохо, так как учебный год близился к концу. Хотя Мануэль и не был первым по математике, но тем не менее всегда числился сильным учеником. Иоахим решил поручить Мануэлю помочь Фридеману Бауэру. Он рассчитывал при этом как на его дружелюбную вежливость, так и на присущее ему тщеславие.

Это удалось. Мануэль согласился со своей обычной небрежностью.

Дома, в своей маленькой квартирке, Иоахим долго стоял перед полкой с книгами.

Все это, думал он, оглядывая ряды книг, принадлежит мне. Каждое слово я продумал и перечувствовал. Я все передам ему. «У меня,— подумал он,— у меня есть наследник. Вот,— скажу я ему,— читай и читай».

Он рисовал себе картину, как мальчик станет ему другом, как будут они вместе жить.

Уже на следующий день они сидели втроем в кафе на центральной площади, его называли «Кафе-галерея». Здесь встречались люди, чтобы поговорить, здесь учителя пили кофе в свободную минуту, старшеклассники ждали автобуса. Они обсуждали, что нужно Фридеману с помощью Мануэля повторить и в чем особенно поупражняться. Иоахим устроил так, что ребята должны были зайти к нему домой, чтобы рассказать, как идет работа.

Он подготовился к их приходу: поставил на видное место книги о путешествиях и приключениях. Они должны заинтересовать Мануэля.

Ему это удалось. Удалось настолько, что вскоре Мануэль пришел к нему за книгой один. Иоахим быстро понял, что́ интересует мальчика.

Теперь у Иоахима появились достаточные основания, чтобы представлять себе, как могли бы сложиться их отношения: отца к сыну и сына к отцу, хотя сыну пока не следовало знать об этих их особых отношениях. Он узнает правду, когда станет совершеннолетним.

Это законное, естественное право каждого человека. Никто не может отнять у него это право.

Иногда, наедине с собой, он обдумывал беседы, которые они будут вести с сыном. Он купит парусную лодку для каникул. Мануэль должен знать и уметь все, что знает и умеет он сам.

Но до этого дело не дошло. Утром в воскресенье незадолго до каникул он ждал мальчиков у себя дома. Фридеман должен был в понедельник написать повторную контрольную, чтобы исправить отметку. К этому следовало подготовиться.

Фридеман пришел один.

— Может быть, Мануэль заболел,— сказал Иоахим, сам не веря этому. Он несколько раз прислушивался, не хлопнет ли входная дверь, не придет ли еще Мануль.

Он был рассеян и продиктовал Фридеману задачу из курса четвертого класса.

На другой день Мануэль появился в школе, как всегда размахивая портфелем. Красивый, загорелый, быть может, чуточку самоуверенный подросток.

На уроке он спросил Мануэля, почему тот не пришел вчера.

— У меня не было времени,— ответил мальчик.

— Не было времени? — переспросил Иоахим.— Ты же бросил Фридемана на произвол судьбы.

Класс согласился с учителем. Но ему показалось, что его слова не задели мальчика, в глазах Мануэля светились высокомерие и даже насмешка.

Минуту Мануэль простоял в нерешительности, потом дернул плечом, огляделся и, так как ничего не последовало, быстро и с шумом сел.

Вечером в среду Мануэль сам пришел к нему. Он вернул книгу и попросил другую. Иоахим дал ему книгу, которую тот просил, и в придачу альбом с цветными фотографиями Конго.

— Если он тебе понравится, оставь себе. У меня их случайно оказалось два,— сказал он.

Мануэль поколебался, но все-таки сунул альбом в портфель.

На следующий день в школу пришел отец, вернее, человек, считавшийся отцом.

Он пришел около десяти, во время большой перемены.

— Мы не хотим,— сказал он,— чтобы вы давали Мануэлю такие дорогие книги, он еще ребенок и легко может их испортить. И мы решительно возражаем против того, чтобы вы делали ему такие подарки.— И добавил: — Мы вообще не думаем, что он уже достаточно разбирается в таких книгах.

Они стояли в коридоре, на лестнице шумели дети, мимо промчалась молодая учительница.

«Мы,— так он сказал,— мы решительно возражаем».

Иоахим взял книгу, она была обернута в прозрачную зеленую бумагу.

Людерер-старший улыбался вежливо, уверенный, что Иоахим примет замечание к сведению.

— Хорошо, все в порядке,— сказал Иоахим,— спасибо.

Его не столько обескуражило это, сколько насмешило: что он сможет противопоставить моему влиянию, подумал Иоахим.

В следующем учебном году он будет классным руководителем у Мануэля.

«Вы хотите борьбы, пожалуйста»,— подумал он, положил книгу в свой ящик в учительской и стал ждать звонка.

Но бороться не пришлось. Все обернулось хуже.

За несколько дней до начала нового учебного года Иоахима пригласил для разговора директор школы Трибзанд.

— У меня были супруги Людерер.

Значит, супруги. Судя по этому, она не так уверена в себе.

— Ты их знаешь? Их сын был в пятом «В».

— Да,— сказал Иоахим.

— Они были у советника по школьным делам с просьбой перевести сына в другую школу. В качестве причины они сослались на то, что мальчику далеко ходить. Школа на Мовенштрассе ближе. Вообще-то говоря, разница здесь минуты в две.

— Так,— сказал Иоахим.— Ты согласился?

Трибзанд положил карандаш, который вертел в руках, параллельно линейке на столе.

— Мне не легко говорить об этом, но я не хочу от тебя ничего скрывать. Они намекнули, что употребляют эту формулировку, чтобы не прибегнуть к другой. Они говорили вполне корректно, жена в особенности произвела на меня впечатление делового человека. Она сказала, возможно, ее сын сам дал повод для этого. Ты якобы выделял его из коллектива. Она говорила, что он приходил к тебе домой, что ты делал ему дорогие подарки.

Оба помолчали.

— Ты понимаешь,— сказал Трибзанд,— хотя я убежден, что тебе ничего нельзя поставить в вину, даже намеком, мы должны пресекать такие разговоры в корне. Это прежде всего в твоих интересах.

Он снова начал играть карандашом.

— Хорошо,— проговорил Иоахим,— хорошо.

— Тогда все в порядке,— сказал Трибзанд.

Он поднялся, чтобы пожать Иоахиму руку.

— Нет,— сказал Иоахим.

Он еще не знал, что будет делать. У него потемнело в глазах,

рука, которой он опирался на стол, дрожала. Как можно объяснить то, что он хотел объяснить? Как можно освободиться от удобной и липучей лжи, которую мы все еще допускаем?

— Нет,— сказал он.

И резко поднялся.

— Нет,— повторил он,— я этого не допущу.

После долгой-долгой зимы

Это случилось в первый день, который мы провели в этом году за городом, после долгой зимы с сугробами и снежными бурями, с белой неподвижной равниной, там, где — мы уже и позабыли об этом — синело кудрявое от волн озеро. В пятницу весь день светило солнце и было решено в воскресенье обязательно поехать на прогулку. Снег на крышах совсем стаял. Сначала мы поспорили; Роберт, разумеется, хотел погрузить всех в «вартбург», это всего удобнее. По дороге можно вылезти в любом месте, где понравится.

Мне же хотелось не только из окна увидеть, мне хотелось ощутить на вкус, почувствовать по запаху, что зима прошла. Я сказала:

— Давайте отправимся на прогулку. Побродим. Мы так давно не гуляли.

Мы долго спорили. Наконец Виктору пришло в голову удачное решение. Виктор длинный, худой как жердь.

— Поедем на велосипедах,— сказал он.— Мы будем двигаться быстро, но это все-таки не то, что в машине.

Очень может быть, он предложил велосипеды потому, что это было среднее решение. Роберт так и подумал. Возможно, впрочем, у Виктора была и какая-то задняя мысль. Уж очень быстро Стефа сказала:

— Велосипеды лучше всего. И мама немножко займется спортом.

Я слушала в изумлении. Это было что-то новое. В голосе, в тоне. Может быть, и вправду наступает та единственная минута, когда понимаешь — твой ребенок перестал быть ребенком, он стоит перед тобой, наблюдает за тобой, и на губах его мелькает улыбка, дружелюбная, понимающая и слегка насмешливая, самую малость. И тут же исчезает.

Я подумала: «Конечно, Стефе уже семнадцать...»

Она продолжала:

— Но если мы поедем на велосипедах, Виктору не на чем. Это несправедливо.

Правильно, до самой осени он ездил на детском велосипеде, но сейчас уже вырос.

— У папы велосипед тоже не блестящий. Заведующий отделом может ездить на велосипеде, только это должна быть приличная машина,— Стефа сказала это таким тоном, что Роберт сразу клюнул.

— Если папа купит себе новый, старый можно отдать Виктору. Выбрасывать жалко. Надо только опустить седло.

Роберт, который уже взял одеяло, чтобы отнести его в машину, остановился.

Дело вдруг приняло иной оборот. Теперь речь шла о том, нужен ему велосипед или нет.

Стефа добавила:

— Тебе следует возобновить занятия спортом.

Роберт молчал. Я попыталась поймать заговорщический взгляд брата и сестры, но Виктор глядел в окно.

— Уже половина шестого,— сказала Стефа,— тебе надо торопиться в магазин.

Она взмахнула каштановыми волосами и разделила их на затылке рукой.

— Завтра я заплету косы,— сказала она.

Мы выехали ранним утром, еще стоял туман.

Впереди Виктор, за ним Стефа и Роберт, последней я.

Туман рассеялся, и день стал голубым. Мы подъехали к берегу. В бухте звенели осколки льда, маленькие сильные волны снова и снова ударяли ими о берег.

Озеро было прекрасно.

Неужто зеленые листья, крепкие и блестящие, с четкими жилками прятались всю зиму под снегом или они и впрямь так быстро вылезли из земли?

Мне даже почудилось, что появилась свежая трава. Зато на прутьях лещины и вправду висели желтые сережки. И раздавался птичий голос: пинь-пинь, пинь-пинь.

Остальные то и дело оглядывались на меня, но я кивала им, пусть едут дальше, я их догоню.

Они соглашались, хотя не вполне понимали меня.

Дорога свернула в лес. Она была разъезжена тягачами, которые вывозили бревна. Там, где раньше лежали штабеля бревен, остались длинные светлые ленты коры. Земля в лесу была еще коричневой от прошлогодней листвы.

Неподалеку от деревни почва стала песчаной, слева и справа за загородками на ухоженных грядках стояли маленькие, по колено, сосенки и крошечные елочки.

Дети по-прежнему ехали впереди, теперь они свернули к деревне.

Я почувствовала жажду и даже голод. Лес показался мне сегодня строгим и серьезным. Слишком долго мы не были здесь, и теперь он смущал нас своим покоем, своей жизнью, которая протекает в иных временных границах, чем наша.

В кабачке было дымно и шумно, то и дело хлопала дверь. Входили люди в синих спецовках и резиновых сапогах. Они покупали шипучку и сигареты, громко разговаривали с хозяйкой, смеялись.

Хозяйка, низенькая худая особа на точких ногах, с короткой стрижкой и носом, как у дятла, быстро и уверенно ставила на столы лимонад, тарелки с сосисками, хлеб и горчицу.

Снова пускаясь в путь, мы решили поехать к летнему городку. Нам казалось вполне вероятным, что там мы встретим кого-нибудь из наших прошлогодних друзей.

— Надо поглядеть,— сказал Виктор,— не испортил ли снег бунгало, не опрокинул ли киоск и в порядке ли насос.

От деревни к палаточному городку вела мощеная дорога. Мы, все четверо, ехали в ряд. Виктор неотрывно глядел вниз на косогор.

— Для грибов еще рано,— сказала Стефа, и я внезапно почувствовала вкус грибов во рту.

У большого валуна, где дорога снова подошла к озеру, мимо нас пролетела желтая бабочка.

Палаточный городок был пуст. Опасения Виктора не оправдались:

насос был заботливо размонтирован. Даже стекла в окнах киоска уцелели. Только поблекла синяя, красная и желтая краска бунгало, да Виктор поискал и не нашел удочек, спрятанных им осенью под лесенкой.

Мы пошли к причалу. Столбы еще стояли, а доски были разбросаны вокруг, одни валялись на берегу, другие плавали на мелководье.

— Это натворил лед,— сказал Роберт.

Виктор не поверил.

— Лед! — повторил он.— А мои удочки?

В эту минуту мы увидели юношу. Он сидел внизу у воды на стволе осины, которая упала кроной в озеро еще три года назад.

Он, вероятно, все это время наблюдал за нами. Он сказал:

— Извините, не бойтесь меня.

— Бояться? Почему? — спросил Роберт. Он действительно вздрогнул.

— Я тут сижу. Вы меня не заметили.

Молодой человек поднялся и подошел к нам.

— Еще холодно,— сказал он.

И достал пачку сигарет.

— Вы курите?

— Спасибо.— Роберт взял одну. Они зажгли сигареты, прикрываясь рукой от ветра. Стефа и даже Виктор держались в стороне.

— Здесь можно где-нибудь поесть?

— Там,— Роберт указал на восток,— в деревне.— И спросил:— Вы пешком?

Молодой человек покачал головой, и теперь мы увидели у крайнего бунгало мопед.

— Вы доберетесь за пять минут,— добавил Роберт. Тем не менее мы не уходили. Мужчины курили. Стефа глядела себе под ноги, ее темные косы свисали вниз. Может быть, мы уже понимали, что стоим здесь из-за нее.

Виктор сказал:

— Вы можете сесть, на мысу есть скамейка.

Роберт еще раз глубоко затянулся, потом бросил сигарету и наступил на нее.

— Можно,— предложил он,— развести на мысу костер. Сейчас только четыре.

Мы с изумлением смотрели на него.

Здесь рано темнеет. Солнце сразу заходит за лес, который поднимается над равниной.

Мыс — место вечерних встреч жителей летнего городка. Он выступает узким полуостровом в озеро. Огонь на нем виден в летние ночи издалека, даже из города.

И мы в самом деле начали собирать хворост. Незнакомец притаскивал такие охапки, словно намеревался проводить здесь дни и ночи.

Только с четвертой попытки удалось Роберту зажечь хворост. Дым стелился по земле. С лета здесь лежали качели, мы уселись на них, и каждый порыв ветра обвевал нас дымом.

Вдалеке в тумане вставал город, его башни и белые высотные дома, построенные только осенью; они казались нам чужими и красивыми.

Костер разгорелся и перестал дымить; он трещал и брызгал искрами, излучая тепло.

— Вы здесь раньше не бывали? — спросил Роберт.

— Мне хочется построить здесь бунгало,— сказал незнакомец,— я и решил оглядеться.

Роберт кивнул.

Стефа подняла глаза и поглядела на него с удивлением.

Он понял, пожал плечами, но ничего не сказал.

Стало тихо, только шорох и треск огня. Мы вдруг сразу отдалились друг от друга, как будто порыв ветра пронесся между нами. Почему?

— Я принесу музыку,— сказал молодой человек, словно перепрыгивая этой фразой через камень. Ушел и вернулся с небольшим ящичком. Конечно, безумная музыка, которая околдовала нынче всю молодежь. Когда я смотрю на них, на него, на Стефу, на Виктора — тот даже перестал мешать палкой в костре, подперся рукой и самозабвенно слушает,— мне кажется, что дыхание этой музыки на минуту захватывает и меня. Роберт выуживает сигарету из пачки. Потом молодой человек выключает свой ящичек, и мы снова окунаемся в тишину.

Виктор поправляет костер, который снова шумит и потрескивает. Противоположный берег освещается солнцем, оно коснулось горизонта за лесом.

— Послушайте,— говорит юноша и наклоняется к Стефе, но в этой удивительной тишине слышно каждое его слово,— я притащил сюда эту штуку, чтобы вы спели. А если вам не хочется петь, скажите что-нибудь на пленку. Чтобы я мог взять это с собой.

Я вижу, как пугается Стефа.

— Не даром,— быстро говорит он,— я заплачу, сколько вы скажете.

Стефа не отвечает. Она смотрит на него спокойно, с легким любопытством и явным удивлением.

— Мне нужна только пленка. Я выну ее, а ящик подарю вам.

Он даже не стесняется, ни Роберта, ни меня. У костра Виктор в упор смотрит на него.

Стефа, по-прежнему глядя ему в лицо, встает и поворачивается, чтобы уйти. Быстрым нервным движением он удерживает ее.

— Что случилось? Что плохого я сказал?

Теперь должен бы вмешаться Роберт, но он молчит. Мы словно окаменели.

И Стефа снова садится и снова слушает молодого человека.

— Что плохого я сказал? Я сказал, как оно есть. Никогда нельзя обманывать самих себя.

— Иногда бывает лучше обмануть самого себя. По крайней мере, какое-то время кажется, что так лучше, но я уже прошла через это.

— Не очень-то долго это продолжалось.

— У меня было мало времени.

Стефа сидит тихо, слегка прищурив глаза. Смеркается. Тучи затягивают небо. Виктор снова подбросил дров в костер. Серебристо-серая гладь озера неподвижна. Из зарослей камыша доносится песня льда — тонкая, высокая, на два голоса.

— Мне нет нужды прятаться. Ни от кого. Я кое-что достиг. Можете мне поверить. Вы думаете, это было просто? Вам этого не понять.

Маленькая деревушка, представляете? Девять километров до города по проселку. Моя мать батрачила у крестьян по всей округе. Кто бы чужой ни приходил в деревню, он спал у нас. Вот так. С ней. Что случилось с моим отцом, я не знаю. Они говорили, погиб. Я никогда не допытывался. Потом родилась сестренка, а потом еще мальчик. Она подняла нас всех. Вполне заурядная история; таких историй сотни тысяч. Никто больше не хочет слышать их. Только для меня она одна-единственная, моя. У человека бывает всегда одна.

Мать много пела. В поле, в хлеву, у печки, за стиркой. Она знала много песен.

Она радовалась, что я учусь, но никогда не могла понять зачем.

Я навещаю ее иногда. Теперь не очень охотно. Когда мы выросли, она снова вышла замуж. За пенсионера, по объявлению в газете.

Когда я стал студентом, она гордилась мной. Она взяла мою фотографию для паспорта и поставила в комнате на радиоприемник.

Мне нет нужды ничего скрывать. Я всего добился сам. Аттестат зрелости. Государственные экзамены. Мне двадцать восемь, и я зарабатываю кучу денег. Я еще не сказал, чем занимаюсь: я судостроитель. В этой области у нас большие успехи. Я опубликовал несколько статей — можете смеяться. Понимаю, в этом нет ничего особенного.

Он умолк. Молчали все. Стефа склонилась к огню и терла руки, словно ей холодно.

— Я добился того,— сказал он,— что задумал. Достиг того, чего хотел. Я знаю себе цену. И могу это всем сказать.

Он протянул руки к огню, расставил пальцы.

— Но все уходит между пальцев. Все. И то, что выглядит как счастье. Почему? Почему у меня так? Другим легче. Мне никто не давал форы, никогда. Другие смогли бы удержать все.

Тишина. На воде заблестели огни. От костра падает длинный пылающий отсвет. Тишина и нежное позвякивание танцующих льдинок.

— Почему? А что они делают из него, господи, когда я на это смотрю!..

Я поворачиваю голову и взглядываю на него. Он не лжет. Все это правда. Так он думает, так чувствует. Он сплел пальцы и свесил руки между колен.

Он наклонился к Стефе, мимо меня.

— Я болтаю чепуху,— сказал он.— Не принимайте этого всерьез. Он схватил свой ящичек и крутит верньеры.

— Спойте,— попросил он,— или скажите несколько слов.

Я с усилием сдержала себя. Я смотрела на Роберта. Должен же он что-то сделать. Но он не пошевельнулся.

Долгая тяжелая минута проходит в молчании. Молодой человек хочет подняться. Стефа не пускает его. Взглядом она удерживает его. Она забрасывает косы за спину, сначала одну, потом другую. Она спрашивает:

— Зачем? Зачем вам это нужно? Мы ведь только начали разговаривать друг с другом. У нас еще много времени.

Она смотрит на него своими серьезными зелеными глазами, они у нее и в детстве были такими.

Из толстого уже почерневшего сучка внезапно вырывается синее пламя и несколько секунд свободно парит в воздухе.

Мы встаем. Меня знобит. У меня застыли колени. Виктор бросает тлеющие сучья в костер, остальные заботливо засыпают кострище песком.

Прежде чем идти к велосипедам, мы вглядываемся в колеблющуюся серую пелену и не знаем, где кончается озеро, где начинается небо. Со стороны мерцающего белым пятном города заблестели первые огни.

■

РОБЕР АНДРЕ

Взгляд египтянки

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА

От автора

Писателю трудно самого себя перечитывать. Он слишком хорошо знает (или думает, что знает), как сделан, как делался текст. И, главное, он владеет ключом к личному жизненному опыту, которым он наделил свои персонажи. Нужно уметь совершенно забыть об этой изнанке текста, чтобы понять, каковы же впечатления человека, который раскрывает вашу книгу и начинает ее читать в полном неведении относительно того, что в ней должно произойти.

Но если книге выпала удача — если она переведена на другой язык и вступает в контакт с зарубежными читателями, тем более с читателями, живущими в обществе, где условия жизни коренным образом отличаются от тех условий, в которых писал свою книгу автор и в которых по необходимости черпал он свое вдохновение,— тогда ему, наверное, стоит перечитать свой текст. Ибо некоторые объяснения, которые автор может дать своим советским читателям, могут быть для них небесполезны...

Автор надеется, однако, что его повесть говорит сама за себя. Он лишь хочет сказать, что, используя свою собственную, индивидуальную систему координат, он стремился выразить жизненную правду и выстраивал факты, взятые из конкретной действительности. Благодаря этому в повести поддерживается равновесие между моментами чисто субъективными, связанными, в частности, с изображением сна и бреда, с одной стороны, и их подспудной социальной основой — с другой.

Эту книгу автор писал больше чувствами, нежели рассудком. Да и входит ли вообще в писательскую задачу судить своих героев?

Я разделяю убеждение Чехова, высказанное им в знаменитом пассаже письма к Суворину: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу... Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло, Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть».

И вот Мариам покрылась проказою, как снегом...

Книга Чисел, гл. 12

В углах губ пена, во рту странный вкус, отдающий металлом и солью, холод в руках и ногах, омерзительный холод, извечный враг солдата, но пока в большой кавалерийской фляге осталось вино, а между рубахой и телом проложены газеты, он кое-как еще держится, он бредет по глине, по изрытой снарядами и заляпанной пятнами снега земле, он тащится в свете луны, мрачно глядящей на овраги и ямы, из которых ползет немыслимый смрад.

«На север, держите на север и северо-восток, лейтенант!»

На север, к окоченевшей Полярной звезде, сквозь холод мертвой земли. Вокруг, на обрубках деревьев, отливая черным глянцем, громоздятся во́роны...

Он нашаривает платок, вытирает рот, пытается отыскать грушу звонка, хочет взглянуть, который час, но на том месте, где положено быть ночному столику, встречает лишь пустоту — в ней неясно белеет его рука. И тогда он все вспоминает. Замечает напротив другую полку. Анриэтта спит...

Путешествие! Скажите на милость! Хоть раз в жизни ощутил ли он это нелепое желание — путешествовать? Эту страсть, про которую она все уши ему прожужжала? Разумеется, нет! В неуклонном его восхождении не было ни минуты передышки, не было даже крохотной щелки, в которую могло бы просочиться несуразное это желание, просочиться и внести смуту, нарушить неумолимый распорядок его времени. А распорядок — ключ к успеху. И ко всем радостям, которые дарует человеку успех.

— К самым лучшим, несравненным! — шепчет Рени.— Нечего жаловаться на судьбу. Надо быть честным: жизнь меня только баловала.

Пейзаж, струящийся за вагонным окном, все больше светлеет. Близится день, он прогонит, он непременно должен прогнать все эти мысли, которые — лишь отголосок слуховых и зрительных ритмов, рожденных скоростью и темнотой...

Но мысли пока не уходят, и назойливое сравнение гвоздем сидит в голове, еще одурманенной благодатным сном (невероятно, но он в самом деле спал!), и Рени удивлен, с каким неожиданным терпением переносит он собственные раздумья...

Болезнь рассекла время на две части. Раньше слово «думать» означало стремление вырваться из рамок своего «я», порыв к действию — тому, что связано с любимой работой, когда честолюбивый темперамент, питаемый постоянным успехом, ищет и находит все новые и новые территории, которые надо завоевать; теперь же «думать» сделалось возвратом в прошлое, парализующей заминкой. Прежде ему просто некогда было думать, а сегодня он не только думает, но даже получает от этого удовольствие... Времени у него теперь, увы, сколько угодно! И нечем отвлечься от этого рискованного занятия, от опасного этого самокопания, от взгляда, обращенного внутрь самого себя; во всем здесь повинна, конечно, болезнь, с ее губительным результатом — бездеятельностью! Ох, этот взгляд внутрь самого себя, навязчивый, инквизиторский, проникающий все глубже и глубже взгляд, эта постоянная, исполненная страха меланхолия... Скорбное сравнение с двумя склонами: вначале — блистательная полнота бытия, жизнь на одном дыхании, каждый день, каждый час — в непрестанном движении; потом вдруг обрыв, пустота, и застой, и странная пропасть в душе, будто свербящая рана...

Правда, сегодняшнее пробуждение было не столь мучительным, как обычно. Он спал — спал даже в вагоне!.. И она рядом — тоже спит...

Осмотрел, как всегда, платок. Сегодня платок чист, никаких следов, никаких красноватых пятен, которые так пугали его весь месяц. Тиски, сжимавшие грудную клетку и заставлявшие, как маньяка, подносить, на манер оперного певца, руку к левой стороне груди, словно немного разжались...

«Лучшие, единственно подлинные радости. Сама работа была той ценностью, которая все приумножалась и не была подвержена инфляции. Жизнь приносила пользу. А что касается наслаждений...»

Во время бесконечно долгих ночей без сна, которые, несмотря на зажатый в ладони звонок, до отказа бывали забиты страхом (а вдруг коварство судьбы погрузит Анриэтту в такой глубочайший сон, что в случае кризиса она просто не успеет прибежать к нему со спасительной таблеткой!), он охотно перебирал в памяти все этапы своего «предыдущего» времени, и итоги немного успокаивали его — плоды проделанной работы. Воспоминания о былых наслаждениях оставляли его равнодушным, хотя когда-то... Да, теперь мысль причудливо изменяла масштабы прежних пристрастий. Успех оставался успехом, его нельзя ни перечеркнуть, ни разрушить. Но наслаждение с трудом всплывало в памяти. Память отвергала наслаждения. Те наслаждения, которые ценятся человеком, пока ему еще далеко до смертного часа...

Она по-прежнему спит.

Уже рассвело, за окном расстилалась плодородная равнина, досыта напоенная водой, мелькала однообразная вереница лугов, залитых теплой искрящейся зеленью, бежали рисовые поля и оросительные каналы, обсаженные рядами тополей с чутко дрожащей листвой. У горизонта обозначились горы, их вершины еще тонули в туманном мареве. Эти горы он должен был бы узнать, но он ничего не узнавал.

А ведь однажды он уже был в этих местах. Но за тридцать пять лет все меняется до неузнаваемости, война вносит в воспоминания все искажающую ноту — война и время... Из испытаний той далекой поры в памяти осталась только картина отступления, и отступление это было сплошь заполнено радостью, которая — символ самого драгоценного блага, отнятого теперь болезнью: свободы!

Нахлынувшая злость разбудила его окончательно, заставила повернуть голову в сторону другой полки. Там все так же безмятежно спала мадам Рени.

Он ощущал себя узником. Как странно, как мерзко все повернулось в жизни! Странная, мерзкая тюрьма, в которую их заточило супружество!

Во время своих ночных размышлений,— а они с каждым месяцем, с каждой неделей становились все упорней и фантастичней, — Рени внушил себе: именно когда она спит, он окончательно становится узником.

Когда, точно четки, перебирал и отсчитывал он ночные часы, теряя последнюю надежду заснуть и при этом безумно боясь погрузиться в спасительное забытье, потому что кто знает, удастся ли ему снова, уже в обратном направлении, перешагнуть через этот черный порог,— разве не на ее только помощь ему оставалось рассчитывать, не на ту быстроту и проворство, с каким она подбежит и подаст ему всю эту кучу сложных лекарств, предназначенных для того, чтобы поддерживать в организме равновесие соков, нужное для работы пораженного недугом сердца?

Но можно ли полагаться на сон, который так беспробуден, который оборачивается смертельной угрозой?

О, быть целиком и полностью в ее власти, в лапах ее рассеянности, вечного ее легкомыслия и ребячливости! Она ведь всегда отличалась инфантильной бездумностью.

Хранительница жизни, она, из-за лежавшей на ней ответственности, важность которой Рени, качаясь на волнах разыгравшегося воображения, склонен был сильно преувеличивать,— она была сейчас хозяйкой его смерти.

По купе, где бледное свечение ночника противилось натиску занимавшегося дня, рыскало привычное чувство страха. Ну, можно ли так беззаботно, так беспечно спать! Ведь она каждый вечер оставляет его по сути дела без всякой помощи, бросает на волю судьбы. А теперь

опасность возрастет еще больше. Шутка ли — за границей! Отправиться за границу в его теперешнем состоянии! Без врача, который всегда следил за всеми перипетиями болезни, за малейшим отклонением от привычного хода событий. Ведь это так важно — особенно сейчас, когда гуморальное равновесие в организме поддерживается лишь лекарствами, точнейшей их дозировкой... А тут еще резкая перемена климата...

Это она, она захотела поехать, она потащила его за собой, вынудила, заставила, это все она, с ее безобразным упрямством. Раньше ему еще удавалось хоть как-то сопротивляться. Но теперь больше не было сил, он хотел теперь одного — покоя. Да, покой он обрел, но какой ценой! Ценой своей независимости.

Она дышала размеренно, ровно, и он долго вглядывался в отрешенное лицо, наглухо запертое опущенными веками. В этом лице пряталась его смерть... Приступы гнева, с помощью которых ему удавалось хоть ненадолго удерживать опасность на расстоянии, всегда немного успокаивали его — он это знал. Но это был еще один узелок на путах, скреплявших их невероятный союз.

— Нельзя иметь всё!

Да что тут говорить, их союз был сплошным недоразумением. Раньше его часто подмывало с этим недоразумением покончить. Но несмотря на все бури и ураганы, недоразумение устояло. Продержалось целых тридцать пять лет! А ведь все началось с простой случайности, в конце еще той войны, войны, пейзажи которой он снова видел сейчас за окном, совершенно их не узнавая, если не считать озаренного рассветными лучами озера,— Рени вдруг вспомнил его, когда поезд шел через городок, где когда-то стояла их часть.

Из войны он вышел тогда невредимым, но безмерно усталым, разбитым морально. Он ощущал потребность в тихой гавани, в надежном пристанище, ему хотелось создать семью, прочную традиционную семью, какой давно ни у кого не было...

То давнее сожаление, та давняя боль, потаенная и глухая, не имела ничего общего с нынешней его болезнью. Раньше, когда он *думал,* она изредка напоминала о себе. Зато теперь...

Боль? Слово было, пожалуй, неточным. Скорее, тайная, смутная тревога, ощущение пустоты, нехватки чего-то важного — ощущение, которое он всегда торопливо гнал от себя. Мысль, что он чем-то обделен, что он мог бы стать кем-то другим, если бы только... Впрочем, кем другим? Этого он не знал и не хотел знать. Он с пользой употребил в дело свое нынешнее «я», он применил себя в жизни таким, каков он есть, и ощущение нехватки чего-то постепенно ушло, стало чуждым его натуре. Понадобилась болезнь, чтобы прежняя тоска опять подняла голову. Раньше он даже гордился, что не знал настоящего детства. В пережитых испытаниях — наша сила...

Здесь пора сообщить, что мать Рени умерла, когда ему не было и четырех лет. Он не помнил ее.

С первых месяцев жизни его отдали в деревню кормилице. Женщина, которую он звал матерью, была простая крестьянка; он нежно ее любил, но ее образ — в силу времени, расстояния, а главное, в силу его неуклонного восхождения вверх, все больше отдалявшего его от корней,— понемногу тускнел. Рени старался сохранить прежние отношения, поддержать в себе прежнюю нежность, но нежность черствела и наконец превратилась в некое подобие долга; он часто — поначалу каждый год — совершал паломничество на бедную ферму, к бедным крестьянам Центральной Франции, но, увы, против судьбы не пойдешь. Он, Рени, сделался барином, богатым и важным, а она так и ос-

талась простой деревенской женщиной, которой, как и его молочным братьям, легче было объясняться на местном диалекте.

Искаженное воспоминание об умершей, об ее лице, увиденном на старой фотографии, мало-помалу заняло место в его сердце, обернувшись тем ощущением обделенности, той странной тревогой, которая, прежде чем в свою очередь уйти и быть забытой, какое-то время сильно мучила его; это произошло в начале школьных лет, трудных, самых трудных лет его жизни; он провел их в закрытом пансионе; все его детство состояло из сплошной муштры и зубрежки.

При поступлении в эту школу — ему тогда исполнилось семь лет, и он, таким образом, достиг «разумного возраста» — добрые люди сказали, что мать вовсе ему не мать и что настоящей его матерью была та незнакомая молодая женщина с желтым лицом, которая изображена на фотографии в овальной рамке и с траурной лентой; фотографию принес отец и вручил ее в тот момент, когда они переступали порог пансиона; вручение фотографии было обставлено с некоторой торжественностью, которая показалась ему неуместной и бестактной.

Все его братья к тому времени умерли или вот-вот должны были умереть; братья умирали тихо и самым банальным образом — от детских болезней, которым в те времена приходилось платить роковую дань и избежать которых удавалось лишь детям здоровым и крепким — таким, как он.

Впрочем, школьные порядки, установленные святыми отцами, были так хорошо продуманы, требовали от учеников такого внимания, таких постоянных усилий, что он почти не отдавал себе отчета в той пустоте, которая постепенно образовалась вокруг него. Он быстро утратил привычку думать об этом, он вообще надолго утратил ту пагубную склонность думать, что так некстати проявила себя много лет спустя. Забвение было спасением. Должно быть, он уже тогда предчувствовал это. Обделенный всем на свете, но только не умом, он рано понял, что должен быть как следует вооружен — лишь тогда он сможет отвоевать у жизни все то, чего судьба не предоставила ему с колыбели.

Когда в возрасте шестнадцати лет Рени снова — но уже в другом направлении — перешагнул порог пансиона, он обладал довольно солидными по тому времени начатками знаний и внушительным дипломом; границы духовных возможностей юноши были четко определены как его собственной натурой, так и немало потрудившимися над нею преподобными отцами.

Он пустил корни в промышленности, которой ему предстояло отныне служить и которую ему было суждено прославить,— он пустил в ней корни, но поскольку был молодым человеком без роду и племени, всего лишь бедным сыном бедного мебельщика-кустаря, ему пришлось начинать с самой первой ступеньки — простым рассыльным, и с таким ничтожным жалованьем, которое он сам, он, непримиримый консерватор, как, впрочем, и все, кому удалось преодолеть классовые барьеры в обществе, основанном на власти денег, впоследствии считал возмутительно низким.

Однако — я настаиваю на этом — он был прекрасно вооружен. Ощущение обделенности, опасная тревога, охватившая его в семилетнем возрасте, были теперь загнаны в глубину души. Более того, он сумел превратить это в агрессивную тревогу честолюбца.

Его успехи на жизненном поприще на редкость удачно согласовывались с полученным воспитанием; начатки знаний были преподаны ему в школе — и усвоены им — с таким совершенством, что он просто не догадывался об их ограниченности и, уж конечно, от этой ограниченности не страдал.

Война завершила эту внутреннюю работу. Отныне он был больше, чем вооружен — он был закален!

И вот, в силу странного парадокса, именно тогда он вдруг впервые проявил слабость. Из-за охватившей его усталости все едва не пошло прахом: он начал «думать».

Перемирие застало его в госпитале: он медленно поправлялся после отравления газом. Судьба столкнула его с сиделкой, проявившей невероятное самопожертвование, и Рени, при всей его закаленности, неожиданно дрогнул. Подвела болезнь. Панцирь бесчувственности, мужества и упорства, все те высокие качества, которые должны были принести ему победу,— все вдруг рассыпалось в прах. Он чувствовал себя расслабленным и разбитым, его терзали нелепые страхи, мучило разыгравшееся воображение; его совершенно подавил некий двойник, вынырнувший из глубины и, к счастью, вновь канувший в небытие, как только наступило выздоровление. Суровое детство под опекой святых отцов одарило его неиссякаемыми источниками жизненной силы.

Итак, Анриэтта чудодейственно выхаживала его, а «мысль» — этот периодический возврат к своему глубинному «я» — внушала ему странные и опасные бредни, те, что вместе со старой пожелтевшей фотографией были спрятаны в ученическом сундучке.

И злосчастная идея семьи сумела воспользоваться его слабостью...

К тому же слишком затянувшееся холостяцкое положение могло, пожалуй, повредить его деловой карьере!..

«Нельзя иметь все», не так ли? Последующие годы подтвердили правильность этого афоризма. Период душевной удовлетворенности, связанной с выздоровлением, с возвратом к мирной жизни, с красотой Анриэтты, оказался недолгим. Пришло разочарование, обнаружилось необратимое несходство характеров. Все было до банальности просто. По злой иронии судьбы, они расходились решительно во всем. Пожалуй, общим у них было лишь стремление шагать вверх по общественной лестнице. Но и тут у мадам Рени были свои, особые взгляды.

На нашего путешественника неизгладимую печать накладывало происхождение; он чувствовал недоверие к тому миру, с которым, в силу своего успеха, ему предстояло слиться,— недоверие, отягченное интеллектуальной робостью. Он любил только свою контору, строительные площадки, только свой каждодневный труд. Анриэтта же, напротив, простодушно тянулась к роскоши, к прелести светских отношений. Он шел на это с большой неохотой, что было еще одним источником разногласий.

Нужно сказать, что Анриэтта с неодолимым и каким-то ребяческим упрямством добивалась удовлетворения всех своих прихотей. Ей нравилось отстаивать свои права, нравилось по каждому, даже самому пустяковому поводу вступать с мужем в бой; теперь в этих боях он терпел поражение. Рени понимал, однако, что она это делала в его интересах.

А главное, приходилось считаться со средой, с могучим стремлением буржуазии к внешней благопристойности, с консервативной суровостью нравов, царившей в этих кругах. Развод был бы здесь расценен как профессиональный промах; он и сам разделял эти взгляды. К тому же достаток, который непрерывно возрастал по мере его продвижения вверх, позволял и ему и ей жить своей самостоятельной жизнью, соблюдая при этом необходимые приличия.

И нелепейшее недоразумение, каким оказался их брак, растянулось на многие годы, на целых тридцать пять лет, в течение которых все больше забывалось романтическое зарождение их любви, на долгих тридцать пять лет ссор и раздоров, и восхождения вверх, и каждодневной рутины, когда время порой кое-как подправляет то, что оно

само же разрушило, и печальное недоразумение длилось и длилось — пока не произошло несчастье, из-за которого он совершает теперь это опаснейшее путешествие.

«В конце концов,— любил повторять Рени,— я болел только два раза в жизни». Но этот итог омрачало смутное чувство, что так серьезно, как сейчас, он заболел лишь впервые.

Обычная болезнь — дело вполне житейское, событие будничное, заурядное, когда тело вступает в полосу более или менее случайного нарушения некоторых своих функций, но приобретает в схватке с недугом новые запасы прочности. Однако эта, вторая, его болезнь настолько отличалась от обычного недомогания, что он не находил в себе мужества взглянуть правде в лицо.

Немногим более года тому назад Рени вдруг почувствовал сильную усталость. Поначалу он не обратил на это внимания, но усталость не отступала. Стало трудно подниматься по лестнице, стало трудно ходить. Ему не хватало дыхания. Вечерами, где бы он ни находился — дома ли, в гостях, на работе,— его одолевала необоримая сонливость, голова безвольно клонилась на грудь. У него ничего не болело, он даже немного располнел. Вот только цвет лица стал серый и начали мерзнуть руки и ноги, но вряд ли из-за этого стоило бить тревогу.

И не проходила усталость, безмерная, ни с чем не сравнимая; она наваливалась камнем на плечи, свинцовым грузом оседала в ногах. Всегда неутомимый, быстрый и ловкий, он вдруг почувствовал, что его словно бы притормозили. Странный паралич сковал работу ума. Появились провалы в памяти, стало трудно писать. От него ускользали слова. Краснея от стыда, он ловил себя на том, что забывает правила орфографии.

«Она могла бы и раньше все это заметить. Но нет! Как всегда, была занята только собою, своею персоной, своими светскими раутами, своим сном! А ведь у нее не было никаких занятий, никаких дел! Полнейшая праздность!..»

В конце концов это все же стало его немного тревожить. Даже, вернее, огорчать. Надвигается старость, думал он с грустью.

Но люди, окружавшие его на работе, были встревожены по-настоящему. Подчиненные стали необыкновенно предупредительны, твердили о необходимости отдохнуть. Его это только раздражало, укрепляло в нем решимость держаться. Сказывался инстинкт старого честолюбивого бойца, сказывалась привязанность к работе, к единственной вещи на свете, по-настоящему увлекавшей его, сказывалось его необоримое упрямство — он выдержал еще несколько месяцев. Но эти месяцы были для него крестной мукой.

Все вокруг только и ждут, когда он освободит свое место! Он это знал, он чувствовал, ведь он и сам когда-то с нетерпением ждал, когда уйдут на покой эти несносные старцы, которые только мешают жить молодым...

И он, стиснув зубы, держался, держался из последних сил, держался благодаря своей недюжинной воле; на людях сохранял он кое-как видимость здоровья и силы, но, оставаясь один, буквально валился с ног. Так продолжалось до того памятного вечера, когда, выйдя с завода из жарко натопленного помещения на холодный воздух, он вдруг потерял сознание; обморок сопровождался сильным приступом тошноты — он отнес это за счет испорченного пищеварения; вскоре он пришел в себя, и его привезли домой (к счастью, Анриэтта отсутствовала). Войдя к себе в комнату, он почувствовал, что даже не может снять пальто, и, как был, так и рухнул в кресло. В течение долгих, нескончаемо долгих минут сидел он в полной прострации, ловя ртом воздух, об-

ливаясь холодным потом, дрожа в ознобе; перед глазами колыхался туман, к горлу подступала мучительная тошнота.

Когда он наконец перевел дух и тумач перед глазами немного рассеялся, он с ужасом увидел в зеркале свое лицо. Восковая бледность, глубоко запавшие глаза, на щеках, по обе стороны заострившегося носа, струйки пота — разительный контраст между отечной пухлостью тела и мертвенной худобой лица... Перед ним была зловещая карикатура. Ему стало страшно.

«Я был на краю смерти»,— подумал он. И понял, что должен уступить.

Врач выразил свое мнение в тех же словах: «Вы были на краю смерти»; он обнаружил следы целого ряда мелких кризисов, прошедших в свое время незамеченными, и велел срочно ложиться в больницу...

Из больницы Рени вышел через месяц. Теперь он был худ, как в тридцать лет, но лицо покрывала та же восковая бледность. Усы и остатки волос на висках стали совсем седыми; он начал их красить. Усталость не проходила.

Ему объяснили, что теперь он здоров, только должен строго соблюдать режим: побольше лежать, отдыхать, спать днем, словом, вести такой образ жизни, какого он всегда боялся. Он был теперь приговорен к пожизненному «мышлению».

С большим трудом он выторговал себе разрешение приходить на несколько часов в день на работу. На несколько часов он надевал прежнюю маску, но она уже никого не могла обмануть. Надежда встать в строй развеялась окончательно. Вскоре он снова вернулся домой в состоянии полного изнеможения; на этот раз подскочила температура. По утрам на платке стали появляться розовые, потом красные пятна; их уже невозможно было скрыть. И снова пришлось отступить, сдаться, примириться с постельным режимом, согласиться на опасное путешествие, ставшее теперь его последней надеждой...

День захватил уже всю ширь небосвода, разогнал последние клочья тумана. Все вокруг было залито прозрачной ясностью, она придавала контурам странную четкость, резко разграничивала тени и свет; эта четкость удивила его, так же как и широкая перламутровая пелена, простиравшаяся на востоке, там, где вставало солнце, еще скрытое за холмами, на склонах которых сверкали листвою оливковые деревья. В той стороне было море.

Мсье Рени созерцал пейзаж с недоверием. Природу он любил, хотя почти никогда не бывал на природе; он любил ее по смутным воспоминаниям детства, но любил как человек севера и признавал ее лишь в виде плодородных земель, полевых работ, лесов и прудов. А эти жесткие линии за окном, эта желтая сухая земля и щебень, эти незнакомые деревья — они только смущали его, как, впрочем, все, что было связано с югом и с итальянцами; к последним он испытывал снисходительное презрение.

Но, может быть, оттого, что он чувствовал себя в это утро немного лучше обычного, к недоверию сейчас примешивалось любопытство. Не было ли это уже тем чудом, которого ожидали врачи от перемены места и климата? В его положении самый недоверчивый человек не может устоять перед потаенной безумной надеждой...

Испуганный вскрик:

— Пилюли! Ты их не принял!

Он не принял ни одного лекарства, и почувствовал себя виноватым, и тут же рассердился на себя за это чувство вины.

— Я спала! Боже, как я спала! — с ужасом проговорила Анриэтта.

Ее жалкое, помятое, лишенное косметики лицо, на котором было написано раскаяние, ничуть не тронуло его. А она ведь так мало спала весь этот год, бедная его сиделка!

Это был для него маленький реванш, он мстил ей за свое подчиненное положение, заранее мстил, предвидя, что жизнь на новом месте сделает его участь узника еще тяжелее.

— Ты спала как сурок! Я мог бы криком кричать, все равно бы ты не услышала.

Пейзаж снова изменился. Поезд шел среди искрящихся лагун.

■

Каждое утро, проснувшись, он должен был глотать эти пилюли, в десять часов — другие, потом — к обеду и к ужину — еще и еще. Надо было также соблюдать диету, которая совершенно исключала соленую пищу. Пришлось везти с собой особые пакетики, в которых были отмерены, взвешены, строго дозированы мельчайшие количества веществ, необходимых для организма в течение суток; эта принудительная бухгалтерия подавляла его, он был к ней совершенно не приспособлен. В конце концов он оставил при себе лишь круглую коробочку с несколькими розовыми драже — он всегда носил ее в жилетном кармане или в кармане пиджака на случай неожиданного ухудшения,— всю же остальную аптеку положили в сумочку к Анриэтте.

Рени отдавал себе отчет в том, что попадает таким образом под ее постоянный надзор, но на протяжении зимних месяцев, долгих месяцев полной физической немощи, особого неудобства от ее присутствия он не ощущал. После вторичного приступа болезни он почти не выходил из дома, если не считать коротких прогулок в середине дня, когда позволяла погода; мучительная одышка, из-за которой он едва передвигал ноги, приводила его в отчаянье. Ему невольно вспоминались прежние прогулки, эти долгие блуждания, когда он отпускал машину и шел по городу, с любопытством наблюдая уличные сценки и заигрывая с женщинами; свои случайные знакомства он обычно доводил до победного конца; у него были неприхотливые вкусы, он находил удовольствие в связях мимолетных и исключительно плотских, лишенных каких бы то ни было осложняющих моментов, способных помешать работе; эта примитивность требований особенно усилилась в последние годы. Он все больше дорожил временем, но не желал ни на йоту ограничивать свои любовные аппетиты; они были заложены от природы в его темпераменте, каковой он не без гордости считал поистине юношеским. Он просто платил своим партнершам деньги и не видел в том ничего зазорного. Теперь от этих лакомств тоже пришлось отказаться. Он стремился сократить свои нынешние прогулки: они слишком живо напоминали ему о прошлом. Он предпочитал теперь сидеть отшельником в тепле и комфорте квартиры, запершись в четырех стенах своей комнаты, где, несмотря на нудный ритуал лечения, вкушал в одиночестве иллюзию свободы. Однако, как ни пытался он скрыть это от себя самого его постоянно терзал страх — страх ошибиться в дозах, забыть принять пилюлю, перепутать пакетик; этот страх мог возрастать или уменьшаться в зависимости от физического самочувствия, но полностью не проходил никогда; давняя душевная беззащитность перед лицом болезни — у него, человека, который никогда не болел,— теперь прочно обосновалась в нем.

Мадам Рени вернулась к своей прежней роли сиделки и тоже прочно в ней укрепилась; нужно сказать, что она выполняла эту миссию даже не без некоторого удовольствия,— выполняла усердно и умело, хотя ее усердию явно не хватало такта. Но ясно одно: несмотря

на все, что годами их разделяло, несмотря на ту злобность, с какой он стремился себя оградить от ее бдительного надзора,— при этом все делая для того, чтобы этот надзор еще больше усилить,— Анриэтта с присущим ей упорством ревностно выполняла свой долг.

А теперь мы присоединимся к нашим путешественникам в конечном пункте их паломничества, не в самом городе, а в большом и красивом отеле на острове Сан-Джорджо, с видом на открытую лагуну и на Джудекку. Они занимают две смежные комнаты, просторные и веселые — белые обои, обитая белым мебель на синем бобрике, окна выходят на террасу и в тенистый сад, который отлого спускается к маленькой пристани; там в распоряжении постояльцев всегда есть лодка. В любое время дня и ночи она перевезет вас с острова на набережную Скьявони и доставит обратно в отель.

Месторасположение замечательное! На горизонте взгляд с отрадой покоится на трепете моря, на том перламутровом свечении, которое с недоверием разглядывал Рени в окно вагона, на ласковом мерцании, которое всегда смягчено влажной дымкой; там и сям виднеются сиреневые пятна других островов и молов, плывут гондолы. Укромный уголок, приют тишины и спокойствия, похожего на крепкий здоровый сон; такой безмятежности Рени до сих пор никогда не знал, и этот контраст с чудовищным городом, который он покинул только вчера,— затянутым сажей, коченеющим в лапах зимы... Все это казалось чудом!

Он злился и негодовал на это путешествие, он его опасался, он его не хотел. Да, он поехал, но то была лишь уступка, вынужденная уступка — врачу, своему телу, наконец, жене, которая с таким эгоизмом повела на него осаду, безобразно воспользовалась его слабостью! С большим недоверием въезжал он в прославленный город, поднимался по Большому Каналу до набережной. Яркие краски, шум, солоноватые, а порою и затхлые запахи, многословная итальянская приветливость, воспринимаемая им как лакейство,— все раздражало его. На мосты и дворцы, мимо которых они проплывали, он даже не глянул. Но когда он оказался в комнате, прохладной и защищенной решетчатыми ставнями от яркого света, в комнате, где чудесно пахло свежим бельем и кипарисами и куда не проникал никакой шум, кроме птичьего пенья в саду и дремотного плеска воды, он, стыдясь себе в этом признаться, вдруг почувствовал, как все это покоряет его. Вряд ли мог бы он объяснить эту внезапную перемену. Он ее ощущал. Ему было так хорошо, как еще ни разу не было за все время болезни.

Самым тяжким его страданием, нескончаемой его мукой с того злосчастного вечера, когда впервые обнаружился недуг, был даже не страх смерти (этот страх давал знать о себе только приступами, особенно во время бессонных ночей, и приступы эти становились все реже по мере того, как время шло, и он убеждался, что благодаря прогрессу медицины болезнь его не так уж страшна...) — хуже всего было вынужденное безделье. Прежде он вообще не знал, что такое досуг; правда, он каждый год уезжал на три недели в отпуск, отправлялся один в горы, спал, бродил по окрестным лесам, но проходила неделя, и он уже считал дни — так не терпелось ему вернуться к работе. Что поделаешь! Ничто на свете, кроме работы, не интересовало его, и он не стеснялся в этом признаться.

А теперь его разлучают с предметом единственной страсти! Изо дня в день он все глубже погрязает в болезни, он в ней увязает и тонет, будто в дурном сне, будто в кошмаре, когда ты скован по рукам и ногам, когда ты словно парализован, но все твои чувства воспринимают мир еще обостреннее и ты с небывалой отчетливо-

стью ощущаешь весь трагизм своего положения, всю невосполнимость утраты!.. В таком кошмаре он прожил все эти нескончаемо долгие месяцы, пытаясь в каком-то лунатическом порыве вынырнуть, выбраться на поверхность, но порыв был напрасен, порыв предательски его подводил, потому что сил уже не было, была лишь усталость, полное изнеможение, и он с обреченностью бился в тисках своей навязчивой идеи, в заколдованном круге бунта и страха.

Однако сейчас навязчивая идея неожиданно отпустила его и душу заполнило странное чувство покоя и мира. Как только он вошел в эту затененную комнату, по которой еле слышно гулял ветерок, напоенный чистым дыханьем каналов, как только увидел террасу и линию горизонта за деревьями сада, а главное, просторную кровать с ослепительно белыми простынями, ему показалось, что он снова свободен!

Странная мысль, странная свобода! Была ли это иллюзия возврата к утраченной полноте жизни, вызванная улучшением физического самочувствия? Нет, в нем свершилась внезапная и непостижимая перестройка, произошло добровольное и полное приятие бытия. Он перестал ощущать себя жертвой и узником. Пусть он не тот, кем был прежде, но это не значит, что он стал хуже. Просто он сделался кем-то другим, он живет иной, жизнью, и в эту иную, новую жизнь ему еще предстоит до конца проникнуть, предстоит разведать ее и понять; ему казалось, что он и прежде, на протяжении всего своего существования, шел рядом с нею, бок о бок, но почему-то не желал бросить хоть взгляд в ее сторону; это ощущение было еще очень смутным, и прояснилось оно, как мы увидим, лишь к концу его пребывания в Венеции.

А сейчас, с облегчением сбросив дорожный костюм, Рени лежит на огромной кровати, на белоснежном свежем белье, и с радостным удивлением вслушивается в новые звуки, умиротворяюще спокойные в своей регулярности,— ничего излишне громкого, никакого металлического скрежета, только вода, ее плеск и морской ветер в листве, только птицы, и приглушенный звон колокола Сан-Джорджо и других, более дальних церквей, и песня гондольера порой... Тут он заснул — спокойно, доверчиво, как ребенок...

Этой умиротворенности, которая удивила его самого, предстояло длиться еще несколько недель. Обещанное улучшение произошло. Климат, влажный, но полностью исключавший всякую пыль или дым, мягкая температура начала мая, когда нет ни сильной жары, ни сильного ветра, оказали чудотворное действие на его легкие. Больше не надо было прятать или украдкой стирать носовые платки. Прогулки, если только не ходить слишком быстро, уже не так утомляли его. Мучительная бессонница теперь отступала перед пустячной дозой снотворного.

В городе они бывали редко. В отличие от мадам Рени, он не испытывал любопытства. Здесь, на этом острове, в этой комнате, в этом тихом саду свершилось его приобщение к новой жизни, и он был глубоко признателен чуду, ему претила одна только мысль покинуть этот замкнутый мир; он суеверно боялся разрушить очарование, погрузившись в недра странного города, чье золото, мрамор и купола отражались по вечерам в муаровых водах лагуны, пылавшей фантастическими бликами закатного солнца.

Он вставал поздно, днем подолгу отдыхал в саду и лишь часам к пяти отваживался наконец выйти на набережную Сан-Джорджо; там он опасливо поглядывал на дворцы и статуи, машинально глотал порошки, пилюли и микроскопические дозы соли, которые совала

ему Анриэтта; вечером, прежде чем погасить свет, он просматривал французские газеты.

Всякий раз стоило большого труда уговорить его взять лодку и поехать на набережную Скьявони. Шум, запахи, крики, перебранки и приставания гондольеров по-прежнему раздражали его. Иногда он соглашался сделать несколько шагов по направлению к площади Сан-Марко. Он шел, проклиная голубей, нахальных фотографов, неугомонные толпы туристов, и усаживался за столик на террасе. Здесь его тревога начинала понемногу утихать. Он выбирал местечко в тени и, сидя вдали от уличной суеты, уже с некоторым интересом наблюдал за манерами, лицами, одеждой людей, за причудливыми арабесками, которые движение людского моря рисовало на огромной мраморной площади, следил за пестрыми потоками, что обтекали Кампаниллу и вливались под своды базилики; сам он решительно отказывался туда входить и только бросал по сторонам мимолетные взгляды, когда они возвращались на Пьяццетту, и бывал всякий раз очень рад, завидев вдали, на границе канала и лагуны, свой остров и колокольню Сан-Джорджо, четко выделявшуюся на фоне неба,— милый свой остров, где свистал вольный ветер и гнал прочь тяжелые болотные испарения.

— Что же это, бесчувственность?

Нет! Поверьте, вся эта спокойная красота, сотканная из поразительной согласованности ландшафта и стиля, эта естественность архитектуры, которая словно создана для того, чтобы своими линиями, колоритом, природой и цветом своих камней отражать игру струящихся красок моря и неба,— эта красота не оставляла Рени равнодушным. Скорее, он пытался себя от нее защитить, он даже досадовал на нее за то, что она так откровенна. В своем убежище он прятался не от нее — он ощущал себя на острове в безопасности потому, что вкушал здесь грустное забвение самого себя, как бы разлуку с собой.

Венеция, ее знаменитая площадь, ее пятиглавая церковь, фасад с квадригой, пышное изобилие статуй и украшений — это была «мысль», была вновь обретенная способность «думать», но «думать» в той сфере, в которой, по причинам, изложенным выше, он был абсолютно невежествен.

Зыбкие тени сада, в их контрасте с ослепительностью мраморных стен, с роскошью порталов, со свечением витражей, видимо, были для Рени символом всего того, что он вынужден был отрицать, отвергать, загонять в глубины сознания с того самого дня, как он впервые переступил порог школы?

— Я тоже склонен так думать; к тому же надо принять во внимание религиозность, силой навязанную ему святыми отцами, а потом яростно отвергнутую и породившую в его душе ненависть и злопамятство.

Послушайте только, как бурчит он в тревоге, направляясь через сад к лодке:

— Безвкусная пышность! Одна мишура! — И в ритуальных воплях: «Гондола! Гондола!», которыми разражаются гондольеры в смешных опереточных нарядах, ему чудится насмешка и вызов.

И поглядите, как он сразу успокаивается, когда пристань начинает удаляться и он, закрыв глаза, бездумно отдается ровному стрекоту мотора и легкой качке, поглядите, как, приехав в отель, он блаженно вытягивается на просторной кровати, которая так ему полюбилась: ведь она вернула ему спокойный сон — самую верную защиту от невзгод и опасностей.

— А мадам Рени?

После нескольких неудачных попыток вытащить его с собой в го́род она в конце концов смирилась и стала время от времени оставлять его на несколько часов одного. Поведение Рени не слишком ее удивляло. Она знала эту его черту — одну из причин их постоянных семейных разладов. Ей всегда казалось, что восхождение по общественной лестнице требует умения говорить о картинах, о книгах, прочесть которые считается хорошим тоном,— все это входило в условия салонной жизни, которой Рени всячески избегал. Она не могла понять, почему он ничего не делает для того, чтобы ликвидировать эту свою неполноценность. Он жил в достатке, потом уже и в богатстве, но не получал никакой радости от жизни. То ли в силу атавизма, то ли из-за трудного начала своей карьеры, но он еще долго выказывал себя расчетливым и бережливым. Она же любила сорить деньгами и делала это даже вызывающе, словно для того, чтобы его нарочно позлить. Правда, время и здесь постепенно все сгладило: считать деньги в этой семье вскоре стало просто ненужным. Но именно эта сторона их взаимного непонимания оставила в ее душе глубокий след.

Теперь все это казалось бесконечно далеким. Болезнь Рени принесла свои тревоги, свои страхи, свои жесткие требования. Для Анриэтты болезнь мужа тоже легла пропастью между прошлым и настоящим. Рени в самом деле стал другим человеком; этот новый человек был слаб и в то же время деспотичен, у него появились новые неприятные черты, он стал будто старый ребенок, но она почему-то с готовностью принимала все его странности и причуды, сама не понимая, откуда у нее эта снисходительная терпеливость.

Итак, она стала уезжать в город одна или высаживала мужа возле его любимой террасы, ставила перед ним лимонад, а сама отправлялась осматривать музеи и церкви. Она любила искусство. То, что когда-то было только тщеславием, суетной жаждой обратить на себя внимание, с годами превратилось в искренний интерес, в пристрастие, в склонность.

Еще в Париже Анриэтта запаслась путеводителями, накупила справочников, альбомов с репродукциями; к этой поездке, о которой она так мечтала, она подготовилась тщательно и со вкусом.

«Увидеть Венецию...» Этот банальный штамп, эта расхожая мечта стали для нее спокойной решимостью. Она стремилась проверить на месте справедливость того, что знала и слышала о Венеции... Есть на свете места — их безудержно превозносят, опошляют тошнотворным восторгом, но вся эта мелкая суета не в силах им повредить. Встреча с ними все равно потрясает своей абсолютной, ни с чем не сравнимою новизной... Анриэтта Рени была очарована и восхищена.

И все же к чувству радости примешивалось смутное сожаление. Она даже не сразу это осознала. Увиденная ею Венеция оказалась более сложной, чем та, что рисовалась в мечтах. Возможно, тут повинна была и та удивительная терпеливость, какую она проявляла в роли сиделки при больном муже.

— Простите, но терпеливость как-то не вяжется с тем, что мы знаем об ее характере...

Об ее характере мы знаем лишь через посредство Рени, и случай, который произошел в конце первой недели, даст нам возможность понять, что здесь нет, в сущности, никакого противоречия.

Она знала, что будет ходить по музеям одна, и она ходила по ним одна, но вскоре начала ощущать какую-то неудовлетворенность. Восхищаться в одиночестве было скучно. Ей хотелось об увиденном говорить, ее восхищению требовались свидетели; она с удовольствием слушала добровольные (порой небескорыстные) объяснения служителей, присоединялась к группам экскурсантов.

Однажды утром она пришла в Академию и остановилась перед знаменитой «Грозой» Джорджоне. Полотно разочаровало ее. Ей показалось, что оно не заслуживает своей репутации. Пройдя по залам и посмотрев другие картины, она вернулась к Джорджоне: ей не хотелось уходить разочарованной. И вдруг поняла, что «Гроза» странным образом влечет и притягивает ее, точно загадка, которую непременно нужно разгадать. Она пристально вглядывалась в картину, и ее охватило странное чувство; оно было совсем не похоже на те ощущения, какие до сих пор вызывала в ней живопись. То был своего рода восторг, мягкий и сильный одновременно, с какой-то долей растерянности — нечто подобное оставляют порою в душе сновидения, когда смысл приснившегося безвозвратно утерян, но аромат пережитого во сне приключения сохранился и перед глазами еще мерцают неясные образы...

Когда она возвращалась на площадь Сан-Марко, где ее дожидался Рени, перед ней неотступно стояла картина Джорджоне, ее сюжет, ее странные персонажи, и в этой навязчивости было что-то тревожное. Она не могла понять причину такого странного и сильного воздействия вещи, которая поначалу даже разочаровала ее. Картины более законченные, более тщательно отделанные, более совершенные по мастерству (она не была знатоком, она просто чувствовала это) никогда не производили на нее такого впечатления. Она восхищалась ими, но удовольствие бывало умственным, головным. Что же так подействовало на нее здесь? Образ материнства? Или этот персонаж в красном жилете, стоящий в углу картины и с неуместным любопытством глядящий на женщину? Или лишенные смысла руины, которые только препятствуют взгляду устремиться вдаль, к затянутому зловещими тучами небу? А может быть, крепостной вал, озаренный отсветом молнии? Все было запутано и невнятно. Название полотна тоже ничего не объясняло... И однако...

Однако впечатление было таким упорным и цепким, что она незаметно для себя углубилась в лабиринт переулков. Ей пришлось довольно долго блуждать, пока наконец она выбралась на площадь. Проходя под аркадами, взволнованная, запыхавшаяся, она еще издали увидела Рени; он сидел на террасе, маленький и затерянный среди этого залитого солнцем простора, чуждый шумному многолюдью, всем и всему чужой и до ужаса одинокий! Контраст между этой жалкой фигурой и веселым струением толпы был так разителен, что она остановилась как вкопанная. Ей вдруг показалось, что она впервые видит его.

Он сидел на стуле нахохлившись, подняв воротник рубашки, который стал теперь непомерно широк для его исхудавшей шеи. Темные очки в массивной оправе делали лицо совсем маленьким и худым. Он выглядел сейчас таким слабым, таким высохшим и хрупким, что у нее защемило сердце от жалости, и, странное дело, эта жалость была каким-то непонятным образом сродни тому волнению, которое она испытала перед картиной Джорджоне. Неподвижно застыв в полумраке портика, она прошептала:

— Боже мой! Что с ним стало! Да может ли это быть!

То, что она увидела, было как откровение. Облик старого человека, его грустное изможденное лицо удивительно сочетались с сернистым, тусклым светом грозового неба над загадочными памятниками города, с белым силуэтом молодой женщины, спокойно кормившей под деревом грудью ребенка...

Наконец она подошла к нему. Он обернулся, увидел ее, помахал рукой. Она села на соседний стул. Не думая о том, что надо как-то объяснить свое опоздание, она неловко рылась в сумочке. Нашла нужное лекарство, порывисто протянула ему:

— Вот твоя доза.

Он с усилием проглотил таблетку. Она не слушала ни его традиционных упреков и жалоб («Скоро ты будешь ночевать в своих музеях!»), ни столь же традиционного ворчанья по поводу многолюдья и жары. Она думала о том, как было бы хорошо побеседовать с ним о «Грозе», рассказать, какое важное открытие, касающееся их обоих, она только что сделала,— и думала о том, что говорить с ним об этом невозможно. Прежде она сама не умела разговаривать о таких вещах, а теперь... Она вдруг почувствовала угрызения совести, и причина их была так же туманна, как связь между жалостью к мужу и тем эстетическим потрясением, которое она пережила в Академии. В чем ей себя упрекать? Долгие тридцать пять лет внезапно исчезли, образовав головокружительную пустоту. И возникла палата, зловонная госпитальная палата, до отказа набитая ранеными. Лейтенант Рени, бледный, худой, лежит на койке. Из коротких рукавов рубахи выглядывают тонкие, как палки, руки. Кожа да кости. Охваченная состраданием, сиделка склоняется над лейтенантом:

— Господи! Какие у него руки! Как у ребенка!

Между той встречей в госпитале и венецианской террасой — мертвое время, пустота, небытие, деньги...

Ей не в чем себя упрекнуть. Она не сумела бы говорить с ним об этом. Да и к чему? Зачем себя тешить химерами? Ведь он неспособен понять такой разговор. Откуда взялось это небытие? Откуда этот цоколь на двух неравных, разбитых опорах? Говорливым и пестрым потоком, устремляясь сквозь фонтаны белых и сизых голубей к пяти сверкающим куполам, к Кампанилле, люди обрамляют одиночество этой пары, ее беду... Быть может, смятение вызвано резким контрастом между материнством, этой набухшей грудью, к которой прильнул ребенок, этой счастливой самоотдачей, этим безразличием к буйству стихий, к грозе — и самою грозой, которая нависает над башнями в тревожном свечении молний?

— Может быть, наконец мы вернемся?

Она безропотно подчиняется, она еще вся в бередящих душу воспоминаниях о собственной жалости. Медленным шагом они возвращаются на Пьяццетту, выходят на набережную. Анриэтта с удивлением замечает, что положила на его локоть руку. Какой-то фотограф долго пятится перед ними, отчаянно жестикулируя, подпрыгивая и кривляясь.

— La fotografia, la fotografia, per piacere, Commendatore! [1] — стонет он.

Она улыбается, надеясь, что Рени на этот раз согласится, уступит, но тот по-прежнему неумолим, и она, с внезапной робостью перед мужем, позволяет ему отогнать попрошайку.

Они уже на набережной, и Рени глядит на свой остров. Их лодка, к сожалению, еще не подошла, и им приходится выдержать натиск целой оравы гондольеров, которые сегодня ведут себя назойливей, чем обычно. Один из них, совсем еще юный, почти подросток, особенно нахален. Анриэтту поражает его лицо с правильными, но уже заплывшими жиром чертами. Черные как смоль вьющиеся волосы лоснятся от косметики и густой гривой спадают на шею сзади. Маленький пухлый рот придает лицу женственность, которую еще больше подчеркивает сюсюкающий венецианский говорок. В этой женственности нет и тени юношеского обаяния, она двусмысленна и противна. Поражает несоответствие между мягкостью черт и странностью взгляда. Один глаз сверкает из-под длинных ресниц влажным восточным блеском, другой, безжизненный, тусклый, лишен всякого выражения. Анриэт-

---

[1] Фотографию, фотографию, пожалуйста, командор! *(итал.)*

та вдруг понимает, что глаз — стеклянный. Ее охватывает гадливость, словно при виде нищего, выставляющего напоказ свои язвы; гадливость становится еще острее, когда она вслушивается в слова, которые выкрикивает подросток. В этой скороговорке, где плохой итальянский смешан с корявыми французскими фразами, ей чудятся грязные намеки, гнусные предложения. Она краснеет, ей делается страшно. Рени, который только что так энергично, с таким презрением отбивался от всего этого люда, теперь, очевидно, устал; он почти не реагирует на наскоки испорченного мальчишки.

Наконец подходит их лодка, и перевозчик — старик явно не венецианского типа — отгоняет малолетнего искусителя.

Commendatore[1] закрывает глаза, вдыхает влажный ветер. За кормой еще долго слышится пронзительный голос юного гермафродита, посылающего им неразборчивые проклятия.

Духота сгущается, будет дождь. Над Лидо громоздятся фиолетовые тучи. Ветер гонит их к берегу. Они закрывают солнце. Купола, соборы, мрамор, золото — все мигом гаснет, а вода становится бронзовой.

■

Открытие ею Джорджоне возымело странное действие. Она снова стала настаивать, чтобы Рени сопровождал ее в прогулках по городу. В здоровье мужа ей виделось улучшенье; она любила принимать желаемое за действительное и предпочитала не замечать ничего, что противоречило ее оптимизму. Рени был еще очень слаб, но для нее он сделался Commendatore!

С неосознанным эгоизмом она постепенно извратила самый смысл их путешествия; оно стало для нее отныне символом их неожиданного примирения. Она хотела этого, хотела всем сердцем,— значит, примирение обязательно должно состояться. И оно состоялось. Конечно, Рени нуждался в отдыхе, в неустанных заботах, но разве он и так постоянно не отдыхает, разве она не заботится о нем денно и нощно, разве бдительно не следит за своевременным приемом лекарств? Надежда росла. Речь теперь шла уже не о том, чтобы поддерживать его слабые силы, речь шла о полном выздоровлении. И право же, немного дополнительной физической нагрузки, некоторые развлечения и прогулки только ускорят процесс исцеления, помогут свершиться венецианскому чуду!

Анриэтта была очень довольна собой, она искренне радовалась, что придумала эту поездку, что смогла убедить и Рени и врачей в необходимости путешествия. Она оказалась права. Она всегда бывала права, ей не в чем себя упрекнуть. Да, да, он выздоравливает — и выздоравливает он благодаря ей, так же как он выздоровел тридцать пять лет тому назад — тоже благодаря ей!

Эта идея спасения приводила ее в восторг, зачеркивая то бесконечно долгое мертвое время непонимания и безразличия, какое пролегло между знакомством в госпитале и приездом в Венецию. Сейчас все начинается сначала. Разве не так? Неужели он откажется это признать?

Увы! Он признавал это с великим трудом. Он не мог забыть то чувство, которое охватило его, когда он впервые вошел в просторную комнату, всю белую и голубую, и увидел огромную кровать с белоснежными простынями, и после мучительного путешествия обрел бла-

---

[1] Командор — человек, награжденный каким-либо орденом высшей степени *(итал.)*.

годать спокойного сна. Он не мог забыть, что здесь был положен конец самому худшему из всех его испытаний — бессонным ночам, когда, наглотавшись бесполезных снотворных, он подвергал себя пытке ожидания утра, пытке колесования «мыслью». Здесь он вкусил блаженного ощущения безопасности. И он по-детски был убежден, что всем этим счастьем он обязан лишь одному: тому, что они поселились на острове... Анриэтта не замечала, что Рени стал другим, что он любит тишину и спокойствие сада, где он благостно грезит часами, что он любит близость воды, навевающей на душу грусть...

Он тоже стал верить в чудо, но только на свой манер. Он избавился от своих недавних иллюзий о возможности вернуться к прежней работе; теперь его уже почти не пугала перспектива жизни вдали от дел, в отставке, на пенсии...

Иногда, проснувшись среди ночи, он тихонько вставал, приоткрывал ставни или распахивал выходившую на террасу стеклянную дверь и глядел на песчаные аллеи сада, на облитые лунным светом смоковницы и кипарисы, на шелковистое поблескиванье воды и блуждающие огни невидимых гондол; внизу на легкой волне покачивалась лодка, дремал старик перевозчик. Рени с наслаждением вдыхал влажный солоноватый воздух и долго стоял в неподвижности, весь во власти зыбких невнятных грез, во власти прекрасного чувства умиротворенности, которое вызывала в нем окружающая природа; белый сад, деревья, лагуна, вода, мостки, даже сама луна, заливавшая комнату наркотическим сиянием,— все вокруг защищало и охраняло его, все исполнено было благожелательства и покоя. Он не понимал природы и не хотел ее понимать. Он просто ощущал ее благотворную мощь. Из каких-то немыслимо давних времен всплывали неведомые ощущения, заставляя его произносить в глубине души поразительно странные фразы, вроде того, что «над домом бодрствует луна» или «я сошел с корабля, я в порту, я наполнил вином до краев свою чашу».

В такие минуты остаток дней, которые ему суждено было прожить, представлялся ему долгой и бережливой тратой жизненных сил, медлительными, размеренными каплями существования, не лишенного своих радостей, ибо «над домом благостная бодрствует луна!». И наш положительный Commendatore, на грани слез, взволнованный, воспарял на крыльях «мысли», которая по сути была лишь хрупкой конструкцией из чужих слов над душевной бездной,— в эти лирические минуты он готов был склониться к решениям, которые всегда себе запрещал; «мысль», еще недавно зловредная и опасная, теперь казалась достойной быть принятой во внимание. Под каким углом? Этого он пока не знал, но размеренные капли существования, эта медлительная струйка жизни, отпущенная ему судьбою, оставляла вполне достаточно времени, чтобы еще вернуться к вопросам, которыми он всю жизнь — не по своей воле — пренебрегал. И он благостно возвращался в постель, весь омытый лунным светом, весь белый, как прокаженный Колыбельные песни вод ласково опускали его в волны спокойного сна...

Вполне понятно, что страх перед городом не хотел сдавать свои позиции без боя. Рени судорожно цеплялся за свое убежище, и его жена прибегала ко всяческим уловкам. Но у нее обнаружился неожиданный союзник: изменение в «мыслях» самого Commendatore.

Улучшение самочувствия всегда придает нам смелости. Шли дни, и он понемногу стал забывать то славное ощущение покоя, которое снизошло на него в день приезда, забывать свой странный ночной бред, который, на мой взгляд, вызван был гуморальными изменениями в организме на почве болезни, такими, скажем, как увеличение содер-

жания мочевины в крови,— психическое воздействие этого фактора общеизвестно. Порой его охватывало желание испытать свои новые силы. Нужно также отметить, что теперь, когда исчезло и недомогание и связанные с ним тревоги, он гораздо добродушнее стал переносить свое зависимое от жены положение, еще недавно внушавшее ему такой ужас.

Тяжелое свистящее дыхание Анриэтты, спавшей в соседней комнате, больше не таило в себе угрозы; он уже не боялся ее крепкого сна.

И когда в один прекрасный день, после многих безуспешных попыток соблазнить его красотами знаменитого венецианского стекла, она в конце концов отправилась на длительную экскурсию в Мурано одна и по рассеянности прихватила с собой все его пилюли и порошки, Рени после ее возвращения первым удивился, что ничего не заметил и что это грубейшее нарушение режима обошлось для него без всяких последствий.

С этого дня стало ясно, что она выиграла; он понемногу начал вместе с ней выезжать в город. Анриэтта дождалась наконец своего часа!

Теперь почти каждый день можно было видеть, как на набережную Скьявони высаживается из лодки Commendatore со своей Дамой. Пышный титул, случайно оброненный суетливым фотографом, был незамедлительно подхвачен гондольерами, гидами и прочим подозрительным людом, постоянно толкущимся на пристани в ожидании добычи. Мадам Рени ничего не знала о неистребимой склонности итальянцев к пышным титулам, и ей нравилось думать, что за их развязностью и зубоскальством кроется искреннее уважение к ее супругу.

— La fotografia, Commendatore!

Какая жалость! Такое щедрое освещение — снимок наверняка получился бы превосходным. Она поместила бы его на самом почетном месте в своем альбоме. «Командор Пьер Рени!» Когда он выходил из лодки, ступал на мраморные плиты и медленно шагал в своей просторной одежде (он решительно не хотел подгонять ее к своей нынешней комплекции), с исхудавшим смуглым лицом, седыми усами и остатками седых волос на висках (он их больше не красил), в нем проступало то, чего она прежде никогда, при всей очевидности этого качества, в нем не замечала,— достоинство; иногда ее даже подмывало сказать — величавость, подобная той, какую обретают порой некоторые старики.

То, что он был стар, или, вернее сказать, что его состарили испытания последних месяцев, это она впервые поняла, увидев его на террасе, когда, вся еще переполненная впечатлениями от «Грозы», проходила под портиком Сан-Джеминиано; но это открытие в какой-то мере даже доставило ей дополнительное удовлетворение...

Итак, с каждым днем они гуляли все больше, ходили все дальше, все дальше — во Дворец дожей, в Коррер, в Ка' д'Оро, в Академию, и Commendatore послушно следовал за ней и даже, особенно в первые дни, принуждал себя проявлять интерес ко всем этим предметам, которые в его глазах представляли собою нагромождение ценностей, гигантский склад очень дорогих вещей. Благодаря такому взгляду он готов был с большей благосклонностью отнестись к Венеции — этому странному, тревожащему душу свайному городу. Как знаток, он не мог не оценить усилия, предпринимавшиеся в разные исторические эпохи, чтобы создать такую сокровищницу: то был для него еще один пример блистательного взлета от самых жалких низов! Дистанция, отделявшая первоначальную деревушку, бедный рыбацкий поселок, от Республики с ее непобедимыми галерами и величественными памятниками, внушала ему уважение.

«Гроза» Джорджоне к великому разочарованию мадам Рени оставила его равнодушным; он ограничился лишь тем, что выразил сожаление по поводу потемневших от времени красок. Зато его внимание привлекло полотно Тинторетто «Святая Мария Египетская»; на эту картину он глядел с той же мечтательностью, с какой обычно созерцал свой остров. Кроме того, он с восторгом отозвался о конной статуе кондотьера Коллеони. Это было все. Следует, однако, признать, что для него и этого было немало. Анриэтта, исполненная после одержанной победы снисходительности, была ему признательна. Она добилась главного. Она была не одна. Рядом с ней шагал Commendatore, у нее был слушатель.

Разумеется, он уставал. Близился июнь, жара густела, участились грозы. Тучи, индиговые, мертвенно-синие, похожие на те, что так внезапно прервали игру света на куполах церквей и мраморе дворцов в день встречи с наглым кривым гондольером, чуть ли не ежедневно поднимались над морским горизонтом. Разражались они не дождем, а пыльным горячим ветром, который теснил дыхание, делал мучительным каждый шаг, затруднял посещение музеев.

Однако особой усталости Рени пока еще не чувствовал, словно Венеция и в самом деле окропила живою водой его разрушенное сердце, будто и в самом деле свершилось то чудо, которого так жаждала мадам Рени. Он лишь немного тяжелее дышал, наш Commendatore, и вынужден был часто останавливаться, чтобы перевести дух среди этих бесконечных мраморных лестниц, на которые без зазрения совести она заставляла его взбираться с тех пор, как убедила себя в его близком выздоровлении.

Без зазрения совести? Сказано, пожалуй, слишком сильно. Не будем к ней чересчур суровы. Commendatore по-прежнему выглядел хорошо. При малейшем признаке ухудшения она незамедлительно уложила бы его в постель, стала бы ухаживать за ним с той самоотверженностью, которая нам уже знакома, без колебаний отказалась бы от прогулок. Но ощущение опасности ушло, ушло вместе с болезнью, а вне болезни мадам Рени тут же обрела свои прежние привычки, прежние реакции, словом, свой прежний характер.

Ей бы надо было ни на миг не забывать про «Грозу» Джорджоне и про то, как внезапным видением возник перед ней старый человек, одиноко и грустно сидевший на стуле среди безразличной толпы на залитой солнцем площади. Она часто об этом вспоминала, верно, и всякий раз ее охватывал мистический порыв щемящей жалости, и на душе становилось невыразимо сладко, она опять была Анриэттой милосердной, Анриэттой безупречной — нежной Анриэттой своей второй молодости! Она вспоминала, это верно. Но в промежутках, повинуясь властному зову неисчерпаемых сокровищ города, в который она влюблялась все больше и больше,— она забывала.

Она пала жертвой той странной экзальтации, которой Венеция одаряет своих гостей. Остров, от города более или менее изолированный, был постоянно погружен в дремоту; его омывала лагуна, стоячие воды которой лишь медлительно покачивались в такт прихотливой игре света и облаков. Но когда вода заходила в затейливые лабиринты памятников, мостов и дворцов, когда ее вспарывали бесчисленные лодки и расцвечивали, плещась на ветру, бесчисленные вымпелы и флажки, когда под небом, где летучая дымка влажных дельт и северных равнин сливается с резким светом уже африканского солнца, эту воду густо заселяли, пронзая ее насквозь, до потери жидкого ее естества, яркие картины, пестрые красочные образы с преобладанием охрового и розового тонов, перевернутые вверх дном архитектурные чудеса,— тогда та же самая вода, на острове обычно ленивая, сонная, принима-

лась вдруг источать лихорадочную вибрацию, подхватывая пляску солнечных бликов на мраморе; вода становилась желанной передышкой для взгляда, который теряется перед готической пышностью, перед арабесками, перед светлым кружевом камня, зыбкого, струящегося камня, что колышется в синих, зеленых, рыжих глубинах, и они неторопливо растворяют его в себе; вода становилась бескрайней песнью, которая опять и опять ошеломляет тебя, полня сердце восторгом, так прекрасны нескончаемые ее модуляции; есть в городе и укромные уголки, где время будто останавливается и замирает, есть безликие зоны безмолвия и серых красок, но каждый камень Венеции исполняет свою партию в этом гигантском и изнурительном концерте!

И нужно ли удивляться, что Анриэтта нетерпеливо тормошит мужа, теребит, наконец распекает за это странное нелюбопытство, за непостижимую апатию перед праздником. А он поднимает к ней тоскливое худое лицо, он обливается по́том и с трудом переводит дыхание, наш Commendatore,— но, помилуйте, разве он в самом деле не Commendatore, разве не должен он соответствовать той роли, которую обязан играть, поскольку так решила жена, роли, которой он никогда не играл прежде, что причиняло Анриэтте всегда такие страдания! Нет, мы с вами не будем возмущаться, не будем негодовать — во всем виноват Город. Никто не в силах ускользнуть от его колдовских чар, они завораживают, они ослепляют. Не ускользнула от них и Анриэтта.

— Но какую роль должен был он играть?

На этот вопрос нелегко ответить. Тут надо вспомнить все тридцать пять лет их супружества, лишенные тех многих важных компонентов, которые могли бы превратить совместную жизнь в союз. Потом наступила болезнь, беспомощность, слабость; в обычных условиях это могло бы легко привести к примирению и недоразумение было бы изжито. Но все получилось по-другому. Откровение, посетившее мадам Рени в день встречи с Джорджоне, породило новое противоречие, которое еще больше укоренилось под колдовским воздействием Венеции. Сама не отдавая себе в этом отчета, Анриэтта впала в банальнейший грех женского собственничества, ощутила детскую потребность в том, чтобы ее нежили и берегли, потребность быть владетельной дамой, блистательной повелительницей в той поистине королевской чете, перед которой в восхищении приплясывал бродячий фотограф... Но в его волшебном аппарате, увы, так и остался погребенным наивный образ — посвящение их в сан старых венецианских любовников!

И изо дня в день росла напряженность между супругами, сопровождаемая вереницей взаимных попреков. ...*Она* тащит меня за собой бог знает куда, она меня губит, она уносит в своей сумке все мои пилюли и порошки, она их в конце концов потеряет... *Его* ничто не интересует, он всегда думал только о деньгах, у него нет ни на гран вкуса, он не понимает искусства... *Она* в конце концов измотает меня до предела... *Он* бросил меня одну, он сам себя измотал своими бесчисленными любовными похождениями...

Усталость и злость вызывали у Commendatore и другие, довольно любопытные реакции.

Он покинул свой остров, свою большую прохладную комнату, белую и голубую, свой мирный сад с горлицами и кипарисами. Он больше не находил здесь благотворного покоя первых дней. Он снова во власти тревоги. Ночи тоже уже не так хороши, несмотря на снотворное, дозы которого он стал увеличивать. Он как и прежде боится гасить перед сном свет, опять сжимает в ночной темноте грушу звонка, в котором его единственная связь с соседней комнатой. Долгие часы проводит он в полузабытьи, погружаясь порою в неприятные навязчивые сны.

По огромной площади, почему-то вдруг пустынной и тихой, которая разделена в длину на две части, солнечную и теневую,— а Кампанилла, и все пять куполов, и бронзовые кони, залитые кровавым светом, таят в себе скрытую угрозу,— торопливо шагает мадам Рени, и шаг ее неестествен, ибо она остается неподвижной, не сокращается расстояние, которое ей предстоит пройти; а он тяжко дышит, пытаясь ее догнать, но из этого ничего не выходит, и он дышит все тяжелее, усталость все мучительнее и больнее, а сердце колотится быстро и с грохотом, отдаваясь громким эхом на площади, сердце, этот панический барабан, вдруг перестает биться в груди, но его биенье гулким эхом гудит под портиками и аркадами, прокатывается по рядам пустых стульев на террасах, по квадриге, по мертвенной Кампанилле. И тогда мадам Рени, по-прежнему бегущая со скоростью амазонки и по-прежнему неподвижная, вдруг оборачивается, встряхивает сумочку с пилюлями, и удручающая двусмысленность вдруг искажает ее привычные черты. Разве это мадам Рени? Что-то в этом лице напоминает круглую физиономию деревенской кормилицы с ее беззубой улыбкой. Порой на лицо Анриэтты, волною или как отражение в тихой воде, искаженное законом перспективы и тем странным углом, под каким это лицо отражается в глади пруда, набегает еще одна физиономия. Это портрет, который когда-то лежал на дне его ученического сундучка. Но горестное сомнение остается, и его можно рассеять, лишь догнав ее, эту статую с бронзовыми ногами. Увы! У него нет больше сил! Окровавленный свет куполов и квадриги закрывает видение пурпурным водопадом, а кривой гондольер с жирным лицом эфеба вцепился ему в рукав и, изрыгая гнусности, пытается столкнуть в гнилую воду канала...

Commendatore просыпается — весь в поту, пальцы вцепились в грушу звонка. Он встает, делает по комнате несколько шагов, успокаивая сердцебиенье, потом выходит, как в первые ночи, на террасу, смотрит на сад, на лодку и на перевозчика, которых покачивает легкая волна, на темную массу моря, на бакены и сигнальные огни, которые выглядят теперь уже не так мягко и умиротворенно, как прежде, и весь окружающий мир уже не тот, и огромная шафрановая луна отвратила свой взор от их дома...

Явственного ухудшения здоровья не происходит; просто Рени, вырванный из своего убежища, уставший от музеев и произведений искусства, измученный до изнеможения, теперь уже только растрачивает то благотворное, чем оделила его Венеция по приезде.

Он знает, прекрасно на собственном горьком опыте знает, что ему не исцелиться. Он опять вспоминает об этом. Сколько прочел он в свое время энциклопедий, медицинских пособий и словарей, специальных журналов и справочников в поисках своей болезни и ее симптомов!

То, что он с такой маниакальной страстью искал, всегда обнаруживалось в рубрике «Старость». И как подробно, с какой точностью все это было описано, выверено и взвешено,— этот его проклятый недуг, эта недостаточность, износ, истощение, этот всеобщий закон любого механизма, как бы великолепно ни был он сработан и закален! У Рени не оставалось ни малейшей надежды, ни малейшей иллюзии.

Но то, что понимает разум, не хочет принять человеческая плоть. Да и как это примешь, когда тебе стало легче и болезнь великодушно отпустила тебя? А теперешнее облегчение было самым длительным, самым явным. И нелепая надежда опять возрождалась, уравновешивая собою ночные кошмары. Он читал не о том, читал не в том разделе, не в той рубрике. Знал же он в жизни могучих,

точно кряжистые дубы, стариков... И опять маячило перед ним искушение — испытать, проверить себя.

Он проверял себя в этих нудных хождениях по музеям. Они утомляли его куда больше, чем если бы он ходил и уставал один, сам, как независимый взрослый человек, который устает по собственному желанию, который свободен от этого повседневного рабства и устает так, как положено уставать мужчине...

Бессмысленное бунтарство! Здесь уже можно различить те причудливые образы, которые оно пробудит в нем несколько позже и которые он будет сам настойчиво взращивать в своей душе,— занятие, честно сказать, странное, если принять во внимание его возраст и здоровье; но и это можно опять-таки объяснить нарушениями гуморального равновесия, от утомления еще более усилившимися, объяснить увеличением содержания мочевины в крови, отчего в безмятежный период его венецианской жизни у него возникали в ночном саду совершенно чуждые его характеру восторженные фразы, вроде того, что «над домом бодрствует луна». А если физиологическое объяснение вас не устраивает, можно истолковать все и в чисто психологическом плане, скажем, как ностальгию по ушедшим жизненным силам, тоску по прежней мужественности.

Между тем Город множил свои соблазны. В противоположность тому, что думала на этот счет Анриэтта, Рени отнюдь не оставался бесчувственным к ним. Особенно поражал его резкий контраст между лучезарной перспективой города, завораживающим ритмом его дворцов и куполов и тем жидким мраком, на котором покоится этот взлет и где тоже идет своя жизнь, но только в иных, самых примитивных формах, начисто лишенных какого бы то ни было эстетического начала; жаркое брожение, замкнутое в темницы цокольных этажей, черный лабиринт, который — плата за солнечные доспехи. К этой затхлой изнанке, чьи испарения так раздражали его всякий раз, когда он выезжал на лодке в лагуну, он по-прежнему испытывал гадливость, но из-за частых прогулок между ними стало устанавливаться при этом некое подобие панибратства, чему способствовали и тайные желания, обуревавшие его. Все это, в общем, не ново. От отвращения до зачарованности — один шаг...

Отдаться этой зачарованности он еще не решался. Сопровождая неутомимую Анриэтту и не слушая, о чем она ему говорит, он часто бросал украдкою взгляд на переплетение улочек, на темные жилы каналов, на запутанные переходы, от которых разило помойкой, на кривые лестницы, на подворотни, на сочащиеся сыростью, поросшие мхом, покрытые солью, изъеденные проказой стены, на сползающее к закату солнце, на покрытую отбросами воду, лижущую фундаменты и сваи.

Всякий, кто бывал в Венеции, помнит эти картины. Везде, насколько хватает глаз, только мосты, улочки, тупики, закоулки, несуразные переходы, нечто подозрительное и низкосортное, нечто, затопленное водой и гниющее под роскошью мрамора и золота, точно дряблая кожа шлюхи под густым слоем румян. Это потайное лицо города внушало ему страх, но то был страх потерять голову. Изнанка Венеции напоминала ему болезнь, говорила об одряхлении и износе, которые прикрыты вполне здоровой, казалось бы, видимостью и все клинические симптомы которых он знал наизусть.

Он бы хотел... Он не знал, чего бы хотел, он колебался, пребывал в нерешительности. Не отдавая себе в том отчета, он пригибался к воде, вдыхал тлетворные испарения. Часто в молчаливом отчаянии мечтал он о том, чтобы опять стать таким, каким был в первые дни на острове, когда Анриэтта на долгие часы предоставляла его само-

му себе и он бездумно бродил по саду, блаженно дремал или, что еще лучше, оставался на площади Сан-Марко, ибо теперь ему казалось, что там ему было хорошо, что он не скучал, не страдал в одиночестве, в тенистом уголке своей любимой террасы, среди гомона толпы и белых и сизых фонтанов голубей,— нет, ему было там хорошо, он погружался в блаженную одурь, в забвение своих «мыслей»; теперь этот уголок представал перед ним в мечтах, становился миражем, осененным алыми отсветами куполов и бронзовой квадриги. Думая обо всем этом, он испытывал странное чувство, похожее на то, что принято называть головокружительным эффектом «уже виденного», или навязчивой идеей; то было чувство, что он близко знаком со всей этой архитектурой, благородство которой, вопреки мнению Анриэтты, не могло его не поражать, что он давно и хорошо знает сумрачные аркады и портики, и этот проход по Пьяццетте к дворцу, проход, озаренный перламутровым светом моря; то было вместе с тем ощущение дурноты и тревоги, ибо пестрые человеческие потоки вместо того чтобы возбуждать в нем веселье и прилив жизненных сил, вписывались в совсем иную картину — в огромное, мощенное плитами пустынное пространство, по которому свершает свой сверхъестественный бег его супруга с бронзовыми ногами, и это вихревое движение становилось призрачным, оно порождало двусмысленность, которая в любую минуту могла перейти в ошеломительную убежденность: нет, я еще не проснулся, я все еще нахожусь на дне колодца, или пропасти, или в тех жутких водах кошмара, в каких я барахтаюсь, сжимая грушу звонка, и Анриэтта, с ее проклятыми железными ногами, вовремя не услышала отчаянного вопля о помощи, который я, конечно, издал!

Однако эта убежденность сейчас уже не столько пугала, сколько удивляла его. Впрочем, вся его «мысль» в целом удивляла его своим капризным и фантастическим движением.

Раньше, даже в самые трудные месяцы, предшествовавшие поездке, даже во время кризиса, его мысль функционировала упорядоченно и четко, выливаясь в форму внутреннего монолога, и монолог этот формулировался уверенно и легко. Но с тех пор, как его силой вынудили к поездке, в нем что-то переменилось, ему стало трудно справляться со словами, они ускользали от него, ему явно их не хватало, и вместо слов стали появляться образы, движения, картины, возникать загадочные сцены. Он винил в этом влажный климат, жару, коварную вялость города, свою усталость, вызванную блажью мадам Рени. Его «мысль» становилась субстанцией мягкой и зыбкой, неверной и туманной, вроде тех ежесекундно меняющих свои очертания беловатых шлейфов, что бегут по воде и порою перед рассветом окутывают всю поверхность лагуны, и на этом неверном расплывчатом фоне — что особенно мучительно для человека, чей ум всегда был ясен и скор,— рождались неподвижные видения, висящие вне времени, в пустоте, подменяя ослабевшую память: крестьянка-кормилица с беззубой улыбкой, слова и фразы на местном диалекте (а он-то думал, что давно их забыл), деревенский ландшафт, долины, леса, вспаханные поля, и чаще всего — зеленая, заросшая водяной чечевицею лужа под нависшим над нею стволом высохшей ивы; эта картина наполняла его странным волнением...

Все эти срывы подводили его к еще одной навязчивой идее. Да! Он должен любой ценой взять себя в руки, испытать, проверить себя! Может быть, Анриэтта права, может быть, он в самом деле стоит на пути к исцелению, как это было тридцать пять лет назад, но сможет ли он вернуться к любимому делу, к работе, единственной цели своей жизни, если он пребывает во власти фантазий и призра-

ков, порожденных этой вялой «мыслью»? Разве он стар?.. Нет, конечно, не стар! Уж он-то их насмотрелся, этих кряжистых, как дубы, стариков с ясным умом, полных сил, цветущих и ненавистных! Уж он натерпелся от них! Сколько он ждал, сколько подстерегал, как мучился с ними, пускай теперь и другие помучаются, как когда-то мучился он, Рени, такой закаленный, так хорошо вооруженный для битвы, и один как перст, без связей, без денег, и вот, несмотря на все препятствия, он... Пусть теперь поглядят на него. Он вынырнет из трясины своих сновидений не один, его поддержит старый демон, дух силы и упорства, который когда-то помог ему преодолеть все преграды. Неблагодарный и забывчивый, Рени проклинал в такие минуты этот пористый город с его прогнившими фундаментами, податливо-мягкими, как его, Рени, «мысль», проклинал свою податливо-мягкую мысль, запах затхлости, свою мысль, смрад черных каналов и их извилистое плутание в самом сердце этого нелепого города, нелепого, как картина, к которой так часто с видом заговорщицы тащила его Анриэтта: смуглый, похожий на араба солдат и молодая обнаженная женщина-крестьянка, которая кормит ребенка; эти двое находятся по обе стороны каких-то развалин с колоннами, над рекой, через которую перекинуты мостки, а дальше крепостная стена города, над которым вот-вот разразится гроза. Нелепость!

Итак, его ночи опять стали похожи на прежние бессонные ночи. Если б он даже и не забывал исправно принимать все лекарства, что были назначены ему врачом для разжижения крови и облегчения работы больного сердца, их благотворному действию все равно бы помешала усталость. Теперь он безудержно глотал множество самых разных снотворных и делал это чаще всего тайком от Анриэтты, а она, несмотря на дурное настроение Commendatore и на его достойную сожаления бесчувственность к изящным искусствам, была настолько захвачена Венецией и так счастлива его выздоровлением, которое воспринимала как личную свою победу, что заметно ослабила бдительность. Вечерами, тоже измученная, но на свой манер — жарой и экскурсиями, она валилась с ног и мгновенно засыпала своим пресловутым беспробудным сном.

И все-таки странно, что она не заметила изменений, которые произошли во время четвертой недели. Под действием снотворных, которые он принимал в разное время ночи, у него совершенно сдвинулось нормальное чередование бодрствования и отдыха. Он засыпал перед самым рассветом и в течение всего дня пребывал в оцепенении и дурмане, из которого выходил лишь к вечеру,— и сразу становился раздражительным и мстительным сверх всякой меры. Это ослепление, это свое «небрежение» — она сама потом это так называла — Анриэтта всю жизнь будет ставить себе в упрек, ибо, перебирая в памяти все эпизоды их пребывания в Венеции, она падет жертвой весьма распространенной иллюзии: связь событий, когда мы размышляем о них после того, как они уже произошли, представляется нам всегда фатальной, и эта фатальность прямо-таки бросается в глаза; роковой исход задним числом придает особое значение любому жесту, взгляду, слову погибшего человека. И рассвет в вагонном купе, когда она внезапно проснулась и воскликнула с ужасом: «Я спала! Боже, как я спала!», а он, поразив ее в самое сердце, сказал: «Я мог бы криком кричать, все равно бы ты не услышала!», сказал с такой злостью, с такой несправедливой злостью,— этот рассвет в вагоне стал, пожалуй, для нее не самым неприятным воспоминанием.

Ибо слова и поступки Commendatore в течение ночи, о которой сейчас пойдет наш рассказ, отдавались в ее ушах мучительным посмертным эхом и звучали как злобная и изощренная месть...

В тот вечер, едва успев лечь в постель, она тут же, как всегда, начала клевать носом над очередным путеводителем. Последний раз взглянув в открытую дверь коридора, соединявшего обе комнаты, и увидев, что муж разделся и лежит в постели среди вороха французских газет, что на ночном столике разложены все необходимые лекарства, а сам он мрачно спокоен и погружен в свои мысли, она погасила свет и, перед тем как провалиться в забытье, успела отметить, что свет погашен и у Рени.

И она спокойно уснула. Да и кто мог предвидеть такую выходку с его стороны?

Commendatore нравится лежать в полумраке. Погруженный в зыбкое пространство, в котором угадывается белизна мебели, подчеркиваемая легким лунным свечением, пробивающимся сквозь шторы, он вслушивается в мерный плеск невидимой воды, который убаюкивает и усыпляет. На какую-то долю минуты его даже охватывает — увы, не в полной мере, а очень ослабленно — чудесное блаженство первых ночей.

Он окунается в туманное мельтешенье привычных сцен, граница между явью и сном расползается, мрачные картины переходят в сны, которые удивительно похожи на те мысли и грезы, которые осаждают его, когда он бредет за своей спутницей по мраморным плитам набережных, по лестницам дворцов и музеев, по просторной площади, многолюдной и в то же время пустынной, и освещение площади попеременно становится пурпурным и белым, подчиняясь магическому ритму, в котором шагает фигура со множеством лиц, и наконец, после долгой вереницы переходов, блужданий и изменений плана, он выныривает из сна и судорожно цепляется за бессонницу; страх заснуть и больше никогда не проснуться перемешан с тем чувством, которое возникло впервые на площади и с тех пор не покидало его, с чувством, что отныне он уже не способен постичь разницу между явью и сном; ему кажется, что событие, очень важное, торжественное и вместе с гем, по причине своей неуловимости, может быть, совершенно ничтожное, которое подстерегает и повсюду преследует его, может произойти по коварному недоразумению в тот самый миг, когда ты перестаешь быть зрителем и становишься действующим лицом, сам при этом не ведая, откуда ты взялся вдруг на этих подмостках.

В самом деле, где он был сейчас? Ответить трудно. Возможно, он был уже где-то не здесь. Никогда раньше не мог бы он вообразить, что некая пугающе важная вещь, мысль о которой не покидает его ни на мгновенье, будет всего лишь неуловимым и неприметным перемещением в пространстве, и он сможет сливаться со словами, пейзажами, сценами, которые память держала до этой поры на внушительном расстоянии. Пыльная дорога, что ведет через бедную деревушку к загнившей зеленой луже, прежде жила только в памяти, но вот он уже шагает по ней! Запахи мела, пота и дров, застоявшиеся в мрачной классной комнате, где сквозь высокие окна, забранные решетками, виден обрывок низкого и облачного северного неба,— он их уже вдыхает! Затянутое тучами небо, оно глядит на него, глядит на все эти лица, да, Анриэтта? Кто? Улыбка на круглом загорелом лице, которое все чаще появляется перед ним в эти последние ночи, и необъятная мягкая грудь, такая огромная, такая пористая и ноздреватая, что она поглощает тебя целиком, точно коварный сон, одаряя загадочной болью, как музыкальная фраза, где мелодия тщетно ждет разрешения, как бесприютная жалоба, которой выпала доля шагать и

шагать без конца по земле, от искажения к искажению, пока она не разрешится аккордом, где дрожит диссонанс, боль неизлечимой неуверенности, когда невозможно узнать, кто же именно перед тобой, и путница оборачивается, оглядывает красный горизонт, и острота сомнения в мягкой груди, в которой вдруг обнаруживается тонкий контур портрета, правильный овал лица с серыми глазами, с тонким, крепко сжатым ртом, и точно такой же рот у Commendatore, и глаза у Commendatore такие же, и та же складка на подбородке, он ее обнаружил в зеркале, когда взглянул на себя сквозь туман дурноты, и две струйки пота, по одной с каждой стороны заострившегося носа, дерзкая складка на подбородке, еще больше подчеркнутая этим крахом, дерзость тщетная и смехотворная, ибо ты оказался «на краю смерти», ты это понял сразу, еще до того, как были получены результаты всех сложных обследований. Это знаешь всегда заранее, и звери тоже про это знают: они без всяких сцен и истерик ожидают покорно конца; в углу губ пена, во рту странный вкус, отдающий металлом и солью, и холод в руках, в посиневших ногах, холод, извечный враг солдата, но пока есть вино, пока есть старые газеты и на живот намотан фланелевый пояс, еще можно держаться, и он бредет по изрытой рытвинами равнине, вокруг, точно вбитые в зеленоватую глину колья, торчат обрубленные деревья, а на дне ям и рытвин намерз лед, и белеют пятна снега, и луна над рытвинами, над пятнами снега, над оврагами, запах того времени, когда звучало: «Держите на север и северо-восток, лейтенант». Полярная звезда, луна, холод, который поднимается от мертвой земли, «твои корни», черные лоснящиеся во́роны на обрубках деревьев.

Лунный луч скользнул по глазам — Рени вскочил, выпустил грушу звонка, она покатилась на пол, он нащупал платок, машинальным движением вытер мокрые губы, повернул голову, чтобы взглянуть на часы. К великому огорчению, не было еще двенадцати. Как холодно, господи боже мой, как холодно!

При этом он весь в поту. Он натягивает одеяло, выпивает глоток воды, у которой, кажется, сегодня несвежий вкус, глядит опять на часы, на тюбики со снотворным и на круглую коробку с розовыми пилюлями; снаружи слышен привычный плеск, а со стороны коридора доносится дыхание, размеренное, глубокое, в четком ритме и с легким присвистом,— настоящий и крепкий сон, такой желанный и такой опасный!

Темная комната понемногу обретает враждебность. Он ждет. Смутная боль гнездится в левом плече, и внезапно, в тот миг, когда ему мнится, что он снова падает в сон, к нему снова приходит огорчение, которое он ощутил, когда глядел на часы,— огорчение, даже отчаянье, невыносимое до тошноты. Нет, он не хочет, не хочет... Чего он не хочет? Он ищет, не может найти, и тогда тошнота превращается в смертельный ужас. Во́роны и рытвины — они в этой комнате, и окоченевшая Полярная звезда сверкает жестоким блеском на потолке, а он идет по краю рва, где затаились когти, готовые вцепиться в него и потащить на дно.

Когда Commendatore приходит в себя, он сидит на кровати, меж ребер громко стучит барабан, ощущение холода стало еще острее, по спине и груди по-прежнему катится пот. Позвать? Он вслушивается в отдаленное дыхание и понимает, что звать не станет. Дыхание, его глупая размеренность, эта слаженность отлично действующей здоровой машины порождают в нем только гнев, яростный гнев.

«Ночь безумна, эта ночь безумна»,— повторяет он вполголоса, тут же удивляясь, что у него это получается — говорить, но, странное дело, фраза, которую он произносит еще раз, чтобы услышать звук

своего голоса, действует на него благотворно, даже как будто вносит порядок в ту сумятицу импульсов, образов и дурноты, которая только что терзала его. Он встает, чувствует легкое головокружение, но оно проходит, как только он открывает окно. К счастью, движение сфер привело бодрствующее ночное светило к самому дому и его мягкий свет широко льется в комнату вместе с запахами воды и кипарисов, чьи ветви нежно перебирает теплый ветерок. Запахи другого мира...

Успокоившись, Commendatore проходит на террасу, видит мертвенно-бледный сад, и изъеденный проказой бархатистый диск, который дрожит в бассейне, и в просвете между деревьями лодку и перевозчика. И возможно, как раз в эту минуту перед ним с предельной ясностью предстает то, чего он желал на протяжении многих дней и многих ночей, сходных с этой ночью, отчетливо предстает диковинное желание, на которое мы уже намекали, связанное, несомненно, с растущими гуморальными нарушениями, но также и с растущей неуверенностью по отношению к реальному миру,— сумасбродная тяга к самопроверке! Старый демон, который всегда поддерживал его, говорит с ним в эту ночь дыханием трепетной лагуны, дыханием всего этого белого мира, который есть лишь изнанка погруженной во мрак комнаты и затопленных подземелий, населенных горестными кошмарами, с ним говорит другой мир, который очень похож на мир силков и ловушек по причине неверности своих границ и своего жидкого естества, чья зыбкость еще больше подчеркнута мерцаньем светила, изливающего на землю и воду спокойный призыв к забвению.

Именно это, я думаю, ощущает сейчас Commendatore, и демон, пользуясь его слабостью и некоторой затуманенностью сознания, рисует ему все отчетливо и в деталях — испытание не во сне, а наяву, которое влечет его пойти по ночной дороге, чья безмятежная таинственность явно перекликается со многим виденным в снах, но при этом избавлена от мучительных призраков и искушений,— это испытание представляется ему совершенно безопасным. Старое иссохшее тело трепещет в магическом порыве.

Commendatore возвращается в комнату, прислушивается на пороге коридора, тихо одевается, глотает одну розовую пилюлю, кладет коробочку с оставшимися в карман. Безумное решение, которое он твердо принял, и предосторожности, достойные школьника, наполняют его восторгом; ему даже кажется, что в голове у него прояснилось. Липкие, засасывающие глубины исчезли. И как прежде, как всегда, когда он погружался в свою стихию, в действие, он чувствует, что его озаряет и ведет за собой ясное, четко очерченное пламя!

Перевозчик, дремавший в лодке, довольно сносно говорит по-французски и без особых затруднений понимает его просьбу. Во всяком случае, она нисколько не удивляет его. А ведь просьба плохо вяжется и с этой фигурой, солидной и одновременно хрупкой, молча занявшей место на корме, и с темным просторным пальто, в которое она, несмотря на жару, кутается, и с лицом, которое в свете луны кажется лицом прокаженного...

А ночь поистине прекрасна! Дали, мягко оживляемые неясным колыханьем сигнальных огней, мерцающие гирлянды буйков на рыбацких сетях и бакенов у молов; на берегу — Джудекка и огромный коралл Санта-Мариа-делла-Салюте; гондолы, в которых звучат серенады; слышатся далекие голоса и смех; с приближением к острову начинает казаться, что ты причалишь сейчас к грандиозному празднеству, о котором здесь говорит все — и обе колонны Пьяццетты, и Дворец дожей, по ступеням которого так трудно бывает взбираться, но эти колонны и весь роскошный фасад сейчас залиты светом прожекторов, так же, как стоящая чуть дальше Кампанилла; да, это в самом деле

другой мир, из которого изгнано зловредное колдовство солнца. Вид набережной, где толпа теперь не так густа, как днем, и этот струящийся с неба свет, утративший синюю мертвенность, чтобы стать розовым и голубоватым, этот ртутный дождь на лепнинах и куполах, отражающихся в непрозрачной воде, где они колышутся и дробятся в завихрениях и потоках.— все так неожиданно, так ново, так величественно, что на сей раз Commendatore не остается безучастным. Понадобилась эта ночь, чтобы он открыл наконец город, которого он не знал и которым пренебрегал во время дневных прогулок с Анриэттой. И вместо того, чтобы образумиться, он лишний раз порадовался своему побегу.

Однако у него нет времени как-то согласовать это открытие со своими нелепыми планами. Мотор уже выключен, и лодка движется по инерции, приближаясь к гондоле, в которой стоит человек, чьим заботам с видимым отвращением собирается его препоручить перевозчик,— стоит жирный гермафродит с искусственным глазом.

Commendatore ощущает толчок, и магическое возбуждение, которое поддерживало его, внезапно улетучивается. Опять поднимает голову усталость, напоминая ему, что при всех снотворных и успокаивающих она по-прежнему настороже. Ему хочется проглотить еще одну пилюлю, но в лодке это сделать трудно, а выйти на берег он боится. Старик перевозчик вступает в спор с гондольером, и хотя Commendatore не знает языка, он все же понимает, что его передадут попечениям эфеба и что спор идет о стоимости поездки; тот упорно торгуется, театрально жестикулирует и по-прокурорски завывает.

Но как прекрасен дворец со своей вереницею статуй! Как прекрасен остров, который они недавно покинули, и его церковь, похожая на большую перламутровую раковину! Как восхитительна пылающая линия дворца вдоль Большого Канала, на которые он ни разу не бросил и взгляда! Его охватывает сожаление, но жалеть поздно. Он это знает. Инстинкт старого прожигателя жизни уже в первую встречу, после домогательств смешного фотографа, подсказал ему, какого рода делами промышляет нахальный подросток. У парня теперь мертвенно-бледное лицо. Нужно ему довериться. Это в порядке вещей.

Традиционный торг вдруг представляется Рени неуместным. Он властно прерывает его, вызывая поток благодарностей и благословений, перебирается в гондолу и решительно усаживается на подушки; старик перевозчик наклоняется к нему и шепчет дружеские советы, в которых можно уловить слова «вор» и «ждать». Черт побери! Он прекрасно знает, что его обкрадывают, но ему на это наплевать! Огни неторопливо отступают назад, и гондола погружается в сумрачный лабиринт, во власть которого он отдан желанием. Желанием? Честно говоря, он не мог бы сейчас объяснить, какой смысл вкладывает он в это слово. Свое испытание он обрядил в маскарад проверки собственной мужественности, но старый демон избирает причудливые дороги, и нелегко бывает понять, чего он в самом деле хочет. Демон долго закрывал ему доступ на дно, парализовал его мысли, путал ложными воспоминаниями. Сегодня он приподнял плиту — и явь смешалась со сном... Не в зыбучих ли ямах видений выковал демон свой план? И, поманив утолением элементарного желания (такого простого и ясного, исполненного такой физиологической благодати) и двусмысленными декорациями ночного моря, озаренного бледной луной, заставил наконец пуститься в это плаванье по преисподней?

Рени вздыхает, устраивается поудобней на подушках, и гондола беззвучно скользит в мире, который становится все более беззвучным, сумрачным и тесным. Призрачный свет фонаря на носу освещает плывущие навстречу контуры переходов и парапетов, поросшие мхом, и изборожденные трещинами пролеты мостов, щербатые камни высо-

ких глухих стен, решетки, обитые гвоздями двери с молотками, углубления в подворотнях с лампами, подвешенными на железных столбах. Влажность сгущается, кожа становится мокрой, вместе с шестом гондольера из глубины поднимается запах тины, прорезаемый то миазмами гниения, то ароматами кухни. Справа и слева мгновенным виденьем возникает вход в канал — узкая черная траншея, в которой посверкивают неясные отблески; порою мелькнет желтый огонек лодки, далекие мосты, иногда крохотная площадь с кафе и пустынной террасой, прилепившейся к церкви, или неведомый дворец, или кривые деревянные домишки, где плещется на ветру вывешенное для просушки белье; слабый неверный свет, которым залиты эти плавающие на грязи островки, совершенно безмолвные или овеянные журчаньем фонтана, кажется все более удивительным по мере того, как поездка затягивается и переходы во мраке становятся длительнее и сложнее. У путешественника кружится голова, он закрывает глаза или пытается неотрывно глядеть на более светлую полоску неба, где мерцает несколько звезд.

Он ощущает рядом присутствие живого существа, слышит песенку, которую мурлычет кривой гондольер в такт движению своего шеста, слышит другие, более отдаленные песни, голоса, традиционный обмен приветствиями, когда встречаются две гондолы; он ощущает всю эту симфонию бликов, затемнений, сигналов, картин и жалоб, которые воспринимаются особенно отчетливо и резко из-за сырости воздуха, из-за подступающих вплотную стен, из-за гладкой и жирной водной поверхности, порождающей глуховатый, но далеко слышный резонанс, точно в залах дворца, где своды способствуют гулкому эху.

Наконец на повороте какого-то канала, такого узкого, что и двум лодкам здесь не разойтись, гондола останавливается. Путешественник не решается выйти на берег. От долгого сидения в одной позе у него затекло все тело. Он очень устал. А главное, пока продолжалось плаванье, он успел осознать очевидное: он совершил ошибку, он дал себя обмануть бессоннице, наваждению, миражу!

Решающий момент. Но нас он, однако, ничуть не удивляет, поскольку мы занимаем в этой истории привилегированное положение и можем с легкостью пройтись по всем ее поворотам. Итак, поздним вечером он увидел на своем острове белый, облитый луною сад, увидел ночное море, и от этой картины потерял голову. Сейчас ему снова видится остров и белый, залитый луной, спускающийся к морю сад. Он удивлен. Он цепляется за мысль о возвращении. Но реальность жестока. Знакомый демон издевается над ним, вонзая ему в плечо свои когти:

«Славная шуточка, а? Вот что я сделал с тобою, старый безумец! Сам виноват! Я всегда был к твоим услугам, я мешал тебе уступить своей слабости — своей мысли и ее отражению, вывернутому наизнанку. Наш союз был возможен лишь до тех пор, пока тело твое хранило свою закалку. Твоя склонность была безобидной, избыток соков находил для себя чашу, и если ты не всегда бывал слишком взыскателен к качеству этого сосуда, в том повинно отсутствие эстетического воспитания. Я тебя не бранил, у нас с тобой было полнейшее взаимопонимание. Столп ты рухнувший, да как ты не понял, что в тебе гнездится тайный порок? Высокая нравственность всегда ведет к катастрофе. Гляди же, дурень! Вот тебе урок!»

Commendatore глядит, и урок, который он получает,— это нашептыванье эфеба и подмигиванье живого глаза на жирном лице, в отталкивающем контрасте с глазом мертвым; торг продолжается. Рени спокоен, он уже ничего не боится: от любых шагов и поступков его

удерживает не только сознание своей ошибки, но и все то удивительное, что он видит вокруг.

Гондола причалила у подножия высокого дома, фасад которого перегружен лепными украшениями и неразличимыми в полумраке фигурами. На том берегу канала виднеется низкая стена, на нее ниспадают растения висячего сада, а над крышами высится пальма! Легкий ветер колышет большие длинные листья на ее верхушке и сквозь ароматы отбросов приносит явственный запах цветка. Рени удивлен, что способен воспринять этот запах, а еще удивлен, что вокруг, если не считать неприятной физиономии гондольера, уже нет ничего подозрительного, ничего жалкого, грязного: как только увидел он пальму, всю в трепетной белизне дружелюбного света, как только услышал запах ее невидимого цветка, тайная подземная жизнь города бесследно растаяла. Кругом опять было то безмятежное обаяние сада, кипарисов, живой лагуны, от которого он ушел и которое казалось уже навсегда перечеркнутым лабиринтами гниющей воды.

Он больше ничего не понимал, и вместе с тем ему казалось, что он все понимает,— то была некая интуитивная ясность, по поводу которой он бы хотел более основательно поразмыслить на досуге; не та ли самая ясность, какую пыталась открыть ему Анриэтта перед своей нелепой «Грозой»? Или, может быть, та, которую сам он, незрячий и глупый, провидел рядом с другим полотном, да, да, он вспоминает теперь,— конечно, провидел, когда глядел на каскады света и мрака, которые уступами поднимаются к вершине холма, беря начало от ствола другой пальмы, и тот же самый дружелюбный свет идет от ствола к стволу, от одного водяного уступа к другому, дробясь и сверкая металлическим блеском под взглядом присевшей на камень молодой женщины, чья голова окружена сумрачным нимбом? Значит, для того, чтобы это понять, он должен был явиться сюда, в это злачное место, вместе с молодым негодяем? Это открытие повергает его в безграничное изумление.

Commendatore отталкивает от своей груди чужую жадную руку, сует гондольеру банковские билеты, с трудом поднимается с сиденья. Вот когда она дает себя знать, старая его усталость! Он ее узнает, узнает головокружение, узнает свинцовую тяжесть, которой она начинает обкладывать все его тело. Какое-то смутное опасение удерживает его на пороге, когда отвратительный проводник берется за рукоятку грязного дверного молотка, но Рени тут же понимает: что бы дальше ни произошло, все будет только пустою формальностью, совершенно лишенной значения.

Мы с вами не стали бы сопровождать его в этот пошлый дом свиданий, если б тому, что должно последовать, не предшествовало видение. Свойства взгляда преображают реальность, и мы сейчас вправе спросить себя, тот ли это человек перед нами, чей жизненный путь мы очертили. Он и сам уже чувствует происшедшие в нем перемены. Но при этом он безумно устал, у него кружится голова, к горлу подступает волна дурноты, очень сходная с той, какую он ощущал в своем последнем сне; перед глазами плывет туман, и он делает огромное усилие, чтобы держаться нормально. Но его осаждают бесчисленные вопросы, они касаются посетившего его видения — той мягкой ясности, которой была пронизана стена висячего сада, того восточного дерева, которое гордо вознеслось над крышами, трепеща в черном небе. Испытание меняет свою природу. Куда оно теперь его поведет? Мы это узнаем, если потерпим еще немного, в общем, столько, сколько потребуется ему, чтобы посмотреть вокруг этим совсем новым взглядом, на поиски которого он отправился против собственной воли и который нашел среди смрадных каналов.

Мысль о взгляде и зеркале возникает по аналогии с изобилием грязных и тусклых зеркал, которые украшают вестибюль; они вправлены в позолоченные рамы поразительного уродства. «Ах, какое забавное новшество!» — так и подмывает его сказать традиционной, закутанной в шаль матроне, которая раболепно учтива и величает его все так же — Commendatore.

«Весь твой церемониал мне прекрасно знаком, бедная старая сводница, я знаю его наизусть! А ведь в основе всего — примитивнейшая потребность, запрос здорового тела, все соки которого находятся в равновесии и которому следует предоставлять требуемое, максимально экономя время: ведь скупость в таких делах — ключ успеха, секрет моего восхождения, с которым, впрочем, я уже сам не знал, что делать. У меня никогда не было времени оглядеться, посмотреть на себя, но этой ночью я себя, наконец, увидел, и вот я пришел к тебе, чтобы присутствовать при последнем акте, ибо пальма дозволяет мне это. Я всегда проходил где-то рядом с самим собою, понимаешь? И так оно было даже лучше — из-за ученического сундучка, из-за кормилицы».

Этот внутренний монолог, довольно пылкий и, пожалуй, чересчур торжественный, он заканчивает уже наедине с собой, ибо матрона исчезла, и он пользуется ее отлучкой, чтобы проглотить еще одну розовую пилюлю. Он ожидает в гостиной; она вся в лепнине, обшита панелями; по стенам вьется слой почерневшей штукатурки под мрамор; между бесчисленными трюмо с мутными зеркалами намалеваны виды лагуны и празднеств на Большом Канале вперемежку с буколическими сценами, где резвятся и скачут сатиры и нимфы; все эти фрески сильно облупились, на них темные пятна сырости. С лепного потолка свисает ветвистая хрустальная люстра, на этажерках расставлены безделушки из фарфора и муранского стекла, вроде тех, что как-то принесла после одной из своих экскурсий Анриэтта. Кружевные накидки на кожаных креслах, кожа потерлась, позеленела на швах. Все это придает обстановке неуместный оттенок ветхости, в ней весьма мало венецианского и гораздо больше от лавки антиквара... Немного придя в себя, ощущая благотворное действие розовой пилюли, Commendatore с иронией думает о том, каких денег будет ему стоить это развлечение, весьма посредственное и старомодное, если судить по гостиной, и вкусить каковое у него просто не хватит сил.

Да, сладострастием жалким и убогим веяло от обстановки, и если мы все же изображаем ее, то лишь ради взгляда, каким теперь смотрит на нее он. Проследуем же за содержательницей через коридор в другую гостиную. За накрытым столом сидят в ожидании еды живущие здесь дамы; по дороге происходит короткая остановка для того, чтобы договориться о цене, которая в общем соответствует нашим предположениям, но приличия требуют немного поторговаться. Помещение освещено канделябрами с электрическими лампочками в виде свечей, которые отбрасывают тени на розовые перегородки; если вдуматься, этот зал со своим длинным столом смахивает на некое судилище, и преображенный Рени в это вдумывается и вспоминает сумрачный лабиринт, который сюда ведет.

...Вороватое медлительное скольжение параллельно струению жижи и разрезанного подворотнями неба, долгое, медлительное скольжение, а впереди дрожащим султаном маячит нос гондолы и поблескивают по сторонам поперечные каналы, и так до тех пор, пока всю душу не перевернет вдруг аромат невидимого цветка, и вот уже Commendatore отдает себя на растерзание алчной группе любопытствующих матрон, чьи мишурные одеяния в фольклорном стиле —

шали с бахромой, массивные гребни, обильные румяна — и способные вызвать удушье благоухания говорят о средиземноморской породе, с которой превосходно согласуется их возраст и худоба; последняя особенно заметна благодаря теням от торшеров с канделябрами и придает их облику нечто воронье. В подобные подземелья можно попасть через мрачные бездны бессонницы — после долгого падения очутиться в странном закоулке, где сгрудились затянутые в пеструю униформу судьи: двадцать пять шушукающихся гарпий, которые заунывно перебирают нескончаемый перечень ваших проступков и прегрешений, и перечисление это тем более ошарашивает, что вменяемые вам в вину действия касаются самых заурядных жизненных обстоятельств. Оказывается, сами о том не ведая, вы совершали тяжкие проступки, и вот теперь этот ужас...

Но успокойся! Эти безобидные существа не желают тебе дурного, они вовсе не гарпии, они не отличаются ни красотою, ни безобразием, они преисполнены доброй воли и нежности, а нежность тебе сейчас очень нужна! Когда ты переступаешь порог коридора, у тебя опять кружится голова, ты чувствуешь тяжесть в ногах и приступ внезапного отвращения; такого отвращения ты не испытывал никогда в жизни, оно — плата за твое открытие, которое делает твое присутствие здесь еще более щекотливым.

К счастью, эти дамы более проницательны, чем хозяйка, в их взгляде на него можно прочесть тревогу и то уважение, с каким итальянская женщина всегда относится к мужчине вообще и к старику в частности. К тому же охвативший его было ужас уступает место озабоченности, ибо Рени прислушивается к тому, что творится с его организмом. От усталости тело наливается страшной тяжестью, а благородная пальма, увенчанная серебристым нимбом, овевает зловонный коридор своим чистым дыханием.

И чуть позже, в спальне, где горит ночник и стоит широкая кровать с деревянными панелями и лепными золочеными спинками, а в окно с зеленоватыми стеклами виден угол одной из тех странных — освещенных и пустых — площадей, что парят над глянцевитой чернотой излучин, он спрашивает себя, откуда этот мир и покой, снизошедший в его душу через плечо изнеженного негодяя, несмотря на его стеклянный, полный дикой, неосознанной злобы глаз,— коренится ли этот покой в самом пейзаже, или его следует объяснить новым состоянием духа, достичь которого ему не удавалось целых тридцать пять лет. Тридцать пять лет! Нет, пожалуй, даже больше... Он начинает подсчитывать, наш Commendatore,— надо будет спросить у Анриэтты, надо будет ответить на все ее вопросы, если только время окажет ему эту милость.

Хрупкая надежда! Дно «мысли» с каждой минутой делается все более вязким, и Рени бьет, как пловец, ногами, чтобы, оттолкнувшись от дна, вынырнуть на поверхность. Он опять видит себя глядящим еще в одно зеркало, которое поставлено здесь для отражения кровати, чья гладкая белизна манила бы, приглашая к доброму крепкому сну, не будь это белое поле постели подпорчено сейчас фигурой унылого гостя, фигурой такой знакомой и такой в этот миг чуждой тому, кто глядит на нее; некто в темно-синем костюме, которого он не снял по причине холода, и с белым как мел лицом, покоится рядом с розовой белизной — с живой белизной женщины, которую он все же попросил раздеться, отчасти для того, чтобы успокоить ее, дать ей иллюзию привычного выполнения своего долга. Он не решается ей об этом сказать, и она никогда не узнает об оказанной ей чести. Нет, красивой ее не назовешь: у нее крючковатый нос и слишком большой рот, но тело вполне сносное, а почтенному созер-

цателю просто необходимо сейчас убедиться, что оно действительно существует, это дивное диво — молодое здоровое тело!

И он восхищается, он растерянно созерцает, он меланхолически ослеплен кожей, излучающей теплоту, гибкой крепостью мышц, налитой грудью, равномерной и мощной пульсацией крови под теплою кожей, ослеплен щедрым ветвлением голубоватых жилок, тугой тонкостью слизистых оболочек, чернотой волосяного покрова — а запах живого существа, идущий от этого чуда! Его сердце переполнено признательностью и жалостью, он сердцем чует чудовищную связь, существующую между черным автоматом и блистательной анатомией. И ему начинает казаться, что образ отступает, становится фотографическим негативом, теряет реальность. Черный человек отступает вдаль, все дальше и дальше. Картина затуманивается, он медленно поднимает руку, чтобы послать ей прощальный привет, и его втягивает в себя неумолимая спираль дурноты, и картина исчезает, растворяется в колокольном звоне...

■

Однако отсрочка, которой он так жаждал, была все же дарована ему, и мы можем проследить за нашей историей уже за пределами ее, когда она фактически завершена; ибо в каждом занимающем нас событии, после периода неуверенности и даже после того, как чаши весов примут, казалось бы, окончательное положение, судьба все равно припасает еще одно, переходное состояние, которое может опечалить, но может порой и утешить, позволяя свершиться тому, что прежде казалось химерой; в этих случаях все получается так, будто фей, которые не захотели явиться к колыбели новорожденного, охватили вдруг запоздалые угрызения совести.

Придя в себя, наш путешественник слышит смутный шум спора, в котором стороны по молчаливому соглашению, словно боясь повредить больному, стараются говорить тихо; над ним что-то медленно раскачивается, глухо постукивает дерево о дерево. Он открывает глаза в мире сплошного тумана; оказывается, он лежит на дне лодки, накрытый дурно пахнущим одеялом, а перевозчик отвязывает причальный конец, понося на все корки невидимого собеседника, чей голос кажется почему-то знакомым. Набережная пустынна, памятники и дворцы погружены во мрак или в серую полутьму. Туман скрадывает контуры зданий; ближе к лагуне туман особенно густ, над поверхностью воды тянутся белые шлейфы; лишенная отражений вода стелется гладкой пеленой металлически-серого тона, вода темнее, чем небо, она переливается и струится, словно город и острова вот-вот вынырнут из глубин на поверхность.

Он не чувствует боли, но предельно измучен и, главное, очень слаб — любое движение стоит неимоверных усилий. Продолжая по-стариковски ворчать и бранить венецианцев («проклятая воровская порода, даже хуже неаполитанцев, даже еще хуже, мсье»), перевозчик завел мотор, и свинцового цвета вода побежала вдоль борта. Commendatore ощутил огромное облегчение. На него снизошло, окутало, словно ватой, спокойствие. Нижние горизонты сознания были теперь выстланы уже не зыбучим вероломным песком, а шелковистой, пушистой субстанцией, которая все растворяла в своем безмятежном равнодушии.

Он с трудом повернулся, привстал — и разглядел шпиль Сан-Джорджо. Колокольня выступала из клубов тумана на бледно-сиреневом небе, где уже гасли звезды и отражение медно-красного мерцания начинало скатываться от шпиля к куполам. Пронзительный

голос гермафродита умолк, слышался только голос старого перевозчика, он заботливо справлялся о самочувствии Рени и негодуя рассказывал, что мсье бросили в гондолу, «как собаку». Узнал Рени и о том, что его спаситель родом из Пьемонта. Больше он ничего не слышал.

Он не слышал, как его уложили на просторную кровать с белоснежными простынями в белой и синей комнате, прохладной и тихой. Время не разделялось уже на часы, а текло сплошным, нечленимым потоком. Слабость сделалась благом, она смягчала все ощущения и не позволяла делать над собою усилия, мешающие «думать». Он больше не сдерживал себя, он спокойно отдавался течению мыслей и уже не удивлялся тому, что сцены, которые порождены были провалом в зыбучие пески, когда-то именовавшимся сном, смешиваются с реальностью.

С реальностью? Имело ли сейчас это слово какой-нибудь смысл? Ведь время остановилось. Но реальностью было реальное живое присутствие — в данном случае присутствие Анриэтты Рени, той Анриэтты, которая снова, в которой уж раз, не проснулась, как он и боялся тогда в купе вагона... Но блуждания в черном лабиринте стерли обиду. Больше того — и потому-то мы можем поверить в угрызения совести у фей и в их запоздалый подарок,— больше того, теперь и следа не осталось от той злости, что копилась в его душе тридцать пять лет и вновь было ожила из-за путешествия и мучительных гонок по дворцам и музеям!

Будь у него немного побольше сил, мы сейчас могли бы присутствовать при диалоге, о котором так мечтала незаменимая Анриэтта на террасе кафе, присутствовать при разговоре, в котором речь пошла бы и о «Грозе» Джорджоне, и о видении висячего сада, о трепещущей пальме... но у него нет сил говорить. Нужно ли об этом жалеть? Анриэтта бесконечно внимательна и заботлива. Он всегда находит ее рядом в те мгновения, когда возвращается к ней из своих все более долгих отлучек, отлучек в мир тумана и ваты. Но даже и в этих видениях она не бежит больше бронзовым шагом к пяти куполам и квадриге, отлитой из пламенеющей бронзы. Тягостная двусмысленность, скорбная двойственность ее лица, когда она оборачивается к нему и взмахивает сумкой с лекарствами, сменилась определенностью. Теперь он знает, что это кормилица — и одновременно портрет, спрятанный на дне сундучка, он знает также, что благодаря старому демону невозможное свершилось: достигнуто желанное единство.

Но если это свершилось, не будет ли позволительно предположить, что именно Анриэтта помогла ему — помогла устранить провал во времени, прежде обрекавший это единение на неудачу? Кто знает? Она всегда бывала права. Очевидно, в этом путешествии с самого начала заложено было нечто, что с каждым новым поворотом событий вызревало все больше и больше. И кто знает, не предчувствовал ли уже Commendatore ясность и гармонию последних своих часов, когда его так потрясло искусство великих венецианских мастеров? Ведь они как никто сумели отобразить на своих полотнах таинственный знак. Вспомним про каскад мрака и лунного света, белого, точно проказа, света, который, переходя от пальм к водоворотам, взбираясь со скалы на скалу, поднимается к облачному столпу под взглядом Марии Египетской.

Чем больше Рени слабел, чем чаще случались с ним кратковременные приступы бреда, вызванные увеличением содержания мочевины в крови, тем чаще произносил он странные, лишенные смысла фразы, вроде «над домом бодрствует луна». И Анриэтта одобряла

его, подтверждала его правоту, он ощущал ее полное согласие с тем, что его так волнует. Это восхищало его. Он все время спрашивал:

— Ты здесь?

— Ну конечно. Я всегда здесь.

— Тебе пора складывать вещи.

— Но зачем?

— Для путешествия. Ты все проверишь...

Он не отпускал ее от себя ни на шаг, и вот что примечательно и позволяет нам говорить, что она ему помогала: Анриэтта тем больше радовалась, чем больше он закабалял ее. Она снова была необходимой, снова незаменимой, как и в начале их совместной жизни,— и уже не потому, что владела его лекарствами.

— Не хочет ли она сейчас искупить свою вину, свое непростительное легкомыслие, свою непростительную небрежность? Вспомните его фразу в поезде, вспомните ее экскурсию в Мурано!

— Нет, скорее мне хотелось бы верить следующему.

То, чего она так тщетно искала по возвращении из Академии, когда ее мучило странное чувство и она вдруг увидела, проходя под портиком, одинокую фигуру на стуле в кафе; то, что Commendatore, со своей стороны, вынес из ночной одиссеи, этот его новый взгляд поверх плеча кривого гондольера; два этих откровения слились воедино в синей и белой комнате на острове, предназначенной им судьбой, слились воедино, чтобы подарить им наконец то, чего они были лишены на протяжении жизни.

Вспомните также: в далекую теперь пору начала болезни он упрямо расходовал весь остаток сил на то, чтобы отказываться от ее забот. А теперь он сам просит и требует их неустанно! Ни днем, ни ночью сиделка не знает покоя. Неужели это все тот же мужчина — тот, которому теперь надо менять белье, которого надо мыть, кормить, поворачивать и который с каждым днем уходит чуточку дальше, еще немного глубже погружается в шелковистую субстанцию и в свои видения содержание коих мы взяли на себя смелость вам рассказать? Вы понимаете, куда я клоню. Чем более неминуем конец, тем больше рвется она приблизить начало — начало их отношений,— тем ярче расцветает в ее душе сострадание — единственно доступная ей форма страсти.

Как же иначе истолковать ее странный возглас, когда смерть наконец стала смертью, когда усталое сердце, так долго пребывавшее «на краю смерти», остановилось и Commendatore с невероятно худым, до неправдоподобия съежившимся лицом лежал на спине, и на белых простынях недвижно покоились чудовищно исхудавшие руки — две длинные, обтянутые синеватой кожей кости,— как истолковать ее возглас, тот же самый, что вырвался из ее груди тридцатью пятью годами раньше, возле госпитальной койки, на которой лежал лейтенант Пьер Рени:

— Господи! Руки... Руки у него как у ребенка, совсем как у ребенка!

Она рыдает, бедная Анриэтта, но так ли уж будет оскорбительно для нее, если мы предположим, что в ее страдальческом возгласе есть толика тайного восхищения?

И таким образом раскрывается загадка юной крестьянки, которая кормит ребенка среди странных развалин, под взглядом солдата или соглядатая, стоящего в углу картины,— тайна «Грозы», которая желтым своим зигзагом перечеркивает нависшую над стенами города тучу.

Да, вот оно, чудо Венеции!

■

СЮГОРО ЯМАМОТО

Три новеллы

Перевод с японского и вступление Б. РАСКИНА

«Мои герои — это живые люди, с которыми я жил бок о бок, слышал их смех, видел их горе и слезы. И когда я писал о них, мне казалось, будто я вновь встретился с ними. Вот почему я питаю к каждому из своих героев безграничную любовь и нежность»,— так писал известный японский писатель Сюгоро Ямамото, с творчеством которого впервые знакомятся советские читатели по этой публикации.

Свою литературную деятельность он начал в 1926 году. За сорок лет им были написаны десятки романов и сотни рассказов. И главное в них — любовь к простому человеку, стремление раскрыть его духовный мир.

Творчество Сюгоро Ямамото не ограничено современностью. Им написаны исторические романы и новеллы, уходящие в далекое прошлое. Проблема внутреннего, духовного роста человека, пронизывающая эти произведения, настолько остра и жизнетрепещуща, что она звучит актуально и сегодня.

Некоторые критики в Японии принижали творчество Сюгоро Ямамото, причисляя его исторические романы к развлекательной литературе.

Возражая им, Сюгоро Ямамото заявлял: «Для меня нет чистой и не чистой литературы, нет массовой литературы и литературы для избранных. Есть лишь хорошая и плохая литература. И долг писателя состоит в том, чтобы дать максимально большему числу читателей лучшие образцы литературных произведений».

Слава и всенародное признание пришли к Сюгоро Ямамото в конце его творческого пути, точнее, после его смерти. В 1967 году издательство «Синтёся» выпустило тридцатитрехтомное собрание его сочинений.

Один из крупнейших режиссеров современности, Акира Куросава, дважды ставил кинофильмы по его произведениям («Красная борода» — в 1965 году и «Под стук трамвайных колес» — в 1970 году). Были экранизированы и «Рассказы голубой плоскодонки». Многие произведения Сюгоро Ямамото с успехом поставлены в театре, по ним сняты телефильмы.

Много раз Сюгоро Ямамото присуждались литературные премии, но он категорически от них отказывался. «Для писателя,— считал Ямамото,— не может быть более высокой оценки его творчества, чем оценка его произведений читателем».

Ночь в камышах

Дело было, кажется, в сентябре — точно не помню. Я плыл на своей плоскодонке по протоке, которая вывела меня к восточному побережью. Где-то я писал уже, что на этом побережье хороший морской пляж, а сама протока — отменное место для ловли «гокая» — лучшей, по-моему, наживки для удочки. Водится он на песчаных отмелях, в мелкой воде. Говорят, будто он пять раз в месяц выбирается из песка и уходит в море. Отсюда

и прозванье его «гокай»[1], а как по-научному его называют — не знаю. Исход «гокая» начинался близко к полуночи, и рыбаки к этому времени уже ожидали его, поставив ловушки — широкие полутораметровые мешки из хлопчатки, куда он и попадал, не дойдя до моря.

В первую поездку свою к восточному побережью я и не думал вовсе о ловле живца. Просто я слышал, что там, среди камышовых плантаций, хорошо клюет рыба. Кое-кому в этой фразе покажется странным слово «плантация», но там и в самом деле на больших пространствах, примыкавших к кромке чистой воды, выращивали камыш. Камыш на разных делянках различался и по толщине стебля, и по цвету листьев — каждый сорт предназначался для своего особого дела. Выращивали камыш едва ли не так же, как растят рис или пшеницу, до поздней осени, а потом убирали раздельно, по участкам. Зимой же здесь, в камышах, было прекрасное место для охоты на водоплавающую дичь. А в узких протоках, пересекавших камышовые заросли, водилась уйма рыбы.

Я загнал лодку в одну из проток, которая показалась мне подходящей, и закинул леску. Богатый ли выдался в тот раз улов, или, быть может, одна-единственная рыбешка прельстилась моей приманкой — на этот счет мой дневник безмолвствует. Важнее другое: странствуя вдоль протоки в поисках «счастливого» места, я набрел в конце концов на списанный пароход № 17 и встретился с капитаном Коямой. Как сейчас помню, кто-то окликнул меня, я обернулся и шагах в двадцати за спиной у себя увидал посреди камышей белоснежный пароход. На корме его стоял худощавый старик.

— Там никакого клева не будет,— сказал старик сиплым моряцким голосом.— Забирайтесь-ка лучше на палубу — отсюда удить сподручней.

Растерявшись, я пробормотал что-то в ответ и воззрился на старика и его пароход.

Должно быть, протока здесь кончалась: дальше виднелся поросший соснами склон. Судно было пришвартовано носом к берегу. Дно там было, наверно, совсем неглубоким, и потому палуба кренилась к корме. На глаз невозможно было определить возраст торчавшего на палубе долговязого и тощего старика. Как и положено капитану, он носил форменный китель — правда, изрядно поношенный — с двумя рядами пуговиц и фуражку с «крабом». Но там, где кончался китель, капитан был гол, вернее — в одних лишь ветхих трусах какого-то рыжеватого цвета. На обветренном, темном лице его с впалыми щеками и ввалившимися глазами выделялся мощный подбородок; пепельно-серые брови сошлись у переносицы, словно старались укрыть глаза от слишком яркого света.

Старику, скорее всего, просто хотелось поболтать. Но мне и сам этот списанный рейсовый пароход в зарослях камыша, и присутствие на нем старика показались настолько нереальными, что я совершенно растерялся, пробормотал, мол, «приеду еще» и быстро ретировался.

Прошло несколько дней. Однажды вечером, греясь у очага в доме моего давнего знакомца Такасины, я завел разговор о странной встрече с непонятным стариком на корабле.

— Знаю, знаю, это капитан Кояма,— улыбаясь, сказал Такасина.— У него, представляете, и сын есть, и дочь замужняя. А он вот живет бобылем. Чудной старик. Нелюдим.

Капитан Кояма, оказывается, прослужил в «Восточном пароходстве» лет сорок с лишком. Подростком еще нанялся он на пароход

---

[1] По-японски — пять раз.

юнгой, потом стал матросом, механиком и, наконец, дослужился до капитана. За все годы у него не было ни единой аварии, его всегда ставили в пример другим и не раз награждали за безупречную службу. Когда пришел срок уходить на пенсию, Кояма не захотел покидать пароход и еще пять лет крутил колесо штурвала.

Здесь, я думаю, стоит сделать небольшое отступление и рассказать о капитане Буле. Капитан Хакии, по прозвищу Буль, плавал на принадлежавшем «Восточному пароходству» тридцать шестом и, хотя все сроки его ухода на пенсию давно вышли, ни за что не желал списываться на берег. Он был очень тучен. При ходьбе все тело его колыхалось и складки жира на груди, словно волны, бежали в одну сторону, а на животе — в другую. Отталкивающее было зрелище, когда он шел, едва переставляя ноги. Наверно, он и сам понимал это и передвигался лишь в самых крайних случаях. Веки его набрякли, отяжелели и с трудом поднимались, приоткрывая щелочки глаз. Под подбородком у него висела огромная складка, из-за которой он еле-еле поворачивал голову. За подобную внешность его и прозвали Булем [1]. И кличка эта оказалась настолько точна, что люди, дразня его Булем, почти не испытывали при этом удовольствия. Сам капитан Буль уже за двадцать метров не в силах был ничего разглядеть, и потому матрос по имени Томэ всегда стоял на носу и, отчаянно жестикулируя, кричал: «Прямо!..», «Право руля!..», «Лево руля!..», «Так держать!..» или: «Задний ход!..», а капитан в соответствии с этим крутил штурвал и отдавал приказы механику. Матрос Томэ, который, по общему мнению, был слегка «чокнутый», очень гордился своими обязанностями и обычно, пропустив стаканчик, с важностью утверждал:

— Знайте, без меня тридцать шестой давно бы лежал на дне.

А вспомнил я капитана Буля потому, что и Кояма точно так же не соглашался никак уйти в отставку. И однажды, когда ему в который уж раз предложили весьма круглую сумму, лишь бы отправить его на покой, Кояма сказал: «Денег мне ваших не надо, отдайте семнадцатый, и я на все соглашусь!»

Семнадцатый к тому времени был давно уже списан и стоял на приколе близ Токуюки. А так как охотников приобрести его даже по дешевке не находилось, условие капитана Коямы было охотно принято. По его просьбе пароход отбуксировали к восточному побережью, и капитан пришвартовал его к берегу, под соснами, в том самом месте, где он находился по сей день. Так началась уединенная жизнь Коямы на семнадцатом. Как я говорил уже, у капитана были и сын и дочь. Сын, служащий торговой компании, получал приличное жалованье, дочь вышла замуж за состоятельного торговца и, уж само собой, ни в чем не испытывала нужды. Дети не раз выражали желание взять отца к себе: ведь и Кояма давно овдовел, и сыну с дочерью было совестно перед людьми оставлять отца в таком положении. Но Кояма всякий раз отказывался покинуть семнадцатый. Как говорили местные жители, он походил на раковину фудзицубо, намертво присосавшуюся к скале. Так ли, этак ли, но детям оставалось лишь успокаивать голос совести ежемесячными денежными переводами.

В иностранных романах не раз и не два читал я о том, сколь сильна романтическая привязанность моряка к своему кораблю, и я, признаюсь, был растроган историей Коямы и упорством капитана Буля, который доныне не выпускает из рук штурвал, вперив в морскую даль свой невидящий взор.

---

[1] Бык *(англ.)*.

— Наверно, старик Кояма всю жизнь проплавал на семнадцатом? — волнуясь, спросил я.

— Да нет,— спокойно ответил Такасина,— года четыре, от силы пять, когда служил матросом. Семнадцатый ведь раньше был пассажирским колесным пароходом, потом его в доке переделали под грузовое судно, и он уж до самого конца ходил в сухогрузах.

Признаться, такой ответ несколько меня обескуражил. Ведь если Такасина говорил правду, вся эта история утрачивала свою романтическую прелесть.

— Но почему же тогда,— не отступался я,— капитан Кояма живет отшельником здесь, в камышах?

— Как вам сказать,— задумчиво произнес Такасина. Он выколотил трубку о край очага, снова набил ее табаком и раскурил.— Разное говорят, но толком никто ничего не знает. Странный он какой-то, этот ваш капитан.

Как-то потом уже, поздней осенью, мне довелось провести целую ночь на семнадцатом наедине с капитаном Коямой.

Правда, еще до этой достопамятной ночи я раза два или три подплывал на своей плоскодонке к пароходу, подолгу болтал с капитаном и даже поднимался на палубу. Судя по всему, большую часть дня Кояма занимался уборкой семнадцатого. Он драил палубу и протирал машину. Белый корпус судна всегда был девственно чист, словно только что из покраски. На овальной доске на корме четко виднелась обрамленная замысловатыми голубыми виньетками надпись: «Восточное пароходство. № 17». Паровые котлы лоснились надраенным металлом и смазкой, словно их только сегодня доставили с завода, капитанский мостик сиял чистотой, все деревянные части и штурвал отливали матовым светло-коричневым блеском, а медный колокол машинного телеграфа и привязанная к билу бечева выглядели новехонькими. Все это никак не вязалось с рассказом Такасины, и я решил для верности узнать у самого Коямы, как долго он плавал на семнадцатом. Капитан, державший в руке фуражку, поскреб козырьком затылок и сиплым голосом произнес:

— Н-да... годика четыре отплавал. Точнее не вспомню, но года четыре с гаком будет.

«Выходит, Такасина прав,— подумал я,— и никакой он особой привязанности к семнадцатому питать не должен»...

Был лунный и безветренный, но довольно холодный вечер — как-никак середина октября,— когда мой друг Кура из рыбачьей харчевни «Сэмбон» пригласил меня на ловлю живца, и мы отправились к восточному побережью. Где-то уже около десяти вечера наши лодки подошли к мелководью у самого устья протоки. Как раз начинался отлив, и из-под воды проглянули две песчаные отмели, там мигало уже десятка полтора фонарей — это опередившие нас рыбаки ставили ловушки. Я остановил свою плоскодонку и начал глядеть, как Кура ловко изогнул длинные спицы, отчего отверстие мешка приняло квадратную форму, и воткнул их концами в песок так, чтобы нижний край мешка вплотную прижался к песку. Теперь живец, направлявшийся к морю, сам собой попадал в ловушку. Не переставая работать руками, Кура, заикаясь и растягивая слова — он с детства был косноязычен,— объяснял мне нехитрое устройство ловушки. Вдруг, едва он умолк, кто-то окликнул меня, словно только и ждал, когда Кура закончит свои пояснения.

Я оглянулся. На другой стороне отмели, размахивая фонарем, стоял капитан Кояма.

— Живца промышляете? — спросил капитан.

Он приподнял до груди увесистый мешок и просипел:

— Нынче ночью живец раньше обычного к морю пошел. Вон какой взял улов, собираюсь уже восвояси.

Потом дружелюбно и, как мне показалось, даже слегка заискивающе предложил:

— Не пожалуете ли ко мне в гости?

Я взглянул на Куру. Он молча ладил следующую ловушку. Поколебавшись немного, я решил, что обижу Кояму отказом, и, предупредив Куру, направил свою плоскодонку вслед за лодкой капитана. Ярко светила луна, но узкая протока, лежавшая в тени высоких камышей, все равно оставалась черной. Я плыл за Коямой, после первых же поворотов утратив всякое представление о том, где я, собственно, нахожусь. Но капитан уверенно вел свою лодку, и вскоре, миновав узкую извилистую и совершенно неведомую мне протоку, мы причалили к борту семнадцатого.

А еще через полчаса мы сидели уже на циновках в тесной каюте и распивали чай. Кроме каюты, отделанной на европейский лад, на рейсовых пароходах имелась всегда и каюта в японском стиле. На семнадцатом обе эти каюты казались даже чуть попросторнее, чем на прочих подобных кораблях: может быть, оттого, что его переоборудовали из колесного судна. В бортах виднелись иллюминаторы, сзади стояла деревянная переборка, отделявшая каюту от машинного отделения, а впереди торчали раздвижные перегородки, за которыми и находилась значительно большая по размерам каюта, обставленная по-европейски. Пол нашей каюты был устлан четырьмя циновками, на переборке висела самодельная полка с крохотным домашним алтарем, десятком книг и маленьким стеклянным ящичком с куклой, втиснутым между книгами и углом полки. Кухня помещалась в соседней каюте. Здесь же стояла небольшая жаровня с углями, рядом — шкафчик для чайной посуды, складной столик, ведерко для угля, прикрытая крышкой плетеная корзинка, доска для игры в сёги [1] с коробкой для хранения фигур и многие еще мелочи, так необходимые в холостяцком быту. Каждой из них отведено было свое особое место: старик, по всему судя, любил порядок.

— Вам кажется странной эта кукла? — спросил капитан, проследив мой взгляд.— Оно и верно, вроде для чего старику кукла? Както пришел ко мне сын с внучкой. Ей было в ту пору лет пять — не больше. Помню, она ударилась в слезы: подавай, мол, куклу, и все тут! Сын говорит: отдай игрушку, зачем она тебе! Но я не отдал. Сколько уж лет она здесь, рядом со мною. Я и теперь никому бы ее не отдал.

Помнится, я завел тогда разговор о морском характере, что вот, небось, капитан Кояма, как оно принято у моряков, бережет и любит свое судно.

— Если я не ослышался, сегодня Кура вас сэнсэем [2] назвал? — капитан улыбнулся.— Не знаю, в каких вы преуспели науках, но, наверно, приятно, когда тебя величают сэнсэем. А причина, по которой у меня пароход всегда в порядке, проще, чем вы думаете. Дело в том, что детвора — эти окаянные бесенята, стоит им здесь появиться, то черной краской корабль обмажут, то заляпают грязью. Нынче детишки прямо от рук отбились. Чуть углядят что чистое да красивое, сразу давай ломать и марать все, да еще радуются, будто кровного своего истребляют врага. Ругай не ругай их — все без пользы! Вот и изволь всякий раз подчищать да закрашивать их шкоды. А кому, как не мне, прикажете заниматься этим пароходом?

---

[1] Японские шахматы.

[2] Учитель, почтительное обращение к ученому, писателю и т. п.

Мы поболтали еще о всякой всячине, и — сейчас уж не вспомню, как это вышло,— капитан заговорил вдруг о своей давней любви, а я, напустив на себя безразличный вид, внимательно его слушал. Известно ведь, одним рассказчикам нравится, когда слушатели проявляют к их повествованию повышенный интерес, стонут и охают, других же, напротив, такое внимание только отпугивает. Ошибешься, и пиши пропало — уплыл из рук прекрасный рассказ. Чутье мне подсказывало, что Кояма как раз из пугливых, и потому я с первых же слов старался его не спугнуть.

Рассказ капитана был прост и бесхитростен.

Ему едва исполнилось восемнадцать лет, когда он влюбился — впервые в жизни. Девушка, дочь хозяина мелочной лавчонки в Синхорикава, была на год моложе Коямы, звали ее О-Аки. Чувство их было наивным и чистым, какой бывает всегда первая любовь. И длилась она более трех лет, пока неожиданно ей не был положен конец. Нет, они не разлюбили, не охладели друг к другу. Просто их разлучил отец О-Аки.

Человек деловой и предприимчивый, он надумал завести камышовые плантации и добился от префектуры разрешения на право посадки камыша по всему обширному району от низовьев реки Нэдогава до восточного побережья. Побережье от Кацусика до Уракасу издавна славится собираемым здесь нори [1]. А нори ведь сушат на камышовых навесах, так что — не говоря уже о других потребностях в камыше — спрос на него был настолько велик, что плантации не только окупились, но и сразу почти начали приносить доход. Вскоре владелец мелочной лавки стал большим богачом, и его величали теперь не иначе как «господином».

Так вот, едва О-Аки исполнился двадцать один год, отец просватал ее за денежного человека из Нагасимы. Накануне свадьбы О-Аки встретилась тайком с Коямой в сосновой роще у восточного побережья. Девушка протянула ему ящичек с куклой и сказала: «Пусть меня выдают силком замуж, но сердце свое вместе с моей куклой я отдаю тебе. Храни ее и знай, я всегда рядом с тобою». Тут она заплакала.

На бумаге да еще в чужом изложении все это кажется простым и обыденным, но когда я слушал капитана, именно «обыденность» случившегося потрясла меня до глубины души.

Девушка прижалась к Кояме и в отчаянье стала предлагать себя: мол, ее все одно отдают замуж за нелюбимого, так пусть же он, Кояма, будет первым, кому она отдаст свое тело. Но Кояма до той поры ни разу еще не был близок с женщиной, он растерялся, и чем настойчивее становилась девушка, тем больше робел и смущался. Так они и расстались, не познав друг друга.

Дом мужа О-Аки стоял неподалеку от реки Нэдогава, и, с тех пор как О-Аки там поселилась, она, едва заслышав гудок парохода, на котором плавал Кояма, бежала со всех ног к реке на дамбу. Говорят, каждый пароход гудит по-своему, и привычное ухо тотчас различает их по голосам. О-Аки издалека узнавала сирену семнадцатого. Случалось, она выбегала к реке простоволосая, с подоткнутым подолом — должно быть, гудок заставал ее за стиркой — и, запыхавшись, взбиралась на дамбу. Она не махала Кояме рукой, не окликала его и вроде бы даже не глядела на пароход, лишь стояла, не шевелясь, словно говорила Кояме без слов: «Я здесь!..» Иногда она, правда украдкой, косилась в его сторону, сохраняя на лице полнейшее равнодушие. Они могли видеть друг друга лишь на протяжении трех-

---

[1] Съедобные водоросли, которые употребляются в качестве приправы.

сот метров, пока пароход проходил мимо дамбы. По времени это занимало минут пять, если судно шло вверх по течению, а когда возвращалось к устью реки — и того меньше, от силы минуты три. Эти мимолетные, не сулившие ни малейшей надежды и неприметные постороннему глазу свидания доставляли Кояме неизъяснимое счастье.

Потом семнадцатый переоборудовали под перевозку грузов, и Кояма перешел на девятнадцатый. Однажды О-Аки не показывалась на дамбе чуть ли не целых два месяца. Кояма решил, что всему конец: любовь, которую питала к нему девушка, угасла. Он был испуган и подавлен — пожалуй, даже сильнее, чем в далекий уже день их разлуки. Но Кояма беспокоился понапрасну: прошло еще немного времени, и О-Аки опять появилась на дамбе — только уже не одна, на руках у нее был закутанный в одеяло ребенок.

— И странное дело,— продолжал старик,— уж не знаю, как это понять, но мне вдруг почудилось, будто ребенок, которого она прижимала к груди, мой! Будто это она от меня родила и младенец наш общий — мой и ее. Вам, небось, подобные вещи кажутся дикими, не правда ли? У О-Аки родилась девочка. Стороной я узнал, что роды были тяжелые и О-Аки после них очень ослабела. Должно быть, поэтому она реже стала появляться на дамбе, но и не видя ее, я уже не испытывал ни страха, ни тревоги: легко ли хозяйке богатого дома, да еще при малом ребенке, урвать свободную минуту...

В двадцать семь лет Кояма стал механиком и женился на женщине неотесанной и своенравной из его родной деревни. С первого дня никакой душевной привязанности он к ней не испытывал. Жена родила ему сына и дочь и тридцати двух лет от роду умерла, так и не внушив Кояме ни любви, ни уважения. Да и сама она его не любила, ей, скажем, и дела не было до ящичка с куклой, и она никогда не задумывалась над тем, уж не полюбил ли муж другую.

— Камыши зовут ветер,— прервал вдруг свой рассказ капитан и прислушался.— Не выйти ли нам на палубу?

Мы поднялись на палубу. После тесной каюты, где стояла жаровня, полная раскаленных углей, осенний ночной воздух приятно холодил кожу.

— Да, камыши зовут ветер,— снова сказал капитан.— Ветер с востока призывают. Сейчас он нагрянет, и вы убедитесь сами.

И правда, мгновенье спустя с той стороны, куда указывал капитан, донесся слабый порыв ветра. Я вытащил сигареты и спички, закурил и предложил капитану, но он отказался. Луна совсем уж склонилась к западу, по небу поползли тучи. В траве на берегу громче запели цикады, ветер шевельнул камыши, стряхнул с листьев росу, и воздух наполнился свежестью. Временами тучи застилали луну, и вдруг становилось темно, потом они уплывали прочь, и окрестности озарялись зеленоватым светом, словно мы находились в заколдованном подводном царстве.

Капитан сел на свое место в рубке, положил обе руки на штурвал, слегка повернул его влево-вправо, потом дернул за шнур висевшего справа сигнального колокола.

«Дзинь», раздался мелодичный звон, потом еще два раза: «Дзинь-дзинь».

— Задний ход!.. Это был наш условный сигнал,— пояснил капитан.— Когда пароход приближался к Нагасиме, я ударял в колокол один раз и кричал: «Задний ход». Потом приказывал: «Малый вперед!» и звонил два раза. В то время я уже плавал капитаном на двадцать девятом.

Он стал капитаном в тридцать пять лет. Их свидания продолжались, правда, не так уж часто. Иногда, по разным причинам, они по-

долгу не видали друг друга. Тем временем О-Аки родила еще двоих детей, а у него умерла жена. И все-таки, вопреки помехам и хитросплетениям житейских обстоятельств, они старались не пропускать необычных своих свиданий всякий раз, когда это бывало возможно. На большее они не осмеливались. Капитан так ни разу и не сошел на берег в Нагасиме и только молча страдал, если подолгу не видел ее на дамбе, и тревожился: уж не захворала ли? Иногда он узнавал стороной, что она и впрямь больна, и тогда им овладевало неодолимое желание проведать О-Аки. Но каждый раз некая таившаяся в нем сила помогала ему преодолеть это желание.

— И все же один-единственный раз я подошел к ней и даже заговорил.— Кояма тихонько засмеялся.— Случилось это незадолго до смерти жены. О-Аки села на мой пароход в Токуюки. С ней была девочка лет четырех. Я подхватил девочку и перенес ее по мосткам на палубу, а она поднялась следом, взяла у меня девочку и сказала: «Простите за беспокойство!» Я ответил: «Хороший сегодня день, не правда ли?» Сколько лет прошло, а помню все — слово в слово.

Капитан Кояма умолк, вглядываясь в сосновую рощу на берегу.

— Простите за беспокойство! — повторил он шепотом.— Хороший сегодня день, не правда ли?

О-Аки умерла, когда Кояме исполнилось сорок два года. Он узнал об этом лишь через два месяца. Ей ведь и раньше случалось подолгу не появляться на дамбе, и потому — бывает же в жизни такое — он не тревожился, не испытывал тяжких предчувствий. Но когда он узнал, что О-Аки долго и тяжело болела и вот уж два месяца, как умерла, его охватило беспросветное горе, какого и не опишешь словами. Он страдал и ни в чем не находил утешения. Стоило ему вспомнить, что больше уж в этом мире им никогда не встретиться, и руки его, управлявшие судном, бессильно падали со штурвала. Он покинул свой пароход и целую неделю просидел, запершись, дома. И вот в бездонной пропасти его горя, отчаянья и скорби стало вдруг потихоньку нарождаться какое-то светлое ощущение; ему казалось, будто с души у него свалился тяжелый камень.

— Как бы вам это растолковать,— помолчав, сказал капитан и погладил пальцами штурвал,— мне почудилось, вроде бы после смерти она возвратилась ко мне. Да-да, именно такое чувство, словно ко мне возвратилось нечто, на долгое время отданное людям взаймы... И ощутив это, я вытер пыль с ящичка, где хранилась кукла.

Когда-то, давным-давно, девушка сказала ему: «Пусть меня выдают силком замуж, но сердце свое вместе с моей куклой я отдаю тебе». И вот теперь-то слова ее поистине сбылись.

С тех пор как умерла жена, капитан жил один-одинешенек. Сейчас же его одиночеству пришел конец: к нему навсегда вернулась его О-Аки. Дети обычно бывают весьма наблюдательны, и от них трудно что-нибудь скрыть, поэтому капитан ни разу — ни словом, ни жестом — себя не выдал; но в сердце своем тайно от всех он постоянно беседовал с О-Аки.

— Сегодня в Татэгаве паром был прямо битком набит, пришлось добираться добрых пять часов.

— Какой ужас! Вы, наверно, очень устали. Отдохните, сейчас принесу вам рюмочку сакэ [1].

— Не волнуйся. Да и сакэ не надо! Я после выпивки всегда чувствую себя совсем разбитым.

— Экий вы нескладный, все, гляжу, у вас не как у людей.

---

[1] Японская рисовая водка.

345678

Он говорил с нею всерьез, не замечая, что сам наедине с собою ведет весь этот диалог. Случалось даже, во время их разговоров она капризничала, как дитя, и отвечала невпопад, вопреки его воле.

— Иногда она говорила, что хочет проведать свой дом,— рассказывал капитан,— погляжу, мол, на малышей и вернусь. Я ей, само собой, не препятствовал и, когда пароход подходил к Нагасиме, сперва давал задний ход, чтобы спустить ее на берег, а потом уж — малый вперед.

На судне, понятно, никому и в голову не приходило, почему на подходе к Нагасиме капитан отдавал совершенно ненужные команды: «задний ход» и «малый вперед». Просто решили, что у него, как говорится, не все дома.

— Люди и теперь толкуют, что я, мол, совсем свихнулся,— сказал капитан, и в горле у него забулькал странный, хриплый смешок.— Говорят, будто только псих мог купить эту старую галошу — семнадцатый и поселиться здесь, среди камышей, в полном одиночестве.

— В одиночестве!..— Губы его тронула хитрая ухмылка.— Им-то ведь все невдомек. Это я только вам рассказал...

Капитан Кояма умолк. Рассеянный взгляд его блуждал среди сосен, темными силуэтами высившихся на берегу. Он зевнул, поглядел на обступившие семнадцатый заросли камыша.

— Скоро начнут резать камыш,— сказал он.— Самое время охоты на дичь. Нагрянут охотники, станут палить почем зря. Нет, не люблю я этот охотничий сезон.

Небо начинало светлеть. Я сел в свою плоскодонку и поплыл прочь.

Больше мне не доводилось встречать капитана Кояму.

Бежит по нашей улице трамвай

К нашей улице можно проехать на трамвае. Трамвайный путь — единственный. Правда, без рельсов и проводов, да и вагонов тоже. Обслуживает маршрут один лишь водитель, но поскольку самого трамвая не существует, пассажирам, само собой, и садиться некуда. Короче говоря, кроме водителя Року-тяна и нескольких реально существующих предметов, все остальное — плод воображения.

Року-тян и мать его Окуни живут на соседней, более широкой и оживленной улице. Отец его то ли умер, то ли ушел от них — словом, отца у Року-тяна нет, и никто из соседей его никогда и в глаза не видел. У Окуни — маленькая харчевня, она сама жарит там для посетителей тэмпура [1]. Хотя, говоря откровенно, она подает клиентам самые немудреные тэмпура — овощные.

Окуни — полная, широколицая женщина лет сорока. В глазах у нее застыло выражение недоверия и подозрительности ко всем и вся, губы ее всегда плотно сжаты, как сомкнутые створки раковины хамагури. Темные, с еле приметным коричневатым отливом волосы стянуты на затылке узлом.

Окуни ходит бессменно в легком застиранном хлопчатобумажном кимоно, поверх которого повязан белый передник. И зимой и летом на шею у нее наброшено полотенце, свисающее над жаровней,

[1] Креветки, ломтики рыбы или овощей, зажаренные в тесте.

где она жарит тэмпура. Полотенце и белый передник должны создавать у посетителей впечатление опрятности.

Окуни удивительно молчалива. Она даже гостям не изъясняет на словах свое радушие, считая, должно быть, что лучшей гарантией гостеприимства является вкус ее тэмпура. Кажется, все ее помыслы сосредоточены на готовке этого блюда. Но на самом деле, привычно манипулируя палочками, она успевает подумать и о Року-тяне, и о божеской милости и помечтать о чуде, которое вот-вот свершится, потому что ее познакомили с недавно появившимся заклинателем, который, по слухам, исцеляет калек. Мысли эти ворочаются и сталкиваются у нее в голове, покуда она жарит очередную порцию тэмпура.

Вечером Окуни закрывает харчевню, стелет постель и, покончив с приготовлениями ко сну, зажигает лампу и курительные палочки, берет в руки маленький и плоский, словно игрушечный, барабан и вместе с Року-тяном садится перед домашним алтарем. Хорошо бы, конечно, иметь настоящий, большой ритуальный барабан, думает Окуни, но от покупки ее всякий раз удерживает робость: что еще скажут соседи, а ведь многие из них завсегдатаи ее харчевни, да и неужто же божья милость зависит от размеров барабана. Вот почему Окуни по-прежнему пользуется игрушечным барабаном, хотя и чувствует, что это вроде бы не по правилам.

— Наммё рэнгё [1],— опережая мать, восклицает Року-тян и кланяется перед алтарем.— Прости, боженька, за то, что всегда прошу тебя об одном и том же. Пошли бедной голове моей матушки разум! Наммё рэнгё.

Наконец Окуни ударяет в игрушечный барабан и тоже начинает молиться.

Надо ли объяснять, что Окуни молит бога за свое родное дитя. И как не удивляться тому, что Року-тян, опережая ее, всякий раз просит бога ниспослать исцеленье своей совершенно здоровой матери.

Нет-нет, Року-тян не передразнивает мать. В молитве его вовсе не скрыта насмешка или какие-то тайные намеки. Он прекрасно понимает, что матушка испытывает за него неловкость перед людьми и ради его выздоровления взывает к богу, творит заклинания, приглашает чудотворцев и знахарей. И он своими молитвами как бы увещевает мать: не нужно, не нужно тревожиться обо мне, на это, право же, нет ни малейшей причины.

«Почему ты так беспокоишься обо мне, матушка? Разве мы в чем-нибудь испытываем нужду?» — изо дня в день повторяет Року-тян. «Верно, сынок, у нас всего вдоволь, и я ничуть не волнуюсь»,— отвечает ему Окуни, но тень страдания и обреченности, омрачающая ее лицо, не исчезает. Это раздражает Року-тяна и выводит его из себя. Ему жаль мать, которая так горюет безо всякой причины, и он искренне молит бога, чтобы тот помог матери и послал бы ей разум.

— Прошу тебя, боженька,— твердит Року-тян, когда мать ненадолго прерывает молитву, чтобы перевести дух,— может, я и надоел тебе своими просьбами, но все равно умоляю: сжалься над матушкой! Наммё рэнгё.

У Окуни мучительно сжимается сердце. Который год из вечера в вечер вот так же молятся они богу, и всякий раз простодушные слова сына острой болью отдаются у нее в душе и глаза ее застилают слезы.

---

[1] Обращение к буддийскому божеству.

Какой он заботливый и добрый! И как красиво он говорит. Что, если вот сейчас, сию минуту к нему вернется разум? О, как ей хочется верить в это!

Року-тян с жалостью смотрит на Окуни, следя за выражением ее лица. И словно утешая испуганное дитя, говорит ей: «Полно, матушка, чего же ты волнуешься? Все будет хорошо, не тревожься, родная».

Року-тян на всем белом свете любит только мать да старого Хансу-кэ, что живет на нашей улице, и его кота Тору. Можно, конечно, сказать наоборот: Року-тяна любят лишь эти двое и кот. Все прочие люди не питают к нему никаких добрых чувств. Они дразнят его и своими грубыми шутками мешают Року-тяну водить трамвай, у мальчика из-за них все время натянуты нервы.

Злые люди эти, особенно детвора, дразнят его «трамвайным дурачком». Может, если глядеть со стороны, они и правы, но разве он, Року-тян, не самый усердный и добросовестный водитель трамвая?..

Утром, пробудясь от сна, Року-тян первым делом спешит осмотреть трамвай. Вагоны стоят в депо, а депо — на дорожке, позади дома.

В самом углу крохотной кухни, рядом с крышкой, прикрывающей лаз в подпол, стоит старый ящик из-под мандаринов, здесь в строгом порядке разложены лейка без носика, кусачки, отвертка, замасленные рабочие рукавицы и ветошь. Все эти вещи существуют на самом деле. Кроме того, еще, в воображении Року-тяна, существуют рукоятка контроллера, визитные карточки, наручные часы и форменная фуражка. Безносая лейка в воображаемом мире мальчика выполняет роль масленки.

Року-тян берет масленку, кусачки и отвертку и шагает в депо осматривать трамвай. На самом деле там ничего нет, но в воображаемом мире мальчика прекрасно видны стены депо и стоящий на рельсах трамвай. Многозначительно пожимая плечами, цокая языком и поглаживая рукой подбородок, он медленно обходит вокруг вагонов, постукивает по ним кулаком, нагибается, чтоб осмотреть ходовую часть трамвая.

— Безобразие,— бормочет Року-тян, укоризненно качая головой.— Куда только смотрят механики? Бездельники! Я покажу этим разгильдяям!

Покончив с техническим осмотром, Року-тян умывается, завтракает и собирается на работу. Правда, в те дни, когда Окуни уходит за продуктами для харчевни, ему приходится дожидаться ее возвращения. На рынок Окуни ходит обычно через день, но иногда ей случается делать покупки несколько дней подряд. Тогда Року-тян нервничает, не находит себе места и в сердцах выговаривает матери, что, мол, ее опоздания наверняка скажутся на его заработке. Перед уходом на работу Року-тян забегает на кухню, достает лежащую в ящике из-под мандаринов форменную фуражку и нахлобучивает ее себе на голову. Затем натягивает измазанные машинным маслом рукавицы, берет рукоятку контроллера и визитные карточки. Из всех перечисленных предметов реально существуют лишь рукавицы, остальное — плод его воображения.

Року-тян садится на водительское место, вставляет визитную карточку в рамку на переднем стекле и надевает рукоятку на наконечник контроллера. Затем правой рукой сжимает ручку на колесе тормоза, несколько раз прокручивает его влево, затем вправо, проверяя исправность тормозного механизма. Все эти операции Року-тян проделывает

ежедневно в четкой последовательности и с такой серьезностью и старанием, которым позавидовал бы и профессиональный водитель.

— Теперь поехали,— бормочет Року-тян и отпускает тормоз. При этом правая рука, сжимавшая тормозную ручку, крутанув ее, слегка приподнимается, и колесо тормоза, свободно вращаясь, возвращается назад.

Люди прозвали Року-тяна «Трамвайным дурачком». Но Року-тян вовсе не был дурачком. Вопреки мнению невежд, врачи-специалисты, тщательно обследовавшие его, в один голос утверждали, что он не идиот и не слабоумный ребенок. В положенный срок Року-тян поступил в начальную школу и через шесть лет ее окончил. За все это время он ни разу не приготовил уроков, не занимался физкультурой, не принимал участия в ребячьих играх. С первого дня, когда он пришел в класс, и в течение всех шести лет Року-тян рисовал трамваи, а возвращаясь домой, изучал технику вождения.

Люди прозвали его дурачком, и в самом деле, трамвай Року-тяна в действительности не существовал, а все операции, которые он проделывал — от включения тока до возвращения трамвая в депо,— совершались лишь в его воображении.

А каковы те, кто водит не придуманные, а настоящие трамваи? Вот один из них поворачивает с довольно оживленной улицы на север, минует мост и направляется к центру, где снуют трамваи, автобусы, грузовики и легковые машины. Все они существуют в действительности, и управляют ими настоящие — здесь не может быть ни малейших сомнений — водители. Но должны ли мы в это безоговорочно верить?

Вон один из таких настоящих водителей в самом деле управляет сейчас своим трамваем, но душа его, его мысли весьма далеки от выполняемой им работы. Он думает о том, как вчера вечером поругался с женой и ушел в забегаловку, а там его незаслуженно оскорбили. Воспоминания эти нагоняют на него тоску, постепенно переходящую в злость. Мысленно он поносит последними словами жену и с наслаждением избивает в пивной своего оскорбителя. В воображении своем все постигшие его горести он связывает с работой и проклинает тот день и час, когда решил стать водителем трамвая. Глаза его застилает пелена ненависти и злобы, и он сгоряча проскакивает остановку. Гнев пассажиров, собиравшихся здесь сойти, обрушивается на кондуктора, и тот изо всех сил давит на кнопку звонка. Тут уж водитель, кипя в душе из-за собственной промашки, резко останавливает трамвай.

Да мало ли подобных примеров отыщется и среди людей других профессий — почти все они, как правило, не довольны своей работой. Наверное, многие, что бы они там ни утверждали на словах, в душе не любят свою работу, презирают и даже ненавидят ее.

Вы скажете, нельзя сравнивать этих людей с Року-тяном. Но он-то ведь душой и телом предан своему воображаемому трамваю и водит его с гордостью и наслаждением...

Вот он как раз проезжает по своей собственной улице. Левой рукой он переводит рукоятку на вторую скорость, правой — крепко сжимает тормозную ручку.

— Тук, тук, тук,— подражает он стуку колес, сперва раздельно и медленно, потом, когда трамвай набирает скорость, все быстрей и быстрей. На стыках рельсов колеса стучат по-другому:

— Тука-тук, тука-тук.

Когда же вагоны пересекают другую трамвайную линию, стук еще более усложняется, ведь идущие поперек рельсы должны миновать четыре пары колес — сперва головной, потом задний вагон.

— Тука-ка-тук, тука-ка-тук, тука-ка-тук, тука-ка-тук.

Вдруг на пути трамвая появляется рассеянный прохожий. Року-тян стучит носком правой ноги по земле, ударяя педаль звонка:

— Дзинь, дзинь, дзинь!

Прохожий, не обращая внимания на сигналы, прямо по путям идет навстречу трамваю. Наверно, он приехал из другого города, незнаком с Року-тяном и не замечает ни рельсов, ни трамвая, который ведет мальчик.

У Року-тяна кровь приливает к щекам. Он пытается срочно остановить трамвай.

— Берегись! — кричит он, быстро переводя левой рукой рукоятку контроллера на ноль, а правой изо всех сил крутя колесо тормоза.

— Дззз... — подражает он скрежету тормозов.

Наконец, трамвай останавливается в опасной близости от прохожего.

— Куда смотришь, растяпа? — кричит он рассеянному мужчине, высунув из окна покрасневшее от напряжения лицо.— Так ведь недолго и под трамвай угодить.

Потом, строго глядя на него, добавляет:

— По путям ходить запрещено. Ты что, не слыхал об этом, деревенщина?!

Рассеянный прохожий, раскрыв от изумления рот, растерянно смотрит на возбужденное лицо Року-тяна и спешит отойти в сторону. Року-тян сердито глядит ему вслед и бормочет:

— Ненормальный какой-то! Ходит где попало, деревенщина!

Затем он, приподняв правый локоть, отпускает тормоз, переводит рукоятку на вторую скорость и ловит ручку раскрутившегося тормозного колеса. Трамвай трогается, плавно набирая скорость.

— Тук, тук, тук, тук,— стучат колеса.

Здешние жители давно уже не обращают внимания на Року-тяна. Для них он — привычная деталь городского пейзажа. Року-тян тоже к ним безразличен. Другие дети не интересуют его, и он лишь презрительно косится на них, когда дети его дразнят.

Совершив три рейса, Року-тян возвращается домой — отдохнуть, потом делает еще три рейса и заканчивает рабочий день. Правда, время окончания работы неопределенно и полностью зависит от настроения Року-тяна. Так, повстречав по дороге Тору — кота, который живет у Хансукэ, Року-тян останавливает трамвай, берет кота на руки и относит к дому Хансукэ.

Тора на удивление рослый и упитанный кот. Голова его, здоровенная и круглая, величиной с футбольный мяч. У Хансукэ он живет уже лет семь, и все, понимающие толк в котах, утверждают, что ему никак не меньше двенадцати лет. Само собой, среди всех здешних котов он — фигура номер один.

— Как дела, Тора? — спрашивает кота Року-тян, беря его на руки.— Что ты сегодня остановил — грузовик или трамвай?

— Мяу,— отвечает кот.

Никакого звука он при этом не издает, просто разевает пасть, как бы собираясь мяукнуть. Наверно, во время любовных похождений и ежедневных кровопролитных драк он совсем надорвал голосовые связки и подает голос лишь в самых необходимых случаях.

— Сколько машин остановил? — снова обращается к нему Року-тян.— Три или, может быть, пять? А тэмпура сегодня ел?

Кот снова беззвучно разевает рот, благостно щурит глаза и мурлычет. Спрашивая про тэмпура, Року-тян имел в виду вовсе не харчевню своей матери, а «Тэммацу», где подавали настоящие тэмпура всех сортов.

— Поедем-ка лучше домой,— говорит Року-тян, поворачивая трамвай.— Тебе ведь в другой трамвай лучше и не соваться: заметит контролер — оштрафует. Котам проезд в трамваях запрещен. Но со мной можно. Ну-ка, держись покрепче — я набираю скорость: тук, тук, тук, тук...

Трамвай уже старый, поэтому иногда случаются неполадки. Року-тян недовольно цокает языком, останавливает трамвай и слезает с водительского сиденья. Успокаивая сидящего у него на плече кота, Року-тян медленно обходит вокруг вагонов, осматривает их, с кислым видом постукивая по корпусу, заглядывает под трамвай, проверяя сцепление, потом глядит вверх: плотно ли прилегает к проводу дуга.

Все движения его настолько естественны, что человеку, впервые наблюдающему за ним, трудно поверить, будто они только лишь порождение пустой фантазии. Даже размеры прямоугольника, по которому Року-тян обходит вагоны, вызывают ощущение реально существующего трамвая. Мало того, постепенно вам начинает казаться, будто вы и вправду слышите, как Року-тян простукивает узлы и колеса.

— Ох, уж эти мне механики! — бормочет Року-тян.— Кто дал им право халтурить лишь потому, что трамвай, мол, старый. Ничего, вернемся в депо, я покажу им, где раки зимуют!

Року-тян возвращается на водительское место, включает скорость.

— Поехали,— говорит он восседающему у него на плече коту.— Тук, тук, тук, тук...

К югу от улицы, где живет Року-тян, стоит овощная лавка, которую здесь, в округе, прозвали «Зелень за грош». Название это, я думаю, прижилось потому, что овощи и зелень тут чуть ли не на треть дешевле, чем во всех прочих лавках. И покупатели тянутся сюда издалека.

Между зеленной лавкой и маленькой сапожной мастерской начинается переулок длиной метров во сто — весь в бесчисленных непросыхающих лужах. Переулок выходит на обширный глинистый пустырь, посреди которого, словно клочья шерсти на облезлой старой собаке, торчат там и сям тощие пучки травы. Здесь валяются старые негодные чашки, ржавые консервные банки, обрывки бумаги. Поодаль высятся несколько кривых, старых дубов, мимо которых проходит довольно широкая сточная канава, окаймленная буйным кустарником. Короче говоря, царство запустения и тлена.

Року-тян пересекает пустырь по узкой тропинке, упирающейся в сточную канаву. В неподвижной, грязно-зеленой воде, переливающейся радужными пятнами нефти, плавают разбитые чашки, обломки палочек для еды, искореженные бидоны и прочий мусор; попадаются там нередко дохлые кошки и собаки. Зимой и летом над канавой стоит тяжкий, удушливый смрад.

Року-тян перепрыгивает через канаву. Здесь как бы пролегает пограничная линия: восточный берег канавы принадлежит соседнему оживленному кварталу, западный — нашей улице. Люди, живущие на разных ее сторонах, никогда не пересекают границу.

Нашу улицу населяет беднота, как говорится — голь перекатная, не имеющая постоянной работы. Это — рассадник преступлений. Кого здесь только не встретишь: бывших банкротов и взломщиков, бродяг, шулеров. Жители восточной стороны стараются даже случаем не заглядывать сюда, но не потому, что опасаются здешнего люда; скорее всего, наша улица и все мы, вместе взятые, кажемся им чуждым, неправдоподобным, а может, и вовсе несуществующим миром.

Улица наша начинается сразу за упомянутыми уже мною тощими дубами. Всего-то она насчитывает семь длинных бараков да пять полуразвалившихся домиков, на вид почти не отличимых от сараев. Домишки поставлены беспорядочно: одни — прислонясь друг к другу крышами, другие — поодиночке, словно шарахнувшись в страхе прочь от соседей. А позади возвышается отвесная пятнадцатиметровая скала, на которой находится заросшее бамбуком и невидимое снизу кладбище храма Сэйгандзи. Огромная каменная скала всей своей массой нависла над нашей улицей, и притулившиеся к ней домишки кажутся поэтому еще более жалкими.

Детишки, играющие на пустыре, не обращают на Року-тяна никакого внимания. Не оборачиваются в его сторону и старики со старухами, которые здесь, на пустыре, вечно что-то колют, сушат и складывают. Для них Року-тян просто не существует. Как не существуют и все остальные люди с восточной стороны канавы. Да и что в этом особенного: разве в обыденной нашей жизни мы постоянно не сталкиваемся с подобными же вещами? На людных улицах, в театрах, в кино, в учреждениях каждый из нас реально осознает существование другого человека после того лишь, как он вступает с нами в непосредственный контакт. А во всех остальных случаях мы, находясь рядом друг с другом, разобщены, словно выходцы из разных миров, и как бы не существуем в одном, общем пространстве и времени.

— Ну вот,— говорит Року-тян коту.— Сейчас будет твой дом.

Он вступает в узкий, кривой закоулок, обставленный двухэтажными бараками. Правда, двухэтажными их можно назвать скорее условно: вторые этажи — это просто низкие чердаки, где и не выпрямишься даже во весь рост. Не только крыши с навесами, но и стены бараков угрожающе покосились в разные стороны. И кажется, будто одни дома безмолвно кланяются друг другу, а другие — брезгливо отвернулись от них прочь.

Кот, спрыгнув на землю, быстро исчезает за полуоткрытой решетчатой дверью. Дверь эту вовсе не приоткрывали им навстречу. Она застыла в таком положении с давних пор — теперь уж ее не отворить пошире и не захлопнуть.

— Принимайте вашего Тору! — кричит Року-тян.

Тотчас же старая, не раз проклеенная бумагой перегородка отодвигается на два-три дюйма в сторону, и из щели выглядывает худощавое лицо мужчины лет пятидесяти. Это Хансукэ. Он озирается, словно высунувшийся из норки пугливый зверек.

— А, это ты, Року-тян,— тихонько говорит Хансукэ.— Кота, значит, привел?

— Ага!

— Спасибо тебе за заботу,— улыбается Хансукэ, но на всякий случай перегородку дальше не отодвигает.

Року-тян снимает несуществующую фуражку и трет ладонью лоб.

— Ну как, все молишься вечерами? — посерьезнев, спрашивает Хансукэ.

— Что поделаешь, приходится,— отвечает Року-тян.

— Да-а, нелегкая жизнь у твоей матушки,— вздыхает Хансукэ.

— Нет-нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке. Я ведь сам присматриваю за ней.

— Что верно, то верно,— бормочет Хансукэ, смущенно отводя взгляд.

Року-тян поглаживает козырек несуществующей форменной фуражки.

— А у вас как работа ладится? — спрашивает он у Хансукэ.

— Да помаленьку,— отвечает Хансукэ, пряча улыбку.— Не скажу, чтобы все шло гладко, но и жаловаться не на что.

— Та-ак,— солидно тянет Року-тян.

Из-за спины Хансукэ выглядывает Тора. Он смотрит на Року-тяна и широко разевает пасть. Наверно, хочет мяукнуть, но звука снова не получается. И кот исчезает за спиной Хансукэ.

— Вот, значит, какие дела,— бормочет Хансукэ, потирая пальцем нос. И словно подчиняясь этому, понятному только им обоим знаку, Року-тян нахлобучивает фуражку, машет на прощанье рукой и уходит.

— Спасибо тебе,— кричит ему вслед Хансукэ.— Кланяйся матушке.

Вечером, закончив приготовления ко сну, Окуни и Року-тян садятся перед домашним алтарем. Мерцает лампа, и ароматный дымок вьется над курительной палочкой. Окуни берет в руки маленький плоский барабан. Опережая мать, Року-тян кланяется перед алтарем.

— Наммё рэнгё,— Року-тян и доверчив и прост, словно бог и впрямь находится здесь, в алтаре.— Прости меня, боженька, за то, что всегда прошу тебя об одном и том же. Пошли бедной голове моей матушки разум! Наммё рэнгё!

Мать ударяет в барабан и начинает молитву.

Но вдруг Року-тян прерывает ее и, снова кланяясь перед алтарем, говорит:

— И дядя Хансукэ, у которого живет кот Тора, тоже тревожится о здоровье матушки.

Окуни отодвигает барабан и, недоумевая, глядит на Року-тяна. Мальчик качает головой и говорит, чтоб успокоить ее:

— Не волнуйся, матушка! Волнение — самый страшный яд для головы. Все хорошо, матушка! Все будет в порядке!

Окуни снова поворачивается к алтарю и, несильно ударяя в барабан, начинает молитву...

Дом с бассейном

Июньским дождливым вечером отец и сын брели по мокрой улице. Отцу на вид было лет сорок, мальчику — шесть или семь. Пожалуй, он был слишком мал и худ даже для шестилетнего, но если судить по их разговору с отцом, ему можно было дать и намного больше.

С плеч у обоих свисали обноски, на ногах были совсем разбитые гэта. Одежда их давно утратила первоначальный облик, и невозможно было определить, чем была она поначалу: кимоно ли на подкладке или ватником. Глядя на свалявшиеся, давно не стриженные волосы и худые, землистые лица, мужчину и мальчика можно было принять за

обычных уличных нищих, да и самый образ их жизни мало чем отличался от нищенского существования.

Я не зря сравнил этих людей с обычными нищими: если судить по внешним приметам жизни обоих, нищими они и были; но имелось все-таки в самой сути их бытия нечто такое, что отличало отца и сына от уличных бродяг. И пусть чужие люди из милости давали им еду и одежду, а жильем им служила жалкая лачуга, похожая на собачью конуру, но все же они никогда не сидели на обочине дороги и не канючили, прося подаяние. Если на улицах женщины подавали мальчугану милостыню, он кланялся и благодарил их. Но сам он никогда ничего не просил и в общем почти не отличался от всех прочих детей. И, конечно, отца и сына отличали от обычных нищих и нескончаемые беседы, которые они вели между собой.

В тот вечер, бредя по улице и не имея даже зонта, чтобы укрыться от назойливого дождя, они говорили о собственном доме, который собирались когда-нибудь построить.

— Хорошо бы поставить его на вершине холма,— рассуждает отец.— Японцы испокон века строят дома в низинах: где-нибудь у подножия горы, в лощине или между холмами.

— Ага, верно,— задумчиво вторит ему мальчик, кивая головой.— Когда мы были в Иокогаме, я заметил: волосатые [1] всегда строят дома на вершинах холмов или на склонах, а японцы — внизу, вроде как бы в долинах.

— Ну, на это есть свои причины,— продолжает отец.— В Японии часто бывают землетрясения и тайфуны. Деревянным домам нелегко устоять перед ними, и поэтому для застройки японцы выбирают защищенные от ветра низины, где не так велик риск пострадать от стихийных бедствий. Хотя дело и не только в этом.

Японцы крайне чувствительны к контрастам света и теней и прямому освещению всегда предпочитают косвенное, а открытым, залитым светом пространствам — помещения, где свет рассеивается каким-либо экраном. В своей повседневной жизни они избегают слишком уж ярких и блестящих красок и склонны, напротив, к красоте неброской и спокойной. Вот почему японцы никак не могут привыкнуть к шумной жизни в каменных домах, где не надо у входа снимать ботинок. Не могут — и все тут!

— Угу-у,— задумчиво тянет мальчик, склонив голову набок,— мне тоже не нравятся каменные дома, очень уж в них холодно. Нет, не люблю дома из камня.

— Да, но такая точка зрения тоже не во всем справедлива,—словно колеблясь, продолжает отец.— Не спорю, японцам больше по душе деревянные дома, но когда всю жизнь проводишь в жилищах из дерева, глины и бумаги, это постепенно начинает отражаться и на характере людей, да и всей нации в целом, человек со временем утрачивает силу и душевную стойкость.

Тут отец пускается в рассуждения о характере европейцев и американцев. Послушать его: все их творческие способности, вся сила коренятся в их образе жизни — они ли не живут в домах из камня, железа и бетона, не едят за столами, не снимая при этом ботинок, не закатывают то и дело шикарные банкеты...

Мальчик внимательно прислушивается к каждому слову отца, кивает головой в тех местах его речи, где следует выразить свое согласие, а иногда даже вздыхает и охает. Отец разговаривает с сыном как с равным, и мальчик внимает ему вовсе не так, как обычно слушают дети. Так уж у них заведено. И слушая их, можно подумать, что эту

---

[1] Иностранцы, европейцы.

беседу ведут не отец с малолетним сыном, а взрослые братья или давние близкие друзья.

— Все это верно,— продолжает отец,— но когда строишь свой собственный дом, тут уж дело не только в теории. Национальность национальностью, но если речь идет о доме, где человек сам будет жить, практической стороной вопроса пренебрегать нельзя.

— Вот и я считаю: подумаешь — на... национальность!

— Так-то оно так, но разве национальный характер не определяет ваше будущее? Пусть уж для нас, стариков, все едино. Жить нам недолго, и характер свой нам уже не переделать. Горбатого, говорят, могила исправит. Но если взглянуть на эту проблему в целом, подумать о вас, о ваших детях и внуках, было бы, конечно, неправильно исходить из одних лишь личных вкусов.

— Угу, верно.

Наступает вечер, а дождь все не прекращается. Улица становится оживленнее: мчатся такси, снуют прохожие, грохочут грузовики. Но весь этот шум и суета не имеют никакого отношения к отцу и сыну, как, впрочем, и они сами не существуют ни для водителей такси, ни для прохожих и владельцев лавчонок, стоящих вдоль тротуаров, ни для покупателей, делающих здесь свои немудреные покупки.

Вечером отец и сын возвращаются в свою лачугу. Она имеет полтора метра в высоту, один — в ширину и два метра в длину. Стоит их лачуга, прислонясь к дому старого Яда, который давным-давно живет на этой улице. Пол внутри выстлан досками, на которых валяются циновки вперемежку с грудами соломы — вся их постель. Перед лачугой стоит ящик из-под пива, в нем хранятся две миски, палочки для еды, глиняный горшок без крышки и помятая алюминиевая кастрюля, в которой кипятят воду. Рядом с ящиком высится обмотанная проволокой переносная печурка — такая старая, что, кажется, сними с нее проволоку — и она развалится тут же на глазах.

Отец и сын едят обычно на вольном воздухе. Глиняный горшок и кастрюлю они наполняют едой и подливой. Иногда это бывает хлеб и кусочки мяса в соусе, иногда рис с тушеными овощами и кофе, а иной раз — кусочки мяса и рыбы вперемешку с овощами, хлебными крошками и рисом — теперь, уж конечно, никто не рискнул бы определить, под каким изысканным названием значились все эти блюда в ресторанном меню. Но и отцу и мальчику это совершенно безразлично. А может, здесь суть и не в безразличии; просто они стараются не думать о том, какова же на самом деле их еда, и занять по возможности обоняние, зрение и вкус чем-либо другим. Случается, среди остатков риса и хлеба они вылавливают лакомые кусочки, и тогда у отца и мальчика радостно загораются глаза.

— Вот это да! — восклицает отец, ловко подцепив палочками ломтик мяса.— Редкостная удача, настоящий ростбиф да к тому же в меру прожаренный. Это большое искусство — зажарить мясо так, чтобы внутри сохранился его натуральный цвет. Будешь есть?

— Спасибо, ешь сам,— отвечает мальчик и хмурит брови,— я не люблю недожаренное мясо.

— Знай же,— поучительным тоном произносит отец, отправляя в рот выуженный из объедков кусочек ростбифа,— что в Германии и во Франции говядину вообще едят сырой. Нет, пожалуй, только в Германии. Не исключаю, что это и есть баварский способ приготовления. Сначала маринуют в лимонном соке репчатый лук и лавровый лист, потом ненадолго кладут в маринад сырую говядину. Мясо к столу подают вместе с мелко нарезанным луком и специями. И едят сырое мясо с черным хлебом.

— И с тертым сыром,— добавляет мальчик.— Или же сыр идет к другому блюду?

— Как кому нравится, но, по-моему, тертый сыр убивает вкус.— Отец проглотил, наконец, ростбиф и, представив себе, должно быть, сырое мясо с тертым сыром, медленно качает головой.— Н-да, в этом случае тертый сыр не годится. Он скорее...

Далее следуют подробнейшие рецепты мясных блюд, к которым идет тертый сыр.

Услышь его рассказы специалисты, они тотчас догадались бы, что он переиначил на свой лад все, некогда вычитанное из книг или услышанное из разговоров, идя на поводу у своей неуемной фантазии. Но все-таки можно было предположить, что он обладает обширным опытом и познаниями и даже, пожалуй, известным талантом, но, увы, не сумел ни к чему их применить.

Он мог вести беседу на самые неожиданные темы, и мальчик был для него идеальным слушателем. В теплое время года они, поужинав, отдыхали обычно на улице. Мальчик, вставив в самодельный бамбуковый мундштук подобранный на улице окурок сигары, передавал его отцу, и тот, скупо затягиваясь сигарным дымом, заводил неторопливую беседу. А сын внимательно слушал, порой вставляя в разговор и свое словечко. Оба старались не касаться повседневной обыденной жизни, и потому беседа их на девяносто девять процентов носила отвлеченный, а порой и фантастический характер.

Мальчик никогда не заговаривал о матери, отец же в своих рассказах избегал всего, связанного с женой и семейными отношениями вообще. Хотя, как бы там ни было, семилетний ребенок не мог не думать о матери, будь она жива или уже отошла в мир иной; ведь каждый мужчина, а ребенок в особенности, хранит в душе образ матери.

И все же мальчик ни разу не обмолвился о своей матери. Не говорил он и о матерях других детей. Иногда среди ночи он просыпался в своей лачуге или, гуляя с отцом, вдруг останавливался посреди улицы и тоскливо глядел перед собой. Может быть, именно в эти мгновения перед ним возникал образ матери, и тоска по материнской любви сжимала его маленькое сердце.

В такие минуты он не пытался сдержать, подавить в себе это чувство, однако он ни разу не поделился своими переживаниями ни с отцом, ни с кем-либо другим.

Откуда явились сюда отец с мальчиком, что за жизнь вели они в прошлом? Об этом здешние старожилы ничего не знали. Соседям неизвестны были даже их имена. Когда старик Яда, разрешивший им построить рядом со своим домом лачугу, спросил у мужчины, как его зовут, тот невесело усмехнулся и, почесав затылок, ответил, что не такая уж он важная персона и ни к чему его величать по имени.

Старый Яда давно уже жил в одиночестве. Он был одержим верой в свои собственные деловые способности и время от времени затевал грандиозные проекты, которые неизменно проваливались с треском. Яда считал, что настоящий предприниматель должен быть тактичен и благороден, поэтому он больше не стал ни о чем расспрашивать мужчину и даже отказался от платы за землю, на которой тот построил лачугу.

Правда, великодушие это было показное, потому что никто из жителей здешней «улицы» вообще не владел ни землей, ни домами, и Яда не был среди них исключением. Домо- и землевладельцы жили совсем в другом месте, но знали об этом лишь очень немногие, в том числе и исповедовавший христианскую веру господин Сайта, которому не раз

приходилось выступать третейским судьей в спорах между домовладельцами и жильцами. Вот почему отказ старого Яда от арендной платы был лишь красивым жестом, призванным подтвердить широту его натуры.

Не только соседи не слыхали ни разу имен мужчины и мальчика. Они и сами не называли друг друга по имени. Отец никогда не говорил мальчику «сын» или «сынок», а мальчик, обращаясь к нему, не называл его «папа» или «отец». Они ограничивались лишь краткими словечками вроде «эй» или «послушай», как бы лишний раз подчеркивая, что между ними сложились отношения скорее дружеские или братские, а вовсе не те, какие обычно бывают между отцом и сыном...

Попозже вечером, часов около десяти, мальчик выходит из лачуги и направляется к переулку Янаги, что южнее центральной улицы. Переулок Янаги славится маленькими ресторанчиками и дешевыми харчевнями, торгующими китайской лапшой, блюдами из сырой рыбы, бататов и соевой пасты. Здесь часто собираются любители опрокинуть стаканчик-другой, и сам переулок поэтому называют в округе «пьяным».

Мальчик сначала подходит к задней двери сусия [1], поскольку эта харчевня закрывается раньше других. Здесь он обычно накануне оставляет пустую посудину.

Если его встречает хозяйка, она говорит:

— А, это ты! Холод-то какой! Сегодня гости жрали в три горла. Ты уж прости, осталось для тебя всего ничего и дно-то едва прикроет.

Если же дверь открывал хозяин, он говорил:

— А, это ты, паренек? Бери-бери, кое-что и тебе перепало. Да смотри, попадется сырой кусок, поджарь как следует.

Мальчик кланяется, произносит слова благодарности и умолкает. Иногда хозяин — не совсем, конечно, всерьез — приглашает его в дом, но мальчик всегда отказывается. Посудина, которую он накануне оставлял в харчевне, состоит из трех старых алюминиевых кастрюль, вставленных в проволочный каркас с ручками, и их можно нести в одной руке все сразу. Одна кастрюля предназначена для супов, соусов и специй, другая — для овощей, мяса и рыбы, третья — для риса и лапши. Само собой, до краев они наполняются очень редко. И если можно еще с трудом отличить подливу от еды, то лишь опытнейшему глазу под силу определить, из чего была приготовлена сама еда.

Вслед за сусия мальчик обходит небольшие рестораны и харчевни, стараясь попасть в них перед самым закрытием. Это очень важно, ведь приди он слишком рано, его встретят руганью, мол, он хочет распугать гостей, которые еще и не думают собираться домой. Стоит хоть раз попасть впросак — и дожидайся потом, когда вернется к тебе хозяйская милость. А конкуренты, они не дремлют: глядишь — и уплывает хлебное местечко.

За объедками ходит в харчевни не только этот мальчик. Бывает, и взрослые, оставшись без работы, тайком стучатся в заднюю дверь ближайшего заведения, надеясь хоть чем-нибудь поживиться. Регулярно совершают обход харчевен и «чужаки» с дальних улиц. Заглядывал сюда — смешно сказать — даже старый Яда. Правда, его гнал к дверям харчевни вовсе не голод; просто он задумал превратить сбор отбросов в широко поставленный «бизнес». Пожалуй, из всех его бесчисленных прожектов этот мог оказаться самым реальным и прибыльным, но лопнул, увы, и он из-за упрямства хозяйки харчевни «Ханахико».

---

[1] Харчевня, где подаются колобки риса с сырой рыбой, приправленной уксусом и специями.

— Ну, я понимаю, приходят за объедками нищие: голод — не тетка,— возмущенно говорила она своим коллегам из «пьяного переулка».— А этот ведь хочет все себе заграбастать да на отбросах делать деньгу. Да разве это человек? Чем такому подонку подавать, я лучше все в сточную канаву спущу...

Мальчик прекрасно знает о стерегущих его опасностях. Он понимает, владельцы харчевен и ресторанов не признают за ним никаких преимуществ и ежели кто другой точней рассчитает время и явится к закрытию харчевни, когда кончается уборка, остатки еды безусловно достанутся ему. В этом смысле здесь существует полное равенство. И стоит хоть раз упустить момент, как давняя, привычная «кормушка» перейдет в чужие руки. Такое уже случалось.

И еще одно надо было не упустить из виду: хозяева в общем-то не всегда с восторгом отдают нищим объедки.

Многим не так уж легко управиться с заведением, и порой приходится лезть из кожи, чтоб кое-как свести концы с концами. Но как известно, реклама и популярность — основа всякого процветания. Тощ ли, толст ли твой кошелек, изволь, как говорится, держать фасон. Репутация, она, глядишь, и вывезет в трудную минуту. Вот почему, вынося нищему объедки, хозяин не только тешит душу добрым делом, но и показывает всей округе: у нас, мол, дела в наилучшем виде. Это в особенности относится к владельцам маленьких харчевен, которые сами обслуживают посетителей. В ресторанах же побогаче, с барами и официантками, нищих отнюдь не жалуют. Многое там вообще непонятно. Для чего, к примеру, иные официантки гасят окурки в тарелках с остатками пищи, кидают в них комочки косметической бумаги со следами помады обгорелые спички, зубочистки, а бывает, и кое-что похуже? Встречаются среди них и такие, кто назло опорожняют прямо в ведра с объедками пепельницы, полные окурков...

Вот мальчик подходит к черному ходу ресторана «Риза». Стеклянная дверь открыта, но знакомый повар, должно быть, уже ушел. Две официантки, прислонившись к кухонной мойке, дымят сигаретами и громко болтают.

— А-а, опять пожаловал! — восклицает одна из них, завидев мальчика.— Зря трудился, сегодня ничего для тебя нет.

Мальчик глядит в угол, туда, где стоит большой бак, на две трети полный объедками. Повар обычно оставлял для него остатки еды в эмалированной кастрюле из-под соуса, но сейчас и кастрюли этой нигде не видать.

— Чего глаза пялишь? — снова кричит официантка.— Сказано ведь, ничего нет. Проваливай-ка, нечего здесь слоняться без дела.

Мальчик молча уходит. На лице его — безразличие, и не поймешь: то ли от привычки к обидам, то ли от презрения к оскорбившей его женщине.

Хотя ему на вид не больше семи лет, он держится спокойно, как взрослый, и в выражении его лица, и в интонациях разговора заметна какая-то неожиданная мудрость, и проницательность, и еще — усталость, усталость человека, вынесшего немало невзгод, утомление, переходящее порой в безвольную покорность судьбе.

Здесь между заведениями «пьяного переулка» его частенько подстерегают коварные и злые враги, и ему не всегда удается избежать встречи с ними.

Главные его враги — это собака по имени Мару и вечно шатавшаяся без дела троица парней. Мару, вопреки своей ласкательной

кличке [1], огромная псина с такой страшной мордой, что ее постыдилась бы даже горилла. Едва завидев мальчика, Мару всегда скалила зубы и, злобно рыча, приближалась к нему.

Знатоки считают, будто крупные псы с устрашающими мордами беззлобны и спокойны. И правда, Мару почти всегда была спокойна и вдобавок еще труслива. Даже при виде вдвое меньшей, чем она, собачонки Мару робко отводила глаза и торопилась куда-нибудь спрятаться. Она никогда не дралась с другими собаками и не смела облаять незнакомых людей. Но стоило мальчику попасться ей на глаза в «пьяном переулке», она тотчас ощеривалась и, словно похваляясь страшным оскалом клыков и всей своей могучей статью, надвигалась на него с грозным рычанием.

Быть может, и в отношениях между людьми и животными тоже существует несовместимость характеров, и поэтому Мару невзлюбила мальчика, а он считает себя слабее собаки и, встретив ее, сразу выбрасывает из кастрюль на землю объедки. Если объедков нет, он открывает одну за другой все три кастрюли и показывает их собаке: видишь, мол, там пусто.

Когда мальчик опорожняет на землю кастрюли, он больше не заходит в знакомые харчевни и возвращается домой ни с чем. Мару же, порычав для острастки, уходит, не прикоснувшись даже к лежащим перед ней объедкам.

Ну, а трое парней были самыми что ни на есть обыкновенными хулиганами, из тех, кто без всякой нужды и причины запугивают и тиранят слабых, отнимают у них добро, считая себя истинными героями. В этом для них вся радость жизни. Старшему среди этой троицы было лет пятнадцать, остальные — чуть помоложе. Внешне они ничем бы не отличались от прочих подростков из солидных семейств, если бы в модных своих рубашках и брюках не продирали нарочно дыры, чтобы придать себе более лихой и бывалый вид. Ходили все трое развинченной походкой, словно все их суставы разболтаны и растянуты вконец.

Завидев мальчика, вся троица неизменно издает боевой клич индейцев и начинает кружиться вокруг него в каком-то дикарском танце. Время от времени они награждают его тумаками, дергают за волосы, за уши, потом отбирают кастрюли и вытряхивают их содержимое прямо в уличную грязь.

Мальчик молча сносит их издевательства и никогда не пытается сопротивляться. Не потому, что чувствует разницу в силе, просто он, наверно, осознает бессмысленность всякого сопротивления. А может быть, он воспринимает их как неизбежное зло, которое каждый из нас должен терпеть в этом мире.

Под конец бандиты, пресытившись своими выходками, награждают мальчика хорошим пинком и удаляются восвояси. И только когда они скрываются из виду, мальчик дает волю слезам.

Он беззвучно плачет, собирая разбросанные кастрюли. Слезы ручьями текут по его щекам, но он упрямо молчит. Он никогда не плачет в голос и, вернувшись домой, не жалуется отцу. Тихонько прокравшись в лачугу, чтоб не потревожить отцовский сон, он ложится на груду тряпья, заменяющего ему постель. Нередко отец, успев уже к этому времени основательно выспаться, открывает глаза и заводит обычный свой разговор — бывает, чуть ли не до рассвета.

— Я вот все лежу и думаю,— начинает отец.— Как бы нам при планировке дома не забыть о воротах. Ведь ворота — это все равно

[1] Шарик.

что лицо дома. Достаточно один раз глянуть на лицо — и можно определить характер человека. В общих чертах, конечно.

— Угу, верно.

— Правда, пословица гласит: не суди о человеке по его внешности, но с другой стороны... Погоди, ты вроде бы засыпаешь?

— Нет-нет, мне совсем не хочется спать,— спохватывается мальчик и усиленно трет глаза.

Не удержавшись, он зевает. После огромного нервного напряжения в «пьяном переулке» он чувствует неодолимую усталость. Ноги подгибаются, словно ватные, глаза закрываются сами собой, и никакими усилиями невозможно разлепить веки; но мальчик изо всех сил борется со сном, стараясь не упустить ни слова из того, что говорит отец. А отец не замечает состояния сына, а может, и замечает, но чувствует, что должен говорить, говорить, говорить. «Если я прервусь,— думает он,— может случиться что-нибудь неприятное». И продолжает свои бесконечные разглагольствования о различных стилях и эстетических особенностях ворот. Мальчик, с трудом одолевая сон, терпеливо слушает, со всем соглашается и восхищается.

Еду они разогревают редко. Зимой, правда, кипятят воду, но объедки, рассортировав их, обычно съедают холодными.

— Холодная пища очень полезна для здоровья,— поучает отец.— Возьми, например, собак. Пес, которого содержат в достатке и холе, всегда беспомощен и хил, а у бродячей собаки, набивающей брюхо отбросами и спящей на голой земле, и зубы в порядке, и желудок работает безотказно.

— Ага, верно! Так оно и есть,— вторит мальчик.

— Вспомни-ка, все живые существа в прошлом питались сырой пищей. О-о, да никак это свиная отбивная... Будешь есть?

— Спасибо, ешь сам.— Мальчик мотает головой.— Мне тоже попался кусочек.

Тщательно прожевывая остатки отбивной, отец развивает теорию о том, что теплая одежда с горячей пищей ослабляют человека, делают его подверженным чуть ли не всем болезням и, напротив, холодная еда и жизнь под открытым небом укрепляют здоровье и силы.

Однако отстаивая естественность и благотворность постоянного пребывания под открытым небом, отец продолжает мысленно строить дом для себя и для сына, стараясь довести его до совершенства. Оба решили, что ограда вокруг дома должна быть каменной, а ворота кипарисовыми и непременно с козырьком. Комнаты в европейском стиле на первом и втором этажах решено оборудовать кондиционерами и водяным отоплением. В японской же части дома будет отведена специальная комната для чайных церемоний. Весь участок перед фасадом отводится под зеленую лужайку в английском стиле. Примерно треть участка вдоль западной стороны дома должна занимать дубовая роща; намечено также высадить молодые кипарисы. Цветов же вокруг дома никаких не будет.

Так представляется отцу и сыну окончательный вариант их дома с усадьбой, к которому они пришли после тщательного и многократного изучения всех тонкостей и искоренения недостатков.

Будущий дом кажется им настолько реальным, что разбуди их среди ночи, они тотчас укажут и разъяснят любую его деталь в любом ракурсе.

— По-моему, пришло время подумать и о мебели,— с полной серьезностью заговорил однажды отец, бредя с мальчиком по ули-

це.— Европейские комнаты я хотел бы обставить в шотландском стиле. Вот так...— И он рукой выводит в воздухе какие-то фигуры.— Самый подходящий для этого материал — толстые дубовые доски. Все должно быть выдержано на манер старого шотландского поместья; нет, лучше, пожалуй, в стиле загородного охотничьего домика. Обстановка должна сочетать деревенскую простоту с изысканным аристократическим вкусом, но только без всякой вычурности.

Мальчик склоняет голову набок и, не находя, должно быть, подходящих слов, молча трет ладонью щеку и как-то странно то опускает, то поднимает правое плечо.

— Сложна, конечно, и проблема кухни,— продолжает отец, сощурив глаза, словно пытаясь представить себе эту воображаемую кухню.— Делать ли ее в японском стиле,— он снова чертит фигуры в воздухе,— или же — в западном? В последнем случае придется оборудовать ее газовой плитой и кухонным столом, покрытым стальным листом, чтобы удобней было поджаривать бифштексы.

— Н-да...— тянет мальчик, хмуря брови.— С этим, должно быть, не надо спешить.

— Так-то оно так. Да я, собственно, и не спешу. Не в спешке дело. Но ведь с домом и садом у нас все решено. Значит, они, считай, все равно что построены. Теперь очередь за кухней.

— Вот оно что... Тогда кухня...

Отец скребет заросшие щетиной щеки и принимается взвешивать все «за» и «против» японской и европейской кухонной обстановки. Найдена новая тема для бесед, и отец с сыном постараются продлить их как можно дольше. Бродя по улицам, отдыхая на обочине дороги и лежа по вечерам в тесной и темной лачуге, они будут разбирать кухонную проблему во всех подробностях, тщетно пытаясь обмануть пустые урчащие желудки.

К великому, наверное, сожалению для отца, когда их дискуссия снова коснулась меблировки европейской гостиной, мальчик умер.

Это случилось душной сентябрьской ночью в их нищенской, жалкой, как собачья конура, лачуге. Мальчик угас неправдоподобно быстро, неделю промучившись от жестокого расстройства желудка. Трудно сказать, в чем была истинная причина его смерти. Однажды утром, когда приближалось время завтрака, мальчик вдруг разжег печурку. Топливом ему служили собранные накануне сырые щепки и ветки. Дым разбудил отца, который высунул голову наружу и удивленно спросил, для чего это мальчик затопил печурку, ведь кипяток нужен зимой, а сейчас в этакую жару можно обойтись и холодной водой.

— Да нет, я не собираюсь кипятить воду.— Мальчик обернулся к отцу, глаза его ввалились, и вокруг них темнели черные круги.— Еда вся сырая, надо ее отварить.

— Сырая, говоришь? Ну-ка покажи.

Мальчик снял с огня кастрюлю и поднес к отцу.

— Да ведь это же маринованная скумбрия! — воскликнул отец, потянув носом.— Ее маринуют с солью и уксусом. Какая же это сырая еда!

— Хозяин харчевни, где продают суси, сказал, что перед едой ее обязательно надо отварить.

— Он глубоко ошибается.— Отец затряс головой.— Маринованную скумбрию не варят.

— Но ведь хозяин-то знает,— пытался возразить мальчик, однако увидев, как отец решительно мотнул головой, он со смехом, похожим на рыдания, опустил кастрюлю на землю.

К вечеру у обоих начались рези в желудке и понос. Возможно,

они отравились маринованной скумбрией, но утверждать это определенно было бы трудно. Скумбрия казалась вполне съедобной, вкусно пахла, и ничего необычного они в ней не заметили. Да и ели они в тот раз не только скумбрию: в кастрюле было такое месиво, что никто не смог бы установить, из чего оно, собственно, состояло.

— Нет, не маринованная скумбрия тому виной,— рассуждал отец; он не столько хотел оправдаться, сколько — с медицинской точки зрения — уточнить симптомы болезни.— Если бы мы отравились скумбрией, первым делом у нас обязательно появилась бы крапивница и началась рвота. А ведь ни со мной, ни с тобой этого не случилось. Вот и думается мне, не пищевое это отравление. Тут дело в переохлаждении желудка. Вот в чем вся причина.

— Угу, верно, пожалуй, так оно и есть,— кивает головой мальчик, морщась от невыносимой рези в животе.

Под обрывом, над которым возвышается храм Сэйгандзи, есть полуразвалившаяся общественная уборная. Кое-как сколоченные гнилые дощечки не позволяют человеку укрыться в ней, и ею давно уже перестали пользоваться. Лишь отец и сын, мучимые жестоким поносом, протоптали туда тропинку от своей лачуги.

Спустя три дня отец выздоровел. Боли в желудке у него утихли уже на следующий вечер, а на третий день прекратился и понос.

Но состояние мальчика оставалось тяжелым и с каждым днем все ухудшалось. На третий день он так ослабел, что не мог даже дотащиться до обрыва.

— Все будет в порядке, ты не волнуйся,— подбадривал мальчик отца.— Я скоро поправлюсь.

— Да я нисколько не беспокоюсь. В подобных случаях единственный метод лечения — голодание, но, конечно, до определенного предела,— отвечает отец, поглаживая живот.

Мальчик виновато глядит на него. «Отец уже выздоровел, и ему надо поесть».— думает он. Мальчик понимает, что отец очень голоден, и, говоря о пользе голодания, скорее всего не столько старается убедить сына, сколько самого себя.

— Эх, если б я мог ходить...— говорит мальчик.— Но ничего, скоро я встану и тогда...

— Что ты, что ты?! Ни в коем случае,— машет рукой отец.— Я ведь говорю это вовсе не для того, чтоб послать тебя за едой. Уж если станет невмоготу, я и сам могу сходить в «пьяный переулок». Но пока еще я не настолько голоден. От этого поноса только одно лечение — голод. И чем дольше не есть, тем лучше. Человек, знаешь ли, без пищи может прожить дней десять, а то и пятнадцать.

Сморщившееся лицо мальчика кривится от боли, он подтягивает колени к самому подбородку и до крови закусывает губы, стараясь не закричать от мучительного приступа боли.

Отец, по-видимому, не замечает этого. Он отводит глаза в сторону и, приподняв висевшую над входом тряпку, выходит из лачуги.

Состояние мальчика стало совсем угрожающим. Он ужасно отощал, кожа вся сморщилась, как у старика; на двор он ходит все чаще и чаще, началось кровотечение. Но неужели отец до сих пор не замечает этого, а может быть, он лишь делает вид, что ничего не замечает, и хочет обмануть самого себя?

Выйдя из лачуги, отец сует ноги в поношенные гэта и садится на ящик из-под пива. Лицо его абсолютно ничего не выражает, сонный взгляд устремлен куда-то вдаль. С опаской покосившись на свою лачугу, он тяжело вздыхает.

— Послушай,— обращается он к лежащему в лачуге мальчику,—

знаешь, я передумал. Пожалуй, не стоит обставлять гостиную в шотландском стиле.

Стараясь подавить голодное урчание в желудке, он торопливо возвышает голос и с воодушевлением излагает новый замысел меблировки гостиной.

(Эй, кончай-ка свои рассуждения, бери мальчика на руки — и скорее к врачу! О плате за лечение не думай — отдашь как-нибудь потом. Немедленно к врачу! Нельзя оставлять ребенка в таком состоянии в грязной лачуге, на голой земле. Его надо сейчас же доставить в больницу, иначе конец! Послушай, неужели ты все еще не понимаешь?.. Скорее — не то будет поздно...)

Отец лениво поднимается с ящика и долго зевает.

Когда собака смотрит в лицо своему хозяину, она, прежде чем завилять хвостом, судорожно зевает, широко раскрыв пасть. Почему? И отец мальчика тоже зевает, широко раскрыв рот, хотя сейчас вроде для этого и не время. Почему? Может, он зевает от скуки или от растерянности? А может быть, есть что-то общее между ним и собакой? Пожалуй, нет. Наверно, чувства его вовсе не схожи с той радостью, из-за которой, волнуясь, зевает собака при виде хозяина.

К концу пятого дня мальчик почти уже не приходил в сознание. Иногда он начинал бредить, говорил что-то, но понять его было невозможно, а когда отец окликал его, мальчик ему не отвечал.

И отец бесцельно слонялся, то заходя в лачугу, то снова вылезая наружу. До ребенка он так ни разу и не дотронулся.

Он вел себя не как взрослый мужчина, отец ребенка, а казался беспомощным младенцем, брошенным родителями посреди чужой, незнакомой улицы, не знающим, кого умолять о помощи, и готовым вот-вот разреветься.

Часов в десять вечера отец, свернувшийся калачиком у входа в лачугу, как бы приняв, наконец, некое решение, вдруг протягивает руку к кастрюлям.

— Нет-нет, человек не может существовать без пищи,— бормочет он себе под нос.— Даже больного вредно бесконечно морить голодом.

Он снова колеблется, потом, утвердившись, должно быть, в своем решении, берет кастрюли и поднимается.

— Я отлучусь ненадолго,— кричит он в сторону лачуги.— Добегу до «пьяного переулка» и сразу обратно. Принесу тебе чего-нибудь вкусненького.

Шагая по ночному городу, он старается вспомнить названия харчевен, которые мальчик не раз упоминал в разговоре. Сусия... «Ханахико»... Спустя час он возвращается, что-то жуя на ходу, ставит кастрюли на землю и заглядывает внутрь лачуги.

— Вот и я,— смущенно говорит он.— Сказал хозяйке «Ханахико», что у тебя расстроен желудок, и она прислала тебе кое-что повкуснее.

— Послушай,— раздается вдруг голос мальчика.— Я все забываю тебе сказать, надо бы к дому пристроить еще и бассейн.

Голосок у мальчика слабый и чуть охрипший, но произносит он эти слова с ужасающей ясностью. Отец готов вот-вот расплакаться, но, пересилив себя, улыбается.

— Ага, верно, так мы и сделаем,— сразу соглашается он.— Выстроим все по твоему желанию!.. Ну, раз уж ты заговорил — значит, дело пошло на поправку.

«Кризис миновал,— решает отец,— известное дело: у детей воля

к жизни особенно сильна». Лицо его светлеет, и, весело насвистывая — чего уж давно за ним не водилось,— он разжигает огонь в печурке.

Когда он сварил в алюминиевой кастрюле горсточку риса и вошел в лачугу покормить сына, мальчик был мертв.

На другое утро исповедовавший христианскую веру господин Сайта, проходя мимо лачуги, увидел отца сидящим на ящике из-под пива. Он глядел в небо ничего не видящим взглядом и что-то тихо бормотал себе под нос, держа в руках алюминиевую кастрюлю.

— Доброе утро,— приветствовал его Сайта.— Как себя чувствует мальчуган?

Отец уставился на Сайту, словно видел его впервые в жизни, и ответил:

— Спасибо, у него все хорошо.

— Я слышал, малыш был болен. Значит, уже поправился? — спросил Сайта.

— Да, благодарю вас, он выздоровел,— ответил отец, как бы отмахиваясь от назойливой мухи, и отвернулся.

Соседи, конечно, не могли не видеть, как в последние дни он с мальчиком на руках то и дело ходил к обрыву близ храма Сэйгандзи. И, наверно, кто-то из них рассказал об этом господину Сайте. Но, встретив столь откровенное нежелание вступать в разговор, Сайте ничего не оставалось, как пробормотать несколько слов о чересчур жаркой погоде и поспешно ретироваться.

С тех пор никто больше не видел мальчика. Первым заметил его отсутствие старый Яда. Когда он спросил у отца, где ребенок, тот ответил, что отправил его к матери.

— Да неужто у парнишки есть мать? — изумился Яда.

— А у тебя разве не было матери?

— Имелась... Имелась, конечно, мамаша,— смутился Яда.— Без матери-то небось и дети на свет не рождаются...

— Должно быть, так,— сердито подтвердил отец и отвернулся.

Старый Яда хотел его расспросить еще кое о чем, но, поглядев на равнодушное и холодное лицо отца, промолчал.

Вскоре кто-то пустил слух, будто он видел, как однажды ранним утром, когда не растаяла еще предрассветная мгла, отец с мальчиком на руках вышел из лачуги и направился к храму Сэйгандзи. Одни утверждали, что он решил бросить больного ребенка — ему надоело, мол, с ним возиться; другие говорили, будто у малыша где-то жива еще мать, и он отвез мальчика к ней. Но в общем-то оба они не очень интересовали соседей, и вскоре разговоры о мальчике прекратились.

Миновал сентябрь, потом прошел и октябрь. Каждый вечер часов в одиннадцать отец отправляется теперь в «пьяный переулок» за объедками и, возвратившись в лачугу, укладывается на боковую. Утром он выходит во двор, ест в одиночестве, моет три старые кастрюли, относит их в «пьяный переулок» и оставляет у хозяйки «Ханахико». А затем целый день бродит где-то по городу. К полуночи он возвращается в свою лачугу и валится на постель.

Вскоре у него появилось живое существо, в какой-то мере заменившее ему мальчика.

В один из ноябрьских дней к нему прибилась собака. Это был коротконогий полуторамесячный щенок, беспородный, черно-белой масти с хитрой сморщенной мордочкой, посреди которой смешно торчал вздернутый нос. Собака повсюду сопровождает его, а вечером, когда они возвращаются в лачугу, залезает к нему в постель.

— Да-да, именно так,— бессвязно бормочет он, бредя по ули-

це.— Но погоди! Так утверждать было бы тоже неверно. Здесь все ведь не просто, как кажется на первый взгляд. Бывает иногда и по-другому...

Щенок семенит за ним, стараясь прижаться к его ногам. Время от времени он поднимает свою сморщенную мордочку, глядит на хозяина и виляет хвостом, как бы говоря: «Угу, верно». Когда же хозяин обращает внимание на собаку, она сильнее прежнего виляет хвостом и смотрит ему в глаза, словно пытаясь его успокоить: мол, я здесь, рядом, ты не волнуйся; все в порядке, все будет хорошо. Случается, он подолгу глядит на щенка, и тогда на лице у него появляется какое-то странное выражение: то ли он хочет пожаловаться собаке, то ли горюет, зная, что она все равно его не поймет.

(Послушай-ка, что ты сделал с ребенком? Куда подевал умершего сына? Неужели ты так скоро забыл о нем? Разве ты не вспоминаешь бедного мальчугана, который собирал для тебя объедки, кормил тебя, терпеливо выслушивал твои бредовые россказни, бродил с тобою по улицам в дождь и в холод, угождал тебе и ухаживал за тобой, забывая про сон и усталость?! Отвечай же, что сделал ты с мальчиком?)

— Ничего, ничего особенного,— бормочет он, бредя по улице.— Ничего особенного. Так ли, этак ли — все ведь одно. Люди почему-то придают этому значение, а разницы-то нет никакой...

С неба сеется мелкий холодный дождь. Близится декабрь, и в этот послеполуденный час прохожие попадаются редко. Дорога понемногу намокает, влажные булыжники отливают холодным блеском. Опустив хвост и понурив мордочку, отяжелевший от намокшей шерсти щенок устало следует за мужчиной. На перекрестках, не дожидаясь хозяина, он заворачивает за угол, словно зная наперед, куда лежит их путь. Но хозяин не всегда поворачивает за ним — иногда он продолжает идти прямо или заворачивает в другую сторону. Тогда собака останавливается и удивленно глядит на него до тех пор, пока он не оборачивается и, молча вернувшись назад, не следует за нею, покорный и безвольный...

Дорога, по которой он поднимается к храму, все время идет в гору и кончается у ворот храма, шагах в тридцати за полицейской будкой, что стоит по правую руку у самого подъема.

Он входит в ворота, пересекает двор перед главным зданием храма и направляется к кладбищу. Щенок неотступно следует за ним. Дождь, правда, не очень сильный, но зарядил, должно быть, надолго. Голые ветки деревьев роняют на хозяина и собаку тяжелые капли воды.

Кладбище довольно четко разделяется на участки. Здесь есть и свои «дворцы», и «коттеджи», и «ночлежки». За богатыми могилами тщательно ухаживают: их регулярно посещают родственники и дети родственников в течение пятидесяти, а то и ста лет. За «ночлежками» же через год-другой никто уже не присматривает, и они постепенно разрушаются. Немало здесь безымянных, всеми забытых могил, к которым давно не прикасалась рука человека.

Отец проходит к западному краю кладбища и останавливается у пустыря шириной метра в два, за ним начинаются заросли бамбука, а справа и слева торчат несколько чахлых, высохших деревьев. Этот ничем не примечательный клочок глинистой земли кое-где порос пожелтевшим бурьяном. Присев на корточки, отец долго глядит на маленький холмик из красной глины посередине пустыря.

— Знаешь, насчет бассейна я, пожалуй, с тобой согласен,— тихо говорит он.— Думаю, лучше всего построить его в центре двора. Выложенный белым кафелем бассейн посреди зеленой лужайки... Не плохо, как, по-твоему? Правда, все это будет выглядеть чуть-чуть по-буржуазному...

Вымокший щенок мелко дрожит от холода и плотней прижимается к его ноге. Время от времени собака просительно поглядывает на хозяина и тихонько скулит, как бы говоря: «Пора домой!»

Его заросшие щетиной щеки, давно не чесанные волосы и жалкая одежда так намокли, что из них можно выжимать воду. Капли дождя стекают со спутанных волос на лоб, скатываются по щекам, по подбородку, по шее.

— Конечно, трудновато будет оборудовать устройство для подачи и стока воды,— шепчет он, проводя ладонью по мокрому лицу.— Поскольку бассейн расположен на возвышенном месте, летом с водой начнутся перебои. Значит, надо позаботиться о баке, а также о сливе воды, когда ее будет в избытке.

Щенок тихо скулит.

Он поднимает руку, пытаясь нарисовать что-то в пространстве, потом бессильно опускает ее и вешает голову. Затем, словно обращаясь к собеседнику, стоящему здесь же, рядом, он говорит:

— Но ты не беспокойся, я его обязательно построю. Жаль, что ты больше меня ни о чем не просишь. Я рад бы исполнить и другие твои желания.

Он опять вытирает ладонью капли с лица. Небо темнеет. Содрогаясь всем телом, щенок негромко скулит, словно взывая к человеческой жалости.

■

ЗИГФРИД ЛЕНЦ

Запах мирабели

РАССКАЗЫ

Перевод с немецкого НИНЫ ФЕДОРОВОЙ

ПАМЯТИ ГАНСА ПЕТЕРСЕНА

и в благодарность старым, надежным, словоохотливым друзьям — крестьянам и рыбакам острова Альсен:

Вильгельму Л. Петерсену-старшему
Петеру Л. Петерсену
Тинне Петерсен
Вильгельму Петерсену-младшему
Анне Петерсен
Крестену Крюльманду
Вильгельмине Крюльманд, урожд. Петерсен
Йоргену Йенсену
Фиа Йенсен

Предисловие

Боллеруп не какая-нибудь богом забытая деревушка, и расположена она не на задворках истории, не в заштатном углу, который так хорош для идиллии. Это вполне современная деревня: легко доступная, покоренная коммивояжерами, даже крупные торговые фирмы не забывают снабжать ее самыми что ни на есть новейшими каталогами. Фильмы, которые здесь показывают, одновременно идут в городе. Информация из Брюсселя до того свежа, что только лишний раз подтверждает давний накал страстей [1]. Девушки носят такие же платья, как в Мюнхене, Кёльне и Копенгагене. По воскресеньям разве что руки и цвет лица обитателей скажут, что здесь деревня, да, пожалуй, автомобили — они тут то ли вообще ухоженней, то ли ими реже пользуются, чем в городе. Во всяком случае, привычных примет неотесанной деревни осталось очень мало. И пятнадцать лет, прожитых мною в летнюю пору по соседству с Боллерупом, доказывают, сколь решительно отмирали и стирались внешние различия между городом и деревней.

И все же о полном уподоблении говорить не приходится. Есть в Боллерупе нечто, присущее только ему и — если смотреть шире — деревне вообще: особый взгляд на мир и особое к нему отношение. Свидетельством тому истории, которые тут рассказывают и которые

© Hoffmann und Campe Verlag, 1975.

[1] По-видимому, автор намекает на Общий рынок и НАТО, штаб-квартиры которых находятся в Брюсселе.

в другом месте произойти не могли. В этих историях Боллеруп своеобразен, по-своему неуловимо колоритен, я бы даже сказал, они создают его второе лицо. И столько в них, мне кажется, сочности и меткости, что можно бы их назвать и деревенскими бывальщинами. Впрочем, боллерупцев это, видимо, не волнует; кстати сказать, я имею в виду не жителей всем известного Боллерупа, а обитателей одноименной деревни к северу от Киля или к югу от Аабенраа.

Нога на каждый день

В Боллерупе, земляки, ветер не знает удержу: он бодро прилетает с Балтики, разбросав по ней свои шаткие пенные маяки, приступом берет линялые обрывистые берега, сворачивает, протискивается в ложбину — и вот путь на деревню свободен. Тут уж его не остановят ни изгороди, ни столь любезный боллерупцам смешанный лес. Ветер врывается решительно и буйно, словно путая поле спелой ржи с Балтикой: будоражит стебли, пытается обратить их в бегство, хочет, видно, погнать их перед собой, как волны, и взбить из колосьев легкую беспорядочную пену, а когда это не удается, внезапным порывом увлекает за собой все ржаное поле — гнет его и швыряет, проносится по нему вальком, заставляет его карабкаться вверх по склону и так далее и так далее.

Наезжая в Боллеруп, я всегда выкраиваю время полюбоваться ветром в хлебах, понаблюдать, что он там вытворяет, как затевает, к примеру, игру теней, так что временами даже мнится, будто по полю можно проплыть на лодке.

В последний раз я сидел на Гунновом кургане и наблюдал за ветром, а Йенс Отто Треска тем временем косил рожь. Он внучатый племянник моего шурина и тоже зовется Феддерсеном, но ведь в Боллерупе другая фамилия — редкость, поэтому односельчане исподволь снабдили друг друга добавочными именами, чтобы, думается, хоть как-то отличать одного от другого. Этот самый Йенс Отто Треска, угрюмый и осоловелый, сидел, стало быть, на прыгающем сиденье жатки — комбайн он приобрести отказался,— заходил с краю на поле и делал по нему круги, скажем прямо, все больше притесняя ветер, оставляя ему лишь коротенькую стерню. Жатка съезжала вниз, потом шла вдоль берега — на этом участке Треска походил на всадника в чистом, покрытом легкой рябью водоеме,— затем она заворачивала и взбиралась вверх, к лесу. Треска не насвистывал и не пел, хотя трудовой день подходил к концу. Лицо его не выражало ничего, кроме безрадостного удовольствия скосить поле у ветра под носом. Глядя на Йенса Отто Феддерсена, всякий понимал, что Треской в Боллерупе нарекли его не зря.

Не припомню уже, сколько раз он деловито, без передышки, не обмолвившись ни единым словом ни с лошадьми, ни с самим собой, объехал поле; во всяком случае, колеблемый ветром прямоугольник порядком поубавился. Как вдруг треск и стрекот зубастых ножей, сработанных из отменной стали, к моему удивлению, смолк. Я вскочил на серую от времени каменную скамью — она, пожалуй, здорово придавила гуннову грудь — и посмотрел на поле. Мне захотелось поточнее узнать, отчего это Йенс Отто Треска остановил жатку и не только остановил, а даже слез на землю и обошел вокруг машины, которая выглядела точно огромное раненое насекомое — столько у нее было зубьев, крыльев, захватов и всевозможных рычагов.

Обойдя машину, Треска попинал ее тут и там ногой, угрюмо и укоризненно посмотрел на жатку, прислушался, наклонив голову к плечу, постучал и, наконец, низко нагнулся над машиной, по всей видимости, обнаружив неполадку. Что-то попало в острые зубья ножей и застряло там — камень, кусок дерева, может, даже целый сук. Чтобы исправить машину, Треска забрался на подножку, а оттуда спустился внутрь шаткой открытой конструкции. Встав на ноги, он, как я мог видеть, обеими руками ухватил застрявший предмет, потянул, дернул посильнее и выдрал из ножей — напоминаю: сработанных из отменного металла — рогатый сук толщиной в руку. Ножи не смогли перерубить его — слишком уж он был упруг и неподатлив.

Ну вот, пока можно остановиться здесь, а лучше всего на том и кончить: будь моя воля, посадил бы я Йенса Отто Феддерсена на жатку, велел бы ему запустить механизм и пусть себе на здоровье жнет. Но история утверждает, что он почему-то замешкался в жатке, потеребил сук и, если хотите, смущенно почесал затылок — ведь о крестьянах нередко так пишут.

Смотрю, стало быть, как он там возится, смотрю по крайней мере одним глазом, а другим я давно уже заприметил Лотара Эммендингера, торговца гастрономическими товарами из Киля. Он взял на себя миссию избавить Боллеруп от засилия кроликов. Этот солидный охотник-арендатор вышел с ружьем наперевес из лесу, нервно вертя головой, то вскидывая ружье, то снова его опуская,— ему, видать, кругом мерещились кролики, да все в таких местах, где я их никак не замечал. Эммендингеру не было дела ни до вечерней зари, ни до игры ветра во ржи. Внезапно он бросился в поле, вскинул ружье и выстрелил. Да, выстрелил и подстегиваемый вполне понятным возбуждением припустил вниз, к берегу, словно в погоне за удирающим кроликом, который ищет спасения, скажем, на пляже, а может, и в воде.

Кролика я и теперь не обнаружил, хотя вынужден признать, что выстрел не остался без последствий. Как вы помните, Йенс Отто Феддерсен стоял в жатке, а в жатку были впряжены две гнедых гольштинских лошади весьма кроткого нрава. Когда прогремел выстрел, они поступили как положено, то есть понесли. Кони в панике заметались в упряжи. Перепуганные, шарахаясь во все стороны, они рванули с той силой, какую якобы придает ужас, и неестественно скованным галопом помчались через поле. Колеса жатки завертелись, захваты задвигались, замахали крылья, застучали зубастые ножи.

Йенс Отто Треска ничего с этим поделать не мог. Когда жатка неожиданно пришла в движение, его просто вышвырнуло. Словно тяжеленный рыхлый сноп ржи, он рухнул на поле и остался там лежать. Но еще раньше, пока он падал, я заметил — а вся родня считает меня необычайно востроглазым,— что Йенс Отто как-то странно укоротился. В особенности одна его нога показалась мне ненормально короткой, и я живо смекнул, что виной тому качество ножей. Во всяком случае, нелюдим по-прежнему недвижно лежал на стерне, а я, как говорится, положительно потерял голову: охваченный страстным желанием помочь укороченному Треске, причем помочь разумно, я кинулся по разъезженной дороге в Боллеруп, но не нашел там ни души — деревня словно вымерла. Тогда я постучался к Вильгельму Феддерсену Топору. Топором его в Боллерупе прозвали потому, что он колол все, к чему прикасался. Поспешно выложив ему, что видел, я только под конец заметил, что Топор, весь в испарине, мучаясь жестокой лихорадкой, безучастно лежал под тяжелой периной.

Злясь на себя, я побежал дальше — к Феддеру Феддерсену, по прозванью Маяк, и рассказал о несчастье ему. Мало того, я просветил еще Йорна, Гудрун и Ларса Феддерсена, которых, согласно их нраву, кликали в деревне Ворчуном, Вороной и Бараном. В таком порядке мы и помчались к ржаному полю на помощь укороченному Йенсу Отто Треске. Сам я бежал последним.

Выйдя из лесу, я прямо обалдел: Треска, по обыкновению мрачный и осоловелый, восседал на жатке. Набравшись духу, я подошел ближе и, стараясь казаться невозмутимым, глянул вверх. Левая нога Трески и впрямь стала чуть ли не вдвое короче, а на крючке возле сиденья болтался аккуратно подвешенный за шнурки обрубок.

Нога была деревянная. Она мягко покачивалась из стороны в сторону. Вопросительно и, пожалуй, даже с испугом я посмотрел на Йенса Отто Треску, а он сказал:

— Ножи-то напрочь разворотили мне ногу, но эта у меня на каждый день. Случись такое с воскресной, тут я бы осерчал! Ведь воскресная нога, которая осталась дома, из дуба. А эта вот всего-навсего сосновая. Н-но!

Нарушенное молчание

В Боллерупе, земляки, было два семейства, которые целых двести лет словом не перемолвились, а ведь пашни их находились рядом, дети воспитывались в одной школе, покойники лежали на одном кладбище. Вы, должно быть, уже догадались, что оба семейства носили фамилию Феддерсен, и во избежание путаницы мы будем звать одних Восточными, а других Западными Феддерсенами, как принято в Боллерупе.

Они словом в жизни не перемолвились потому, скажу я вам, что одни считали других подонками, отребьем, а подчас и чертовым дерьмом. Обоюдная ненависть и презрение были столь неискоренимы, столь глубоки, столь всеобъемлющи, что обе стороны подумывали, не сменить ли фамилию. Не дошло до этого только по одной простой причине: каждый полагал, что первый шаг должен сделать другой. Так они и остались Феддерсенами, а буде возникало у кого желание посудачить о ненавистных, обращались к зоологии и тогда вели речь о волках, жабах, акулах, гадюках, а то и о вонючих хорьках. От чего пошла двухвековая вражда и столь же долгое молчание, никто уж толком не помнил: одни старики считали, что все началось с пропажи колеса от телеги, другие поминали разоренные куриные гнезда, третьи поговаривали о порче штакетника.

Словом, на мой взгляд, повод был достаточно пустяковый и доискиваться его незачем. Зато куда интереснее вот что: оба семейства изо всех сил подогревали свою ненависть. Зайдет, к примеру, в одной семье речь о враге, так случившиеся при этом ребятишки по собственному почину прикидываются, будто перерезают кому-то горло, и, как утверждает мой шурин, даже младенцы меняются в лице. Правда, думаю, он преувеличивает. Одно известно точно: при невольных встречах члены обоих семейств сжимали кулаки и отводили в сторону взгляд или ненароком презрительно фыркали. Ну, ладно. Всем этим покуда никого не удивишь, каждый, небось, слыхал подобное.

А вот скажи я вам, что в один непогожий вечер враждебное молчание было прервано, вы, пожалуй, не поверите. Начнем, однако, по порядку.

Как-то вечером, после двухсотлетнего молчания, главы обоих семейств отправились выбирать верши: Фридрих Феддерсен Восточный и Лео Феддерсен Западный. Некоторые боллерупцы, чьи поля выходят к морю, промышляют попутно доходной ловлей рыбы. Не брезговали этим ни Фридрих, ни Лео Феддерсены. Так вот, их лодки в одно время отчалили от берега и заскользили по притихшей матовой Балтике под мрачным, недвижным небом, под сенью которого начинают свой неблизкий путь молодые угри. Было душно, сжимало виски, человека охватывала смутная тревога. Мужики давным-давно приметили друг друга, но вели себя так, словно каждый был в море один, и короткими взмахами весел направляли лодки к рядам столбов с вершами. Добравшись до места, они привязали лодки, подняли верши и ослабили веревки. А пока они бережно выпускали в лодки угрей, свершилось то, на что вечер намекал уже не раз.

Над Балтикой мигом собралась буря, в небе словно что-то переключилось, резкие порывы ветра покрыли воду рябью и барашками, вздыбились волны, и не успели рыбаки оглянуться, как хлынул проливной дождь и берег утонул во мраке. Казалось, течение и волны сговорились испытать ловкость и силу людей. Рыбаки отчаянно гребли, их сносило, а они все гребли. (Пусть гребут — к чему мелочиться?! В наших руках заставить непримиримых врагов потрудиться до изнеможения, дать стихиям всласть побушевать — тут уж нам никто не указчик!)

Только в одном от истории отступать нельзя: течение, ветер и волнение непременно должны подогнать лодки закоренелых врагов друг к другу, им обязательно нужно рядышком вынырнуть из разгула стихий. Ведь так оно и было. Хотя ни один из рыбаков об этом и не помышлял, лодки сблизились, разом взлетели на гребень волны, их швырнуло друг на друга, если хотите, с грохотом — обшивка не выдержала, обе лодки треснули и перевернулись.

Ни Фридрих, ни Лео плавать не умели и сделали самую обычную для не умеющих плавать вещь: судорожно ухватились друг за друга, страстно обнялись, не желая ни за что на свете выпускать из объятий собрата по несчастью. Они вместе погружались, вместе хлебали воду, вместе отталкивались от дна — и вдруг длинная волна подхватила обоих и отбросила на несколько метров к берегу. Очевидец мог бы рассказать, как они отфыркивались, барахтались и цеплялись друг за друга, а валы тем временем все поднимали их и несли к берегу. Нам же достаточно того, что оба разом нащупали дно, вместе выбрались из полосы прибоя, побрели к берегу и благополучно добрались до него по-прежнему судорожно держась друг за друга. В изнеможении они опустились рядом на землю, и, по преданию, Фридрих первым нарушил двухвековое молчание:

— Угрей жалко.

На что Лео, сказывают, отвечал:

— Да, угрей и впрямь жалко.

Потом каждый слазил в карман куртки, достал широкую плоскую фляжку с ромом, и опять было произнесено несколько слов:

— Твое здоровье Фридрих!

— Твое здоровье Лео!

Вот. А теперь пусть пройдет некоторое время, пусть опустеют фляжки Стоит кстати отметить, что мужики фляжками поменялись. Они согрелись, похлопали друг друга по спине, молча оглянулись на Балтику, которая изо всех сил бурлила, потом рассмеялись, швырнули пустые фляжки в воду и рука об руку зашагали вдоль берега, через лес, назад в Боллеруп. Пели они песни или нет, не установле-

но, но доподлинно известно, что они рука об руку дошли до деревенской площади и там, говорят, внезапно отскочили в разные стороны, смерили друг дружку взглядом, стиснули челюсти, поджали губы. И Лео Феддерсен вдруг прошипел:

— Жаба!

А Фридрих в ответ процедил:

— Ах ты, хорек вонючий!

После чего оба с достоинством разошлись по домам.

С тех пор оба семейства снова хранят величавое трагическое молчание, снова встала между ними стеной двухсотлетняя вражда. А боллерупцы, редко доискивающиеся причин, уже привыкли к этому.

Дорогое удовольствие

Фритьоф Феддерсен, земляки, ничем от других не отличался: ни размером ботинок, ни доходами, ни даже скаредностью, которую в этих местах именуют бережливостью. Если бы мне поручили отыскать в Боллерупе образец среднего человека, то, даже наведя необходимые справки, я так или иначе был бы вынужден назвать Фритьофа Феддерсена: по нему можно определять и частоту заболеваний, и периодичность приобретения нового зимнего пальто. Да, во многом он являл собою мерило и образец, но не думайте, что так было всегда и во всем. В жизни этого неприметного, заурядного человека бывали минуты, когда своими неслыханными затеями он повергал в недоумение весь Боллеруп. Наезжая туда только временами, я и то знал, что не кто иной, как этот самый Фритьоф Феддерсен, несколько недель держал у себя «человека-скелета» из бродячего цирка лишь для того, чтобы тот поделился опытом с ненасытной домашней скотиной.

Ладно, почему бы не согласиться, что и у человека обыкновенного изредка бывают странные причуды, своего рода заскоки, но затем — как после кори — скромное, неприметное существование продолжается, будто ничего и не было. Правда, надо сказать, мне доподлинно известно, что Фритьоф Феддерсен рожал свои необычайные идеи, только отведав самолично сваренного мирабелевого шнапса. Сырье для этого пойла давало старое, уродливое дерево с чешуйчатой корой и поредевшей кроной. Оно росло само по себе в заброшенном уголке сада и, казалось — по крайней мере у меня было такое чувство,— только и делало, что замышляло недоброе. Но хотя мирабель давала немного плодов и хотя Рита Феддерсен регулярно требовала, чтобы дерево срубили, мой дальний родственник Фритьоф Феддерсен его не трогал и даже защищал, утверждая, что не может без него обойтись. После очередной утренней перепалки, опять же по поводу мирабели, этот самый Феддерсен окончательно уперся и объявил:

— Ничто и никогда не заставит меня срубить это дерево.

А когда жена пожелала узнать, по какой такой причине он все-непременно будет щадить мирабель, Фритьоф раздраженно сказал, что «дух дерева»[1] всегда давал ему добрые советы.

---

[1] В оригинале игра слов, так как «Geist der Mirabelle» означает одновременно и «дух, запах мирабели» и «мирабелевая самогонка, сливовица».

Вот так-то. А теперь перескочим через несколько дней, самых что ни на есть обыкновенных дней от вторника до субботы. Но зато уж в субботу вечером нам обязательно нужно следовать за Фритьофом Феддерсеном по пятам, отправиться вместе с ним в местный трактир и зайти в прокуренную заднюю комнату, где его уже поджидают.

Кто его ждет? Такие же, как он, утомленные мужчины, которые намереваются ни больше ни меньше как до самого воскресенья играть по маленькой в скат: Йорн Феддерсен, по прозванью Ворчун, и Ларс Баран. Перед каждым, как водится, уже стояла двойная порция пшеничной, а Фритьоф Феддерсен извлек из кармана плоскую фляжку мирабелевки, наполнил стакан, все трое в безмолвном согласии выпили для разогрева, и игра началась.

Шла она под перекошенным зеркалом на столе вишневого дерева, который видал и лучшие дни. Единственная на стене картина изображала кайзеровский торпедный катер. Плыл он, правда, килем вверх, но еще давал приют одинокому моряку, который упрямо тянул имперский флаг к кишащему английскими крейсерами горизонту. Старики играли остервенело, даже глаз не поднимали, когда через точно рассчитанные промежутки времени появлялся хозяин — долить стаканы и немного поболеть. Они размеренно кидали карты на стол, отмечая и выигрыш и проигрыш неизменным глотком из стакана; и все-таки посвященный никогда бы не сказал, что вечером правила скука, а уж тем более сонливость. Наоборот, по тому, с какой силой карты шлепали по столу, натренированное ухо отлично могло разузнать все и об игроках, и об игре.

Стол терпел. Дрожал. Тихонько покачивался. Временами, когда Баран шумно выкладывал придержанные карты, стол кривился, сгибаясь и потрескивая. По-моему, он вел себя вполне естественно для стола ста двадцати лет от роду, который начинал как «парадный», обеденный, потом, обзаведясь достаточным количеством царапин, превратился в гладильный, а через некоторое время — в верстак; наконец, его сочли подходящим для задней комнаты трактира, покрыли клеенкой и произвели в карточные.

Чем больше они пили — Фритьоф Феддерсен самодельную мирабелевку, а остальные трактирную пшеничную,— тем громче становилась игра: триумф и разочарование звучали в оглушительных шлепках. Говорят, троица до того «согрелась», что ни один не заметил, как стол к полуночи совсем перекосился. И, как назло, именно в этот момент у Барана при объявленном мизере оказался на руках большой шлем с четверками — кулак Барана естественно, не замедлил об этом сообщить: он так грохнул первой картой, что стол не выдержал. Одна ножка подломилась, остальные сделали шпагат. Большой шлем не состоялся.

Фритьоф Феддерсен допил из фляжки остатки мирабелевки, мрачно бормоча что-то себе под нос, исследовал поврежденный стол, сочувственно погладил сломанную ножку, потом резко выпрямился и объявил изумленным партнерам:

— Тут только лекарь поможет, надо позвать доктора Диббер-сена.

— Как это он поможет,— усомнился Йорн,— доктор настоящие ноги лечит, и совсем ему не обязательно ножки от стола пользовать.

— Нога есть нога,— заплетающимся языком изрек Ларс.— И на кой тогда доктор Дибберсен вообще учился?

— А мне,— сказал Фритьоф,— до смерти хочется поглядеть, какое у него будет лицо, когда мы ему покажем больного.

Все засмеялись, предвкушая развлечение. А затем Фритьоф отправился к телефону, чтоб известить доктора Дибберсена о несчастном случае. Доктор, естественно, только что заснул, так как изрядно умаялся от двадцати двух визитов, во время которых его не обошли гостеприимством. Однако тихий, вкрадчивый голос на другом конце провода был настойчив — делать нечего, придется идти.

Продолжать игру на полу было при всем желании невозможно, и троица в радостном напряжении поджидала врача, представляя себе, какое у доктора будет лицо, изображая наперед его изумление, замешательство, и не переставая нахваливала Фритьофа Феддерсена за затею. Вслед за тем, насколько мне известно, все трое, пошатываясь, вывалились во двор встретить врача и — во всеоружии огорчения — препроводить к больному.

Доктор Дибберсен, на чьем лице застыла вечная мука объяснений никогда не слушал и сам таковых не давал. Он, стало быть, позволил отвести себя в заднюю комнатушку, поискал глазами пациента, прислушался и дал снять с себя пальто. В этот момент Фритьоф Феддерсен с хорошо разыгранным страданием протянул ему отломанную ножку. Быстрый недоуменный взгляд на картежников — вот и вся докторская реакция. Он потребовал таз с водой и полотенце, открыл свой чемоданчик и деловито, как мне рассказывали,— неумолимо деловито — начал обрабатывать сломанную ножку. Смазал мазью, наложил по всем правилам шину, перебинтовал и на глазах у ошеломленных картежников приладил ножку на место, да так, что стол стал качаться меньше, чем в начале вечера. Любители ската по вполне понятной причине растерялись и, ясное дело, старались скрыть замешательство преувеличенным восторгом. Но доктор Дибберсен скромно отмахнулся. Заботливо проверив устойчивость стола, он удовлетворенно кивнул, потом молча достал расчетную книжку и справочник и подсчитал вознаграждение за оказанную помощь. Кругленькую сумму в сто двенадцать марок он благодушно поставил в счет Фритьофу Феддерсену, а затем, пожелав пациенту скорейшего выздоровления, распрощался.

Стоит ли удивляться, что мой дальний родственник Фритьоф Феддерсен на следующее утро навострил топор и, пока жена еще спала, не только снес старую мирабель, но и разрубил ее на чурочки для печки?

Причины конфликта

В Боллерупе, земляки, всегда отыскиваются любопытные поводы для ссор. И все же редко разводы начинаются так, как история Лаурица Феддерсена и его работника Инго, по прозванью Отлив. Прозвали его так потому, что закон притяжения сыграл с ним злую шутку и у него из головы утекли все мысли, словно вода во время отлива. Этот самый Инго — в прошлом необыкновенно волосатый подкидыш — отличался немногословным добродушием и беспричинной улыбкой. И летом и зимой он ходил в резиновых сапогах на босу ногу, а ежели кому интересно, в чем Инго понаторел за свою жизнь, могу сказать: понаторел он в уходе за домашней скотиной.

Об этом стоит упомянуть особо, ибо в нашей истории надобно знать, что у Лаурица Феддерсена никогда не было повода учить работника Инго уму-разуму, когда речь шла об уходе за скотиной.

Однако, как установил еще боллерупский кузнец, ничто не вечно под луною, и вот случилось так, что в один апрельский день согласию между Лаурицем и Инго пришел конец. На мой взгляд, тут не обошлось без участия апреля, будоражившего Балтику, свистевшего в лесу, поившего поля,— апреля, который, как говорится, ежеминутно сам себе перечил.

В такой-то вот апрельский день Лауриц Феддерсен вышел из дому, нерешительно постоял некоторое время, видимо раздумывая, зачем это его занесло на просторный и открытый ветрам мощеный двор. Тут ему и попался на глаза работник Инго, который молча, со знанием дела выводил на веревке из хлева двух телок. Животные не упирались, изредка как им и полагается, встряхивали головой, слюнявили длинными языками рукав Инго — более, надо полагать, ничего не происходило.

Лауриц Феддерсен поглядел на работника иначе, чем обычно. Он устремил на Инго пристальный угрюмый взгляд, потом вдруг подошел к нему и спросил:

— Почему это ты, Инго, гонишь скотину по левую руку?

Работник, никак не ожидавший подобного вопроса, испугался и начал соображать.

— Почему? — вопрошал хозяин.— Почему? Когда скотину гонят на пастбище, она должна идти справа от тебя.

Инго смущенно покосился на телок, будто искал у них поддержки, да-да, будто они могли заступиться за него, и, наконец, пробормотал:

— Я их вожу пастись по левую руку. Да, по левую. Вот именно. По левую.

— А надо,— возразил Лауриц Феддерсен,— по правую. У нас издавна гоняли на пастбище по правую руку. И дед, и отец, и я — мы всегда гоняли по правую руку. Животные уж так привыкли.

— Ах,— сказал Инго (он часто так говорил, когда на него нападала тоска),— ах, Лауриц Феддерсен, скотине-то небось все равно, как ее гонят: слева ли, справа ли. Главное, выпустить ее нынче, в апреле.

На лбу у хозяина прорезалась глубокая складка:

— Нет, Инго, важно не только вывести скотину на пастбище; не менее важно, как ее выводят. И тут мое мнение такое: если мы не хотим сбить ее с толку, надо гнать по правую руку, по правую! Слышь, загоняй их обратно в хлев, а потом выводи по правую руку!

Работник помолчал и неожиданно спросил:

— А ежели их просто отпустить? Найдут они дорогу на пастбище, коли их не погонять ни слева, ни справа?

— Загоняй в хлев,— повторил Лауриц Феддерсен, которого подзуживал апрель, и в голосе его, если угодно, звучала угроза.

Инго расстроенно поглаживал телок, дал им полизать руку и напоследок пробормотал:

— Столько лет гоняю скотину на пастбище по левую руку, и покуда еще никто не свихнулся.

— С сегодняшнего дня,— заорал Лауриц,— будешь водить справа, и точка!

Он нетерпеливо махнул рукой, повернулся спиной к ветру и зашагал прочь.

Нам ни к чему заставлять его шагать далеко. Пусть доберется до курятника или до кучи старого инструмента — и хватит. Вот тактo. Лауриц Феддерсен внезапно обернулся и застыл на месте, словно старая оглобля: из хлева клубами валил дым, ветер рвал его в клочья. Из окошек били языки пламени, просились друг к другу через

крышу. Пожар разгорался не на шутку. То был, если можно так выразиться, на редкость пышный пожар, и не последнее тому доказательство, что хлев сгорел дотла.

А когда все как следует обуглилось, на другой день или через день, Лауриц Феддерсен призвал к себе Инго и спросил:

— Зачем, Инго, ты подпалил солому?

Инго, работник, который здорово отличился при тушении пожара, отвечал на это:

— Хотел поглядеть, захочет скотина сама искать дорогу на пастбище или нет, ежели ее ни слева, ни справа не подгонять.

— И что же? — мрачно поинтересовался хозяин.

— Когда горит,— сообщил Инго,— надо ее погонять только сзади. Ей тогда все равно, с какой стороны гонят.

— Ну-ну,— сказал хозяин,— попробуй-ка убеди в этом боллерупскую полицию — Кая и Бродера Феддерсенов.

Забой на дому

Некогда, земляки, каждый второй в Боллерупе владел искусством домашнего забоя. По какому месту лучше всего долбануть кувалдой быка, как спустить кровь, какие штуки нож может сотворить с мясом, а пила с костями — все это, я бы сказал, были простейшие навыки, которые приобретались еще в детстве. Каждый второй подросток знал о влиянии желчи на качество мяса; доподлинно известно, что он знал и то, как очистить желудок, где искать желчный пузырь и как достать костный мозг. Скорее можно было бы поверить, что каждый второй из многочисленных боллерупских Феддерсенов не умеет считать, ждать или помалкивать, но поверить, что он не смыслит в домашнем забое, было совершенно невозможно.

Правда, как я уже говорил, то было в незапамятные времена, еще когда некий Михаэль — позднее он именовал себя Майк Феддерсен — отправился в Америку, в Чикаго, и так там преуспел, что на рубеже столетий его именем назвали целую бойню. Нынче все эти познания утрачены, спускание крови и разделка туши перестали быть азбукой, которая ведома всем, полезные сведения о местоположении пузыря и кишок безвозвратно забыты. Последний, кто владел этим искусством,— Кай Петер Феддерсен, по прозвищу Ветчинный Петер,— заработал ботулизм [1] и поразительно быстро убрался на тот свет.

Когда кто-нибудь в Боллерупе хочет заколоть скотину, ему волей-неволей надо приглашать забойщика из города. Поскольку же тот, к удивлению сельчан, соглашается работать только за наличные, от забоя на дому мало-помалу отказались.

Правда, один человек — кузнец Уве Иоханнес Феддерсен, по прозванью Клещи — никак не хотел смириться: подавай ему домашний забой, и все тут! Но, с одной стороны, он не располагал нужными познаниями, а с другой — не мог взять в толк, с какой стати платить городскому забойщику; потому-то и пришлось ему изрядно пораскинуть мозгами. Несколько месяцев он ломал над этим голову, раздумывал в кузнице, на берегу, на торфянике, каждый день советовался с женой — в девичестве Феддерсен,— как бы это без издержек са-

[1] Тяжелое отравление пищевыми продуктами.

мим прирезать здоровущую свинью: слишком ведь она жирна, чтобы выручить за нее хорошие деньги.

И вот в один прекрасный день Клещи, который слыл в Боллерупе чудаком, набрел на отличную мысль и, как уверяла внучатая племянница моего шурина, внезапно бросил утром работу, побежал к жене и объявил:

— К субботе зарежем.

— Ну что ж,— отвечала Ута-Мария. Сперва она всегда так говорила, а потом повторяла это свое «ну что ж» снова и снова.

Уве Иоханнес Феддерсен улыбнулся, так сказать выпрямляя кувалдой свою мысль, а когда успешно с этим покончил, заговорил так:

— Нынче самое время резать торф. На болоте опять арестанты под надзором вкалывают. Спорим, среди них полно убийц.

— Ну что ж,— согласилась жена.

А кузнец, должно быть, с подобающим волнением продолжал:

— Нам надо заполучить каторжника. Он свое дело знает, а платить можно одной едой.

— С убийц,— заметила жена,— что нынче режут торф на болоте, разные там охранники глаз не спускают, и все с ружьями! Надзор там ужас какой строгий!

К этим возражениям кузнец приготовился заранее и отпарировал:

— Тогда пусть один сбежит. К нам, в Боллеруп. Заполучим его— состоится забой на дому. По-моему,— продолжал Клещи,— надо бы тебе сходить на болото и подговорить кого-нибудь бежать.

— Ну что ж,— сказала кузнецова жена.

Потом она повязала голову платком, взяла корзинку и ножик и отправилась. Каждый, кто попадался навстречу, думал: идет себе человек, грибы собирает. Пугливые болотные пичуги и те не вспархивали, завидев ее.

Время от времени нагибаясь, Ута-Мария подошла к торфянику, приблизилась к охранникам и завела разговор, ну, скажем, о съедобных и ядовитых грибах — это ведь напрашивалось само собой. Разговор она завела весьма пространный, а сама между тем разглядывала работяг в полосатых робах. Сочные комья торфа так и летели из-под лопат, тарахтели по пружинящим мосткам тачки, росли разводья и бурые торфяные горы, сложенные грязными руками из нарезанных кусков. Здоровенный лысый детина, сноровисто орудовавший киркой, почти насильно привлек к себе внимание Уты-Марии. Каждый взмах, каждый удар говорил о недюжинной силе и расчетливом глазе, и кузнецова жена, должно быть, подумала: «Ну что ж. Либо этот, либо вообще никто». Только она собралась подать ему знак, как свисток охранника возвестил конец рабочего дня, и Уте-Марии пришлось вернуться к поискам грибов.

Ну, вот. А поскольку мне и самому мало-помалу становится невтерпеж, скажу сразу, что к тому времени, когда малый с киркой наконец все понял, Ута-Мария сходила за грибами в общей сложности раз шесть. Поначалу тот и слышать ничего не хотел о побеге: дескать, останусь и буду торф резать; Уте-Марии пришлось сказаться молодой вдовой, пришлось — видит бог! — намекнуть на ветчину, шнапс и беззаботные ночи, только тогда он изъявил наконец охоту расстаться с киркой. Короче говоря, обещал бежать, как только туман будет гуще.

После этого кузнецова жена сняла с головы яркую косынку, пошла домой и стала вместе с мужем готовиться к домашнему забою: собрала бадьи, миски и ведра, приготовила нож и пилу, позаботилась

о кувалде, налила полный котел воды. Ни о чем не забыла, принесла даже с чердака поношенный мужнин костюм.

По словам моего шурина, не прошло и двух дней, как деревня утонула в тумане, а история получила продолжение. Можно себе представить, как от темно-красных стен барака отделилась тень и нырнула в облако тумана. Окрик часового остался без ответа, и солдат подумал, что это, видно, нечистая сила. А тень меж тем скользнула в развевающихся полосах тумана к болоту и через луг. Кузнец с женой, одетые, лежали на кровати. Вдруг в окно тихонько постучали, и кузнец тотчас бесшумно удалился: он был совершенно согласен, что Ута-Мария должна прикинуться молодой вдовушкой. Стук повторился, и на сей раз — надо сказать, в страхе и смятенье— женщина впустила лысого здоровяка, который, не говоря ни слова, затворил окно, а потом и дверь. О том, что было дальше, история умалчивает.

Однако на следующее утро оба как ни в чем не бывало вышли из дому. Уве Иоханнес — тут как тут, выдает себя за брата собственной жены. После плотного деревенского завтрака вся троица будто ненароком отправилась в хлев, где свинья заскорузлой глыбой сала чесалась о загородку.

Детина неловко попытался погладить свинью, а кузнец, сказывают, запер дверь и вооружился раскаленным долотом. Все утро оно калилось на огне, где кипел котел с водой. Потом кузнец спокойно указал долотом на скамью, куда был сложен весь забойный инвентарь, и не менее спокойно обратился к беглецу:

— Ты поел и выспался. А теперь берись за дело.

Лысый, ничего не понимая, но с растущим беспокойством воззрился на кузнеца, а тот продолжал:

— Ты ее заколешь, и советую сделать это как следует. А теперь приступим к забою на дому.

При виде раскаленного долота арестант попятился, прижался спиной к выбеленной известкой стене и пролепетал:

— Я? Я должен колоть? Я должен колоть свинью?

— Ты,— отвечал кузнец,— больше некому. Ты же в этом кумекаешь. На что ты нам еще-то сдался? Ну, начинай.

Окон нет, на улицу не выскочишь, и детина робко запротестовал:

— Как же так? Я в жизни никого пальцем не тронул. Тем более скотину.

— За дело,— сказал кузнец — Я ведь не требую ничего особенного. Ты, небось, не раз такими делишками занимался?

— Можете мне не верить, но я не могу видеть крови,— сказал беглец.

Кузнец медленно двинулся на него с долотом наперевес.

— Отговорки не помогут,— жестко отрезал он,— нам известно, за что тебя упекли на торфоразработки.

— Пощадите,— воскликнул арестант,— пощадите! Вы не за того меня принимаете! Я не умею!

— Начинай,— приказал кузнец,— давай начинай.— Не допуская возражений, он махал раскаленной железякой перед носом арестанта.

Отступая, тот перелез через истертые жерди закутка, который был, как говорится, хрюшкиной вотчиной. Как ни странно, животное не напало на него, а наоборот, засеменило в угол; словно ухмыляясь, взглянуло на беглеца красноватыми глазками и остановилось в ожидании.

— Кувалду,— скомандовал кузнец.

Детина будто и не слышал. Он выпрямился во весь рост, поднес руку к горлу, задышал часто и тяжко, лицо его покрылось нездоровой бледностью и, как положено в таких случаях, мелкими бисеринками пота. Хрюшка нагнула голову, зарылась мокрым пятачком в навоз, ловко проделала новую канавку. Уве Иоханнес присел на загородку, повторил команду, но увидел только, как свинья, прокопавшись до арестанта, понюхала его ботинки и потерлась о колени.

— Начинай! — взревел кузнец.

— Не могу,— слабым голосом сказал беглец.— Нет, ни за что. Если вы меня не отпустите, я на вас донесу.

Кузнец издал неопределенный звук, хмыкнул или что-то в этом роде, а потом сказал:

— О том, что здесь происходит, лучше помалкивай. Пусть это останется между нами. Ну, давай.

Он сполз с загородки, заставил лысого взять в руки кувалду, замахнуться и — по крайней мере в мечтах — решительно ударить. Но до этого дело не дошло.

Арестант — он уже только пыхтел — совсем побелел и шепотом повторял, что не в силах обидеть живую тварь, потом угрожающе покачнулся, кувалда упала на землю. Впрочем, не она одна: секундой позже лысый детина тоже повалился наземь, мягко, удивительно мягко. А свинья подкатилась поближе и ткнулась мокрым пятачком ему в бок.

Откуда, скажите на милость, откуда кузнецу и Уте-Марии было знать, что этот малый умел падать в обморок по желанию? Более того, посредством вот таких искусных коротких обмороков он и совершал свои самые удивительные кражи. Знать они этого не могли, потому и отнесли, как многие до них, обеспамятевшего арестанта к себе в спальню, положили поперек кровати, а сами отправились на кухню ждать, когда он очнется. Ждали и придумывали разные способы забоя на дому, даже прикидывали новые меры воздействия, как вдруг до их слуха донесся дребезжащий звук, возвещающий о беде. Оба кинулись в спальню. Там, конечно, было пусто; терпеливые поиски ничего не дали — арестанта и след простыл, и кузнец резонно заключил, что тот сбежал, смылся.

Как уверяла боллерупская учительница, скрылся он не один: коробка со сбережениями Феддерсенов тоже пустилась наутек, сбежала вместе с ним, безвозвратно. Причем по вполне понятным причинам они даже не могли заявить в полицию. После всего этого не удивительно, что Ута-Мария больше не завлекала арестанта, который уже на следующий день сноровисто орудовал киркой на торфянике.

Свежая рыба

Ну что, земляки, было делать Торстену Феддерсену, торговцу рыбой когда другие боллерупские дельцы в погоне за клиентурой решили поставить свое дело на колеса?

То-то и оно. Совсем как булочник Оскар и мясник Лауэ Феддерсен, Торстен тоже проехал однажды по деревне в красном фургоне, медленно, с открытыми окнами выставив на всеобщее обозрение надпись, восхваляющую свежую рыбу. Раз уж речь зашла об упорстве боллерупцев, то надо сказать, не было во всей деревне человека упорнее этого самого нелюдима Торстена Феддерсена. Он ни

на одной вещи не ставил крест, пока не убеждался, что она потеряна окончательно и бесповоротно, будь то сорванная штормом донная сеть, непроданная рыба или нерешительный покупатель.

Едет он, стало быть, по тенистой деревенской улице, предлагает рыбу — зеленоперых сарганов, бледных налимов, красноглазых селедок — и не сердится (а если и сердится, то не подает виду), когда боллерупцы, бросив взгляд на светло-зеленый кафельный прилавок, отрицательно качают головой: не сегодня, сегодня нам рыбы не нужно. Он молча захлопывает дверцу фургона, едет к другому двору, где его, кроме пса, никто не встречает, и, не теряя присутствия духа,— дальше, в сторону кургана, теперь уже по яркому солнцу. Там, на краю деревни, жил в добровольном уединении Йенс Отто Феддерсен Треска. Выманив его стуком на улицу, торговец порешил во что бы то ни стало сделать Треску своим первым покупателем.

При виде рыбы, которая даже на солнце не блестела, Треска, как и предвидел Торстен Феддерсен, отрицательно помотал головой: у него, мол, есть свиная голова, надо сперва ее съесть, а там, глядишь, и о рыбе можно потолковать. Если Торстен не верит, он, Треска, готов предъявить свиную голову. Торстен Феддерсен оглядел эту самую голову, кивнул на прощанье и уехал. Дома, убирая рыбу в погреб, он отнюдь не безнадежно сказал жене:

— Покупателя надо завоевать, да-да, и лучше всего начать с кого-нибудь одного, а уж тот после сам позаботится о рекламе.

Стоит ли удивляться, что два дня спустя красный фургончик опять завернул на немощеный двор Йенса Отто Феддерсена, немного постоял там для пущей важности и дал поговорить за себя белой надписи, которая восхваляла уже не только Торстенову свежую, но и вообще местную морскую рыбу. Насколько я знаю Торстена Феддерсена, он с самого начала был уверен, что и на сей раз ни одной рыбешки не сбудет. Он выжидательно остановился возле фургона, всем своим видом выражая неколебимое упорство. Кстати говоря, студень, который на этот раз удержал Треску от приобретения рыбы,— студень Торстен не только обозрел, но и отведал. Жуя, он украдкой оценил запасы в кладовой, прикинул, сколько там еще обедов, и тут же наметил день своего возвращения.

— Нынче,— сказал жене торговец рыбой,— нынче наверняка продам.— И не откладывая в долгий ящик, начал уверенно развешивать рыбу: в один пакет красноглазых селедок, в другой — саргана, так как после всех переговоров резонно полагал, что Йенс Отто Феддерсен купит рыбу не только для супа, но и чтоб поджарить с уксусом и лавровым листом.

Кто бывал в Боллерупе, не удивится, что на сей раз, едва фургон въехал во двор, Треска вышел из дома и молча, словно уже заказывал, забрал пакеты. О принуждении и речи не было.

В этот день Торстен Феддерсен ехал домой быстрее обычного.

— Почин сделан,— сообщил он жене,— теперь все пойдет само собой. Вот увидишь.

Перед следующей поездкой он загрузил в фургон вдвое больше рыбы и начал с Йенса Отто Феддерсена, решив сперва навестить давних клиентов. Тот поджидал его насупившись, чуть ли не с обидой. На ящики с рыбой и смотреть не хотел. Чем дольше Треска молчал, тем яснее становилось, что он здорово сердит Торговец рыбой не на шутку растерялся, но в конце концов спросил:

— Нешто я давеча заломил втридорога?

— Да нет,— отвечал Треска,— только рыба-то была несвежая, с душком, и на вкус — будто трава.

Представляете, как взвился торговец, как замахал руками, но потом одумался и спокойно сказал:

— При чем тут я? Я тебе трижды предлагал рыбу. Купи ты ее восемью днями раньше, она была бы совсем свежая! С какими глазами ты винишь меня, если у самого духу не хватало решиться?

Треска отвернулся, если и не смущенно, то во всяком случае виновато, поразмыслил, взвесил доводы торговца и — такова боллерупская логика! — тут же купил свежей селедки и налимов. Мало того, под впечатлением Торстеновой логики он позаботился о том, чтобы весь Боллеруп заговорил о его печальном опыте с покупкой рыбы. И что же? В конце концов стоило Торстену Феддерсену завернуть на чей-нибудь двор, как все выскакивали навстречу: очень уж хотелось им рыбки посвежее.

Проучил!

В Боллерупе, земляки, зиму потому так легко переносят, что каждый к ней готов. Едва опустеют поля, едва забуртуют картошку, подремонтируют хлева, поставят лодки в сарай, едва поредеют изгороди, все уже начинают подумывать о том, как бы сделать зиму посноснее. Зиму, кстати сказать, весьма неизобретательную: она всегда посылает на разведку один и тот же норд-ост, заволакивает Балтику серой пеленой и для начала устраивает буран с крупными хлопьями снега или — правда, уже в январе — заваливает студеный берег ноздреватыми льдинами.

Так вот. Чтобы подготовиться к этой самой зиме, жители Боллерупа сразу же после окончания осенних полевых работ отправляются в ближний лес, где вволю дают попеть своим ленточным пилам. Валят тяжелыми топорами деревья на крутом берегу, главным образом, нависшие над обрывом буки, которые последний шторм почти — но то-то и оно, что почти,— вырвал из илистой почвы. Потом деревья распиливают, колют звонкими железными топорами, везут готовые дрова домой и любовно укладывают в высоченные поленницы: возле хлевов, у кухонь, до того высокие, что подчас и окон не видно.

Никто в Боллерупе не пилил так ожесточенно, не колол и не укладывал дрова с большим наслаждением, чем Франс Йеспер Феддерсен, мой двоюродный дед, которого, на моей памяти, все всегда звали Педдером [1], ибо он непременно ввязывался во все, чего каждый нормальный человек по возможности избегает.

Просто радоваться собственной запасливости Педдеру было мало: словно ожидая двух или, чего доброго, трех зим кряду, он громоздил смолистые сажени до самой крыши. Справедливости ради замечу, что он столь неистово запасал дрова не столько для себя, сколько заботясь о моей двоюродной бабке Гелене Феддерсен — особе белой и чересчур зябкой, которая даже летом по вечерам облачалась в зимнее пальто. Как бы то ни было, оба в один голос твердили, что «с холодом они не в ладах».— такое, земляки, и вам наверняка доводилось слышать. А когда дул норд-ост, Франц Йеспер Феддерсен не мог отказать себе в удовольствии прислониться к успокоительным поленницам и терпеливо, упорно, хотя от этого слезились глаза, стоять на ветру, словно ожидая в гости самое зиму.

Зима приходила, по обыкновению, внезапно, нахлобучивала все-

---

[1] Педдер (лит.— Петер) — персонаж немецких народных сказок, вроде нашего Иванушки-дурачка.

му Боллерупу снежные шапки, засыпала лощины, пятнами ложилась на поля и студила тростник на берегу так, что он потрескивал и шуршал от любого дуновения. Педдер только того и ждал: резво и, надо сказать, небрежно он таскал домой охапки дров и столь щедро кормил ими печь, что обе кошки кидались на улицу, а у заглядывавшего в дом почтаря прямо дух захватывало. Можно себе представить, с каким удовольствием этот самый Франц Йеспер Феддерсен потирал руки, когда снаружи на дом обрушивался ледяной ветер, и как он злорадствовал, когда мороз щелкал своим бичом по маленькому пруду.

Стояла как раз такая своенравная зима, когда в один прекрасный день Педдер обнаружил, что на его дровяные запасы напала в некотором роде чахотка: там подсело, тут провалилось, с боков дровишки куда-то исчезли, выбрались из-под придавленного камнями толя, защищавшего поленницу от сырости, и дали деру. Словом, похоже было, что они спасались от Педдеровой печки, которая неустанно заботилась о духмяном, но чуть ли не раскаленном воздухе. Как показал немногословный допрос, Гелена в отсутствие мужа дров не трогала, а поскольку почтальон тоже не мог забрать их с собой — он вообще никогда не мерз и, чтобы не отказываться от зимнего купания, даже пробивал топором проруби — и поскольку ноги у дров вырасти не могли, то Франц Йеспер Феддерсен поначалу просто-напросто призадумался. Никаких подозрений он пока не высказывал и вроде бы не беспокоился, только, как я уже говорил, почуял неладное. Тем не менее все это не мешало тому, что в некие трескучие от мороза ночи поленницы продолжали худеть. В первую голову бесследно исчезали буковые чурбаны, горевшие ровно и долго. Так вот, в задумчивости перевернув дважды кошачью миску с молоком, Педдер решил устроить засаду.

Не удивляюсь, что это ничего не дало, что Педдер не выследил пригнувшиеся тени, которые, угрожающе вырастая на амбаре, растаскивали дрова и, сгибаясь под скрипучей тяжестью, бежали прочь; все очень просто: от удушающей жары в доме Педдер уже через несколько минут начинал клевать носом и засыпал. На следующее утро не хватало примерно такого количества дров, что, по его словам, на целых три дня можно было бы оставить зиму в дураках.

Не слишком торопясь — в полном соответствии со своим темпераментом,— Педдер стал искать в утоптанном снегу возле поленницы следы. Там пробегали кошки, были там и отпечатки его собственных сапог, следы Гелены и кроликов, но потом, уже чуть не бросив это занятие, он обнаружил странные отметины существа, которое передвигалось одновременно как бы и шагая, и волочась. Одна нога, стало быть, оставляла нормальные отпечатки, а вот другая словно с шипением скользила по снегу. Явление это до того поразило Франца Йеспера Феддерсена, что он пошел, наклонясь, по следу через огород мимо жухлой капусты, потом по заснеженному полю к кургану и все так же, согнувшись, добрался до самого ручья, мелкого, но прекрасно скрывающего следы. Дальше он не ходил — не стоило. Педдер поднял голову и увидел два крайних в Боллерупе двора. Из труб, если не мирно, то во всяком случае живописно, курился дымок. В одном доме жил Йорн, в другом Йенс Отто Феддерсен, по прозвищу Треска. Франц Йеспер Феддерсен ухмыльнулся и заковылял домой, словно узнал все, что нужно. Вернулся он, значит, домой и застал там бабку Гелену, у которой от волнения сделался нервный тик.

Она, само собой, заметила быстрое сокращение дровяных запасов и в беспокойстве своем дошла до того, что уже мнилось ей, буд-

то она не просто мерзнет, а совсем окоченела и превратилась в камень.

— Сосулькой,— говорила она,— вот увидишь, Йеспер, я кончу свои дни сосулькой, если дрова и дальше бегать будут.

Она хныкала. Она возмущалась. Она грозила в окно в сторону кургана.

— Господи боже,— причитала Гелена,— может, кто-то задумал наслать на нас холодную смерть, а ты, Йеспер, и в ус не дуешь!

— Покуда,— сказал Педдер,— для паники причин нет, но чтобы твой тик прекратился, можно кое-что сделать.

С этими словами он, опять же не торопясь, принес в дом несколько чурбаков, выдолбил их, взял мешочек с черным порохом и, так сказать, превратил поленья в деревянные гранаты. Отверстия он тщательно заделал, вынес чурбаки на улицу и разложил по поленнице так, чтоб похитчик, с какого конца он ни тащи Педдеровы дрова, прихватил с собой хоть одно начиненное порохом полено. Однако Геленин ужас перед холодной смертью не унимался.

— Засаду,— твердила она,— засаду надо устраивать. А потом упрятать его, голубчика, в холодный сарай дня на три, не меньше.

Франц Йеспер Феддерсен, махнув рукой, ответил с улыбкой, не сулившей ничего доброго:

— Чему быть, того не миновать. Прошлой-то ночью опять дрова сгинули.

Пока Гелена Феддерсен со стоном ломала руки, пересчитывала оставшиеся дрова и даже прикидывала, не выкрасить ли их поярче, Педдер молча подтащил два удобных стула к окну, из которого открывался вид на Гуннов курган, велел жене сесть и смотреть на два крайних в деревне дома, особо, как он говорил, не спускать глаз с двора Феддерсена Трески. И еще сказал:

— Зачем куда-то идти и нарываться на неприятности, когда издали гораздо веселее.

Засим они немного подождали, потом еще — по мне, так они могли попить чайку с леденцами или похлебать бузинного супа, он тоже хорош против холода,— во всяком случае, им пришлось потерпеть до синих зимних сумерек.

И ожидание было по справедливости вознаграждено: печь в доме Йенса Отто Феддерсена внезапно устроила новогодний фейерверк. Следом за красивым острым языком пламени из окон посыпались, разбрасывая искры, римские свечи, огненные шутихи запрыгали к ручью, в воздух взвилось яркое крутящееся солнце, и тяжелая, увенчанная снеговой шапкой, крыша чуточку приподнялась и, простонав «ух!», снова осела, да так глубоко, что похоже было, будто шапка съехала на лоб. Пожара не случилось.

Предложив жене одеться потеплее, Франц Йеспер Феддерсен натянул подбитую мехом куртку, и оба зашагали в сторону кургана и дальше, к крайним дворам, где подпаленный Треска поспешно выносил из дома скарб и прочее ценное имущество, в том числе дубовую выходную ногу. Прежде чем предлагать свои услуги, Педдер поинтересовался причиной несчастья.

— Ах,— сказал Йенс Отто Феддерсен,— это все печка: от старости взорвалась.

— Бывает,— сказал Педдер,— правда, мне доводилось слышать, что некоторые печки взрываются потому только, что им кое-какие дрова во вред.

— А ведь и то верно,— отвечал Треска,— а потому стану-ка я теперь ходить за дровами подальше.

Очень чувствительная собака

Самая, земляки, досадная напасть, свалившаяся с прошлой осени на Боллеруп,— это пропажа гусей, кур и индюшек. Перышки находили потом на берегу возле обрыва, у свежепрорытой системы ходов, где, по всем приметам, обосновалось лисье семейство. Родичей и потомства у них, надо полагать, было по-восточному полным-полно. Поголовье домашней птицы в деревне убывало с такой быстротой, горы пера и костей возле норы громоздились так нахально, что Оле Феддерсен, двоюродный дед моего шурина, снял с крючка двустволку, добыл патроны и пригласил меня полюбоваться кончиной лисьего семейства.

Я принял приглашение без особого любопытства, позвал с собой четырех братьев Оле Феддерсена, и вот, сгибаясь под порывами бьющего в лицо холодного ветра, под бессильным солнцем мы зашагали к берегу. Но несмотря на благоприятствовавший нам ветер, лис мы так и не увидели: не мелькали огненные шубки, не высовывался из норы влажный острый нос, вопреки ожиданиям не дрались из-за гусиного крылышка лисята. Такое было впечатление, будто хитрецы, считавшие боллерупские птичники своей исконной вотчиной, перебрались куда-то в Ассербалле.

Оле Феддерсен невозмутимо присел на валун и сказал:

— Они, бывает, даже против ветра чуют. Но это их не спасет.

— Может,— предложил я,— напустим в нору воды? Они сырости не любят.

— Мы напустим в нору кое-что другое,— сказал Оле.— Гостя, гостя туда напустим.

— Собаку?

— Собаку,— прямо-таки упиваясь, в восторге отвечал Оле Феддерсен.— Ты такой собаки отродясь не видал. Очень ценная, очень чувствительная и до того махонькая — в самый узкий лаз протиснется. Тимсена из Стенаспе пес. Я его нанял за почасовую оплату. Да что говорить, собака таких денег стоит.

Вскоре подошли братья Оле, сухопарые неразговорчивые мужики, двое из них с ружьями, сели на валун, уставились по обыкновению в землю и стали ждать. Я тоже пристроился на валуне и от нечего делать прикинул, что рядом могли бы уместиться еще человек восемь. Мы развлекались, глядя, как Балтика моет гальку, одаривает берег никчемными водорослями, а я нет-нет да и косился на не подающую признаков жизни нору.

Ну вот. А теперь мне придется довольно долго продержать всех нас на валуне: Тимсен из Стенаспе что-то заставлял себя ждать. Наконец он появился на дальнем краю обрыва. Плоскогрудый, кривобокий, в высоких резиновых сапогах, за спиной рюкзак. Он чин чином поздоровался и вместо ответа на вопрос, где же собака, осторожно снял рюкзак, развязал его и дал нам запустить туда глаза. В самом деле: на дне подбитого мехом рюкзака дрожа сидел ценный песик и жалобно смотрел на нас. При виде чувствительного создания один из братьев Оле обрел дар речи и удивленно произнес:

— Интересно, зачем это псу лежать в рюкзаке да еще на меху?

— Для тепла,— быстро сказал Тимсен.

— Нешто он на бегу не согреется?

— Этот пес,— объяснил Тимсен,— до того чувствительный, что может вылезать из рюкзака самое большее минут на шесть. После ему опять надо туда, для тепла. Нет тепла, нет результата.

— Коли так,— сказал Оле Феддерсен,— пускай показывает свой результат.

Мы подошли к лисьему жилью и разделились. Каждому досталось сторожить один ход. Я слышал, как мужики заряжали ружья. Потом Тимсен извлек из рюкзака драгоценное животное, погладил его, что-то тихонько сказал — подбодрил, видать,— и бережно запихал в главный лаз. Тихо взвизгнув, пес исчез. Нарушитель лисьего покоя нырнул в темноту. Все мы, можно сказать, замерли, затаили дыхание, но, понятное дело, держали ухо востро. Тимсен достал часы и стал следить за секундной стрелкой.

Вот сейчас, думал я, из какого-нибудь лаза выскочит рыжая, нашпигуют ее дробью, сполна расквитаются за гусей, кур и индюшек, а она, чуть вздрагивая, рухнет наземь. Но ничего не произошло. Как я ни прислушивался, из норы не доносилось ни ворчанья, ни лая. Лишь секундная стрелка двигалась, и вдруг Тимсен сказал:

— Три минуты. Антон уже три минуты внизу.

Все промолчали — казалось, никто не слышал его слов, и вы, наверно, догадались почему. Вообще-то на этом месте следовало бы остановить стрелки часов, нарочно все замедлить — быть может, описать юркие тени или архитектуру лисьего убежища,— короче говоря, ослабить напряжение, в котором мужики пережидали подземные приключения Антона. Я поступлю иначе — перескочу еще через две минуты и позволю Тимсену заметить:

— Еще шестьдесят секунд, и ему пора наверх. Погреться в рюкзаке.

Я еще ниже склонился над лазом, напряг слух — по-прежнему ничего. Тимсен открыл рюкзак и грел мех ладонью, вороша его и поглаживая. Оле Феддерсен застыл с ружьем наизготовку.

— Пора,— внезапно воскликнул Тимсен,— шесть минут. Пора ему в рюкзак.

Он решительно присел на корточки возле главного лаза и позвал:

— Антон! Выходи, Антон! Сию минуту! Бросай лису!

Из-под земли, естественно, никакого ответа. Драгоценная собака не подавала признаков жизни.

Тревога росла, и каждый из нас с радостью остановил бы время. На лице у Тимсена появилось выражение искреннего отчаяния. Он то метался туда-сюда, то хватался за голову, то вдруг обращал взор к небу. Антон — чувствительный, взятый напрокат пес — и сам не появлялся, и лис под ружье не выгонял. Тимсен, понятное дело, начал тихонько жаловаться, и, правду сказать, жалобы его здорово смахивали на проклятия. Миновало восемь, десять, четырнадцать минут — Антона нет как нет. Судьба его не вызывала больше сомнений. Что он там учинил с лисами? Что лисы сделали с ним?

Я напоследок напряг слух и в самом деле вдруг уловил, как в норе что-то скребется и царапается и все это сопровождается неистовым воем. Я спешно подозвал Тимсена, он послушал и в беспомощной ярости заключил:

— Закапывают моего Антона. Лисы его живьем хоронят в своем лабиринте.

— Антон еще жив? — поинтересовался я.

— Может,— сказал Тимсен,— пока еще и жив.

— Пока еще,— протянул Оле Феддерсен,— что-то слабовато для лисьей охоты.

— Помочь ему надо,— воскликнул Тимсен.— Давайте откапывать.

Таковое решение было принято через восемнадцать минут, а ведь за это время драгоценному псу Антону полагалось погреться целых три раза. Меня отрядили в Боллеруп за лопатами, посему я, конечно, могу описать свой путь туда и обратно, но ничего не могу сказать об остальных. Я спешил и, появившись возле лисьей норы с двумя лопатами, не удивился, когда их буквально вырвали у меня из рук и рьяно начали копать. Лисье жилье яростно уничтожалось, рушилось на глазах, а Тимсен то и дело приникал к земле, прислушивался и все так же ничего не слышал.

— Пусть хоть труп,— кричал он,— если не живого, так хоть мертвого Антона заберу домой!

Долго ли мы копали? Не знаю. Помню только, что работу частенько прерывали одобрительные возгласы: ведь до той поры никто из нас не видал искусный лисий лабиринт изнутри. Должно быть, нам понадобилось часа два, чтобы обнаружить длинный запасной ход, который лисицы вывели в густые заросли кустарника. Теперь всем стало ясно, куда они подевались. Только вот исчезновение Антона, драгоценного пса, было по-прежнему необъяснимо, по крайней мере пока.

Впоследствии мы узнали, что Антон давно поджидал своего хозяина, некоего Тимсена, дома в Стенаспе. Поскольку чувствительному псу полагалось за это время раз двадцать погреться, он, по слухам, жутко продрог, и потому Тимсен задним числом взвинтил почасовую оплату. А так как Оле Феддерсен отказался платить наценку, дело дошло до суда и тяжба продолжается по сей день.

Предыстория одной свадьбы

Жил, земляки, в Боллерупе крестьянин по имени Свен. Этот самый Свен Феддерсен — длиннорукий, медлительный, с водянистыми глазами и шеей индюка-переростка — был, если вдуматься, завидным женихом: наследник большого хозяйства, владелец смешанного леса, лугов, водоемов и полей, где регулярно находили каменные топоры. Казалось, все-то у него есть— кроме жены. Иная, конечно, и хотела бы за него пойти, не без того, да только Свен обходил все ловушки, не давал заманить себя в силки, ловко увиливая от недвусмысленных приглашений.

Представьте же наше изумление, когда в один прекрасный день, пятидесяти семи лет от роду, Свен обручился. Выбор его пал на некую Эльке Бруммель. Эту хрупкую, но выносливую особу в деревне любили за умение молча поддерживать беседу и одним кивком сообщать все существенное. Едва народ прослышал о помолвке, как сразу начались расспросы о свадьбе, и Свен намекнул, что думает сыграть свадьбу осенью, после жатвы. Никто в его планах не сомневался, и все уже стали звать Свенову невесту Эльке Феддерсен.

Но осень пришла и миновала, а свадьба не состоялась. Когда у Свена спросили, отчего же не было свадьбы, он прямо ответил: дескать, из-за смерти дяди — на том и успокоились.

На следующий год все дядья были живы-здоровы, но если кто полагал, что свадьба состоится теперь, он глубоко заблуждался. Опять пришла и миновала осень, а дело дальше помолвки не шло. Деревенские видели, как они ненароком встречались возле кургана, в поле или на улице, как некоторое время молчали вдвоем — и все. Нипочем не догадаешься, что эти двое, так сказать, обещаны друг другу — ни по взгляду, ни по жесту, ни тем более по речам.

Правду сказать, не только истории ради я заставляю одну осень сменяться другой, а помолвку тянуться. Свен Феддерсен держался так, словно совершенно запамятовал о помолвке с Эльке Бруммель, ибо осень наступала пять, шесть, восемь раз, а о свадьбе ни слуху ни духу. В Боллерупе уж решили, что Свен намерен кончить свои дни женихом, а иные вообще забыли, что он обручен. Постепенно к нему опять стали относиться как к холостяку; та же участь постигла и хрупкую, но выносливую Эльке Бруммель, по-старому помогавшую брату по хозяйству.

Девять раз подряд миновала ничем не примечательная осень, и вдруг свершилось то, чего уже и ждать перестали: Свен Феддерсен назначил день свадьбы, да не просто назначил, а сразу пригласил в трактир на торжество двести четырнадцать гостей, из которых сто девяносто восемь носили фамилию Феддерсен. Тут, скажу я вам, Боллеруп прямо обалдел; оправившись от изумления, сельчане вздохнули и поспешили отсчитать нужную сумму. Дело в том, что, хоть тебя и пригласили, все равно, по боллерупскому обычаю, полагается самому платить по счету.

Свадьба состоялась в субботу. После венчания общество обосновалось в трактире. Гости расселись за длинные столы и отведали в честь позднего бракосочетания всякие яства: маринованную селедку, жареного угря, жареных морских гребешков, запеченную курицу, тушеные котлеты, панированный шпиг, зайчатину, колбасы, ветчину и холодный свиной бочок и все это с хлебом, картофелем и овощами, а под конец мороженое и сыр. Поначалу там и сям еще разговаривали, но мало-помалу над столом нависла гнетущая тишина. Каждый чувствовал ее, каждому она докучала. Шурин говорит, тишина наступила только лишь из-за того, что все ломали себе голову, почему это помолвка длилась целых девять лет. А размышляли об этом прежде всего потому, что уж больно уравновешенны и довольны были почтенные молодожены, они заботливо потчевали друг друга картофелем, временами раздумчиво кивали. Сельчанам же, естественно, до смерти хотелось узнать, отчего же их не порадовали этим зрелищем еще девять лет назад.

Тишина давила столь тяжким грузом, что кое-кто из Феддерсенов облегченно вздохнул, когда за дело взялись музыканты из Фленсбурга, именовавшие себя «Голубыми ребятами». Первыми в круг вышли Свен с Эльке, а за ними и все остальные. Я мог бы живописать и танец, и музыку, мог бы поведать, куда девались остатки еды, но ведь все это и многое другое интересует только непосредственных участников событий.

Вам же я расскажу лишь о том, что интересно всем. Надо признать, Свен Феддерсен не отказывался выпить ни с кем: раз девяносто чокнулся и раз девяносто обласкал нёбо даровым шнапсом. В результате он стал поразговорчивее: сперва заговорили руки, а под утро и рот открылся и язык развязался. И вот, как рассказывал мой шурин, один из гостей — по-моему, это был парикмахер Гуго Феддерсен — набрался храбрости, решил взять быка за рога и прямиком направился к жениху. Встал перед ним и спрашивает:

— Почему это, Свен Феддерсен, твоя помолвка затянулась на девять лет?

А Свен, сказывают, подмигнул одним глазом и говорит:

— Когда помер дядя, он мне отказал цельный погреб смородинной наливки. А я страсть как люблю это самое зелье. Распил я первую бутылочку и говорю себе: нет, брат, жениться будешь, когда погреб опустеет — ведь эдакое лакомство непременно лучше пить в одиночку.

Деревенская поэтесса

В Боллерупе, земляки, тоже случаются события, пропустить которые никак нельзя. И совсем уж непозволительно прозевать чтения Альмы Брун-Феддерсен. Едва разнеслась весть, что великая крестьянская поэтесса изъявила готовность почитать избранное из своего полного, хотя и неопубликованного, собрания сочинений,— и билеты мгновенно были распроданы. Слишком уж долго хранила она добровольное, даже несколько грозное молчание, слишком уж не терпелось Боллерупу узнать, как это она решилась расстаться с суровым одиночеством и предстать пред очи публики.

Поэтические чтения решили устроить осенью, в один из воскресных дней. Ветер жгутом скручивал листья, вдалеке жаловались друг другу собаки, но уже за два часа до начала люди начали стекаться в большой зал трактира. Даже аукцион не собрал бы столько народу: боллерупцы упрямо, поодиночке и группами, тянулись окольными тропками, спешили по песчаным дорожкам, встречались на деревенской улице, валом валили к трактиру и чуть ли не угрожающе толпились перед ним на перекрестке.

Конечно, при сем присутствовали Ларс, Йорн и Вильгельм Феддерсены, пришли, конечно, и доктор Дибберсен, и Греска со своей выходной ногой, я приметил даже двух рыбаков с Клукхольма, приплывших со своего безлесного острова. Число гостей, привлеченных Альмой Брун-Феддерсен, само по себе внушало почтение, но куда больше впечатляло то, как эти гости себя вели. Они подходили степенно и торжественно, полные ожидания, в робком благоговении; не слышно было ни громогласных приветствий, ни соленых колкостей, а если что-то вообще и происходило, то потихоньку — ну, да вам это не внове.

За час до начала большой зал трактира был не то что полон — набит битком. Люди сидели на полу, примостились на подоконниках и возле отопления, теснились в проходах, но никто и не думал жаловаться на неудобства и ссориться. Взгляды собравшихся были устремлены к возвышению, где стояли стол и стул — очень низенький резной стул и раскладной стол, покрытый скатертью в бело-синих квадратах,— старый диван и ваза с астрами, любимыми цветами поэтессы. На заднике примерно на уровне глаз висел желтый плакат с черными лирами по углам, сообщавший давно известное: после многолетнего молчания Альма Брун-Феддерсен прочтет стихи из собрания своих сочинений.

Так вот, раз уж в зале не слышно ничего, кроме бормотания, перешептываний да редких приглушенных возгласов, можно спокойно избавить себя от ожидания под сенью пожелтевших от времени гирлянд и перейти прямо к началу выступления великой крестьянской поэтессы.

Первой появилась не она. Рука, перебиравшая складки занавеса в поисках края, принадлежала Линхен Мадсен, бледной, запуганной женщине, экономке Альмы Брун-Феддерсен. Линхен встала на цыпочки, с усилием приподняла занавес и немного его раздвинула, а потом — потом на подмостки властно шагнула сама поэтесса. Лицом она походила на неласкового дога, фигура ее, завернутая в огромную вязаную шаль, напоминала грушу, одной рукой она сжимала манускрипт, другой — трость с набалдашником из слоновой кости. Громко стуча палкой, Альма Брун-Феддерсен проследовала мимо Линхен Мадсен, совершенно ее не замечая, и осуждающе посмотрела в зал—

в результате кое-кто невольно заерзал на стуле, втянул голову в плечи и потупился. Хлопали очень сдержанно, но эту сдержанность следует отнести исключительно за счет почтения, каковое все питали к поэтессе.

Затем она грохнула трость на стол и опустилась на стульчик, теперь я мог заметить, что ноги ее были облачены в черные шерстяные чулки и высокие ботинки на шнурках. Отвисшие щеки вздрагивали от резких движений.

Внезапно поэтесса полезла куда-то за спину, покопалась там, извлекла из потайного кармана юбки несколько погонных метров носового платка — кирпично-красного в белую полоску — и высморкалась. Тщательно, а главное с такой силой, что лампочки чуть ли не замигали. Потом она раскрыла рукопись и некоторое время в раздумье глядела в потолок. И надо же было, чтобы именно в этот миг величавой сосредоточенности кто-то тоже громко высморкался. Этим «кем-то» оказался мой дальний родич Фритьоф Феддерсен. Поэтесса энергично захлопнула манускрипт и гневно воззрилась на возмутителя спокойствия, который, суетливо кланяясь, пытался извиниться. Все суровее становился ее взгляд, все требовательнее — деваться некуда: Фритьоф Феддерсен встал и не только извинился за то, что помешал, но и поведал запинаясь, где и при каких обстоятельствах подхватил простуду: ночью, стало быть, когда босиком ходил на кухню маленько попить.

Поэтесса кивнула и выразительно махнула рукой: дескать, сразу видно, в чем тут дело. После этого она снова раскрыла манускрипт, сосредоточилась и несколько раз на пробу вздохнула. Но тут поднялся шум возле одного из низеньких окошек. Там ругались, требовательно стучали, а затем послышался возмущенный вопль. Делать нечего — Альма Брун-Феддерсен гневно захлопнула рукопись. По ее знаку рыбаки с Клукхольма поднялись и вышли на улицу. Шум мгновенно улегся. Нарушитель, которого они вскоре втащили в зал и повлекли к подмосткам, был не кто иной, как Свен Феддерсен. Он был пьян. Очевидно, выпил такое количество полученной по наследству смородинной, что ноги никак не могли договориться, в какую сторону идти. И тем не менее Свен упорно желал присутствовать на чтениях.

Одного жгучего взгляда поэтессы было довольно, чтобы самоуверенная ухмылка пьяного сменилась кисло-сладкой улыбочкой и весь он как-то сник. А вскоре, по-прежнему в тисках клукхольмцев, он нехотя соблаговолил извиниться. После этого поэтесса повелела ввести Свена Феддерсена на сцену, и когда дрожащий преступник очутился перед нею, она на живом примере прокомментировала все напасти, какие могут приключиться от алкоголя. Своей красивой тростью она указывала на голову и говорила о «размягчении мозгов», переводила ее на глаза и говорила о «помутнении взора», а когда добралась до пагубного воздействия алкоголя на печень, публика начала задавать вопросы. Боллерупцы, по обыкновению, рассуждали обстоятельно, к концу дискуссии Свен Феддерсен протрезвел, и ему было дозволено под осуждающими взглядами занять место возле центрального прохода.

Альма Брун-Феддерсен села поудобнее, затем развернула рукопись и решительно провела по ней наискосок большим пальцем, разглаживая листы. Вслед за тем она издала для настройки несколько хриплых звуков — примерно так гремит, наматываясь на брашпиль, якорная цепь. Кроме того, поэтесса быстро проделала гимнастику для губ. Поворот головы назад, к Линхен Мадсен, которая послушно — иначе не скажешь — сидела на своем стуле, а засим Альма Брун-Фед-

дерсен поведала о том, что подсказало ей добровольно избранное одиночество.

Да-да, я не ошибаюсь, все было именно так. Сперва она вволю дала похозяйничать в Боллерупе каждому из четырех времен года. Итак, она призвала зиму, обложила деревню белым пологом, швырнула в воздух несколько заблудших ворон, скрипнула мерзлым тростником, затрещала печками — по горницам будто бы промчался огненный всадник,— а затем устроила бурю с обычной в этих местах вьюгой. Поэтесса в самом деле воскликнула: «У-у-уу!» — и пустила снежный ураган блуждать по дворам. Берега, как она выразилась, застыли в «белых льдах», а старые ивы вдруг посерели,— мне это кое-что напомнило. Когда же речь зашла о «раненой лани», которая в поисках травы раскапывает снег «окровавленной ногой»,— все это сопровождалось негромким перезвоном колоколов боллерупской церкви,— какая-то старушка рядом со мной вздохнула, поежилась, словно от холода, и поплотнее сцепила руки на груди.

Но мерзнуть ей пришлось недолго, ибо эстафету уже подхватила пестроцветная весна — не как-нибудь, а «звеня» талая вода весело побежала в распростертые объятия Балтики. По тростникам — на сей раз похожим на копья — прошло легкое дуновение. На нивах и в лугах, в «зарослях кустарника», в лесу — повсюду отмечалось не только «бодрое движение», но и «буйная суета». Сие поголовное цветение должно было привести за собой зеленое лето, каковое Альма Брун-Феддерсен прямо-таки втолкнула в зал мощным ударом весла.

Вслед за тем она уложила путника спать во ржи и свежем клевере под жужжанье приветливых насекомых, потом — полагаю, после теплого дождика — полям опять же пришлось благоухать свежо и пряно. Поэтесса живописала «пасущихся лошадок», наполненный ветром парус, белеющий в бухте, стрекоз, тихий, как водится, шелест леса и тяжелую жару, которую она сравнила с наседкой. Вишни у Альмы Брун-Феддерсен горели алым жаром, а в окрестностях Боллерупа она внимала «радостному звону серпа». Засим настал черед осени.

Начало ее знаменовало созревание желудей и «наливная репа», в подарок осень будто бы принесла «золотые яблоки». Поэтесса раскинула по усадьбе ранние туманы, нагромоздила ящики серебристой макрели, а что до осенней погоды, так у нее то вскачь неслись облачные кони, то «не дрожали листы»[1],— и это мне тоже кое-что напомнило. Дай бог памяти, что же она еще учинила с осенью? Жнивье у нее шелестело «прости-прощай!», у картофельного поля она разложила костер, а под конец порешила «унестись в мечтах вослед счастливым стаям перелетных птиц».

Внезапно Альма Брун-Феддерсен резко выпрямилась и жестом подозвала Линхен Мадсен. Та открыла металлическую коробочку — как я заметил, там было полно большущих таблеток,— великая поэтесса извлекла одну и проглотила, не запивая.

Отчего же не слышно оваций? Может, зрители слишком запуганы? А может, скованы умилением? Большинство глядело в пол, надо думать, рассматривая щели, кое-кто крутил на пальце связки ключей или массировал суставы, а один — Тимсен из Стенаспе — пристально изучал в зеркальце свою физиономию и щерил при этом зубы.

Поэтесса огласила три опуса поменьше, сначала — «Сон кузнеца». Речь там шла о том, что всякий будто бы стремится стать тем, что любит, и вот однажды ночью кузнец вдруг обратился в наковальню, по которой дубасил весь свет. Большинству из собравшихся этот

---

[1] Строка из стихотворения Гёте «Горные вершины». Перевод М. Ю. Лермонтова.

сон ничего не говорил, и они не шелохнулись. Но потом поэтесса продекламировала «Большую ловлю угрей», и тут над головами взлетел чей-то указательный палец, недвижный и требовательный. Тем не менее Альма Брун-Феддерсен его проигнорировала. Ей не терпелось выложить третий шедевр под названием «Взор больных зверей». Он повествовал об одном неистовом ветеринаре и начинался так: «Кто скачет галопом сквозь ветер и дождь...» [1] Она читала (звучало это нараспев, мрачно и громоподобно), а кверху поднялось сразу несколько рук, вытянулись, защелкали пальцы, не заметить их было нельзя.

Только поэтесса закончила чтение, как без всякого приглашения поднялся один из клукхольмских рыбаков и пожелал внести поправку. Он тут слыхал про семизубую острогу для ловли угрей, а это неверно, потому что у всех острог испокон веку было по четыре зубца. Вот он и предлагает исправить. Кроме того, ему хотелось бы отметить, что лучшая пора для ловли макрели все-таки весна. Альма Брун-Феддерсен раздраженно посмотрела на него и спросила:

— Вас, как видно, только факты и интересуют, да? Одним зубцом больше — и поэзия вам уже недоступна.

— Это еще не все,— начал Йенс Отто Феддерсен, по прозвищу Треска.— Я нынче вечером узнал, что вокруг Боллерупа иной раз раздается радостный звон серпов. Мне вот как-то не доводилось слышать этот звон, да и другим, надо думать, тоже. Ведь во всем Боллерупе ни одного серпа не сыщешь. Так вот, предлагаю поправку.

На сей раз Альма Брун-Феддерсен лишь с большим трудом обуздала свой гнев.

— Где,— воскликнула она,— где еще люди могут быть столь наивны, чтобы понимать серп буквально? Ведь, как известно, серп — это все равно что коса, а коса — это орудие смерти. Им она, черт побери снимает жатву!

Мнения слушателей разделились. Одни хлопали, другие задумчиво качали головой. С этим поэтесса еще кое-как смирилась, но она едва не вышла из себя, когда слова попросил некий Могенс Феддерсен, в прошлом помощник лесника, и пожелал сообщить, что снег в поисках травы раскапывают только олени, козы и овцы, но не лани, как ему тут плели, тем более раненые! Нельзя ли, заикнулся он, заменить лань оленем?

Высокомерный пренебрежительный жест — и поэтесса изрекла:

— Сорок пять лет ты прослужил помощником лесника и по сей день не уразумел: страдания зверей зимой не передать образом оленя, тут непременно нужно обратиться к стройной беззащитной лани.

— Так ведь она-то снег никогда не раскапывает! — воскликнул Могенс Феддерсен.

— В таком случае,— произнесла поэтесса,— с сегодняшнего дня лань начнет копать, и все, в том числе и ты, привыкнут.

Она свирепо листала манускрипт, когда после подобающей паузы поднялся кузнец Уве Иоханнес Феддерсен, по прозванью Клещи.

Тут речь лично о нем, начал Уве Иоханнес, о его снах. Так вот, чтобы предупредить недоразумения, он публично заявляет, что в жизни не видал во сне наковальни. Ежели ему что и снится, продолжал кузнец, так это рыба — пикша, треска, щука. И он, стало быть, решительно возражает против иных снов.

Невозможно описать взгляд, которым Альма Брун-Феддерсен наградила кузнеца: в нем сочетались возмущение, ярость, презрение

---

[1] Искаженная первая строка баллады Гёте «Лесной царь»: «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой...» Перевод В. А. Жуковского.

и величавое высокомерие. Она долго, неотрывно смотрела на него, а потом скривила рот и произнесла нечто такое, чего ей лучше было бы не говорить:

— Твои рассуждения, Уве, доказывают, что я совершенно права. Ибо так может говорить лишь тот, кто ежедневно получает свое кувалдой по башке, то есть опять-таки исполняет роль наковальни. Но ты можешь утешиться тем, что в Боллерупе таких полно.

Пока кузнец усаживался, чтоб поразмыслить над всем этим, тут и там вспыхнул протест, на сцену понеслись угрозы, под гирляндами замелькали кулаки. Очень медленно, все еще скривив рот, поэтесса собрала рукописи и передала их Линхен Мадсен.

— Эй! — крикнул вдруг Треска.— Мы ж платили за вход. По программе нам причитается еще двадцать минут. Или, может, деньги назад вернешь?

Альма Брун-Феддерсен со свистом обрушила на стол роскошную трость — удар был так силен, что в зале мгновенно воцарилась тишина. Посреди этой, прямо скажем, испуганной тишины она и прогремела:

— Тут слишком много понимают в фактах, а потому поэзия для вас — что бисер для свиней. Пожалуйста, забирайте ваши деньги и давитесь своими фактами.

С этими словами она, не прощаясь, удалилась за занавес, увлекая за собой Линхен Мадсен, которая тоже обиженно вздернула плечи.

С тех пор великая крестьянская поэтесса вновь замкнулась в добровольном молчании, и надо признать, слава ее отнюдь не меркнет, а, наоборот, тихо, но неуклонно ширится.

Долгожительница

Я, земляки, не спорю, бывают люди, у которых за плечами и побольше девяноста двух лет, но есть ли на свете женщина, которая в свои девяносто два года перекапывает сад, ставит верши, режет кроликов, колет дрова и, если надо, чинит крышу? Лично мне, во всяком случае, не доводилось слышать, чтобы такое встречалось даже на Кавказе или в уединенных долинах на склонах Анд.

В Боллерупе — и только здесь — была такая женщина, тощее, обтянутое кожей чудо непреклонности, Бирта Феддерсен, которую тут, на мой взгляд, чересчур уж прозаично прозвали Черепахой.

Жила эта самая Бирта Феддерсен на выделе из собственного двора. В остальной усадьбе хозяйствовал ее дальний родственник, но с ним она, конечно же, давным-давно раз и навсегда разругалась. Вот и шла упрямо и сварливо своей дорогой без конца толковала сама с собой, носила юбки на вате и башмаки, здорово смахивающие на солдатские, вечно таскала при себе всякий инструмент, может, и табак нюхала — этого, правда, никто толком не знал. Бирта Феддерсен на глазах у всех ломала большинство возрастных канонов и, конечно же, неминуемо возбуждала любопытство, причем не только у местных. Рассказы о старухиных недюжинных трудах, обо всех ее необычайных подвигах вышли за пределы Боллерупа и дали пищу разговорам в Тинглеве и даже в самом Фленсбурге.

После такого вступления, думаю, никому не покажется странным, что однажды в Боллерупе появился репортер. Глаза его почти скрывались под нависшими веками, и помимо снисходительности он

прихватил с собой в деревню фотографа, очевидно, чтобы запечатлеть биологическое диво не только на бумаге, но и на пленке. Газетчики сняли в трактире комнату на двоих, вытащили из чемоданов мыло и мочалки и без долгих проволочек завели с хозяином беседу о Бирте Феддерсен.

Чем они интересовались? А вот чем: семейным положением, привычками, особенностями питания, распорядком дня. Но ничто из услышанного не смогло вызвать у репортера ни малейшего удивления. Как видно, он был с необыкновенным накоротке и, пресытившись, просто разучился удивляться. А может, посчитал слухи о Бирте Феддерсен боллерупскими сказками. Серьезные задания явно были ему не впервой, что он и продемонстрировал, когда под моросящим дождем при полном безветрии спустился на выдел Бирты Феддерсен и отнюдь не робко постучал.

Ему пришлось подождать, еще и еще, и он, конечно, не заметил, как кто-то выскользнул черным ходом и, пригибаясь, метнулся через сад. Не заметил и ждал, внимая странным звукам: шуршанью, шороху и скрипу — казалось, будто в доме спешно перетаскивали по полу кованые матросские сундуки. Потом до его слуха донесся слабенький голосок, приглашавший зайти в низенькую горницу. Там лежала она.

Лежала в глубоком кресле с красной обивкой под гигантской периной и тяжело дышала. Взгляд тусклый, лицо в пятнах, костлявые руки сложены на груди, синеватые губы полуоткрыты. Это и есть биологическое диво Боллерупа? И репортеру, и фотографу не то что можно — нужно озадаченно переглянуться, нужно ступать потише и выказать сосредоточенное смущение, которое само собой родится вблизи смерти или, по меньшей мере, очевидной дряхлости.

Перед лицом столь трепетной ветхости оба, разумеется, подумали, что дали слухам сбить себя с толку, потоптались возле кресла и решили было оставить Бирту Феддерсен в покое. Но старуха не пожелала, старуха настаивала, что хочет попить с ними чайку: чайник уже, мол, вскипел. Фотограф разлил чай, он же маленькими, птичьими порциями поил Бирту, которой было никак не под силу удержать глиняную кружку. Насколько плодотворна была беседа, можно заключить из того, что репортер говорил о скверном автобусном сообщении, а старуха кротко и неразборчиво бормотала что-то насчет затяжных дождей, которые норовят испортить урожай гороха.

На прощанье она послала им вслед тусклый мученический взгляд, далекий, словно с порога иного мира, и это так подействовало на газетчиков, что у двери оба молча поклонились.

Не подлежит сомнению, что они вернулись бы в редакцию, как говорится, с пустыми руками, не оглянись фотограф из палисадника на старухины окна. То, что он увидел, не могло его не удивить. А увидел он вот что: старуха энергично отшвырнула перину, залезла под кресло, извлекла оттуда бутылку рома, до краев наполнила кружку и осушила ее с облегчением и жадностью.

— Мне кажется,— сказал фотограф,— немного терпения, и денежки у нас в кармане.

В трактире за жареным филе камбалы и бузинным супом они обсудили свой визит к Бирте, взвесили все обстоятельства и, смакуя двойную порцию пшеничной, порешили добраться до биологического дива Боллерупа по-иному: выслеживать исподтишка, незаметно и, коли на то пошло, терпеливо. И началось: они то переодевались, то расходились в разные стороны, то прятались за рыбными садками на берегу или в малиннике у Бирты Феддерсен. Подчас слежка, надо сказать, окупалась, хотя и не так, как бы им хотелось. Опершись на

узловатую палку, шаркая ногами, древняя старушонка появлялась то возле своего дома, то возле пруда, то на берегу — бездеятельная, легкая, словно пожухлый листик, сорванный слабым ветерком. Порой она как будто их узнавала, порой с отсутствующим видом смотрела сквозь них, углубившись в свои мысли, и газетчикам оставалось только уступать ей дорогу. Один раз она даже забрела в трактир, и репортер слышал, как она шепталась с хозяином, но при его появлении старуха сделала вид, что заблудилась, и засеменила прочь, недоуменно пожимая плечами и качая головой,— очень немощная, но отвергающая всякую помощь. Старухина трепетная дряхлость порядком намозолила газетчикам глаза, и можно себе представить, что в один прекрасный день они пали духом и начали поговаривать об отъезде.

Они опять упаковали в чемодан мыло и мочалки, расплатились по счету и на глазах у всей деревни зашагали к остановке — правда, в этот день никто не видел, чтобы они садились в автобус. Да этого и нельзя было увидеть, потому что сначала один, потом другой юркнул в ближний лес. Под его прикрытием газетчики обогнули Боллеруп, пробрались через заросли кустарника, устремились к обрыву и залегли в поле, над сходнями.

Пусть их пока торчат там и, если угодно, наслаждаются знакомой всем мирной картиной идиллических балтийских причалов: сохнущими на столбах сетями, кучами сверкающих стеклянных поплавков, сигнальными флажками на бамбуковых шестах, свежепросмоленными буями, а быть может, и сколоченными из свежих досок рыбьими садками. А дальше — сама Балтика, бутылочно-зеленая, капризная, через каждые триста метров сети, а меж них верши для угрей, помеченные красными и черными флажками.

Вот, а теперь хватит им отсиживаться в поле. Именно сейчас они непременно увидят то, что боллерупцы видели несчетное множество раз: Бирта Феддерсен в грубых сапогах, с широкой деревянной бадьей под мышкой появилась на берегу; без узловатой клюки и вовсе не семеня она вышла на сходни и отвязала лодку.

— Давай — сказал репортер.

Фотограф защелкал камерой и запечатлел, как старуха завела старенький мотор, двинулась к вершам и донным сетям и долго чем-то там занималась. Она рывком распустила свой особый узел на ловушке, вывалила в лодку трепещущих угрей, треску, камбалу и саргана. Потом опять ловко затянула сеть, завязала своим узлом и спустила верши в воду.

Насколько я знаю Бирту Феддерсен, она, конечно уж, попутно закрепила молотом парочку расшатанных штормом столбов.

— Аппарат,— сказал фотограф,— аппарат убедит меня, что я видел все это собственными глазами.

Теперь, описав пенную дугу, Бирте можно и воротиться к берегу, причалить лодку, переложить рыбу в бадью и, водрузив ее на голову, зашагать по прибрежным камням. В этот момент репортер скомандовал: «Вперед!» — они с фотографом вскочили на ноги и помчались вниз по раскисшей от дождей дороге. Здесь невольно напрашивается вопрос, как бы повела себя другая женщина того же возраста, если бы ее вот так же застали врасплох. Бирта Феддерсен бережно поставила рыбу, рассчитанно вздохнула и с жалобным стоном, словно переоценив свои силы, повалилась вперед, опять-таки рассчитанно — так, что мужчины без труда могли ее подхватить. Держа старуху под руки, они ее успокаивали, легонько похлопывали по щекам, а она неожиданно высвободилась и испуганно спросила:

— Теперь конец? Всему конец?

Репортер запнулся:

— Чему конец?

А старуха пояснила:

— Ну, пенсии по инвалидности. Я ведь, почитай, двадцать четыре года получаю пенсию, а вы небось ко мне с проверкой.

— Да мы не из-за пенсии,— сказал репортер, а опешивший фотограф кивнул и поднял бадью с рыбой.

По дороге репортер объяснил, зачем они с товарищем приехали в Боллеруп. Бирта заулыбалась и вскоре совсем оправилась от потрясения. Она даже пришла вдруг в такое прекрасное расположение духа, что прихватила в трактире пару бутылок пшеничной и пригласила газетчиков к себе. Потягивая пшеничную с черным ежевичным соком, она неустанно чокалась за то, что никто, слава богу, не отберет у нее пенсию. Старуха становилась все благодушнее, все непринужденнее, все веселее — будь у нее граммофон, уверен, Бирта Феддерсен завела бы пластинку. Во всяком случае, она, говорят, чуть ли не пустилась в пляс и вообще выглядела до того сильной и подвижной, что репортер, распив еще бутылку, просто принужден был задать все те вопросы, которые ему поручили в редакции.

Бирта Феддерсен покачала головой и пренебрежительно махнула рукой.

— Чудеса...— протянула она.— Бросьте болтать о чудесах. Мне потому так здорово живется, что муж мой всякий раз, когда делал прививки скотине и оставалась сыворотка, так вот, мой Карл делал заодно вливание и мне. Из остатков, да... Куда ж их еще-то? Я вот иной раз думаю: ежели бы ему в ту пору тоже сделать прививку, он, глядишь, и не помер бы двенадцать лет назад.

Газетчики ошеломленно переглянулись, а потом репортер спросил, можно ли прямо так и написать, на что Бирта Феддерсен отвечала:

— А что? Ветеринар-то тоже давно помер, и, видать, потому, как опять же запамятовал сделать прививку сам себе.

Репортер не сразу нашелся, но потом сказал:

— Что ж, фрау Феддерсен, лично я надеюсь встретиться с вами в день вашего столетия.

Старуха снисходительно посмотрела на него и проговорила:

— А что? Вид у вас достаточно здоровый.

Тайный победитель

В Боллерупе, земляки, никого не любили так, как лесоруба Фите Феддерсена. Это точно, хотя никто у нас не мог бы объяснить за что. За скромность? А может, за мягкую неколебимую вежливость, которая вовсе не зависела от погоды? Или за то, что он работал в глубине леса и редко появлялся в деревне? Не в последнюю очередь его популярность можно объяснить вот чем: если он вообще высказывался, то делал это настолько односложно, что едва ли можно было к чему-нибудь придраться.

Кому не терпится узнать причины, пусть себе ищет. Для нашей истории хватит и того, что Фите Феддерсен, который, страшась своей силы, птичье яйцо в руки взять боялся, безо всякого усилия со своей стороны стал любимцем Боллерупа. Но если сам он нимало не стремился стать тем, чем стал, то другие постарались использо-

вать его необычайную популярность, как говорится, в высоких целях, а именно — в политических.

Умалчивать об этом мне никак не пристало. Так вот, незадолго до последних выборов в заповедном ельнике появилась немногочисленная комиссия, прошла оттуда в смешанный лес, прислушалась и, следуя за мерными ударами тяжелого топора, свернула в сосняк, где рубили валежник, оставшийся после ночной бури. Там трудился Фите Феддерсен. Трудился среди рухнувших, изломанных, вывернутых стволов, прилежно и без надзора, нахлобучив на голову забавную шапку с длиннющими, подвязанными на макушке ушами, которые делали его похожим на печального зайца. Комиссия — она состояла из моего двоюродного деда Франца Йеспера Феддерсена и Арнима Даазе, представителя фирмы сельхозмашин,— приветливо поздоровалась. Все расселись на свежих пнях, угощали друг друга табаком, но сосали незажженные трубки, чтобы не смущать таблички, предупреждавшие об опасности пожара. Наконец комиссия перешла к делу и предложила Фите Феддерсену стать кандидатом от Зеленого союза — партии прогресса и радикальных реформ.

— Человеку вроде тебя,— говорила комиссия,— место только в Зеленом союзе.

И еще она говорила:

— С твоей, Фите, помощью мы сможем наголову разбить проныру Эдуарда Каллесена и ловкачей из ихнего Черного союза.

Лесоруб озабоченно улыбнулся и отрицательно покачал головой.

— Нет,— сказал он и повторил еще несколько раз: — Нет, нет.

Помочь, конечно, всегда можно, и с удовольствием, но поможет он только в том, что умеет. И сослался на то, что, дескать, не только лишен соответствующих политических знаний, но и дара, без которого не обойтись ни одному политику: дара произносить речи.

Комиссия об этом знала. Знала и о том, что никто в Боллерупе не добился немногословностью большего, чем их новый кандидат, и потому стояла на своем.

— Мы,— уговаривала комиссия,— все учли: нам нужен Фите Феддерсен, и пусть его молчит, сколько влезет. Все необходимое возьмет на себя Арним Даазе, где нужно, он будет отвечать за Фите на вопросы, будет делать от его имени заявления, а ежели что, и речь скажет. Ты можешь просто кивком подтверждать его слова.

Фите Феддерсен пожал плечами и продолжал отказываться; с одной стороны, он изъявлял готовность помочь, а с другой, сомневался, удовлетворит ли он даже сниженным требованиям. Однако в конце концов, когда комиссия форменным образом пристала с ножом к горлу, он поднялся, немного постоял в искреннем смущении, а потом легонько, но недвусмысленно кивнул: Зеленый союз в Боллерупе завоевал на свою сторону самого популярного человека в деревне.

Комиссия поздравила его, распрощалась, а когда она уже продиралась сквозь заповедный ельник, лесоруб задним числом перепугался, словно сам себя продал. От беспокойства у него все из рук валилось, ни один удар не попадал в цель, он все время думал о данном слове и о своем первом публичном выступлении. Он бы с превеликим удовольствием догнал комиссию и взял свои обещания назад. Что теперь оставалось, кроме как сесть на ствол и подумать? Ничего, а потому он присел и стал размышлять не без болезненного стеснения в груди.

О Зеленом союзе ему было известно, что тот именовал себя партией прогресса. Члены этой партии — мелкие крестьяне, коммивояжеры, рабочие вроде него самого — почти все носили карманные часы. Любой ценой они жаждали справедливости. Правда, если ему не

изменяла память, Черный союз изо всех сил стремился к тому же, только его члены почти поголовно носили часы на руке. Эта партия называла себя также партией консерваторов, и председателем ее был Эдуард Каллесен, который в любой момент мог без бумажки проговорить четыре часа подряд, и притом с подъемом.

Даже Арним Даазе не мог с ним тягаться, хотя тоже умел поработать языком. Неужели же нельзя отменить легкомысленное решение?

В этот день Фите Феддерсен кончил работу раньше обычного и поплелся домой не только в подавленном состоянии, но и задами. Жена уже все знала: Франц Йеспер Феддерсен притащил пачку брошюр, памяток и программ и рассказал ей о выдвижении кандидата. По поводу мужниной подавленности она изрекла свое любимое:

— Ах, Фите, чего там, как-нибудь образуется.

Так она встречала все неурядицы. Вслед за тем она залила жареную картошку яйцом, а Фите тем временем вздыхая крутился возле стопки предвыборных брошюр. Вдруг он остановился, взял одну тетрадочку и начал читать. Он читал, как я выяснил, за ужином и чуть не всю ночь напролет, да так и не кончил. Но если кто думает, что Фите читал и на следующий вечер, то заблуждается: с загадочным выражением лица он снес бумаги в сарай, на растопку. Счел бесполезными? Или еще до предстоящей схватки с Эдуардом Каллесеном без звука капитулировал? Кое-что подтверждает последнюю версию, ибо с той поры Фите Феддерсен начал на глазах хиреть и внимательной вежливости у него поубавилось, он чаще прерывал работу и в мрачном раздумье сидел на пне. Никто не удивился, что в день большой дискуссии Фите даже есть не мог.

Правда, друзья из Зеленого союза этим вовсе не интересовались. Они зашли за Фите пораньше, шутили, подбадривали его, пытаясь передать ему хоть малую толику своей уверенности. Они обступили его и весело, стараясь привлечь как можно больше внимания, двинулись к трактиру, выкрикивая лозунги и рисуя в воздухе знак победы.

Под липами у входа в трактир Фите вдруг в ужасе замер: на плакате красовался его портрет. Фотография была старая и изображала Фите с топором на плече, довольного и веселого, в смешной шапке с висячими ушами,— словом, такого, каким его знали все. На заднем плане гнулись под снегом еловые лапы. Он прочел подпись: «На него можно положиться!» — и покосился на соседний плакат с портретом Эдуарда Каллесена верхом на лошади, без шапки, а внизу подпись: «С ним через любые препятствия!» Фите инстинктивно хотел было повернуться и дать тягу, но неумолимые друзья сквозь дым и шум задвинули его в заднюю комнату. Там они усадили его на стул, прицепили на лацкан значок, поправили ненавистный галстук. А Арним Даазе еще раз изложил стратегию, которая должна принести победу:

— Главное, Фите, молчи, даже если они станут тебя провоцировать. Сиди — и все. Согласно кивай. И знай себе помалкивай. Говорить буду я.

Фите Феддерсен слабо шевельнулся в знак того, что все понял, ему вытерли пот, подняли со стула и поволокли из комнаты в открытый всем сквознякам коридор, а оттуда на сцену. Было условлено, что обе партии появятся из-за занавеса одновременно — Зеленый союз слева, а Черный — справа. Так и сделали. Соперники одновременно подошли к столу, одновременно расселись под гром аплодисментов, свистков и приветственных возгласов. Трактир гремел, ревел и ликовал, из зала тянулись к сцене пивные кружки, горящие сигары описывали в воздухе сверкающие огненные круги, на колченогих

столах прыгали бутылки — подобные восторженные зрелища знакомы каждому. Фите Феддерсен заставил себя посмотреть в зал, скользнул взглядом по столам, которые как бы плыли в дымном чаду. Неужели все эти знаки, жесты, восторженные крики — ему? Должно быть, ему, ибо уже сейчас, до начала публичной церемонии, кое-где, хотя и недружно, скандировали: «Фи-те! Фи-те!» На него явно возлагали надежды: овации, выпавшие на его долю во время представления кандидатов, были погромче тех, что достались Эдуарду Каллесену.

Затем обеим партиям предложили выступить с программными заявлениями. Судьбе было угодно, чтобы первым выпало говорить Каллесену. Если вам не приходилось его слышать, могу заверить, что этот энергичный и гибкий оратор, который небрежно, точно сигару, подносил к губам микрофон, производил сильное впечатление. Во всяком случае, Арним Даазе, выступивший следом от Зеленого союза, в одиночку нипочем не склонил бы публику на свою сторону, если бы Фите не кивал так усердно, что многие тоже закивали — уж больно пример был заразителен. Таким образом, пока была ничья, и начало бурной дискуссии на первых порах ничего не изменило в настроении зала.

Как снисходительно и вместе безжалостно вел дискуссию Эдуард Каллесен! Очевидно, ему доставляло огромное удовольствие без конца обращаться к Фите Феддерсену, хотя тот и не отвечал. Например, он вопрошал:

— Может быть, мой уважаемый соперник, господин Фите Феддерсен, разъяснит немного свою политику цен в случае, если земли, находящиеся в частной собственности, перейдут в муниципальное владение?

Арним Даазе тут же вставал и начинал примерно так:

— Наш кандидат считает...— Или: — Мнение моих друзей по данному вопросу совпадает с моим собственным...— Или: — По мнению Фите Феддерсена...

Причем Фите зачастую согласно кивал еще до того, как высказывалось его предполагаемое мнение.

Так вот дискутировали Каллесен и Даазе — о премиях за забой скота, о дотациях на молоко, о пенсионном обеспечении сельских хозяев и — уже порезче — об оборонной политике. А между ними, сложив руки на животе и обливаясь потом, восседал задумчивый Фите Феддерсен. Временами он вздрагивал. Это случалось, когда соленый пот капал в почти не защищенные ресницами глаза. Да и следил ли он вообще за полемикой? Заметил ли, что, судя по реакции зала, результат дуэли по-прежнему оставался ничейным? Наверно, заметил, потому что вдруг положил руки на стол и загадочно уставился на Каллесена. Тот как раз чуть ли не с издевкой осведомлялся насчет школьной политики Зеленого союза и теперь пожелал узнать, в самом ли деле Фите Феддерсен носится с мыслью упразднить все свидетельства. И экзамены. И так называемое «мошенничество с оценками». И буквально спросил:

— Неужели мой уважаемый противник внезапно стал врагом всякого трудового достижения? Неужели в Боллерупе воцарится серая уравниловка?

Аплодисменты, которыми наградили Каллесена, были столь бурны, что Арниму Даазе удалось возразить лишь с превеликим трудом. Может, он не очень разбирался в школьной политике, а может, в самом деле не дорос до Каллесена — как бы то ни было, на сей раз Арним Даазе не сумел склонить на свою сторону большинство.

Каллесен не был бы Эдуардом Каллесеном, упусти он возможность добить почти поверженного противника. Он вскочил, начал, окрыленный успехом, новую речь и пожелал узнать у Фите, как тот относится к строительству спортивного зала и манежа для верховой езды — иными словами, как высоко Фите ставит политику в области здравоохранения.

— Манеж для верховой езды привлечет к Боллерупу всеобщее внимание,— восклицал он.— Тут будут проводиться чемпионаты северных стран. Играя и занимаясь спортом, дети вырастут здоровыми и крепкими и так далее. Так как же?

Он вызывающе посмотрел на Фите, ожидая, конечно, что за того ответит Арним Даазе, но тут случилось нечто незабываемое. Фите Феддерсен встал и расправил плечи. Зал стих. Все подталкивали друг друга, разгоняя облака дыма. Каллесен опешил, в Зеленом союзе кое-кто струхнул; Арним Даазе, едва оправившись от испуга, попытался знаками уговорить Фите придерживаться стратегии молчания. Напрасно! Сам же я успел только подумать: «Что ж, беда, иди своим чередом!»

Фите Феддерсен глотнул, постучал костяшками пальцев по столу и для начала осушил полный стакан минеральной воды. Потом заговорил очень тихим голосом:

— Сорок лет я провел в лесу, на природе. Подружился с барсуком и лаской, делился завтраком с вороной, был на «ты» с белкой. Коли меня спросят, где живет настоящее веселье, скажу: среди барсучат. Они играют только друг с дружкой, и на полдня им хватает для забавы одной еловой шишки. Малышу хочется повозиться, покусаться — вот тут и оттачиваются чувства. Самая долгая радость — от скромной игры. И я хочу спросить: на что нам манеж для верховой езды? Покажите детишкам лес, и пусть их там играют, как барсучата. Они вам радостью отплатят.

Не просто аплодисменты — настоящая овация была наградой оратору, который смущенно отмахивался, переминался с ноги на ногу и, наконец, сказал:

— Лесной голубь — один из немногих представителей животного мира, который заботится о стариках. Вместо манежа, верно, стоило бы нанять несколько сестер милосердия и пусть, как лесные голуби, обихаживают стариков.

Я бросил быстрый взгляд на Каллесена; тот покачал головой, вздохнул, презрительно скривился — вероятно, нечего ему было возразить. Но то, что заставило его вздохнуть и пасть духом, понравилось залу, публика встретила слова Фите аплодисментами и криками «браво!». Все теперь желали слушать одного только Фите Феддерсена. И Фите говорил, окрыленный шумным одобрением и восторгом. Взамен он мог предложить только одно: лесные слова, лесной опыт, притчи темного леса. С этих позиций он и брался за любую политическую проблему. К примеру, говорил: «Охотник выдает лисе свидетельство». Или: «Сойка предупреждает и врага». А в ответ на приветственные возгласы так высказался насчет политики в отношении собственности:

— Спросите у меня, у кого самый верный взгляд на собственность, и я скажу: у одичавших домашних кошек. Когда для охоты мало места, они уговариваются, кому в какое время охотиться, и вот лес принадлежит всем и каждому. Потому как всё, чем владеет каждый, он вроде бы одолжил. Только поделившись с другими, найдешь удовлетворение. Вот о чем говорит пример одичавших домашних кошек.

Неудивительно, что Зеленый союз поначалу был озадачен, потом его охватила надежда, но вдруг все опять заколебалось. Фите Феддерсен не только принялся рассуждать о «природных хозяевах леса», но и стал по-своему защищать принцип трудового результата, со знанием дела ссылаясь на крошечную орешниковую соню. Тут уж даже Каллесен просветлел — и волей-неволей ему и Черному союзу пришлось похлопать. Так и пошло — то ликовали Зеленые, то Черные, то все вместе. Никто в Боллерупе не скажет, собственно, как долго выступал Фите, потому что никто не осмелился взглянуть на часы. Внезапно Фите воскликнул:

— Сорока много чего умеет, но из серебряной ложки и ей птенца не высидеть.

Он замолчал, мы ошеломленно переглянулись, а потом Фите попросил присутствующих отвести его кандидатуру.

— Знаний-то политических у меня маловато,— пояснил он и сел на свое место.

Даже человек, начисто лишенный воображения, в состоянии представить себе, что творилось в зале: люди кинулись на сцену, облепили Фите, насели на него со всех сторон, кричали «ура!», но Фите был непреклонен. Отказ он обосновал так:

— Иной удивляется, чего это барсук лезет в воду всего-навсего раз в жизни. А он с первого раза соображает, что там для него чересчур мокро.

Между прочим, Зеленые победили на выборах с небольшим перевесом и, конечно, сознают, кому они этим обязаны. На самом деле, бесспорно, победителем стал Фите Феддерсен.

ЛУИС де ГОНГОРА и АРГОТЕ

Перевод с испанского
и вступление СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Триста пятьдесят лет тому назад в Кордове, неизлечимо больной и одинокий, умирал Луис де Гóнгора, имя которого вместе с именами Сервантеса, Лопе де Веги, Кеведо и Кальдерона стало гордостью «Золотого века» испанской литературы. Последние его письма преисполнены горького разочарования: так и не удалось добиться давным-давно обещанной пенсии, чтобы хоть на старости лет избавиться от унизительной нищеты: так и не удалось ему издать книгу своих стихотворений.

А между тем литературная судьба Гонгоры, казалось бы, начинала складываться на редкость удачно. Уже в 1585 году Сервантес писал о двадцатичетырехлетнем поэте: «Луис де Гонгора, редчайший и неповторимый гений...» Даже Лопе де Вега, непримиримый противник поэтической манеры Гонгоры, не мог относиться к нему без восхищения: «Сколь звонок голос твой, пречистый лебедь Бетиса[1]...» О репутации зрелого Гонгоры можно судить и по другому факту: лучшая антология того времени «Шедевры великих поэтов» (1605) включала тридцать семь стихотворений Гонгоры, восемнадцать — Кеведо и восемь — Лопе де Веги (правда, и тогда известного больше своими драмами, чем лирикой).

Стихи поэта, в списках расходившиеся по всей Испании, снискали ему громкую славу. Но слава славой, а сын бедного кордовского дворянина не сумел сделать, подобно многим своим литературным собратьям, карьеры при дворе и потому постоянно нуждался. Не чувствовал он в себе призвания и к карьере священника, которая, по замыслу родственников, должна была обеспечить ему безбедное существование. Не закончив университета в Саламанке, Гонгора поступает на службу казначеем-ключарем кордовского собора — и что же? Вскоре епископу доносят, что этот юноша ведет образ жизни, недостойный служителя церкви: «редко появляется в храме божьем, да и появившись, слоняется из угла в угол, громко разговаривая», к тому же — посещает бой быков, принимает у себя комедиантов, предается мирским утехам и в довершение ко всему «сочиняет легкомысленные стишки». Не потеряв присутствия духа, дон Луис сумел доказать на допросе, учиненном епископом, что речь идет всего лишь о безобидных шалостях, столь свойственных юности, а вовсе не о симптомах злостной ереси, и потому отделался штрафом в четыре дуката.

[1] Древнее название Гвадалквивира — реки, на которой стоит Кордова, родной город Гонгоры.

Впрочем, со временем, когда у него появились влиятельные покровители, Гонгора удостаивается даже звания почетного капеллана Филиппа III («В конце концов, разве не может быть среди королевских капелланов хоть один умный?» — рассудил после некоторых колебаний всесильный герцог Лерма). И опять же — почет почетом, но долги растут, неотвязно преследуют кредиторы, а денег взять неоткуда.. Можно не обедать три дня подряд, но как покажешься при дворе в выцветшей сутане? Да и слава имеет оборотную сторону: все чаще братья по перу проявляют недвусмысленное раздражение его популярностью. При этом дело не всегда ограничивается литературной перебранкой: по свидетельству современников, не кто иной, как Кеведо, купил через подставных лиц дом, который снимал Гонгора в Мадриде,— и знаменитый поэт оказывается на улице. «Я готов утопиться в колодце!» — признается он в письме к другу. А покровители? Неисповедима судьба королевских фаворитов... В 1621 году на эшафоте кончает жизнь Родриго Кальдерон, через год под ножом наемного убийцы падает граф Вильямедиана... Среди «сильных мира сего» у Гонгоры не остается заступников. Надломленный нищетой и гонениями, больной поэт уезжает в Кордову, чтобы 27 мая 1627 года умереть в родном городе. Несколько месяцев спустя вышла, наконец, и его книга, несколько выспренне названная составителем «Сочинения в стихах испанского Гомера».

Книга эта, как раньше — рукописи стихов Гонгоры, никого не оставила равнодушной. Она вызвала множество самых лестных оценок, но, пожалуй, не меньше—ожесточенных нападок. Автора обвинили в утрате поэтического вкуса, в нагромождении непонятных образов, в нарочитой затемненности смысла. Затемненность, темнота... Однажды произнесенное слово сыграло роковую роль в посмертной судьбе поэта: блистательный лирик испанского «Золотого века» почти триста лет именовался в истории литературы «Темным Гонгорой». В чем же тут дело?

Творчество Гонгоры как бы подытоживает испанское Возрождение и одновременно открывает собой эпоху поэтического барокко, нашедшую позднее более полное выражение в драматургии Педро Кальдерона.

Поэзия Гонгоры, верная традициям Ренессанса, жадно впитывает в себя все соки народной песенной стихии, будь то андалусский романс, одухотворенный радостью и болью живого чувства, или колоритная летрилья, в которой сатира вершит правый суд над пороком. От Возрождения же идет и другая линия в творчестве Гонгоры — линия «книжной» поэзии, ориентированной на итальянские, а если смотреть глубже — на античные литературные образцы: напряженные поиски непреходящих ценностей человеческого духа, мучительные раздумья о смысле жизни, облеченные в чеканную форму сонета или оды... Этот благородный сплав народной и античной традиции тесно сближает Гонгору с такими его современниками, как Сервантес или Лопе де Вега.

Но Гонгора, как и его современники, был не только наследником Ренессанса — он еще и сын трагического XVII века, века, который доказал утопичность многих чаяний гуманистов Возрождения и подверг их идеалы суровому испытанию.

Внутренние противоречия, раздиравшие феодальную Испанию, так и не сумевшую приспособиться к новым историческим условиям, упадок ее военного и политического могущества, засилие инквизиции, объявившей «крестовый поход» против идей реформизма,— все это вызвало глубокий духовный кризис испанского общества, породило настроения пессимизма и отчаянья. Королевский двор утопал в роскоши, а между тем государственная казна пустовала и правительство несколько раз вынуждено было объявить себя банкротом; крестьяне десятками тысяч сгонялись со своих земель, голод опустошал целые провинции; в кострах пылали лучшие книги, на кострах горели лучшие люди... Гнусная и кровавая действительность казалась страшным сном, и Гонгора отчаянно пытался развеять его злые чары, то подвергая беспощадной критике и осмеянию современное ему общество («Каждый хочет вас обчесть...», «Вальядолид...»), то с тоскою обращая свой взор в минувшие столетия («мавританский» романс о рыцарской любви и верности), то стараясь преобразовать реальный мир в мир литературной условности, которым бы правила не естественная, а рукодельная гармония (поэма «Одиночество»).

Постепенно Гонгора создает обновленную поэтическую стилистику, легшую в основу испанского барокко. Он широко вводит в поэзию так называемые «культизмы» — латинизированные слова, коробившие непривычным звучанием слух некоторых его современников (кстати сказать, большинство этих «культизмов» ныне употребляются в испанском языке на правах самой обиходной лексики). Он насыщает свой стих метафорами, которые некогда казались скандальными, а в наше время звучат едва ли не литературными штампами: б е г у ч и й х р у с т а л ь (о ручье), р у б и н ы г у б в с н е г у о п р а в ы (о белолицей красавице)... Он усложняет синтаксис, словно испытывая на гибкость фразу, обнимающую целую строфу, а то и стихотворение (см сонет «Пока руно волос твоих течет...»), или нанизывая одну параллельно-контрастную конструкцию на другую:

Весь в черном, а плащ — как пена!
И ветер сливает вместе
цвет безутешного горя
и цвет безупречной чести.

Он заставляет слово играть всеми гранями звука и смысла:

Богу мил богатый мельник,
а не богомол-отшельник.

Разумеется, в стремлении искать прекрасное в сложном, изысканно-замысловатом, была опасная возможность срыва в «искусство для искусства». И многие второстепенные последователи Гонгоры пошли по этому пути. Так родилось бесчисленное племя гонгористов, которые возвели в абсолют отдельные особенности гонгорианского стиля, забыв, что для Гонгоры эти формальные приемы были отнюдь не самоцелью, а всего лишь средством к выражению живого, человечного, выстраданного содержания.

Элементы барочной стилистики просвечивают во всех жанрах, которые разрабатывал Гонгора, но в наиболее сконцентрированном виде они представлены в его поздних фундаментальных поэмах «Полифем и Галатея» и «Одиночество» (1613). Неудивительно, что именно эти поэмы и вызвали самые ожесточенные споры. Многим почудилось, что они свидетельствуют о плачевной метаморфозе, произошедшей с Гонгорой в самом расцвете его дарования,— о внезапном и необъяснимом его превращении из «ангела света» в «ангела тьмы». Представление о Гонгоре как о поэте «темном» и вычурном, а самое главное — н е ж и в о м еще более окрепло во времена классицизма, тяготевшего к строгой логичности, к однозначному употреблению слова и как огня чуравшегося смелого образотворчества.

В XX веке Федерико Гарсиа Лорка скажет об этом: «Со всех сторон слышались угрюмые и грубые голоса людей тупых и бездушных, предающих анафеме то, что они называли темным и пустым. Им удалось отодвинуть Гонгору в тень и засыпать песком глаза всех тех, кто шел к пониманию его стихов... А Гонгора ожидал с зеленеющей ветвью в руке новых поколений, которым он мог бы передать свое истинно ценное наследство и свое чувство метафоры».

Сонеты

■ ■ ■

О влага светоносного ручья,
бегущего текучим блеском в травы!
Там, где в узорчатой тени дубравы
звенит струной серебряной струя,

в ней отразилась ты, любовь моя:
рубины губ твоих в снегу оправы...
Лик исцеленья — лик моей отравы
стремит родник в безвестные края.

Но нет, не медли, ключ! Не расслабляй
тугих поводьев быстрины студеной.
Любимый образ до морских пучин

неси неколебимо — и пускай
пред ним замрет коленопреклоненный
с трезубцем в длани мрачный властелин.

■ ■ ■

Как зерна хрусталя на лепестках
пунцовой розы в миг рассветной рани
и как пролившийся по алой ткани
искристый жемчуг, светлый и впотьмах,

так у моей пастушки на щеках,
замешанных на снеге и тюльпане,
сверкали слезы, очи ей туманя
и солоня стенанья на устах,

уста же были горячи как пламень
и столь искусно исторгали вздохи,
что камень бы, наверно, их не снес.

А раз уж их не снес бы даже камень,
мои дела и вовсе были плохи:
я — воск перед лицом девичьих слез.

■ ■ ■

Пока руно волос твоих течет
как золото в лучистой филиграни
и не светлей хрусталь в изломе грани,
чем нежной шеи лебединый взлет,

пока соцветье губ твоих цветет
благоуханнее гвоздики ранней
и тщетно снежной лилии старанье
затмить чела чистейший снег и лед,

спеши изведать наслажденье в силе,
сокрытой в коже, в локоне, в устах,
пока букет твоих гвоздик и лилий

не только сам бесславно не зачах,
но годы и тебя не обратили
в золу и в землю, в пепел, дым и прах.

■ ■ ■

О Ко́рдова! Стобашенный чертог!
Тебя венчали слава и отвага.
Гвадалквивир! Серебряная влага,
закованная в золотой песок.

О эти нивы, изобилья рог!
О солнце, источающее благо!
О родина! Твои перо и шпага
завоевали Запад и Восток.

И если здесь, где средь чужого края
течет Хениль, руины омывая,
хотя б на миг забыть тебя я смог,

пусть грех мой тяжко покарает рок:
пускай вовеки не узрю тебя я,
Испании торжественный цветок!

■ ■ ■

Вальядолид. Застава. Суматоха!
К досмотру все: от шляпы до штиблет.
Ту опись я храню как амулет:
от дона Дьего[1] снова жду подвоха.

---

[1] В начале XVII в. Филипп III перенес королевский двор в Вальядолид. Всякий въезжающий в новую столицу обязан был предъявить к досмотру свое имущество, на которое составлялась опись. Надзор за исполнением этого указа был возложен на дона Дьего де Айалу.

Поосмотревшись, не сдержал я вздоха:
придворных — тьма. Двора же нет как нет.
Обедня бедным — завтрак и обед.
Аскетом стал последний выпивоха.

Нашел я тут любезности в загоне;
любовь без веры и без лишних слов:
ее залогом — звонкая монета...

Чего здесь нет, в испанском Вавилоне,
где, как в аптеке, — пропасть ярлыков
и этикеток, но не этикета!

Помни о смерти и аде

В могилы сирые и в мавзолеи
вникай, мой взор, превозмогая страх, —
туда, где времени секирный взмах
вмиг уравнял монарха и плебея.

Нарушь покой гробницы, не жалея
останки, догоревшие впотьмах;
они давно сотлели в стылый прах:
увы! бальзам — напрасная затея.

Обрушься в бездну, пламенем объят,
где стонут души в адской круговерти,
скрипят тиски и жертвы голосят;

проникни в пекло сквозь огонь и чад:
лишь в смерти избавление от смерти,
и только адом побеждают ад!

Летрилья

Каждый хочет вас обчесть.
Так и есть.

Баба дому голова.
Черта с два!

«Кто без денег — тот бездельник;
без эскудо — скудоум», —
судит толстый толстосум.
Богу мил богатый мельник,
а не богомол-отшельник.
Деньги купят рай и честь.
Так и есть.

Но поверить сдуру крале,
в чье окно стучится рать
ухажеров, и считать,

что помянутая краля
изменяет вам едва ли:
зря-де злобствует молва, —
черта с два!

Продается все на свете!
Кто с мошною — тот сеньор.
Распродал дворянство Двор;
может пень, в магистры метя,
степень в Университете
за дукаты приобресть —
так и есть.

Потаскушки из столицы
В Ронде дамами слывут...
Призадумаешься тут.
Но поверить, что девицей
стала ты, успев проститься
с повитухою едва, —
черта с два!

Просит милостыню нищий,
а в ответ он слышит: «Прочь!»
И не вздумают помочь
ни грошом ему, ни пищей,
пусть в кармане даже тыща,
а в кубышке и не счесть, —
так и есть.

Но считать, что тверже стали
дух у дона Размазни,
оттого что искони
он при шпаге и кинжале,
воротник его в крахмале
и в помаде голова, —
черта с два!

Сможет опытный сутяга,
будь он даже казнокрад,
выплыть по реке *Дукат*
(если только он не скряга)
из болота *Передряга*
в море под названьем *Честь!*
Так и есть.

Но чтоб верная супруга
разноглазых дочерей
понесла вдруг. хоть убей,
от законного супруга,
если год уже округа
знает, что она вдова,—
черта с два!

Романсы

■ ■ ■

Он Первый Знамéнщик мавров,
а в сечи — он смерч разящий.
И храбр он, и благороден,
галантен он и изящен.
Его и чернь, и дворяне
за сто шагов замечают,
ему подражает войско,
в нем дамы души не чают.
Любимец судьбы и славы,
слуга эмиру и чести,
трофеями боевыми
украсил он все мечети.
И все заселил темницы
плененными кабальеро,
и дважды, вооруженный
одной отвагой и верой,
отбил он свирепый натиск
отборной испанской рати...
Не знал он, какою платой
за службу эмир заплатит.
Не ведал и не гадал он,
что ждет его наказанье,
и вдруг по воле владыки
он приговорен к изгнанью.
Так в чем же Абенсулема
прославленный провинился?
Влюбился он в мавританку,
которой эмир пленился.
Она цветы ему дарит,
даря его нежным взглядом,
и дар этот сладок мавру,
эмиру же — горше яда.
Приснилось ему, что витязь
нарушил монарху верность.
Чернит он Абенсулему,
свою обеляя ревность!
...Сегодня опальный рыцарь
исполнит волю эмира.
С утра напоил коня он
водой из Гвадалквивира.
Звеня марокканской сбруей,
отделанной филигранью,
скакун его горячится,
копытами землю раня.
Танцует нетерпеливо,
сердясь, головой поводит, —
но властною дланью всадник
натягивает поводья.
Весь в черном, а плащ — как пена!
И ветер сливает вместе
цвет безутешного горя
и цвет безупречной чести.

Узором из сотен копий
свою накидку украсил,
и надпись: «Вот мое войско»
он выткал арабской вязью.
Но веря, что не оружье,
а доблесть — залог победы,
он взял с собой только саблю,
кованную в Толедо.
Над шлемом белые перья
трепещут в жемчужной пряжке:
они окрыляют сердце,
когда на душе так тяжко.
На крыльях мечты вернется,
быть может, он в край родимый —
с надеждой он неразлучен,
хотя разлучен с любимой.
Он едет в кольце алькальдов
Архоны и Мармолехо,
и вслед ему город плачет
и вздохи разносит эхо.
Прощаются с ним дворяне,
прощаются простолюдины,
и дамы глядят из окон,
не пряча своей кручины.
...Невеста Абенсулемы,
о скорой узнав разлуке,
рыдала в девичьей спальне
и в горе ломала руки.
Услышав крики, метнулась
она к перилам балконным
и молча сказала взором,
отчаянным и влюбленным:
«Ступай со спокойным сердцем,
мой витязь, и знай: покуда
живу я на белом свете,
тебя я не позабуду!»
«Любимая, будь же твердой, —
ответил ей рыцарь взглядом,—
разлучник наш просчитался:
мы даже в разлуке рядом!»
И с этим прощальным словом,
невнятным чужому слуху,
он выехал на дорогу,
ведущую на Андухар.

■ ■ ■

Поет Алкиной — и плачет.
И плач потому так горек,
что радости скоротечны,
зато вековечно горе.
Поет Орфей Гвадианы;
рокочут на цитре струны,
и в лад им вершины тают,
и стынет поток бурунный.
Как сладко он славит счастье!

Как горько клянет невзгоды!
И слушают завороженно
вершины его и воды.
«И брезжит надежда, да время не ждет.
Добро за горами, а смерть — у ворот...»

Добро — цветок-однодневка;
распустится он под утро,
да в полдень уже увянет,
совсем и не цвел как будто.
А горе могучим дубом
упрямо вздымает крону;
его бороды зеленой
века сединой не тронут.
Жизнь мчится, как лань-подранок,
а смерть ей под сердце метит...
Удача ползет улиткой —
успеть ли ей раньше смерти?
«И брезжит надежда, да время не ждет.
Добро за горами, а смерть — у ворот...»

■

Ф. СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

Последний магнат

РОМАН

Перевод с английского О. СОРОКИ

Глава I

Я выросла в мире кино, хотя ни разу не снималась. На день рождения ко мне, пятилетней, пришел Рудольф Валентино — так гласят предания. Я упоминаю об этом, только чтобы показать, что с младенческого возраста могла видеть, как вертятся шестеренки Голливуда.

Одно время меня подмывало написать «Записки дочери продюсера», но в восемнадцать лет не очень это у вас выйдет — засесть за мемуары. И хорошо, что не села: получилось бы нуднее, чем позапрошлогодняя колонка Лолли Парсонс[1]. Мой отец на производстве фильмов делал бизнес, как делают бизнес на хлопке и стали, и меня это мало тревожило. Прозу Голливуда я принимала с безропотностью привидения, назначенного обитать в таком-то доме. Я знала, что кинобизнесом надлежит возмущаться, но возмущение упорно не желало приходить.

Легко сказать так, но труднее добиться, чтобы тебя поняли. В Беннингтоне, где я училась, иные из преподавателей литературы притворялись, будто равнодушны к Голливуду и его продукции. А на самом деле ненавидели, всеми печенками ненавидели кино, как угрозу своему существованию. А еще раньше, в монастырской школе, милая монашенка попросила у меня какой-нибудь киносценарий, чтобы по нему «разобрать с ученицами, как сочиняют фильмы»,— как сочиняют эссе и рассказы, она уже разбирала. Я достала ей режиссерский сценарий, и она, должно быть, ломала, ломала себе над ним

[1] Луэлла Парсонс — известная журналистка, много лет вела голливудскую светскую хронику.

голову, в классе же ни разу не упомянула о сценарии и вернула мне его с оскорбленно-удивленным видом и без всяких комментариев. Как бы и эту мою повесть не вернул мне так читатель.

Можно принимать Голливуд как я — спокойно и привычно,— а можно отмахиваться от него с презрением, какое мы приберегаем для того, чего не понимаем. Понимание-то здесь достижимо, но лишь смутное, проблесками. Не наберется и полдюжины людей, кто смог когда-либо вместить в уме всю формулу и тайну фильмотворчества. И разобраться в одном из таких людей — вот для женщины средство поглубже вникнуть в этот сложный мир.

Ту картину мира, которая открывается с самолета, я знала. Отец всегда отправлял нас с сестрой из Лос-Анджелеса по воздуху — в школу, затем в колледж,— и домой на каникулы мы тоже летали. Когда я перешла на второй курс, Элинор умерла, и пришлось уже одной летать, и всегда она в полете вспоминалась, и я как-то серьезнела, грустнела. Иногда в самолете мне встречались знакомые голливудцы, а порой симпатичный студентик, но не часто: наступили уже годы кризиса. Во время полета мне редко давали уснуть мысли о сестре и это ощущение резкого рывка от побережья к побережью; настоящий сон приходил разве, лишь когда позади оставались уже теннессийские аэропорты — небольшие, стоящие на хмуром отшибе.

На этот раз мы летели в непогоду, самолет так болтало, что одни пассажиры сразу же откинули назад спинку кресла и отошли ко сну, а другие предпочли не спать вовсе. Двое из неспавших были мне соседями — я слева от прохода, они справа,— и по их отрывочному разговору я уверенно заключила, что они голливудцы. Один и выглядел типично — немолодой еврей, он то говорил с нервной горячностью, то умолкал издерганно, весь сжавшись, словно собравшись для прыжка; второй же был бледный, некрасивый, коренастый человек лет тридцати, которого я определенно видела где-то раньше. В гости он приходил к нам, что ли? Но, возможно, я еще маленькой тогда была — и я не торопилась обижаться, что он не узнал меня.

Стюардесса — высокая, статная, яркая брюнетка, к каким у авиакомпании слабость,— спросила меня:

— Может, наклонить вам спинку кресла?.. Аспирина не хотите, милая?— Она шатко пристроилась на подлокотнике рядом, покачиваясь в такт порывам июньского циклона.— Или нембутала таблетку?

— Нет.

— Не спросила вас раньше, провозилась с остальными пассажирами.— Она села в кресло, пристегнула нас обеих ремнем.— А пожевать резинку не хотите?

Это напомнило мне, что пора уже расстаться с резинкой, давным-давно навязшей у меня в зубах. Я завернула ее в обрывок журнала, сунула в пепельницу с пружинной крышкой.

— Сразу отличишь воспитанных людей,— одобрила стюардесса.— Всегда прежде завернут в бумажку.

Мы посидели рядом в полутьме покачивающегося салона. Смутно это напоминало классный ресторан в сумерки, в затишье. Все притихли — и задумчивость была не только в позах. Даже стюардесса как бы призабыла, почему и зачем она здесь.

Она заговорила о молодой знакомой мне актрисе, с которой летела в Калифорнию два года назад. Тогда был самый разгар кризиса, и актриса все смотрела в окно так упорно и сосредоточенно, будто собиралась выброситься. Оказалось, впрочем, что ее не нищета, а только революция страшила.

— Я знаю, что́ мы с мамой сделаем,— сообщила она стюардессе по секрету.— Мы укроемся в Йеллоустонском заповеднике и будем

жить там простенько, пока все не утихнет. А тогда вернемся. Не убивают же они артистов?

Этот замысел меня позабавил. Вообразилась прелестная картинка: бурые медведи — добряки и консерваторы — снабжают медом актрису с мамой, а ласковые оленята приносят им от ланей молоко и, напоив, пасутся около, чтобы с приходом ночи живыми подушками лечь в изголовье. В свою очередь, я рассказала стюардессе про юриста и про режиссера, которые однажды вечером в ту грозовую пору поделились с отцом своими планами. Если армия безработных ветеранов захватит Вашингтон, то у юриста наготове лодка, спрятанная на реке Сакраменто, и он на веслах поплывет в верховья, пробудет там месяц-другой, а потом вернется, «поскольку после революций всегда требуются юристы, чтобы урегулировать правовой аспект».

Режиссер настроен был более пессимистически. Он заранее припас старый костюм, рубашку, башмаки — свои ли собственные или взятые из костюмерной, он умалчивал,— и собирался «раствориться в толпе». Помню, отец возразил: «Но они взглянут на ваши руки! Они тут же поймут, что вы сто лет не занимались физическим трудом. И спросят у вас профсоюзный билет». И помню, как вытянулось у режиссера лицо, как хмуро поедал он свой десерт и как смешно и мелко звучали все их речи.

— Отец ваш не актер, мисс Брейди? — спросила стюардесса.— Фамилия что-то знакомая.

Услышав слово «Брейди», оба моих соседа встрепенулись, взглянули искоса. Я знаю этот голливудский взгляд, бросаемый через плечо. Затем бледный, коренастый отстегнулся и встал в проходе.

— Вы — Сесилия Брейди? — спросил он обвиняюще, как будто я утаивала это от него.— Так я и подумал сразу. Я — Уайли Уайт.

Имя свое он мог бы не называть — в эту самую минуту чей-то еще голос произнес: «В сторонку, Уайли!» — и кто-то быстро прошел мимо, направляясь в нос самолета. Уайт вздрогнул и — с некоторым опозданием — задорно огрызнулся:

— Приказывает здесь главный пилот.

Это походило на обычный обмен шуточками между голливудским тузом и его валетом.

— Пожалуйста, потише, пассажиры спят,— сделала стюардесса замечание Уайту.

Немолодой спутник Уайта тоже вскочил с кресла и глядел с какой-то откровенной алчностью вслед проходившему — вслед его спине. А тот, не оборачиваясь, махнул на прощанье рукой и скрылся куда-то.

Я спросила стюардессу:

— Он что, младший пилот?

— Нет,— сказала стюардесса, отстегивая ремень, собираясь бросить меня на произвол Уайли Уайта.— Это мистер Смит. У него отдельная кабина, «свадебная», но только он там один. Младший пилот ходит в летной форме.— Она встала.— Пойду узнаю — наверно, в Нэшвилле застрянем.

— Застрянем? — ужаснулся Уайт.

— В долине Миссисипи буря.

— И, значит, проторчим там всю ночь?

— Если не стихнет.

Стихать не собиралось: самолет внезапно нырнул. Уайта кинуло в кресло напротив, стюардессу метнуло в сторону кабины экипажа, еврея плюхнуло обратно на сиденье. Нарочито сдержанными восклицаньями, какие подобают опытным воздухоплавателям, мы выразили свое неудовольствие, перевели дух.

— Мисс Брейди — мистер Шварц,— представил Уайт своего спутника.— Кстати, он с вашим отцом — друзья-приятели.

Мистер Шварц закивал с большим жаром, как бы клятвенно заверяя: «Правда. Видит бог, правда».

Пусть когда-то он и мог заявить так во всеуслышание, но времена переменились, что-то явно с ним стряслось. Вот так бывает: встретишь знакомого, угодившего в драку или под колеса тяжелого грузовика — и смятого чуть не в лепешку. Таращишь на него глаза, ахаешь: «Что с вами случилось?» А он в ответ бормочет что-то невнятное сквозь обломки зубов и распухшие губы. Он даже рассказать не в состоянии.

Телесных травм мистер Шварц не получил; взбухший персидский нос и затененные подглазья были у него такими же врожденными чертами, как у моего отца ирландски-вздернутый кончик носа и краснота вокруг ноздрей.

— Нэшвилл! — возмущался Уайли Уайт.— Придется, значит, киснуть в гостинице. А Побережье улыбнулось до завтрашнего вечера — это в лучшем случае. О господи! Я ведь родился в Нэшвилле.

— Что ж, вам приятна будет встреча с родными местами.

— Приятна? Я уже пятнадцать лет сюда не езжу. Хоть бы век их не видать.

Но Уайту суждено было увидеть их: самолет явно шел вниз, вниз, вниз, как Алиса в кроличью нору. Пригнувшись к окну, заслонясь ладонью от света, я увидела вдалеке слева город, мреющий белесым пятном. А зеленая надпись «Пристегнуть ремни! Не курить!» зажглась уже давно — со времени влета в циклон.

— Слышал фамилию? — взорвалось очередное нервное молчание Шварца.

— Какую фамилию? — спросил Уайт.

— Которой он назвался. «Мистер Смит».

— А что? — спросил Уайт.

— Ничего,— дернулся Шварц.— Просто мне показалось забавно. Смит. Ха-ха. (Безрадостней смеха я в жизни не слышала.) Смит.

Своим расположением на отшибе, своей хмурой тишиной аэропорты сродни, по-моему, одним лишь почтовым станциям эпохи дилижансов. Краснокирпичные наши вокзалы строились потом прямо в городах и городках, и сходили с поездов там только жители тех захолустий. Аэропорты же — словно древние оазисы, стоянки на великих караванных путях. Вид авиапассажиров, которые по одному и по двое проходят не спеша в полночные аэропорты, всегда привлечет кучку зевак. Вплоть до двух часов ночи местная молодежь готова глазеть на самолеты, а кто постарше — на пассажиров. Зорко и недоверчиво оглядывать нас — богачей с Побережья, небрежно сходящих посреди Америки со своего трансконтинентального ковра-самолета. Ведь среди нас могла таиться роскошная романтика в облике кинозвезды. Но большей частью ничего такого не таилось. Как я всегда жалела, что мы не выглядим заманчивей,— вот так и на премьерах часто жалела — когда киноманы смотрят на тебя с презрительным укором за то, что ты не звезда.

Сходя с самолета, я оперлась на руку, протянутую Уайтом,— и вот мы уже с ним друзья. С этой минуты он принялся ухаживать за мной, и я не возражала. Так или иначе придется вместе коротать часы нэшвилльского ожидания. (Я была уже не та простушка, у которой увели парня тогда — в фермерском новоанглийском домике близ Беннингтона. Девушку звали Рейной, он сел с ней к роялю, и я, наконец, поняла, что я третья лишняя. В исполнении Гая Ломбардо по радио передавали «В цилиндре» и «Щекой к щеке», и Рейна помогала одолеть мелодию. Звучали клавиши мягко, как падают листья, и ее пальцы

поверх его пальцев — она учила его брать «черный» аккорд. Я тогда была на первом курсе.)

Мы вошли в здание аэропорта, и мистер Шварц шел с нами, но как во сне. Мы пытались уточнить у дежурного обстановку, а Шварц все это время стоял, упершись взглядом во входную дверь, словно боялся, что самолет улетит без него. Потом я отлучилась на несколько минут, и что-то без меня произошло; когда я вернулась, вид у Шварца был еще раздавленней, чем раньше. На дверь он уже не глядел. Стоя вплотную к нему, Уайт говорил:

— ...ведь предупреждал я: перестань. Поделом же тебе.

— Я только сказал...

Я подошла, Шварц замолчал; я спросила, какие новости. Была половина третьего ночи.

— Новости те,— сказал Уайли Уайт,— что нас промаринуют здесь три часа по меньшей мере, так что слабачьё отправляется в гостиницу. А я хочу свозить вас поглядеть «Эрмитаж» — дом Эндрю Джексона.

— Что же мы увидим в темноте? — сурово спросил Шварц.

— Да час-другой — и рассветет уже.

— Вы поезжайте вдвоем,— сказал Шварц.

— Ладно. А ты двигай в гостиницу. Автобус еще не ушел — и в автобусе сидит Он,— поддразнил Уайли.— Может, и столкуетесь.

— Нет, я с вами поеду,— поспешно сказал Шварц.

Мы вышли, разом окунувшись в загородную мглу, сели в такси, и Шварц словно бы повеселел. Похлопал меня поощрительно по коленке:

— Вас оставлять с ним не годится. Я буду вашим провожатым. Было время, был я человеком денежным, и была у меня дочь-красавица.

Он сказал это так, точно дочь забрали кредиторы вместе с другим ценным имуществом.

— Этой нет — другая будет,— утешил Уайли.— Все еще вернется. Новый поворот колеса фортуны — и ты снова там, где папаша Сесилии. Верно, Сесилия?

— А далеко этот «Эрмитаж»?— помолчав спросил Шварц.— Где-нибудь у черта на куличках? Как бы нам не опоздать на самолет.

— Да брось,— сказал Уайли.— Зря вот мы стюардессу не взяли тебе для компании. Ты ведь на нее заглядывался. Девчонка и впрямь недурна.

Мы долго ехали по ровной местности, освещенной луной; мелькнет лишь при дороге дерево, хибарка, дерево; затем дорога запетляла лесом. Даже в сумраке чувствовалось, что деревья здесь зеленые — нет у листвы этого пыльно-оливкового калифорнийского оттенка. Путь нам преградили три коровы, негр-пастух отогнал их на обочину, коровы замычали. Настоящие, с теплыми, свежими, шелковистыми боками, и негр плавно обозначился из мглы, тоже настоящий. Уайли дал ему четверть доллара, он сказал: «Спасибо вам, спасибо», глядя большими карими глазами, и коровы опять замычали в ночь, нам вслед.

Я вспомнила, как впервые в жизни увидела овец, сотни овец, как наша машина внезапно очутилась в их гуще на пустыре за студией старика Лемле. Овцам-то мало радости было сниматься, но наши спутники все повторяли: «Здорово!», «Как и требовалось тебе, Дик!», «Просто здорово!» И тот, кого звали Диком, стоя в позе Кортеса или Бальбоа, озирал из машины серое шерстистое овечье море. Для какого фильма их снимали, я давно забыла (если знала).

Вот уже час мы едем. Проехали через ручей по железному старому дребезжащему мосту с дощатым настилом. Когда мелькает мимо

фермерский придорожный домик, там уже поют петухи, колеблются сине-зеленые тени...

— Я говорил вам — рассветет,— сказал Уайли.— Я родился здесь поблизости — в захудалом семействе южных нищих. Наш фамильный особняк ныне используют в качестве нужника. Слуг у нас было четверо — отец, мать и две моих сестры. Вступить в их корпорацию я отказался и уехал в Мемфис делать карьеру, и теперь эта карьера уперлась в тупик.— Он обнял меня за плечи:— Сесилия, позвольте жениться на вас и пристроиться к семейному пирогу Брейди!

Комичный тон обезоруживал, и я прислонилась головой к его плечу.

— Чем занимаетесь, Сесилия? В школу ходите?

— Я учусь в Беннингтонском колледже. На третий перешла.

— О, прошу прощения. Мне бы самому догадаться, но я был лишен преимуществ высшего образования. И на третий перешла! Я читал в «Эсквайре» — третьекурсниц уже нечему учить.

— Почему-то люди думают, что студентки...

— Сесилия, не надо извинений. Знание — сила и власть.

— Сразу видно голливудца,— сказала я.— Как всегда, безнадежно отстали от века.

Уайли сделал вид, что ошарашен.

— То есть как? Неужели в восточных штатах студентки лишены личной жизни?

— В том-то и дело, что как раз наоборот. Вы становитесь несносны. Перемените позу.

— Не могу. Еще Шварца разбужу, а он, по-моему, впервые за полмесяца заснул. Что я вам расскажу, Сесилия: у меня как-то была интрижка с женой одного продюсера. Кратенький романчик. Когда он кончился, она предупредила без обиняков: «Попробуй только пробол-тайся, и я устрою, что тебя вышвырнут из Голливуда. Мой муж — фигура позначительнее тебя».

Он снова обезоружил меня своим тоном, и тут мы повернули в длинную улочку, запахло жимолостью и нарциссами, и такси остановилось перед серой громадой «Эрмитажа». Шофер повернулся к нам, желая что-то объяснить, но Уайли произнес «ш-ш», указав на Шварца, и мы тихонько вышли из машины.

— Сейчас не пустят внутрь,— вежливо пояснил шофер.

Мы с Уайли подошли к портику и сели на ступенях у широких колонн.

— Этот мистер Шварц — кто он такой? — спросила я.

— Да ну его. Возглавлял одно время кинофирму — то ли «Ферст нэшнл». то ли «Парамаунт», то ли «Юнайтед артистс». А теперь в глубоком нокауте. Но он еще вернется. В наше лоно нет возврата только алкашам и наркоманам.

— Вам, я вижу, Голливуд не нравится.

— Напротив. Очень даже нравится. Но что за тема для интимной рассветной беседы на ступенях дома Эндрю Джексона.

— А я Голливуд люблю,— не унималась я.

— Отчего ж не любить. Золотой прииск в апельсиновом раю. Чья это фраза? Моя! Неплохое местечко для жестких и тертых, но я-то прибыл в Голливуд из Саванны, штат Джорджия. И в день прибытия явился на званый вечер. Хозяин пожал мне руку и ушел от меня. Все было в том саду честь честью — плавательный бассейн, зеленый мох ценой два доллара за дюйм, красивые люди из породы кошачьих. Они развлекались и пили... А меня не замечали. Ни одна душа. Я заговаривал с пятью или шестью — не отвечают. Так продолжалось час и два, а потом я вскочил со стула и припустил оттуда сумасшедшей рысью.

Вернулся в гостиницу, получил из рук портье адресованное мне письмо — и тогда лишь почувствовал, что я снова личность, а не пустое место.

Мне самой испытывать подобное, конечно, не приходилось. Но вспомнив голливудские званые приемы, я подумала, что Уайли не сочиняет. Чужака у нас встречают прохладно, за исключением тех случаев, когда он преуспел уже, и сыт, и, следовательно, безопасен,— иначе говоря, когда он знаменитость. Но и знаменитость не слишком-то разлетайся к нам.

— Вам бы взглянуть философски,— самодовольно сказала я.— Они ведь не от вас захлопнулись так грубо, а от прежде встреченных нахалов.

— Так юна и хороша — и такие умные речи.

На востоке занималась заря, и я видна была Уайту отчетливо — худощавая, изящная, неплохие черты лица и бьющий ножками младенец-мозг. Вид у меня на рассвете тогда, пять лет назад, был чуточку взъерошенный, наверно, бледноватый: но в юности, когда жива иллюзия, будто у приключений плохого конца не бывает, требовалось лишь принять ванну и переодеться — и снова заряжена надолго.

Во взгляде Уайли было одобрение ценителя, очень для меня лестное. Но тут мистер Шварц вдруг нарушил наше милое уединение, подойдя к дому извиняющейся походкой.

— Клюнул носом — стукнулся о металлическую ручку,— сказал он, потирая уголок глаза.

Уайли вскочил.

— Как раз вовремя, мистер Шварц. Сейчас приступаем к осмотру пенатов, где обитал Эндрю Джексон — десятый президент Америки, Старая Орешина, Новоорлеанский Победитель, враг Национального банка, изобретатель Системы Дележа Политической Добычи.

— Вот вам сценарист,— обратился Шварц ко мне, как обвинитель к присяжным.— Знает все и в то же время ничего не знает.

— Это что еще такое? — вознегодовал Уайли.

Так он сценарист, оказывается. И хотя мне сценаристы по душе — спроси у сценариста, у писателя о чем хочешь и обычно получишь ответ,— но все же Уайт упал в моих глазах. Писатель — это меньше чем человеческая особь. Или, если он талантлив, это куча разрозненных особей, несмотря на все потуги слиться в одну. Сюда же я отношу актеров: они так трогательно стараются не глядеть в зеркала, прямо отворачиваются от зеркал — и ловят свое отражение в никеле шандалов.

— Таковы они все, сценаристы, верно, Сесилия? — продолжал Шварц.— Я не говорун, я практик. Но молча я знаю им цену.

Уайли смотрел на него с медленно растущим возмущением.

— Эта песня мне знакома,— сказал он.— Ты учти, Мэнни: при любой погоде я практичнее тебя. У нас этакий мистик будет полдня расхаживать по кабинету и пороть чушь, которая везде, кроме нашей Калифорнии, обеспечила бы ему сумасшедший дом. И закруглится на том, что он глубочайше практичен, а я фантазер. И посоветует пойти осмыслить его слова на досуге.

Лицо Шварца опять потухло и опало. Один глаз уставился в небо, за высокие вязы. Шварц поднес руку ко рту, безучастно куснул заусеницу на среднем пальце. Понаблюдал за птицей, кружившей над крышей здания. Птица села на трубу, зловещая, как ворон, и Шварц сказал, не сводя с нее взгляда:

— В дом сейчас не пустят, и пора вам уже обратно в аэропорт.

Рассвело еще не до конца. Огромная коробка «Эрмитажа» белела красиво, но слегка грустно, осиротело — даже теперь, через сто лет.

Мы пошли к машине, сели; мистер Шварц неожиданно захлопнул за нами дверцу, и только тут мы поняли, что он не едет.

— Я раздумал лететь — проснулся и решил не лететь. Останусь здесь, шофер потом за мной приедет.

— Вернешься на Восток? — недоуменно спросил Уайли.— И все лишь потому, что...

— Это решено,— сказал Шварц, слабо усмехнувшись.— Я ведь был человек весьма решительный — на удивление прямо.— Таксист включил мотор, Шварц сунул руку в карман.— Эту записку отдадите мистеру Смиту.

— Мне вернуться часа через два? — спросил шофер.

— Да... конечно. Я похожу тут, полюбуюсь.

Всю обратную дорогу в аэропорт я думала о Шварце: он как-то плохо сочетался с сельским утренним ландшафтом. Долгим был у Шварца путь из городского гетто к грубому камню сельской усыпальницы. Мэнни Шварц и Эндрю Джексон — несуразно звучат рядом эти имена. Сомневаюсь, знал ли Шварц, бродя у колонн, кто такой был Эндрю Джексон. Но, возможно, ему думалось, что раз уж дом сохранен как реликвия, то, значит, Эндрю Джексон был человек большого сердца, сострадательный и понимающий. В начале и в конце жизни люди тянутся к материнской груди — к милосердной обители. Где можно приникнуть, прилечь, когда ты никому уже не нужен, и пустить себе пулю в висок.

Понятно, что про пулю мы узнали только через сутки. Вернувшись в аэропорт, мы сообщили дежурному, что Шварц не летит дальше, и на этом поставили точку. Циклон ушел на восток Теннесси и погас там в горах, до взлета осталось меньше часа. Из гостиницы явились заспанные пассажиры; я продремала несколько минут на одной из аэропортовских прокрустовых кушеток. Померкший было от нашей трусливой посадки, возжегся понемногу снова ореол рискованного рейса: мимо нас бодро прошла с чемоданчиком новая стюардесса — высокая, статная, яркая брюнетка, копия своей предшественницы, только вместо французского красно-синего платья на ней было льняное, легкое, в голубую полоску. Мы с Уайли сидели ожидая.

— Отдали мистеру Смиту записку? — спросила я полусонно.

— Да.

— Кто он такой? Это, видимо, он поломал Шварцу планы.

— Шварц сам виноват.

— Не люблю всесокрушающих бульдозеров. Когда отец и дома начинает переть бульдозером, я его осаживаю: «Ты не у себя на студии». (И тут же я подумала, не цепляю ли на отца ярлык. Ранними утрами слова — бесцветнейшие ярлыки.) При всем при том он вбульдозерил меня в Беннингтон, и я ему за это благодарна.

— То-то будет скрежет, когда бульдозер Брейди и бульдозер Смит сшибутся,— сказал Уайли.

— Мистер Смит с отцом конкуренты?

— Не совсем. Пожалуй, нет. Но будь они конкурентами, я бы знал, на кого ставить.

— На отца?

— Боюсь, что нет.

В такую рань как-то не тянет проявлять семейный патриотизм... У регистрационной стойки стоял пилот и качал головой. Они с администратором разглядывали будущего пассажира, который сунул два пятицентовика в музыкальный автомат и пьяно опустился на скамью, хлопая слипающимися глазами. Прогрохотала первая выбранная им песня — «Без возврата», а затем, после короткой паузы, столь же бес-

поворотно и категорически прозвучала вторая — «Погибшие». Пилот решительно мотнул головой и подошел к пассажиру.

— К сожалению, не сможем взять вас на борт, старина.

— Ч-чего?

Пьяный сел прямей; вид у него был жуткий, но черты проглядывали симпатичные, и мне стало жаль его, несмотря на предельно неудачный выбор музыки.

— Возвращайтесь в гостиницу, проспитесь, а вечером будет другой самолет.

— Другой н-не надо, этот надо.

— На этот нельзя, старина.

От огорчения пьяный свалился со скамьи, а нас, добропорядочных, пригласил на посадку репродуктор, укрепленный над проигрывателем. В проходе самолета я налетела на Монро Стара — чуть не влетела ему в объятия, и я бы не прочь. Любая бы девушка не прочь — все равно с поощрением Стара или без. В моем случае поощреньем и не пахло, но встреча была Стару приятна, и он посидел в кресле напротив, дожидаясь взлета.

— Давайте все вместе потребуем обратно деньги за билеты,— сказал он, проницая меня своими темными глазами. «А какими эти глаза будут у Стара влюбленного?» — подумалось мне. Они смотрели ласково, но как бы с расстояния и чуть надменно, хотя часто взгляд их бывал мягко-убеждающим. Их ли вина была, что они видят так много?.. Стар умел мгновенно войти в роль «своего парня» и столь же быстро выйти из нее, и, по-моему, в конечном счете определение «свой парень» к нему не подходило. Но он умел помолчать, уйти в тень, послушать. С высоты (хоть роста он был небольшого, но всегда казалось — с высоты) он окидывал взглядом все деловитое многообразье своего мира, как гордый молодой вожак, для которого нет разницы между днем и ночью. Он родился бессонным и отдыхать был неспособен, да и не желал.

Мы сидели и непринужденно молчали, ведь наше с ним знакомство длилось уже тринадцать лет, с той поры как он стал компаньоном отца,— тогда мне было семь, а Стару двадцать два. Уайли сел уже в свое кресло, и я не знала, нужно ли их знакомить, а Стар вертел перстень на пальце так самоуглубленно, что я чувствовала себя девочкой и невидимкой и не сердилась. Я и раньше никогда не отваживалась ни отвести от Стара взгляд, ни смотреть на него в упор (разве что хотела важное сказать), и я знаю, он на многих так действовал.

— Этот перстень — ваш, Сесилия.

— Прошу прощенья. Я просто так засмотрелась...

— У меня таких полдюжины.

Он протянул мне золотой перстень с выпукло-рельефной буквой «S». Я потому и засмотрелась, что массивность перстня была в странном контрасте с пальцами — изящными и тонкими, как все худое тело и как тонкое его лицо с изогнутыми бровями и темными кудрявыми волосами. Порой он казался бестелесным, но он был настоящий боец; человек, знавший его в Бронксе лет двадцать назад, рассказывал, как этот хрупкий паренек идет, бывало, во главе своей мальчишьей ватаги, кидая изредка приказ через плечо.

Стар вложил подарок мне в ладонь, свел мои пальцы в кулак и встал с кресла.

— Пойдем ко мне,— обратился он к Уайту.— До свиданья, Сесилия.

Напоследок я услышала, как Уайли спросил:

— Прочел записку Шварца?

— Нет еще.

Я, должно быть, тугодумка: только тут я сообразила, что Стар — тот самый мистер Смит.

Потом Уайли сказал мне, что было в записке. Нацарапанная при свете фар, она читалась с трудом:

«*Дорогой Монро,* лучше Вас в Голливуде нет никого, я всегда восхищался Вашим умом, и если уж Вы отворачиваетесь, значит, нечего и рыпаться. Видно, я совсем стал никуда, и я не лечу дальше. Еще раз прошу — берегитесь! Я знаю, что говорю.

Ваш друг

Мэнни».

Стар прочел ее дважды, взялся пальцами за свой шершавый с утра подбородок.

— У Шварца нервы сдали безнадежно,— сказал он.— Тут ничего нельзя сделать — абсолютно ничего. Жаль, что я вчера резко с ним обошелся, но не люблю, когда проситель уверяет, что он это ради моего же блага.

— Возможно, так оно и есть,— возразил Уайли.

— Прием это негодный.

— А я бы на него попался,— сказал Уайли.— Я тщеславен, как женщина. Притворись лишь кто-нибудь, что мое благо ему дорого,— и я тут же уши развешу. Люблю, когда дают советы.

Стар покачал головой, морщась. Уайли продолжал его поддразнивать: он был из тех немногих, кому это позволялось.

— Но и Стар клюет на определенный сорт лести,— сказал Уайли.— На «Наполеончика».

— Меня от лести мутит,— сказал Стар.— Но еще сильнее мутит, когда пекутся «о моем же благе».

— Но если не любишь советов, зачем тогда платишь мне?

— Тут вопрос купли-продажи,— сказал Стар.— Я делец. Покупаю продукцию твоего мозга.

— Ты не делец,— сказал Уайли.— Я их знавал, когда работал в рекламном отделе, и я согласен с Чарльзом Фрэнсисом Адамсом.

— В чем именно?

— Он знал их досконально — Гулда, Вандербилта, Карнеги, Астора — и говорил, что ни с единым дельцом его не тянет встретиться в грядущей жизни. А со времен Адамса они не стали лучше, и потому утверждаю: ты не делец.

— Брюзга был Адамс, надо думать,— сказал Стар.— Не прочь бы и сам стать воротилой, но не было у него деловой сметки или же силы характера.

— Зато был интеллект,— резковато сказал Уайли.

— Интеллект здесь еще не все. Вы — сценаристы и актеры — выдыхаетесь, сумбурите, и приходится кому-то вмешаться и выправить вас.— Он пожал плечами.— Вас слишком задевает все, вы кидаетесь в ненависть и обожание: люди в ваших глазах всегда так значимы, особенно вы сами. Вы прямо напрашиваетесь на то, чтобы вами помыкали. Я люблю людей и хочу, чтобы меня любили, но я не раскрываюсь, не выворачиваю душу наизнанку... Что я сказал Шварцу там, в аэропорту? — спросил он, меняя тему.— Не помнишь в точности?

— Вот точные слова: «Чего бы вы от меня ни добивались, ответ будет один — нет».

Стар молчал.

— Он совсем было сник после этого,— продолжал Уайли,— но я его вышутил, пошпынял, расшевелил немного. Мы прокатились в такси с дочкой Пата Брейди.

Стар вызвал звонком стюардессу.

— Пилот не будет против,— спросил он,— если я посижу с ним у штурвала?

— Правила не разрешают, мистер Смит.

— Попросите его, пусть на минуту зайдет сюда, когда освободится.

Стар просидел рядом с пилотом всю вторую половину дня. Одолев нескончаемую пустыню, самолет плавно шел над плоскогорьями, окрашенными многоцветно — так мы, бывало, в детстве расцвечивали белый песок. Ближе к вечеру под нашими пропеллерами скользнули знакомые пики гор Фрозен-Со: мы приближались к дому.

Я дремала, а в промежутках думала о том, что хочу за Стара замуж, хочу влюбить его в себя. Ох, воображала желторотая! Ну что б я могла ему дать? Но об этом я тогда не думала. Мной владела молодая женская гордыня, черпающая силу из возвышенных соображений типа: «Я не хуже, чем она». Для семейного употребления красота моя была ничем не хуже красоты кинобогинь, которые, понятно, так и вешались ему на шею. А живая во мне струйка интеллектуальных интересов, уж конечно, делала меня дорогим украшением светских и артистических салонов.

Теперь-то мне понятно, что это был бред. Хотя взамен колледжа у Стара за плечами были всего-навсего вечерние курсы стенографов, но он давно уже пробился сквозь умственное бездорожье и чащобу на просторы, куда мало кто мог прорваться за ним. Но я тщеславно и дерзко считала, что мои серые глаза полукавей его темно-карих, что сердце Стара, тормозимое уже годами перегрузок, не устоит перед моим, упругим от гольфа и тенниса. И я строила планы, вынашивала замыслы, интриговала — об этом любая женщина может порассказать,— но не добилась ровно ничего. Мне и теперь хочется верить, что будь он небогат и ближе ко мне возрастом, я бы достигла цели,— хотя правда вся, конечно, в том, что мне нечего было предложить ему нового духовно. То, что во мне от романтики, в основном навеяно фильмами — «42-я улица», к примеру, сильно повлияла на меня. Очень, очень вероятно, что сформировалась я именно на фильмах, из числа созданных Старом.

Так что дело было безнадежное. Ведь пережеванное невкусно — в области чувств это особенно верно.

Но тогда мне думалось иначе: может помочь отец, может помочь стюардесса. Вот войдет она в кабину экипажа, скажет Стару: «Какую любовь прочла я в глазах этой девушки».

Может пилот помочь: «Пора прозреть, приятель! Жми немедленно к ней!»

Может помочь Уайли Уайт — вместо того, чтобы стоять в проходе и глядеть нерешительно, не зная, сплю я или нет.

— Садитесь,— сказала я.— Что нового? Где мы?

— Мы в воздухе.

— Неужели. Садитесь же.— Я изобразила живой и бодрый интерес:— Что вы пишете сейчас?

— Сценарий о бойскауте, о Великом Бойскауте. Бедная моя голова!

— Идея принадлежит Стару?

— Не знаю, но он мне предложил ее разработать. У него, возможно, еще десять сценаристов до или после меня усажены за эту же разработку — по системе, которую он столь мудро изобрел. Значит, влюбилась в него, Сесилия?

— Вот еще,— сердито фыркнула я.— В человека, которого знаю сто лет.

— Значит, по уши и безнадежно? Что ж, берусь устроить ваше счастье, если вы употребите все влияние, чтобы продвинуть меня. Мне нужна собственная творческая группа.

Я закрыла глаза и уплыла в сон. Проснулась — стюардесса укрывает меня пледом.

— Скоро будем на месте,— сказала она.

В иллюминатор видно при свете заката, что под нами пошла местность уже зеленей.

— Я слышала сейчас потешный разговор,— сообщила стюардесса.— В кабине у пилотов. Мистер Смит — или мистер Стар... ни разу не встречала в фильмах эту фамилию...

— Он никогда не ставит ее в титрах,— пояснила я.

— А-а. Ну, так он там все расспрашивал пилотов о летном деле. Он что, вправду этим интересуется?

— Да.

— То-то первый пилот готов был со мной спорить, что за десять минут выучит Стара вести самолет. Светлая голова, говорит.

— И что же тут потешного? — спросила я с некоторым раздражением.

— Ну, потом Стара спрашивают: «Мистер Смит, а ваше дело вам нравится?» А тот в ответ: «Еще бы. Безусловно нравится. Приятно чувствовать, что пусть у всего экипажа мозги набекрень, но у тебя строго по гироскопу».

Стюардесса расхохоталась. (Тьфу, глупая.)

— Это он про голливудских — экипаж с мозгами набекрень.— Она неожиданно оборвала смех и, сдвинув брови, встала.— Пойду, надо графы заполнить.

— Всего хорошего.

Итак, Стар, вознеся пилотов к себе на престол, делился секретами управления. Спустя год или два я летела с одним из тех пилотов, и он припомнил, что́ говорил тогда Стар, глядя на горы.

— Допустим, вы путеец, железнодорожник,— говорил он.— Вам надо пробить трассу где-то здесь через горы. Топографы дают вам карты, и вы видите, что возможны четыре, пять, шесть вариантов, каждый не хуже другого. А вам надо решать — на основании чего же? Проверить выбор можно, только проложив трассу. И вы решительно прокладываете.

— То есть?— не понял пилот.

— То есть делаете выбор по чутью — потому лишь, что эта вот гора приглянулась своим розоватым оттенком или та вот схема дана отчетливей на синьке. Понимаете?

Пилот счел совет весьма ценным. Но усомнился, представится ли случай применить его.

— Я другое хотел узнать,— сказал мне пилот со вздохом.— Узнать, как это он сделался мистером Старом.

Вряд ли Стар ответил бы: зародыш памятью не обладает. Но я бы кое-что смогла объяснить. В юности он взлетел на крепких крыльях ввысь — и все царства мира обозрел глазами, способными не мигая глядеть на солнце. Неустанным, упорным, а под конец яростным усилием крыльев он продержался там долго — немногим удается это,— и затем, запечатлев сущность вещей, как видится она с громадной высоты, спустился постепенно на землю.

Моторы стихли, и всеми своими пятью чувствами мы приготовились к посадке. Впереди и слева пунктирами огней обозначилась военно-морская база Лонг-Бича, справа замерцала, размыто засветлела Санта-Моника. Огромная и оранжевая, вставала калифорнийская луна над Тихим океаном. Что бы ни ощущала я в ту минуту — а как-никак

это была встреча с родиной,— но убеждена и знаю, что ощущения Стара были намного сильней. Огни, луна и океан явились мне без поисков, сами собой, как овцы на студии старого Лемле; Стар же именно сюда направил спуск после того необычайного и озаряющего взлета, когда он сверху увидел, куда и как мы движемся и что в движении нашем красочно и важно. Могут возразить, что Стара занесло сюда случайным ветром, но я не верю. Мне хочется думать, что в этом взлете, в этом «дальнем общем плане» ему открылось новое мерило наших суматошных надежд и порывов, ловких плутней, несладких печалей и что приземлился он здесь, чтобы уж до конца быть с нами — по собственному выбору. Как этот самолет, идущий вниз на Глендейльский аэропорт, в теплую тьму.

Глава II

Был июльский вечер, десятый час, и когда я подъехала к студии, то в закусочной напротив увидела нескольких статистов, засидевшихся у китайских бильярдов. На углу стоял «бывший» Джонни Суонсон в своем полуковбойском наряде, угрюмо и невидяще глядя на луну. В немых ковбойских фильмах он когда-то славился наравне с Томом Миксом и Биллом Хартом, теперь же было грустно и заговорить с ним, и, поставив машину, я поскорей юркнула через улицу в главный вход.

Полностью студия не затихает и ночью. В лабораториях и в аппаратных звукового цеха работа идет сменами, и в любые часы суток техперсонал наведывается в студийное кафе. Но вечерние звуки с дневными не спутать — мягкий шорох шин, тихий гуд разгруженных моторов, нагой крик сопрано в микрофон звукозаписи. А за углом рабочий в резиновых сапогах мыл камерваген из шланга, и в чудесном белом свете вода опадала фонтаном среди мертвенных индустриальных теней. У административного здания в машину бережно усаживали мистера Маркуса, и я остановилась не доходя (устанешь ждать, пока он вымямлит тебе два слова — пусть даже просто «спокойной ночи»), прислушалась к сопрано, снова и снова повторявшему: «Приди, люблю тебя лишь»; мне запомнилось, потому что певица повторяла все ту же строку и в момент землетрясения, которое грянуло минут через пять.

Кабинет отца находился в этом старом здании, где по фасаду тянутся балконы-лоджии и непрерывные чугунные перила напоминают тугой трос канатоходца. Отец помещался на втором этаже, рядом с ним — Стар, а по другую руку — мистер Маркус. Сегодня весь этот ярус окон светился. Сердце слегка екнуло при мысли, что Стар так близко, но я уже научилась держать в узде свое сердечко: за весь месяц, проведенный дома, я видела Стара лишь однажды.

Об отцовских апартаментах можно бы немало странного порассказать, но я коснусь кратко. Три бесстрастнолицых секретарши (я их с детства помню) сидели, как три ведьмы, в приемной: Берди Питерс, Мод (забыла, как дальше) и Розмари Шмиль; уж не знаю, благодаря ли имени или чему другому, но Розмари была, так сказать, старшей ведьмой, у нее под столом находилась кнопка, отпирающая посетителю врата отцовского тронного зала. Все три секретарши были ярые поборницы капитализма, и Берди завела такой обычай: если замечено, что машинистки раза два на неделе обедали вместе, всей стайкой, то тут же вызывать их для строгого внушения. В то время на студиях боялись «толповластия».

Я прошла в кабинет. Теперь-то у всех киноворотил громадные кабинеты, но ввел это отец. И он же первый снабдил непрозрачными

снаружи стеклами большие, доходящие до пола окна; слышала я также про потайной люк в полу, про каменный мешок внизу, куда будто бы проваливаются неприятные посетители,— но это, по-моему, выдумки. На видном месте у отца висел писанный маслом портрет Уилла Роджерса — для того, наверно, чтобы внушать мысль о близком духовном родстве отца с этим «голливудским св. Франциском». Висели также надписанная фотография Минны Дэвис, умершей три года назад жены Стара, снимки других знаменитостей нашей студии, пастельные портреты мой и мамин. В этот вечер окна были раскрыты, в одном окне беспомощно застряла крупная, розово-золотая, окруженная дымкой луна. В глубине комнаты, за большим круглым столом, сидели отец, Жак Ла Борвиц и Розмари Шмиль.

Как выглядел отец? Я не смогла бы сказать, если бы не тот раз в Нью-Йорке, когда я неожиданно увидела перед собой немолодого грузного мужчину, как бы слегка стыдившегося собственной персоны, и подумала: «Да проходи ты, не задерживайся» — и вдруг узнала отца. Меня огорошило это мое впечатление: ведь отец умел быть обаятельно-внушительным, у него была ирландская улыбка и волевой подбородок.

Что же до Жака Ла Борвица, то его я не стану описывать — избавлю вас. Скажу лишь, что он был помощник продюсера, нечто вроде надсмотрщика над съемочными группами. Где это Стар откапывал такие умственные трупы (или ему их навязывали?) и, главное, как он ухитрялся получать от них пользу — всегда меня озадачивало и поражало, да и каждого новоприбывшего с Востока поражало, кто на них наталкивался. У Жака Ла Борвица, несомненно, были свои достоинства, но есть они и у мельчайших одноклеточных, и у любого пса, рыщущего в поисках суки и мосла. Жак Ла... О мой бог!

По выражению лиц я тут же поняла, что темой их совещания был Стар. Что-то Стар велел или запретил, пошел наперекор отцу, забраковал какую-то из картин Ла Борвица или еще что-либо учинил в том же разгромном духе — и вот они собрались здесь вечерним синклитом, уныло возмущенным и беспомощным. И у Розмари наготове блокнот, чтобы запротоколировать их бессилие.

— Я приехала схватить и доставить тебя домой живого или мертвого,— сказала я отцу.— Твой день рождения, а все подарки так и лежат неразвернутые!

— Ваш день рождения! — встрепенулся виновато Жак.— Сколько же вам исполнилось? Я и не знал.

— Сорок три,— четко произнес отец, убавив себе четыре года, и Жак знал это; я видела, как он пометил «43?» в своем гроссбухе, чтобы использовать в надлежащее время. Здесь у нас эти гроссбухи носят открыто и раскрыто, и не нужно прибегать к чтению с губ — видно и так, что в них записывают. Розмари тоже пришлось сделать пометку у себя в блокноте, чтобы не ударить лицом в грязь. И только она эту пометку стерла, как земля под нами содрогнулась.

Толчок был слабее, чем в Лонг-Биче, где верхние этажи магазинов вытряхнуло на улицу, а отели, из тех, что поменьше, съехали с берега в море, но целую минуту нутро наше трепыхалось в унисон с нутром земным — точно совершалась бредовая попытка, срастив пуповину, втянуть нас обратно в утробу мироздания.

Мамин портрет упал, оголив небольшой стенной сейф; мы с Розмари, отчаянно ухватясь друг за друга, завальсировали по комнате под собственный визг. Жак упал в обморок, по крайней мере, сгинул куда-то с глаз, а отец уцепился за стол с криком: «Ты цела?» За окном певица добралась до заключительных верхов и, протянув

«тебя-а лишь», запела опять с начала — честное слово. Но, может быть, это ей проигрывали запись.

Комната остановилась, слегка лишь подрагивая танцевально. Мы, в том числе и неожиданно возникший снова Жак, вышли, пьяно пошатываясь, через приемную на чугунный балкон. Почти все огни погасли, тут и там слышались голоса, крики. Мы постояли, ожидая нового толчка, затем, точно по команде, двинулись в приемную Стара и дальше, в его кабинет.

Кабинет этот был тоже велик, но поменьше отцовского. Стар сидел на краю кушетки, протирая глаза. В момент толчка он спал — и теперь недоумевал, не приснилось ли все ему. Мы заверили его, что не приснилось, и происшествие показалось ему скорей забавным — но тут зазвонили телефоны. Я наблюдала за ним как можно незаметнее. Вначале он был серый от усталости, но по мере того, как поступали донесения, в глаза его стал возвращаться блеск.

— Лопнуло несколько магистральных труб,— сказал он отцу,— вода заливает съемочный городок.

— Там Грей ведет съемку во «Французском селении»,— сказал отец.

— Вокруг «Вокзала» тоже затопило, и залило «Джунгли», и «Нью-йоркский перекресток». Но хорошо хоть, черт возьми, что обошлось без жертв.— Стар взял меня за обе руки, сказал очень серьезно:— Где вы пропадали, Сеси?

— Ты сейчас туда, Монро? — спросил отец.

— Вот только дождусь известий со всех участков. Одна электролиния тоже вышла из строя. Я послал за Робинсоном.

Стар усадил меня рядом с собой на кушетку, снова выслушал рассказ о землетрясении.

— У вас усталый вид,— сказала я так мило, по-матерински.

— Да,— согласился он.— Некуда приткнуться вечерами, вот я и остаюсь работать.

— Я подумаю, чем расцветить вам вечерок-другой.

— Бывало, я с друзьями играл в покер, пока не женился,— сказал он задумчиво.— Но мои партнеры все спились, поумирали.

Вошла мисс Дулан, его секретарша, со свежей порцией бедственных вестей.

— Робби придет и все наладит,— успокоил Стар отца.— Робинсон — вот это парень,— повернулся Стар ко мне.— Он работал раньше аварийным монтером в Миннесоте, устранял обрывы телефонных линий в снежные бураны, он ни перед чем не спасует. Он через минуту явится. Робби вам придется по душе.

Он сказал это так, словно всю жизнь мечтал свести нас вместе и с этой целью даже землетрясение устроил.

— Да, Робби вам придется по душе,— повторил он.— Вы когда возвращаетесь в колледж?

— Каникулы недавно начались.

— И вы к нам на все лето?

— Что ж, это поправимо,— сказала я.— Постараюсь поскорей уехать.

Я была как в тумане. В голове мелькнуло, что Стар недаром спрашивает, что у него насчет меня намерения, но если так, то роман наш еще на невыносимо ранней стадии — я для Стара пока всего лишь «ценный реквизит». И не таким уж все это показалось сейчас заманчивым — точно перспектива выйти замуж за вечно занятого врача. Стар редко покидал студию раньше одиннадцати вечера.

— Сколько Сесилии осталось учиться? — спросил Стар отца.— Вот я о чем, собственно.

Тут я, наверно, с жаром бы воскликнула, что мне не обязательно и возвращаться в колледж, что образования у меня уже в избытке,— но вошел достойный всяческого восхищения Робинсон. Он оказался рыжим, молодым, кривоногим и рвущимся в бой.

— Знакомьтесь, Сесилия — Робби,— сказал Стар.— А теперь идем, Робби.

Так познакомилась я с Робби — и не ощутила в этом ничего знаменательного. А зря: ведь именно Робби рассказал мне потом, как Стар обрел в ту ночь свою любовь.

В лунном свете тридцать акров съемочного городка простирались волшебной страной — не потому, что съемочные площадки так уж впрямь казались африканскими джунглями, французскими замками, шхунами на якоре, ночным Бродвеем, а потому, что они были словно картинки из растрепанных книг детства, обрывки сказок, пляшущие в пламени лунного костра. Я никогда не жила в доме с традиционным чердаком, но, по-моему, съемочный городок напоминает именно захламленный чердак, и ночами хлам колдовски преображается и оживает.

Когда Стар и Робби пришли туда, пучки прожекторных лучей уже осветили аварийные места среди разлива.

— Мы эти озера перекачаем в топь на «Тридцать шестой улице»,— сказал Робби, подумав с минуту.— Настоящее стихийное бедствие, осуществленное силами городского водопровода. А гляньте вон туда!

Вниз по течению импровизированной реки двигалась огромная голова бога Шивы и несла у себя на темени двух женщин. Статую смыло с «бирманской» площадки, она вместе с прочими обломками плыла, прилежно следуя изгибам русла, покачиваясь, тычась, преодолевая мели. Спасавшиеся на ней женщины сидели, упершись ногами в завиток волос на голом лбу, и, казалось, любовались картиной наводнения, как с крыши экскурсионного автобуса.

— Погляди, Монро, на этих дамочек,— сказал Робби.— Занятное зрелище.

Увязая в новоявленных болотцах, Робинсон и Стар подошли к берегу потока. Отсюда женщины были хорошо видны; слегка испуганные, они повеселели при виде идущих на выручку людей.

— Пусть бы так и уплыли в сточную трубу,— сказал Робби, как истый рыцарь,— да только голова эта на будущей неделе понадобится Де Миллю.

Но Робби не был способен обидеть и муху — он тут же вошел в воду чуть не по пояс, цепляя голову багром, однако голова увертывалась и вертелась. Подоспела подмога; вокруг заговорили, что одна из женщин очень красива, затем распространилось, что обе они — важные особы. Но они были простые, проникшие на студию смертные, и Робби брезгливо ждал, пока причалят, чтобы задать им перцу. Наконец статую обуздали, притянули к берегу.

— Верните голову на место,— крикнул Робби женщинам.— Это вам что, сувенир?

Одна из женщин плавно съехала вниз по щеке идола, и Робби поймал ее, поставил на сушу; вторая, поколебавшись, соскользнула тоже. Робби повернулся к Стару.

— Что велишь с ними сделать, шеф?

Стар не отвечал. С расстояния двух шагов на него, слабо улыбаясь, смотрело лицо умершей жены — и хоть бы в выражении была разница! Сквозь лунный промежуток в два шага глаза глядели знако-

мо, от ветра шевелился локон на родном лбу; она все улыбается—уже слегка иначе, но тоже знакомо; губы приоткрылись, как у Минны. Страх, трепет пронизал Стара, он чуть не вскрикнул. Затхлый и тихий похоронный зал, лимузин-катафалк, приглушенно скользящий, роняющий цветы с гроба,— и оттуда, из мрака, снова явилась, теплая, светлая! Мимо неслась вода, мощные кинопрожекторы полосовали мглу, мигая, и вот зазвучал голос — иной, не голос Минны.

— Мы просим извинить нас,— сказал голос.— Мы прошли в ворота зайцами, следом за грузовиком...

Вокруг начинали уже толпиться — осветители, подсобные рабочие, и Робби тут же принялся за них, как овчарка за овец.

— Тащите большие насосы с водоемов, с четвертой площадки... застропите голову канатом... сплавьте ее обратно на досках... сперва, ради господа бога, выкачайте воду из джунглей... трубу кладите здесь, изогнутую эту. . . да полегче, тут все из пластмассы...

Стар глядел, как обе женщины пробирались к выходу за полисменом. Затем сделал шаг, проверяя, ушла ли из колен слабость. Прочавкал с рокотом тягач по грязи, и мимо Стара потекли вереницей люди; каждый второй взглядывал на него, улыбался, говорил: «Привет, Монро... Здравствуйте, мистер Стар... Мокрая выдалась ночка, мистер Стар... Монро... Монро... Стар... Стар... Стар».

Он откликался, взмахивал рукой в ответ им, проходящим в сумраке, и это, я думаю, слегка напоминало встречу императора со старой гвардией. У всякого мирка непременно свои герои, и Стар был герой киномира. Эти люди в большинстве своем работали здесь от начала, испытали великую встряску — приход эры звука — и три года кризиса, и Стар оберегал их от беды. Узы верности рвались теперь повсюду, у колоссов обнаруживались и крошились глиняные ноги; но Стар по-прежнему был их вожак, последний в своем роде. И они шли мимо, приветствуя его — как бы воздавая негромкую почесть.

Глава III

За время между вечером прилета и землетрясением я на многое взглянула по-другому.

Взять, к примеру, отца. Я отца любила (это можно бы изобразить капризной кривой со многими резкими спадами), но я начала уже понимать, что сила воли — еще не замена всех качеств, делающих человека человеком. Таланты отца сводились в основном к практической сметке. Благодаря ей и своему везению он заполучил четвертую часть доходов в процветающем и шумном бизнесе — и стал компаньоном молодого Стара. В этом заключился подвиг его жизни, а дальше уж простой инстинкт не давал сорваться. Конечно, в деловых беседах на Уолл-стрите отец умел напускать туману насчет загадок фильмопроизводства, но сам не смыслил ни аза в монтаже, а тем более в перезаписи. Да и проникнуться с юности духом Америки трудно, служа подавальщиком в баре ирландского городка Баллихигана, а чувство сюжета было у отца не тоньше, чем у коммивояжера-анекдотчика. С другой стороны, он не был тайным полупаралитиком, как —; отец являлся в студию не с обеда, а с утра, притом подозрительность он нарастил в себе, как мышцу, и перехитрить его было нелегко.

Ему повезло на Стара — крупно повезло. В киноделе Стар был путеводным маяком, подобно Эдисону и Люмьеру, Гриффиту и Чаплину. Он поднял фильм высоко над уровнем и возможностями театра, вознес как бы на высоты золотого века (все это до введения цензуры).

О роли Стара свидетельствовало то, какой вокруг него шел шпионаж — не простая охота за внутренней информацией, за секретами технологии, а шпионаж, объектом которого было чутье Стара на перемены в зрительских вкусах, его предвидение будущего. Слишком много жизненной энергии приходилось Стару тратить на борьбу с этим шпионажем. Приходилось то и дело лавировать, замедлять темп, секретничать — и поэтому работу Стара так же трудно описывать, как трудно вникнуть в планы полководца, психологическая сторона которых от тебя почти вся скрыта, и кончаешь простым суммированием успехов и неудач. Но я решила дать хоть беглый очерк его рабочего дня, и цель идущих ниже страниц именно в этом. Частью я взяла их из написанного в колледже сочинения «День продюсера» Большинство событий будничных я вмонтировала с помощью воображения, но все из разряда необычного — так и было.

На утро после потопа, на рассвете, в административное здание вошел человек. Появившись на балконе, он, по словам очевидца, постоял там, затем влез на чугунные перила и бросился головой вниз на мостовую. В итоге: сломанная рука.

Мисс Дулан, секретарша Стара, сообщила ему о случившемся, когда в девять он нажал кнопку звонка. Он спал в кабинете и проспал весь этот небольшой переполох.

— Пит Заврас? — воскликнул Стар.— Оператор?

— Его доставили к дежурному врачу. В газету это не попадет.

— Ах ты несчастье,— сказал Стар.— Я знал, что Заврас вышел в тираж, но отчего он сник, неясно. Два года назад он снимал у нас и выглядел молодцом. Зачем же он пришел сюда кончать с собой? Как он пробрался на студию?

— Показал охране старый пропуск,— пояснила Кэтрин Дулан в своей ястребино-сухой манере. Муж ее был ассистентом режиссера.— Возможно, на него как-то повлияло землетрясение.

— Он был лучший оператор Голливуда,— сказал Стар. И, даже услышав затем про сотни жертв в Лонг-Биче, Стар все не мог выбросить Завраса из мыслей и велел секретарше выяснить причину этой попытки самоубийства.

Первые новости дня поступали по диктографу, вплывали в теплынь утра. Стар брился, пил кофе, слушая и делая распоряжения Робби оставил записку: «Если потребуюсь Стару, передайте — к черту, я спать пошел». Ведущий актер заболел — или захандрил; губернатор Калифорнии прибывает на студию с целой свитой гостей; помощник продюсера избил жену за испорченную фильмокопию и должен быть «разжалован в сценаристы» (разбирательство и прием губернатора входят в компетенцию отца, и актер тоже — если только он не законтрактован лично Старом). В Канаде ранний снег покрыл место натурных съемок, а рабочая группа уже прибыла туда; Стар быстро просмотрел фабулу картины, прикинул, нельзя ли приспособиться к снегу. Нет, нельзя. Стар звонком призвал секретаршу в кабинет.

— Свяжите меня с полисменом, который удалил вчера вечером двух женщин со съемочной территории. Его зовут, кажется, Малоун.

— Хорошо, мистер Стар. У телефона Джо Уаймен — относительно брюк.

— Привет, Джо,— поднял Стар трубку — Послушай-ка, на предварительном просмотре двое зрителей пожаловались, что у Моргана ширинка расстегнута целых полфильма... Конечно, они преувеличивают, но даже если на протяжении всего десяти футов... Нет, этих зри-

телей не сыщешь теперь, но вам придется снова и снова прокручивать фильм, пока не засечете этот кусок. Посадите в просмотровом побольше народа — кто-нибудь да заметит.

(Вот уж действительно:

Tout passe. L'ar robuste
Seul a l'éternité[1].)

— И сейчас придет этот принц из Дании,— сказала Кэтрин Дулан.— Он очень красивый. Хотя высоковат,— прибавила она почему-то.

— Благодарю, Кэтрин,— сказал Стар.— Спасибо. Тронут вашим намеком на то, что среди невысоких у нас самый красивый теперь — я. Пусть высокого гостя поводят по съемкам, и скажите ему, что в час мы с ним завтракаем.

— И в приемной ждет мистер Джордж Боксли — вид у него отменно, по-английски злой.

— Что ж, уделим ему десять минут.

Когда она уже выходила, Стар спросил:

— От Робби не было звонка?

— Нет.

— Позвоните звуковикам, и если они могут с ним связать, позвоните ему и спросите вот что. Спросите у Робби, не знает ли он, как зовут тех вчерашних ночных посетительниц. Хотя бы одну из них. А если не фамилию, то пусть даст любую деталь, примету, по которой можно их разыскать.

— Что еще узнать у него?

— Больше ничего. Но скажите ему, это важно — пока у него в памяти свежо. Кто они такие? Да-да, спросите его, кто они, что они. То есть...

Она ждала, опустив глаза в блокнот и быстро записывая.

— ...то есть они, возможно... сомнительной репутации? Не актрисы ли? А впрочем, это все отставить. Пусть только подскажет, как их найти.

Полисмен Малоун смог сообщить немного. Две дамочки, и он их быстро выставил со студии, будьте спокойны. Причем одна сердилась. Которая? Да одна из тех двух. У них машина стояла, «шевролетка». Хотел даже номер записать.

— Сердилась та, что покрасивей?

— Вот уж не приметил.

Ничего Малоун не приметил и не заметил. Даже на студии уже успели забыть Минну. За каких-нибудь три года. Что ж, по линии полисмена все.

Мистера Джорджа Боксли Стар встретил отечески-доброй улыбкой. Она выработалась у Стара из улыбки, так сказать, сыновней, когда Стар еще юнцом был взброшен на высокий пост. Первоначально то была улыбка уважения к старшим; затем вершить дела на студии стал все больше он и все меньше они, старшие, и улыбка стала смягчать этот сдвиг и, наконец, раскрылась в улыбку доброты сердечной — иногда чуть торопливую, усталую, но неизменно адресованную всякому, кто в течение данного часа не навлек на себя гнев Стара. Всякому, кого Стар не намеревался резко и прямо оскорбить.

Мистер Боксли не улыбнулся в ответ. Он вошел так, словно его втащили силой, хотя втаскивавших и не видно было. У кресла он остановился, но опять-таки точно не сам сел, а был схвачен за локти

[1] Сесилия иронически цитирует строки из стихотворения «Искусство» Теофиля Готье:

Все тленно. Лишь искусство
Могучее — навек *(франц.)*.

двумя невидимыми конвоирами и усажен. Он молчал насупленно. Закурил предложенную Старом сигарету, но и тут казалось, будто спичку поднесли некие внешние силы, которым он брезгливо повинуется.

Стар смотрел на него с учтивостью.

— В чем-то неполадки, мистер Боксли?

Романист молча поднял на Стара глаза, темный, как грозовая туча.

— Ваше письмо я прочел,— сказал Стар, отбросив любезный тон, каким молодой директор школы обращается к ученику, и заговорив «на равных» — с оттенком почтения, но и с достоинством.

— Я не могу добиться, чтобы сценарий писался по-моему,— взорвался Боксли.— У вас у всех отношение ко мне очень милое, но это прямо какой-то заговор. Вы мне дали в сотрудники двух поденщиков, которые меня выслушивают, а затем все портят — по-видимому, лексикон их не превышает сотни слов.

— А вы бы сами писали текст,— сказал Стар.

— Я и писал. Я послал вам фрагмент.

— Но там были одни разговоры, перебрасывание словами,— мягко сказал Стар.— Интересные, но только разговоры.

Лишь с величайшим трудом удалось двум призрачным конвоирам удержать Боксли в кресле. Он порывался встать; он издал негромкий, лающий какой-то звук — если смех, то отнюдь не веселый.

— У вас тут, видимо, не принято читать сценарии. В моем фрагменте эти разговоры происходят во время поединка. Под конец один из дуэлянтов падает в колодец, и его вытаскивают в бадье.— Боксли опять пролаял-засмеялся и смолк.

— А в свой роман вы бы вставили это, мистер Боксли?

— Что? Нет, разумеется.

— Сочли бы это дешевкой?

— В кинематографии стандарты другие,— сказал Боксли уклончиво.

— А вы ходите в кино?

— Нет, почти не хожу.

— Не потому ли, что там вечно дерутся на дуэлях и падают в колодцы?

— Да, и к тому же у актеров неестественно напряженные лица, гримасы, а диалог искусствен и неправдоподобен.

— Отставим на минуту диалог,— сказал Стар.— Согласен, что у вас он изящнее, чем у этих поденщиков,— потому мы и пригласили вас. Но давайте вообразим что-нибудь не относящееся ни к плохому диалогу, ни к прыжкам в колодцы. Есть у вас в рабочей комнате газовая печка?

— Есть, по-моему,— сказал Боксли сухо,— но я ею не пользуюсь.

— Допустим, вы сидите у себя там,— продолжал Стар.— Весь день вы дрались на дуэлях или же писали текст и теперь устали драться и писать. Просто сидите и смотрите тупо — мы все, бывает, выдыхаемся. В комнату входит миловидная стенографистка — вы ее уже раньше встречали и вяло смотрите теперь на нее. Вас она не видит, хотя вы рядом. Она снимает перчатки, открывает сумочку, вытряхивает из нее на стол...

Он встал, бросил на письменный стол перед собой кольцо с ключами.

— Вытряхивает две десятицентовые монеты и пятак — и картонный спичечный коробок. Пятак она оставляет на столе, десятицентовики кладет обратно в сумочку, а черные свои перчатки несет к печке, открывает дверцу и сует внутрь. Присев на корточки, достает из коробка единственную спичку. Вы замечаете, что в окно потянуло сквоз-

няком, но в это время зазвонил ваш телефон. Девушка берет трубку, отзывается, слушает и произносит с расстановкой: «Я в жизни не имела черных перчаток». Кладет трубку, приседает опять у печки, зажигает спичку — и тут вы вдруг быстро оглядываетесь и видите, что в комнате присутствует еще и третий, следящий за каждым движением девушки...

Стар замолчал. Взял ключи, спрятал в карман.

— Продолжайте,— сказал Боксли улыбаясь.— И что затем?

— Не знаю,— сказал Стар.— Я просто занимался кинематографией.

— Но это мелодрама,— возразил Боксли, чувствуя, что выходит из спора побежденным.

— Не обязательно,— сказал Стар.— Во всяком случае, никто не метался, не гримасничал, не вел дешевых диалогов. Была всего-навсего одна — плохая — строчка диалога, и писателю вашего калибра нетрудно ее улучшить. Но я сумел вас все же заинтересовать.

— А пятак зачем? — уклонился Боксли от подтверждения.

— Не знаю,— сказал Стар. И вдруг рассмеялся: — А, впрочем, пятак — для кинематографичности.

Боксли, наконец, освободился от своих невидимых конвоиров. Он вольно откинулся на спинку кресла.

— За что вы мне, черт возьми, платите? — спросил он со смехом.— Я ведь не разбираюсь в этой хиромантии.

— Разберетесь,— широко улыбнулся Стар.— Иначе не спросили бы про пятак.

Они вышли в приемную.

— Знакомьтесь, мистер Боксли.— Стар указал на брюнета с огромными глазами.— Это мистер Майк Ван Дейк. С чем явился, Майк?

— Да так,— сказал Майк.— Заглянул проверить, не обратился ли ты в миф.

— Ты бы шел работать,— сказал Стар.— А то меня уже неделю не смешат комедийные кадры.

— Боюсь, как бы нервы окончательно не расплясались.

— Ты все же формы не теряй,— сказал Стар.— Ну-ка, блесни перед публикой.— Он повернулся к Боксли.— Майк у нас гэгмен — выдумщик трюков. Я еще пешком под стол ходил, а он уже делал здесь кино. Майк, покажи мистеру Баксли двойной мах с брыком, смыком и учесоном.

— Прямо здесь? — спросил Майк.

— Да, здесь.

— Места мало. Я хотел к тебе насчет...

— Места достаточно.

— Ладно.— Майк огляделся.— Кто-нибудь дайте выстрел.

Кейти, помощница мисс Дулан, взяла плотный бумажный пакет, дунула в него, расправила.

— Эта выдача относится еще к кистоунским временам,— сказал Майк мистеру Боксли.

— «Выдача» — значит фортель, номер,— пояснил Стар.— Джорджи Джессел острит насчет «геттисбергской выдачи» Линкольна.

Кейти зажала зубами надутый пакет. Майк встал спиной к ней.

— Готов? — И пакет звучно лопнул, сплющенный ладонями Кейти. В тот же миг Майк ухватил себя обеими руками за ягодицы, подпрыгнул, выбросил сперва одну ногу вперед, затем другую, разъезжаясь как бы для шпагата, дважды взмахнул руками, как хлопает крыльями птица...

— Двойной мах,— сказал Стар.

...и чесанул через распахнутую рассыльным сетчатую дверь, мелькнув на прощание в балконном окне.

— Мистер Стар,— сказала мисс Дулан.— На проводе Нью-Йорк, звонит мистер Хэнсон.

Десятью минутами позже Стар нажал кнопку, и мисс Дулан, войдя, сообщила, что в приемной ожидает актер-звезда.

— А вы скажите, меня нет — ушел через лоджию.

— Хорошо. Он на этой неделе уже четвертый раз приходит. Он чем-то очень удручен.

— А он не сказал хоть намеком, что ему от меня нужно? Может быть, ему к мистеру Брейди?

— Он не сказал. У вас сейчас начнется совещание. Мисс Мелони и мистер Уайт сидят уже у меня. Мистер Брока ждет рядом, у мистера Рейнмунда.

— Давайте мистера Родригеса,— сказал Стар.— Предупредите, что я смогу уделить ему всего минуту.

Вошел актер-красавец; Стар принял его стоя.

— Что там у тебя такого неотложного? — спросил он приветливо.

Актер заговорил не раньше, чем закрылась дверь за мисс Дулан.

— Монро, мне к тебе позарез нужно,— сказал он.— Я спекся.

— Спекся? — сказал Стар.— А ты читал в последнем номере «Вэрайети»? Твоя картина до сих пор идет у Рокси, а в Чикаго за прошлую неделю дала тридцать семь тысяч.

— И это больней всего. В этом трагедия. К моим услугам все, чего ни пожелаю, и все теперь — псу под хвост.

— Да ты объясни толком.

— Между Эстер и мной все кончено. И навсегда.

— Поругались?

— Ох, нет — хуже, и говорить об этом нестерпимо. У меня мозг оцепенел. Брожу как сумасшедший. Роль веду как во сне.

— Я не замечал,— сказал Стар.— Во вчерашних кадрах ты был бесподобен.

— Вот, вот. Это лишний раз показывает, что в чужую душу не заглянешь.

— И неужели вы с Эстер разойдетесь?

— Этим кончится, наверно. Да. Этого не миновать.

— Но в чем у вас дело? — нетерпеливо спросил Стар.— Что она — вошла без стука?

— Да нет, третьи тут не замешаны. Причина в одном только мне. Я спекся.

Стар внезапно понял.

— Откуда у тебя вдруг такая уверенность?

— Не вдруг — уже полтора месяца.

— Это воображение твое,— сказал Стар.— У врача был?

Актер кивнул.

— Я уже все испробовал. Даже с отчаяния съездил... в заведение Клэрис. Но совершенно впустую. Мне полная гибель.

«А не переадресовать ли его к Брейди?» — толкал Стара некий иронический бесенок. Ведь всеми вопросами актерской рекламы ведает Брейди. Только дохлая это реклама... Стар на секунду отвернулся, погасил усмешку.

— Я уже был у Пата Брейди,— сказал актер, точно угадав его мысль.— Он насоветовал мне кучу липовых средств, я их все перепробовал, и все зря. За обедом мне стыдно поднять глаза на Эстер. Она молодчина, отнеслась чутко, но я горю от стыда. Круглосуточно сгораю от стыда. «Дождливый день» принес в Де-Мойне тысяч, наверно,

двадцать пять, в Сент-Луисе побил все рекорды, а в Канзас-Сити дал двадцать семь тысяч. Я засыпан сейчас письмами поклонниц, а сам боюсь вечером ехать домой, боюсь ложиться в постель...

Стара начали уже слегка томить эти жалобы. Стар хотел было пригласить актера на коктейль, но теперь приглашение явно отпадало. Что бедняге коктейль и рекордный сбор от картины, когда с ним такое. Стар мысленно представил себе, как актер бродит от гостя к гостю с бокалом в руке и с камнем на сердце.

— И вот я пришел к тебе, Монро. Я не помню ситуации, из которой ты не нашел бы выхода. Я подумал: даже если скажет застрелиться — все равно иду к Монро.

На столе у Стара пискнул зуммер; он включил диктограф и услышал голос мисс Дулан:

— Истекло пять минут, мистер Стар.

— Виноват,— сказал Стар.— Мне понадобится еще минута-две.

— Пятьсот учениц колонной пришли из школы к моему дому,— безрадостно сказал актер,— а я только стоял и смотрел на них из-за портьеры. Так и не решился к ним выйти.

— Да ты садись,— сказал Стар.— Обсудим без спешки.

В приемной уже десять минут ждали двое участников совещания — Уайли Уайт и Джейн Мелони. О Джейн, сухонькой, светловолосенькой, пятидесятилетней, можно было услышать пятьдесят разнородных мнений — полный голливудский ассортимент оценок: «сентиментальная дура», «лучший сюжетист Голливуда», «заслуженная ветеранка», «халтурщица старая», «другой такой умницы нет на студии», «самый ловкий плагиатор во всем кинобизнесе». И вдобавок, уж конечно, такие пестрые эпитеты, как нимфоманка, «любому и каждому», замужняя старая дева, лесбиянка и верная жена. Старой девой Джейн не была, но повадки у нее были стародевичьи, как у большинства женщин, собственным трудом пробивших себе дорогу. У нее была язва желудка, а годовой оклад ее превышал сто тысяч. Можно было бы написать ученый трактат о том, «стоила» ли она этих денег или еще больших или же ни гроша не стоила. Ценность ее заключалась в таких простых, ординарных достоинствах, как то, что она была женщина и легко ко всему применялась, быстро соображала и заслуживала доверия, понимала дело и не страдала самовлюбленностью. Она была очень дружна с Минной, и за протекшие годы Стару удалось подавить в себе антипатию к Джейн, доходившую до физического отвращения.

Джейн и Уайли сидели молча, изредка лишь обмениваясь словом с мисс Дулан. То и дело звонил Рейнмунд, помощник продюсера, ждавший у себя вместе с Джоном Брока, режиссером. Наконец, минут через десять Стар нажал кнопку, и мисс Дулан призвала Рейнмунда и режиссера; одновременно из кабинета вышел Стар, дружески держа актера под руку. Актер был уже так взвинчен, что стоило Уайту спросить, как у него дела, и он тут же раскрыл рот, вознамерясь излить душу при всем народе.

— Ох, дела ужасные,— начал актер, но Стар резко перебил его:

— Ровно ничего ужасного. Иди и работай роль, как я сказал.

— Спасибо тебе, Монро.

Джейн Мелони, сжав губы, поглядела вслед актеру.

— Кто-то с него одеяло на себя перетянул? — спросила она.

— Простите, что заставил ждать,— сказал Стар.— Прошу в кабинет.

Был уже полдень, а совещанию Стар отводил ровно час времени. Не меньше (прервать такое совещание мог только режиссер, у кото-

рого застопорились съемки), но, как правило, и не больше, ибо каждые восемь дней компания должна выпускать кинопостановку, по сложности и стоимости не уступающую «Мираклю» Рейнгардта.

Лет пять назад, бывало, Стар мог проработать запоем всю ночь над одним фильмом. Но теперь это случалось реже: после такого запоя он несколько дней чувствовал себя разбитым. Переходя же с проблемы на проблему, он всякий раз испытывал прилив энергии. И как некоторые умеют просыпаться в назначенное себе время, так Стар умел завести себя ровно на час неотрывной работы.

В собравшуюся на совещание группу входили помимо сценаристов Рейнмунд, один из самых приближенных к Стару помощников, и Джон Брока — режиссер фильма.

Брока с виду был воплощением умельца: крупнотелый, без нервов, спокойно-решительный, располагающий к себе. Он был невежествен, и Стар частенько ловил его на повторении одних и тех же сцен; во всех его фильмах присутствовала сцена с молодой богатой девушкой — тот же ход действия, те же движения. В комнату вбегает целая свора собак и прыгает вокруг девушки. Потом та идет в конюшню и треплет жеребца по крупу. Объяснить это пристрастие режиссера можно было бы, не прибегая к фрейдизму: вероятнее всего, как-то в унылую минуту юности Брока увидел в щель забора прелестную девушку с собаками и лошадьми. Это навсегда отпечаталось у него в мозгу эталоном романтики и шика.

Рейнмунд был красивый молодой ловчила с неплохим образованием. От природы он не лишен был характера, но уродливая должность помощника продюсера вынуждала его ежедневно кривить душой в мыслях и поступках. И человек выработался из него дрянной. В тридцать лет он не обладал ни одним из благородных качеств, которыми американцев — как христиан, так и евреев — учат восхищаться. Но картины он выпускал в срок и не стеснялся подчеркивать свое почти непристойное обожание Стара, чем и сумел, видимо, пустить Стару пыль в обычно зоркие глаза. Стар любил его — считал разносторонне пригодным работником.

Уайли Уайт, разумеется, в любой стране был бы распознан как интеллектуал низшего разряда. Он был парень культурный, говорливый, вместе и простецкий и не без тонкости, слегка шальной, слегка угрюмый. Зависть к Стару выказывалась у него лишь промельками и обмолвками и была смешана с восхищением, даже привязанностью.

— До начала съемки по этому сценарию осталось две недели, считая от субботы,— сказал Стар.— Сам по себе сценарий сносен — стал теперь намного лучше.

Рейнмунд и оба сценариста переглянулись, как бы поздравляя друг друга.

— Одно вот только,— задумчиво продолжал Стар.— Я не вижу, зачем вообще делать эту картину, и решил положить сценарий на полку.

Минута пораженного молчания — затем ропот протеста, ошарашенные переспросы.

— Я не виню вас,— сказал Стар.— Просто в сценарии не оказалось того, что — я считал — окажется.— Он помолчал, глядя опечаленно на Рейнмунда.— А жаль, пьеса-то хорошая. Мы за нее пятьдесят тысяч уплатили.

— А в чем тут наваляли? — грубовато спросил Брока.

— Вряд ли стоит вдаваться в подробности,— сказал Стар.

Рейнмунд с Уайтом оба думали о том, как эта новость отразится на их профессиональной репутации. За Рейнмундом в этом году числились уже два фильма, но Уайту нужно было снова выдвигаться —

нужно было, чтобы сценарий прошел и в титрах значилась его фамилия. Небольшие глазки Джейн Мелони пристально смотрели на Стара из запавших, как у черепа, глазниц.

— Все же поясни как-то свое решение, Монро,— сказал Рейнмунд.— Оно ведь крепко по нас бьет.

— Просто-напросто я не стал бы занимать в этой картине, скажем, Маргарет Саллавэн,— ответил Стар.— Или Рональда Колмена. Я бы им не посоветовал играть в ней...

— Конкретнее, Монро,— попросил Уайт.— Что тебе не понравилось? Сцены? Диалог? Юмор? Построение сюжета?

Стар взял сценарий со стола — и уронил, точно и в прямом смысле дело было «из рук вон».

— Не нравятся мне эти люди,— сказал он.— Неинтересно было бы с ними встретиться: если бы знал, что увижу их там-то, я бы пошел куда-нибудь в другое место.

Рейнмунд улыбнулся, но в глазах у него была тревога.

— Н-да, отзыв убийственный,— сказал он.— А я полагал, что персонажи весьма интересные.

— И я тоже,— сказал Брока.— Я полагал, Эмми — девка симпатичнейшая.

— Вы полагали? — сказал Стар резко.— Я в девушке не ощущаю жизни. А прочтя до конца, задаю себе вопрос: «Ну и что?»

— Но можно ведь как-то поправить,— сказал Рейнмунд.— Ведь нам огорчительно. Структура же с тобой согласована.

— Но тональность не та,— сказал Стар.— Я много раз вам говорил, что первым делом решаю, какой мне нужен в фильме общий тон. Все другое мы можем менять, но раз общий тон установлен, то отныне каждая строка и каждое движение должны на него работать. У вас совсем не то, что мне нужно. От пьесы шло тепло и сиянье — она была радостная. А тут полно сомнений, колебаний. У героя с героиней любовь ломается из-за пустяков и опять завязывается из-за пустяков. После первого же эпизода зрителю становится безразлично — хоть бы и вовсе она с героем и герой с ней больше не увиделись.

— Вина тут моя,— сказал вдруг Уайли.— Видишь ли, Монро, по-моему, стенографистка теперь уже не может относиться к боссу с тем же телячьим восхищением, что в двадцать девятом году. Ее с тех пор увольняли, босс у нее на глазах уже паниковал. Словом, мир изменился.

Стар коротко кивнул, нетерпеливо глядя на него.

— Но не о том наша история,— сказал Стар.— Она исходит из предпосылки, что девушка относится к боссу именно с телячьим восхищением, как ты выразился. И ниоткуда не видно, что в прошлом герой паниковал. Если у вас девушка засомневалась как-либо в герое, то получается совсем другая история. Или, верней, вообще никакой не получается. Действующие лица здесь не копаются в себе, они сангвиники — прошу запомнить накрепко — и такими должны быть с первого кадра до последнего. Когда я захочу экранизировать психологическую драму, то куплю пьесу Юджина О'Нила.

Джейн Мелони, не сводившая глаз со Стара, уже поняла, что тучи рассеиваются. Если бы Стар действительно решил поставить на картине крест, то говорил бы иначе. Джейн зубы съела на этом деле; стажем превосходил ее один Брока, с которым у Джейн лет двадцать назад был роман, продлившийся три дня.

Стар повернулся к Рейнмунду.

— Уже по составу актеров ты должен был понять, Рейни, какой мне требуется фильм. У меня устала рука отмечать строчки, которые не прозвучат у Корлис и Маккелуэя. На будущее запомни: если я за-

казываю лимузин — значит, мне нужен именно лимузин. И гоночную малолитражку я не приму, пусть даже самую быстроходную в мире. А теперь...— Он обвел взглядом присутствующих.— Стоит ли дальше возиться — теперь, когда вы знаете, что это вообще не то и не подходит? Будем ли продолжать? У нас две недели. По их истечении я ставлю Корлис и Маккелуэя либо на этот фильм, либо на другой. Так стоит ли возиться с этим?

— Конечно, стоит,— сказал Рейнмунд.— Мне это крайне огорчительно. Я должен был предостеречь Уайли. Мне казалось, у него тут неплохие находки.

— Монро прав,— грубовато сказал Брока.— Я все время чувствовал — не то. Не мог только за хвост ухватить.

Уайли и Джейн покосились на него презрительно и обменялись взглядом.

— Ну как, сценаристы, сможете опять разжечь свой пыл? — спросил Стар несурово.— Или посадить кого-нибудь свеженького?

— Я бы не прочь еще разок попробовать,— сказал Уайли.

— А вы, Джейн?

Джейн коротко кивнула.

— Вы-то как смотрите на героиню? — спросил ее Стар.

— Признаться, она мне и такая нравится.

— Нельзя пускать такую на экран, нельзя,— предостерег Стар.— Десять миллионов американцев осудят эту девушку. Сеанс длится час двадцать пять минут; если треть этого времени у вас женщина изменяет, то вы тем самым создали впечатление, что она на одну треть шлюха.

— Треть — разве это так уж много? — лукаво спросила Джейн, и все рассмеялись.

— Для меня много,— свел брови Стар,— даже если допустить, что для Бюро Хейса эта пропорция приемлема. Вы хотите заклеймить блудницу — пожалуйста, но в другой раз. Наша картина не о том. Она о будущей жене и матери. Причем, причем...

Он нацелил карандаш на Уайли Уайта.

— ...слепого секса тут не больше, чем в этом вот «Оскаре» на моем столе.

— Черт подери! — сказал Уайли.— Как так не больше! Да она ведь идет к...

— Она не монашка — и не шлюха,— возразил Стар.— В пьесе есть эпизод сильней всего, что вы насочиняли, а вы его выкинули. Она обменивает в этом эпизоде свои часы, чтобы занять чем-то время.

— Он у нас выпирал,— сказал Уайли виновато.

— Ну так вот,— сказал Стар,— у меня наберется с полсотни идеек. Я позову мисс Дулан.— Он нажал кнопку.— И если будут неясности, тут же выясняйте...

Почти незаметно вскользнула мисс Дулан. Стар быстро зашагал по комнате, заговорил. Прежде всего о героине — как она мыслится ему в этом фильме. Девушка она отличная, с одним-двумя небольшими недостатками, как и в пьесе; и не потому отличная, что публике такая нравится, а потому, что такого сорта фильм требует — по его, Стара, мысли — такого рода героиню. Понятно? Это не «характерная» роль. Девушка здесь воплощает собой здоровье, энергию, стремление к успеху и любовь. Значимость пьесе придает исключительно та ситуация, в которой героиня очутилась. У девушки в руках секрет, а от него зависит судьба многих и многих. Перед героиней два пути, и она не сразу уясняет, какой из них дурной и какой правильный. Но уяснив, она тут же поступает правильно. Вот какая здесь история — незатейливая, чистая и светлая. Без тени сомнений.

— Она и слов таких не слыхала: «Стычки на трудовом фронте»,— сказал Стар со вздохом.— Она еще как бы живет в двадцать девятом. Понятно, какая девушка мне требуется?

— Вполне понятно, Монро.

— Теперь о том, что ею движет,— продолжал Стар.— Во все времена и моменты, что мы видим ее на экране, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом. Ясно это, Уайли?

— Ослепительно ясно.

— Что бы она ни делала, ею движет одно. Идет ли она по улице, ею движет желание спать с Кеном Уиллардом; ест ли обед — ею движет желание набраться сил для той же цели. Но нельзя ни на минуту создавать впечатление, что она хотя бы в мыслях способна лечь с Кеном Уиллардом в постель, не освященную браком. Мне даже неловко, что приходится сообщать вам об этих вещах, ясных любому младенцу, но каким-то образом они улетучились из сценария.

Раскрыв сценарий, он стал разбирать его страница за страницей. Мисс Дулан потом перепечатает запись в пяти экземплярах и раздаст им, но Джейн Мелони все же делала свои отдельные заметки. Брока закрыл глаза, заслонил их ладонью; он еще помнил время, «когда режиссер был на студии фигурой», когда сценаристы представляли из себя всего лишь гэгменов или стеснительных, усердных и хмельных юнцов репортеров. Правил тогда режиссер — ни Стара над ним, ни помощников Стара.

Он встряхнулся, услыхав свое имя.

— Было бы хорошо, Джон, если бы парень этот у тебя влез на крышу и походил по скату под объективом. Славное бы могло возникнуть чувство — не опасности, не напряжения, а просто так — утро и паренек на крыше.

Брока оторвался от воспоминаний.

— Ладно,— сказал он.— И чуточку присолить опасностью.

— И чуточки не надо,— сказал Стар.— Он не скользит, не оступается. И отсюда — прямо в следующую сцену.

— Через окно,— предложила Джейн Мелони.— Он к сестре в окно влезает.

— Переход неплохой,— одобрил Стар.— Прямо в сцену с дневником.

Брока уже очнулся полностью.

— Я буду его снимать снизу,— сказал он.— Не с движения сниму, а с места. Пусть уходит от камеры. Отпущу порядком, затем подхвачу близким планом—и снова отпущу. Не стану его акцентировать, дам на фоне всей крыши и неба.— Такой кадр был ему по душе — режиссерский кадр, какие в теперешних сценариях по пальцам можно перечесть. А снимать — с крана; строить крышу на земле и давать небо рирфоном обойдется в конечном счете дороже. Но тут надо отдать Стару справедливость, у него потолок постановочных расходов — небо, в самом буквальном смысле. Брока слишком долго работал с евреями, чтобы верить басням об их мелочной прижимистости.

— В третьем эпизоде пусть ударит патера,— говорил Стар.

— Что?— воскликнул Уайли.— И чтоб на нас католики обрушились?

— Я уже обсуждал это с Джо Брином. Бывает, священников бьют. Это не наносит урона их сану.

Негромкий голос Стара продолжал звучать — пока мисс Дулан не подняла глаза к часам. Стар оборвал свою речь, спросил Уайта:

— Успеете все это к понедельнику?

Уайли взглянул на Джейн, а та — на него, не трудясь даже кивнуть. «Прощай суббота с воскресеньем»,— подумал Уайли. Но он был

под сильным впечатлением слов Стара. Когда тебе платят полторы тысячи в неделю, то от экстренной работы бегать не приходится, особенно если твой фильм под угрозой. Как «свободный» — незаконтрактованный — сценарист, Уайли потерпел неудачу по своей излишней беззаботности, но теперь заботу о деле брал на себя Стар. И созданное им настроение Уайт сохранит надолго — оно не развеется ни во дворе, ни за обеденным столом, ни за рабочим. Уайли ощущал в себе сейчас большую целеустремленность. Прозвучавшее в речах Стара здравомыслие, сценическая выдумка, умное чутье в смеси с некой полунаивной концепцией всеобщего блага — все это зажгло Уайта желанием внести и свою долю, положить и свой камень в кладку, даже если труд заранее обречен, а результат будет уныл, как пирамида.

Джейн Мелони смотрела в окно на людскую струйку, текущую к кафе. Она поест у себя в рабочей комнате, а пока принесут поднос, вывяжет на спицах несколько рядов. В четверть второго придет тот человек с контрабандными французскими духами, переправленными через мексиканскую границу. Брать их не грех — это как спиртное при сухом законе.

Брока смотрел, как Рейнмунд увивается около Стара. Брока чувствовал: Рейнмунд идет в гору. Рейнмунду платят семьсот пятьдесят в неделю, а режиссеры, сценаристы и звезды, хоть и в полуподчинении у Рейнмунда, получают гораздо больше. Рейнмунд носит дешевые английские туфли, купленные в лавке близ отеля «Беверли Уилшир»,— дай ему бог хорошие от них мозоли. Но скоро он станет заказывать себе обувь у Пила и спрячет подальше свою зеленую тирольскую шляпенку с пером. На жизненной дороге Джон Брока шел впереди Рейнмунда на много лет. Брока прекрасно проявил себя на фронте, но так и не оправился духовно с тех пор, как снес пощечину от Айка Франклина.

В комнате было накурено, и за облаком дыма, за своим столом Стар уходил теперь от них все дальше, хотя и дослушивал еще с обычной учтивостью Рейнмунда и мисс Дулан. Совещание кончилось.

— Мистер Маркус звонит из Нью-Йорка,— сказала мисс Дулан.

— То есть как? — удивился Стар.— Вчера вечером я видел его здесь.

— Но звонок от мистера Маркуса — на проводе Нью-Йорк, и голос мисс Джейкобс из его конторы.

— Мы с ним сейчас вместе завтракаем,— усмехнулся Стар.— Самый быстрый самолет не успел бы его доставить.

Мисс Дулан вернулась к телефону. Стар ждал, чем кончится.

— Все разъяснилось,— сообщила мисс Дулан чуть погодя.— Произошла накладка. Мистер Маркус утром позвонил в Нью-Йорк, сказал им про землетрясение и что залило площадки и вроде бы велел выяснить у вас детали. Секретарша новенькая, не поняла мистера Маркуса. Не разобралась, видимо.

— Видимо, так,— сказал Стар сумрачно.

Принцу Агге был неясен подтекст диалога, но, падкому до экзотики Нового Света, ему почуялось в этом нечто сногсшибательно американское: желая выяснить у Стара подробности о наводнении, Маркус звонит своей нью-йоркской секретарше, хотя находится от Стара в двух шагах по коридору. Принц вообразил некие сложные, запутанные взаимоотношения, не подозревая, что вся путаница возникла в мозгу мистера Маркуса, прежде срабатывавшем с четким блеском стального капкана, а теперь дававшем временами сбой.

— Совсем новенькая, видимо, там секретарша,— повторил Стар.— А еще что у вас? — спросил он, направляясь уже к дверям.

— От мистера Робинсона сведения,— сказала мисс Дулан.— Одна из тех женщин называла ему свою фамилию: Смит, или Браун, или Джонс. Он не помнит точно.

— Ценные сведения, что и говорить.

— И еще она ему сказала, что поселилась здесь, в Лос-Анджелесе, всего лишь на днях.

— Помнится, на ней был серебряный пояс,— сказал Стар,— с прорезями в виде звезд.

— Я продолжаю выяснять относительно Пита Завраса. Я разговаривала с его женой.

— Что же она вам сказала?

— О, Заврасы настрадались: им пришлось отказаться от дома... она заболела...

— А у Пита в самом деле безнадежно с глазами?

— Она ничего об этом, по ее словам, не знает. Впервые слышит о грозящей ему слепоте.

— Странно.

Идя с принцем завтракать, Стар не переставал думать о Заврасе, но проблема тяготила той же беспросветностью, что и беда, постигшая актера Родригеса. Нет, людские недуги не по его части: Стар и о собственном здоровье не слишком заботился. В проулке у кафе он посторонился: мимо катил электрокар со съемочной площадки, набитый статистками в ярких костюмах эпохи Регентства. Платья трепетали на ветру, нагримированные молодые лица смотрели на Стара с любопытством, и он улыбнулся проезжавшим девушкам.

В отдельном зале студийного кафе завтракали двенадцать человек, считая гостя, принца Агге. За столом сидели денежные тузы — сидели заправилы; без гостей они обычно ели молча, лишь время от времени обмениваясь вопросами о жене и детях или роняя что-нибудь неотвязчиво-деловое, освобождая мозг. Восьмеро из них были евреи; пятеро — уроженцы других стран, в том числе грек и англичанин; все они знали друг друга давно. Внутри группы существовала градация значения и веса — от старого Маркуса по нисходящей к старому Линбауму, сумевшему когда-то купить выгоднейший пакет акций компании. На постановочные расходы Линбауму выделялось не больше миллиона в год.

Старик Маркус упрямо до сих пор не выходил из строя, удручая партнеров своей жизнестойкостью. Какой-то неслабеющий инстинкт держал его начеку, позволял разгадывать интриги — Маркус бывал особенно опасен именно тогда, когда другие думали, что взяли его в кольцо. Черты его землистого лица застыли окончательно, и нельзя было теперь узнать его реакцию даже по рефлекторному подергиванью век: седые брови раскустились, прикрыв внутренние уголки глаз,— броня стала сплошной.

Маркус был здесь патриархом, а моложе всех был Стар — теперь-то не так уж разительно. Еще двадцатидвухлетним чудо-мальчиком он сидел среди них — финансист среди финансистов. У них захватывало дух от быстроты и точности, с какой он производил тогда в уме стоимостные подсчеты, ибо сами они не были в этом отношении ни волшебниками, ни даже искусниками, вопреки общему представлению о евреях-дельцах. У большинства из них успеху способствовали другие качества, плохо сочетающиеся с искусством калькуляции. Но в деловых сообществах традиция вывозит и тех, кто ме-

нее сведущ, и они спокойно полагались на Стара в расчетах высшей сложности, испытывая при этом радостное чувство сопричастности, точно болельщики на футболе.

Как мы сейчас увидим, финансовые расчеты теперь отступили у Стара на второй план, хотя способность к ним осталась.

Стар сидел рядом с принцем Агге, по другую руку от принца помещался Морт Флайшэкер, юрист компании, а напротив — Джо Пополос, владелец сети кинотеатров. Принц Агге питал к евреям смутную враждебность, от которой старался отучить себя. Человек бурной жизни, служивший одно время в Иностранном легионе, он считал, что евреи слишком избегают физического риска. Впрочем, он допускал, что в Америке, в других условиях, они другие, а уж Стар — определенно человек достойный, с какой стороны ни подойти. Что же до остальных, то дельцы — народец, в общем, серый, считал принц; окончательный вердикт здесь выносила кровь Бернадоттов, текущая в его жилах.

Что-то, связанное с выпуском картины, беспокоило сейчас моего отца (дальше здесь я буду называть его Брейди, как называл принц Агге, рассказывая мне о завтраке). Линбаум, сидевший напротив Стара, скоро ушел, и Брейди пересел на его место.

— Как обстоит дело с тем фильмом на южноамериканский сюжет? — спросил Брейди.

Принц Агге заметил, что при этих словах два десятка глаз нацелились на Стара, дружно мигнув ресницами, точно крыльями взмахнув все сразу. И — тишина.

— Фильм сейчас в работе,— сказал Стар.

— А смета прежняя? — спросил Брейди.

Стар кивнул.

— Она несоразмерно велика, Монро,— сказал Брейди.— Времена сейчас трудные, чуда не произойдет — такого, как с «Ангелами ада» или «Бен Гуром», когда ухлопанные деньги возвращались с лихвой.

Вероятно, атака на Стара была согласована заранее, потому что грек Пополос тут же заговорил витиевато:

— Это неприемлемо теперь, Монро. В смысле: надо прилаживаться к временам, которые меняются. В смысле: что допускаемо в диапазоне процветания, то неконцептуально теперь.

— А ваше мнение, мистер Маркус? — спросил Стар.

Взгляды остальных тоже направились на Маркуса, но тот, словно заранее предвидев вопрос, сделал уже знак, и стоявший позади официант подхватил его под локти, поднимая, как корзинку за оба ушка. В этом корзинном положении Маркус смотрел на них с такой беспомощностью — трудно было и представить, что вечерами он, случалось, вставал танцевать со своей молодой канадкой.

— Монро — наш постановочный гений,— сказал Маркус.— Я на него надеюсь как на каменную стену. Сам-то я и наводнения не видел.

Все проводили уходящего Маркуса молчанием.

— Нет такого фильма, чтобы дал сейчас два миллиона валовых,— сказал Брейди.

— Нету,— подтвердил Пополос. —Никак нету, хоть ты бери их за шиворот и толкай на сеансы.

— Пожалуй, что и нет,— согласился Стар. Он сделал паузу, как бы приглашая всех слушать.— Думаю, основной показ сможет дать миллион с четвертью. Максимум же по стране — миллиона полтора. И четверть миллиона от проката за границей.

Опять молчание — на этот раз недоуменное, слегка растерянное. Стар повернул голову к официанту, попросил соединить его с секретаршей.

— Но смета как же? — спросил Флайшэкер.— Расход по смете, как я понял, миллион семьсот пятьдесят тысяч. И эту же цифру, я слышу, составит приход. Где же прибыль?

— Я и на эту цифру не рассчитываю,— сказал Стар.— Уверенно рассчитывать можно лишь на полтора миллиона.

Тишина напряглась — принцу Агге слышно было, как с чьей-то замершей в воздухе сигары упал на пол серый нарост пепла. Флайшэкер, с застывшим на лице изумлением, открыл было рот снова, но тут Стару подали через плечо телефонную трубку.

— Ваша секретарша, мистер Стар.

— Да, да. Алло, мисс Дулан. Я насчет Завраса. Я пришел к выводу, что это подленькая сплетня, голову готов прозакладывать... А, вы уже связались с ним. Хорошо... хорошо. Сейчас надо действовать так: пошлите его сегодня же днем к моему окулисту — к доктору Джону Кеннеди: пусть засвидетельствует письменно, и надо будет сделать фотокопии — понятно?

Он отдал трубку и разгоряченно повернулся к сидящим:

— Наверно, и до вас доходили слухи, будто Пит Заврас слепнет?

Двое-трое кивнули, но остальных безраздельно занимало другое: неужели Стар допустил в своей смете просчет?

— Чистой воды брехня,— продолжал Стар.— Пит говорит, ему ни разу в жизни не приходилось обращаться к окулисту. Он понятия не имеет, почему студии перестали его брать. Кто-то по злобе или просто так наболтал — и Пит уже год без работы.

Послышался стандартно сочувственный бормоток. Стар расписался на поданном счете и сделал движение, чтобы встать.

— Прошу прощенья, Монро,— заговорил Флайшэкер настойчиво: Брейди и Пополос сидели наготове.— Я здесь, на Побережье, новичок и, быть может, не уловил всех импликаций и коннотаций.— Он произнес это скороговоркой, но жилки у него на лбу гордо вспухли: знай, мол, воспитанников Нью-йоркского университета.— Так ли надо вас понимать, что вы заранее рассчитываете на убыток в четверть миллиона?

— Фильм ведь не кассовый, а престижный,— возразил Стар невинным тоном.

Присутствующие начали уже понимать, куда гнет Стар, но все еще надеялись, что это розыгрыш, что на самом деле Стар рассчитывает на доход. Никто, будучи в здравом уме...

— Мы два года уже даем сплошной «верняк»,— сказал Стар.— Пора и убыточную картину сделать. Отнесем ее в графу расходов на престиж — она привлечет нам новых зрителей.

Кой-кому все еще казалось, что Стар считает постановку авантюрой, но с шансами на прибыль. Однако Стар тут же рассеял иллюзии.

— Убыток обеспечен,— сказал он и встал, слегка выпятив подбородок и блестя, улыбаясь глазами.— Будет чудом большим, чем с «Ангелами ада», если нам удастся хотя бы вернуть свое. Но у нас перед зрителем нравственный долг, как неоднократно заявлял Пат Брейди на обедах Академии киноискусства. Включение убыточной картины оздоровит план постановок.

Он сделал приглашающий кивок принцу Агге, и тот не мешкая откланялся, стараясь напоследок оценить впечатление, которое произвели на всех слова Стара. Но ничего нельзя было прочесть в глазах — они были не то чтобы опущены, а устремлены горизонтально и невидяще куда-то поверх скатерти и учащенно мигали, и не было слышно ни звука.

Выйдя из комнаты, Стар с Агге прошли краем главного обеденного зала. Принц Агге приглядывался с жадностью. Зал пестрел цыганками, горожанами, военными — с бакенбардами, в галунных мундирах Первой империи. С расстояния казалось, это дышат и движутся люди, жившие сто лет назад, и Агге подумал: «Забавно бы поглядеть на статистов, переряженных нами, нынешними, в каком-нибудь будущем историческом фильме».

Но тут он увидел Авраама Линкольна и сразу посерьезнел. Детство принца совпало с зарей скандинавского социализма, когда биографическая книга Николея о Линкольне была в большом ходу. Принцу внушали, что Линкольн — великий человек, достойный восхищения, и Агге терпеть его не мог, навязанного в образцы. Но теперь Линкольн сидел за столиком, положив ногу на ногу,— добродушное лицо нагнул к обеду ценой в сорок центов, включая десерт, а на плечи накинул свой плед в защиту от вентиляторных сквозняков,— и теперь принц Агге, добравшийся до сокровенной Америки, глядел во все глаза, как турист в музее. «Так вот он, Линкольн». Стар отошел уже далеко, оглянулся на Агге, а тот все медлил и глядел. «Так вот она, американская суть».

Неожиданно Линкольн взял с тарелки треугольный кусище торта, сунул себе в рот, и, слегка оторопев, принц Агге поспешил за Старом.

— Надеюсь, вы находите здесь то, чего ищете,— сказал Стар, чувствуя, что уделил принцу недостаточно внимания.— Через полчаса у меня просмотр текущего съемочного материала, а потом милости прошу на все площадки, где вы хотите побывать.

— Я бы предпочел побыть при вас,— сказал Агге.

— Сейчас взгляну, что меня тут ожидает,— сказал Стар.— Мы еще встретимся попозже.

Стара ожидал японский консул в связи с выпуском фильма о шпионах, который мог задеть национальные чувства японцев. Ожидали телеграммы и телефонограммы. Ожидали новые сведения от Робби.

— Он припомнил. Ее фамилия определенно Смит,— сказала мисс Дулан.— Он предложил ей зайти в костюмерную взять туфли взамен промоченных, но она отказалась — так что иск предъявить нам не сможет.

— Какая неудачная фамилия! Пока переберешь всех Смитов...— Стар подумал с минуту: — Попросите-ка телефонную компанию дать нам список Смитов — абонентов, подключенных в прошлом месяце. И обзвоните их всех.

— Хорошо.

Глава IV

— Здравствуй, Монро,— сказал Ред Райдингвуд.— Рад тебя видеть у нас в павильоне.

Не останавливаясь, Стар прошагал мимо него, направился к роскошно обставленной комнате, которую предстояло снимать завтра. Режиссер Райдингвуд последовал за Старом и тут же убедился, что, как ни убыстрять шаг, все равно Стар на ярд, на два его опережает. Ему стало ясно: Стар дает понять, что недоволен им. Этим приемом Ред и сам пользовался в былые времена. Тогда в его распоряжении была собственная киностудия и вся клавиатура приемов. На какую клавишу Стар теперь ни нажимай, Райдингвуда не удивишь. Построение мизансцен — его родное дело и стихия, и перещеголять его тут Стару не удастся. Как-то сам Голдвин вмешался в его хозяйство, и Райдингвуд втравил его поглубже, дал побарахтаться в роли перед

полсотней зрителей — и в итоге, как и предвидел Райдингвуд, режиссерский авторитет его был восстановлен.

Стар подошел к роскошной комнате.

— Декорация ни к черту,— сказал Райдингвуд.— Никакой фантазии. Все равно, как ее ни освещай...

— Но мне-то зачем звонишь? — приблизился к нему вплотную Стар.— Почему не обратился с этим делом к художникам?

— Я звонил не затем, чтобы вызывать тебя сюда, Монро.

— Ты ведь заявлял, что хочешь снимать самостоятельно.

— Виноват, Монро, но я звонил не затем, чтобы вызывать тебя сюда,— повторил Райдингвуд терпеливо.

Круто отвернувшись, Стар пошел назад, к кинокамере. Группа гостей перевела на Стара глаза и раскрытые рты, обозрела его тупо и снова приковалась к героине фильма. Гости были из католического общества «Рыцари Колумба». Им привычны были шествия, в которых несут хлеб, пресуществленный в святые дары,— но здесь перед ними сидела Греза осуществленная, одетая в плоть.

Стар остановился возле героини. Она была в вечернем платье, ее декольтированную грудь и спину покрывала яркая сыпь экземы. Перед каждым эпизодом эту сыпь замазывали густым кремом; отсняв же эпизод, крем немедленно удаляли. Волосы ее цветом и жесткостью напоминали запекшуюся кровь, но зато глаза умели сиять с экрана звездным светом.

Стар не успел еще и слова сказать, как услышал позади себя услужливый голос:

— Лучезарна. Ну просто луч-чезарна.

Это помощник режиссера во всеуслышание делал тонкий комплимент. Актрисе не надо было тянуться ухом, напрягать свою бедную кожу. Комплимент относился и к Стару, пригласившему ее на роль с другой киностудии. Косвеннее, отдаленнее комплимент относился и к Райдингвуду.

— Надеюсь, все в порядке? — спросил ее Стар любезным тоном.

— Все чудненько,— кивнула она,— только рекламщики без мыла в душу лезут.

— А мы оградим вашу душу от них,— мягко подмигнул ей Стар.

Имя этой кинодивы стало уже общеупотребительно в значении «шлюха». Надо полагать, она себя целиком скопировала с какой-нибудь царицы из тарзаньей серии, где царицам этим дан во власть, неясно кем и почему, чернокожий народ. Актриса и впрямь смотрела на всех как на черных. Ее взяли на один фильм — с ней мирились как с неизбежным злом.

Райдингвуд проводил Стара к выходу.

— Все нормально,— сказал Райдингвуд.— Она держится на своем верхнем уровне.

Здесь их никто не слышал, и Стар вдруг засверкал на режиссера гневными глазами.

— Дерьмо ты наснимал,— сказал Стар.— Знаешь, на кого она в твоих кадрах смахивает — на ежегодную «Мисс Бакалею».

— Я стараюсь взять от нее все, на что...

— Пойдем-ка со мной,— прервал его Стар.

— С тобой? А им объявить перерыв?

— Ничего не надо.— Стар толкнул обитую войлоком дверь.

Машина Стара и шофер ждали у павильона. На студии минуты дороги.

— Садись,— пригласил Стар.

Ред Райдингвуд понял, что дело серьезное. Его вдруг осенило даже, в чем корень беды. С первого дня съемок не актриса у него,

а он у актрисы оказался в повиновении. У нее язык, как ледяная бритва, а он человек миролюбивый и, не желая связываться, позволил ей холодно откатать роль.

Ред угадал верно.

— Ты с ней не умеешь обращаться, Ред,— сказал Стар.— Я ведь тебе говорил, что́ мне нужно. Она нужна мне энергично-подлая, а у тебя выходит сыто-скучающая. Придется, к сожалению, отставить.

— Картину?

— Нет. Я на нее бросаю Харли.

— Тебе видней, Монро.

— Не обижайся, Ред. В следующий раз попробуем что-нибудь другое.

Машина остановилась перед административным зданием.

— А эпизод мне доснять? — спросил Ред.

— Его сейчас докручивают,— сумрачно ответил Стар.— Харли уже там.

— Но когда же он успел?..

— Мы вышли — он вошел. Я его вечером усадил читать сценарий.

— Но послушай, Монро...

— Сегодня мне вздохнуть некогда,— коротко сказал Стар.— У тебя, Ред, запал иссяк еще три дня назад.

Скандал да и только, подумал Райдингвуд. Его положению в студии будет нанесен этим небольшой, незначительный, но ущерб, и, пожалуй, придется пока отложить намеченную третью женитьбу. И нельзя даже отвести душу, поругаться: со Старом не поругаешься. О разногласиях с ним шуметь невыгодно. «Заказчик всегда прав», а в киномире всегда, почти без исключений, прав Стар.

— А мой пиджак? — вдруг спохватился Ред.— Я его на спинке стула оставил в павильоне.

— Знаю,— сказал Стар.— Вот он.

Стар так сосредоточился на том, чтобы смягчить для Райдингвуда отстранение от съемок, что вовсе забыл об этом перекинутом через руку пиджаке.

«Просмотровая мистера Стара» представляла собой миниатюрный кинозал с четырьмя рядами одутловато-мягких кресел. К переднему ряду придвинуты длинные столы с заабажуренными лампами, кнопками, телефонами. У стены — пианино, еще с аккомпаниаторских времен. Зал был отделан и обставлен заново всего с год назад, но успел уже принять потертый вид — от работы, от загрузки.

Сюда Стар приходил в два тридцать и затем снова в шесть тридцать — просматривать отснятое за день. Здесь царила жесткая напряженность. Стар взвешивал результаты труда: итожил месяцы, потраченные на поиски и приобретенье, на планирование, писание и переписыванье, на подбор актеров, сцен и освещения, на репетиции и съемки, оценивал плоды внезапных озарений и отчаянных общих потуг, апатии, интриг и пота. Сейчас все это зримо воплощалось на экране — так воплощается на поле боя сложно задуманный маневр, и с передовой несутся сводки.

К Стару в зал приходили представители всех технических отделов вместе с художественными руководителями групп и директорами картин. Режиссеры сюда не являлись — формально потому, что их миссия считалась законченной, а на деле потому, что здесь — под шорох серебристых бобин, точно под струенье затраченных денег,— здесь промахам не давали пощады. И у режиссеров возник деликатный обычай отсутствовать.

Все уже были в сборе. Вошел Стар, быстро занял свое место, и шум разговоров стих. Откинувшись на спинку, Стар поднял, подтянул к себе худое колено, свет в зале погас. Чиркнула в заднем ряду спичка — затем тишина.

На экране ватага франко-канадцев поднималась на лодках по реке, преодолевая порожистую быстрину. Эпизод снимали в одном из бассейнов студии, в конце каждого дубля было слышно режиссерское «Стоп!», актеры на экране вытирали лоб, отдувались с облегчением, а то и с веселым смехом, и вода в бассейне переставала течь — иллюзия кончалась. Отобрав из дублей лучшие, Стар ограничился тем, что заметил: «Технически недурно».

В следующем эпизоде, все на той же быстрине, шел диалог между канадской девушкой (ее играла Клодетта Кольбер) и courrier du bois [1], которого играл Рональд Колмен. Девушка из лодки глядит вниз на Рональда. Просмотрев несколько кадров, Стар неожиданно спросил:

— Декорация уже разобрана?

— Да, сэр.

— Монро, бассейн потребовался для...

— Немедленно восстановить,— оборвал повелительно Стар.— Второй эпизод сейчас просмотрим снова.

Зал осветился на минуту. Директор съемочной группы поднялся со своего места, подошел к Стару.

— Великолепно сыгранную сцену загубили,— говорил Стар с тихой яростью.— Не тот угол съемки. Клодетта ведет диалог, а камера все это время занята ее прелестным пробором. Пробор — вот что нам нужно, верно? Вот зачем зритель пришел в кино — не лицом Клодетты, а пробором любоваться. Передайте Тиму, что напрасно он беспокоил Клодетту, мог бы обойтись дублершей.

Свет потух опять. Чтобы не заслонять Стару экран, директор группы присел на корточки. Эпизод показали снова.

— Теперь видите ошибку?— спросил Стар.— И заметили в кадре волосок — вон там, справа? Выясните, в проектор он попал или на пленку.

В самом конце эпизода Клодетта Кольбер медленно подняла голову, и на зрителя влажно блеснули ее большие светлые глаза.

— Вот что должна была все время давать камера,—сказал Стар.— И ведь Клодетта отлично сыграла. Проведите пересъемку завтра же или еще до вечера сегодня.

Пит Заврас не сделал бы такого ляпсуса. По студиям не наберется и шести операторов, на которых можно во всем положиться.

Зажегся свет; помощник продюсера и директор группы вышли.

— А сейчас, Монро, пустим кусок, снятый еще вчера,— принесли поздно вечером.

Свет погас. На экране выросла голова Шивы, громадная и невозмутимая (хотя пройдет лишь несколько часов, и голову эту понесет хлынувшая вода). Вокруг толклись, толпились верующие.

— В следующих дублях,— вдруг проговорил Стар,— пусть два-три карапуза взберутся Шиве на макушку. Проверьте только, не будет ли это отдавать святотатством. Но думаю, что нет. С детворы спрос невелик.

— Хорошо, Монро.

Серебряный пояс со звездными прорезями... Смит, Джонс или Браун... В колонку «Разное»: женщину с серебряным поясом просят...

---

[1] Проводник *(франц.)*.

Действие перенеслось в Нью-Йорк — пустили сцену из гангстерского фильма, и неожиданно Стар воскликнул в темноте:

— Дрянь сцена! Плохо написана, никчемна, плохо подобраны статисты. Какие это гангстеры? Куча маскарадных конфетных бандитиков. В чем дело, Ли?

— Сцену сочинили сегодня утром, прямо на шестой площадке,— сказал Ли.— Бэртон хотел там все сразу заснять.

— И дрянь заснял. И дальше кадры скверные. Подобный хлам нечего печатать. Героиня сама не верит своим словам. И Кэри Грант ей не верит. Такое «я люблю вас» — крупным планом? Да на предварительном вас ошикают, из зала к черту выгонят! Еще и разодета как на бал.

В темноте нажали кнопку; проекционный аппарат выключили, дали свет. Зал беззвучно ожидал. Стар сидел с каменным лицом.

— Кто писал эту сцену? — спросил он наконец.

— Уайли Уайт.

— В трезвом виде?

— Ну конечно.

Стар подумал.

— Засади вечером за нее человек четырех сценаристов,— сказал он.— Посмотри, кто там у нас. Сидней Говард уже приехал?

— Да, сегодня утром.

— Потолкуй с ним. Объясни ему, что мне здесь нужно. Девушка в смертельном ужасе — она тянет время. Вот и весь секрет. Ей не до любви, не до жиру — быть бы живу. И еще, Кэппер...

— Да? — нагнулся из второго ряда художник.

— Декорация тут подгуляла.

Все сидящие переглянулись.

— А в чем именно изъян, Монро?

— Это у тебя надо спросить,— сказал Стар.— Но впечатление тесноты. Глаз спотыкается. Дешево как-то.

— А было хорошо.

— Было, согласен. Но чем-то подпортили. Сходи туда вечером, взгляни. Возможно, мебель не ту поставили, загромоздили. Может быть, окно прибавить для простора. Перспективу в холле нельзя слегка усилить?

— Я посмотрю, что можно сделать.— Кэппер боком выбрался из ряда, взглянул на часы.

— Придется сразу же за работу,— сказал он.— К ночи сделаю эскизы, и утром перестроим.

— Хорошо. Ли, ты сможешь эти сцены переснять?

— Думаю, что смогу, Монро.

— Вину за пересъемку беру на себя. А эпизод драки готов?

— Сейчас прокрутим.

Стар кивнул. Кэппер поспешно ушел, свет опять погас. На экране четверо мужчин яростно разыгрывали драку в подвале.

— На Трейси взгляните,— сказал Стар со смехом.— Как он на того парня кинулся! Опыта ему явно не занимать.

(Окончание следует)

ТОНЧО ЖЕЧЕВ

НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ — НОВЫЕ РОМАНЫ

В развитии каждой литературы бывают моменты чрезвычайно интенсивного освоения новых пластов действительности, новой проблематики. И тогда на второй план отступают чисто эстетические аспекты, особую же важность приобретает вопрос о значимости самого жизненного материала, положенного в основу произведения. Попытаемся взглянуть именно с этой точки зрения на романы, привлекшие в последнее время внимание болгарских читателей и критики: «Белые кони в ночи» Павла Вежинова (Димитровская премия 1976 года), «Дом с лестницей красного дерева» Андрея Гуляшки (премия Союза болгарских писателей 1976 года) и «Река» Дико Фучеджиева (премия Союза болгарских писателей 1975 года).

Все три книги объединяет дух напряженных исканий. Читая их, словно присутствуешь при рождении чего-то нового, небывалого. Произведения эти сближает не только проблематика, которую точнее всего определил, пожалуй, Вежинов — «люди и единственно возможная среда их существования»,— но и нечто трудно уловимое, сокровенное, зато более существенное: общность настроений и духовного самосознания героев, гражданский пафос, направление художнической мысли, смелое вторжение в современность.

Не случайно, на мой взгляд, в болгарской романистике сегодня с такой силой зазвучала тема соотношения разума и сердца, интеллекта и чувства — флоберовская, в сущности, тема «воспитания чувств». В нашей современной поэзии она уже нашла отражение, а теперь прогремела из «дальнобойных орудий» романа.

■

Новые экологические проблемы в жизни зрелого социалистического общества оказались столь важными и порой драматичными, что воспринимаются не только как социальные, но и как моральные. Острота, с которой ставится в нашей прозе вопрос об охране природы, может даже порой показаться излишней. Однако проблема эта, думается, особенно актуальна именно для нас и для стран, подобных Болгарии,— в прошлом отсталых, а сегодня бурно развивающихся. Нам необходимо учесть опыт разрушительных последствий технизации в капиталистическом мире, наглядно доказавший, что разрушение естественной среды дорого обходится современному человеку. Мы располагаем огромным преимуществом: условия зрелого социализма дают возможность решать эти вопросы, сочетая общественные интересы сегодняшнего дня с учетом перспектив далекого будущего.

Хочется верить, что, поднимая эту тему, наша литература своими средствами способствует решению кардинальных вопросов современности, таких, как воздействие

громадных общественных перемен и научно-технической революции с ее многогранными последствиями на внутренний мир человека, духовная связь каждого из нас с наследием прошлого и ответственность за будущее.

Все сказанное вполне приложимо к произведениям Вежинова, Гуляшки и Фучеджиева. Именно горячее стремление художественно осмыслить этот сложный комплекс проблем и вызывает к ним неослабевающий интерес читателей и критики.

Главные герои романов предстают, по выражению Гуляшки, в свой «судный день» — в момент подведения жизненных итогов: академик Димитр Урумов у Вежинова — в день семидесятилетия, старый учитель Драгия Брусарский у Гуляшки — в день празднования шестидесятилетия. Слав Грашев у Фучеджиева готовится отметить пятидесятплетие. Общее во всех трех случаях — размышления о зрелости, причем зрелости, понимаемой в плане социально-психологическом и шире — как проблема зрелости социалистического общества. Связана с ней и другая проблема — преемственность поколений, точнее, опасность ее утраты. Кто унаследует и продолжит лучшее из традиций прошлого? Вот что волнует писателей. Образная система произведений подчинена мысли о современном значении преемственности — во всей полноте смысла этого слова, включая и отношение к природной среде. Для Вежинова, Гуляшки и Фучеджиева в силу внутренних убеждений, самого душевного склада неприемлема мысль о том, что продолжателями дела старшего поколения могут оказаться бездушные технократы.

У Вежинова этот идейный комплекс представлен с большой пластической силой и глубиной. Решения, на первый взгляд, как будто бы не дано. Академик Урумов, директор научного института, на подступах к колоссальному научному открытию: разгадке причин возникновения раковых опухолей. Вокруг этого и завязывается главный конфликт романа: кто и как будет способствовать реализации открытия, кто и как продолжит гуманное дело ученого — карьеристы вроде Азманова или люди честные и преданные науке. Наиболее вероятный продолжатель трудов Урумова — Сашо, молодой научный работник, племянник академика. Однако Сашо не дорос до тех высоких моральных требований, которым, по мнению Урумова, должен отвечать человек и ученый.

В центре многоплановой проблематики романа — вопрос о том, каким обязан быть ученый, если он осознает свою ответственность перед обществом и всем человечеством, и можно ли считать истинными учеными тех, кому только предстоит достичь нравственного совершенства. У Сашо есть все возможности для духовного роста. Тем не менее он не станет наследником ученого и его дела, если не сумеет преодолеть свой узкий рационализм, если не научится сочетать холод расчетливого ума с теплом человеческого сердца, дает понять Вежинов.

В «Доме с лестницей красного дерева» Гуляшки почти сатирически заострен антагонизм, возникший между Драгией Брусарским и его сыном инженером Ставри, технократом, полным антиподом отцу, его образу жизни и мышления. В «Реке» Фучеджиева руководитель парторганизации Грашев — хотя и не сразу — распознает истинную сущность технократа Белички, поняв, что его действия несут гибель всему живому вокруг.

Беспокойная, временами тревожная атмосфера книг Вежинова, Гуляшки и Фучеджиева порождена своего рода противоречием, кроющимся в деятельности их главных героев. Упорно и целеустремленно развивают они науку и преобразуют жизнь в родных местах, превращая их из тихих сельских уголков в промышленные районы. Но вот парадокс: погруженные в стихию науки и техники с их новейшими достижениями, эти люди вместе с тем все сильнее тянутся к природе, все пронзительнее ощущают неразрывную связь человека с окружающей средой. Мысленно они то и дело возвращаются к смутным воспоминаниям детства (для Урумова символом их становятся всплывающие в его памяти «белые кони в ночи») — к родному, близкому, деревенскому, что рождает чувство единения с природой, что приводит к осознанию значения прошлого, истории, духовной культуры народа.

Обращенные к сложным социально-нравственным вопросам, вызванным к жизни современной цивилизацией, романы Вежинова, Гуляшки и Фучеджиева зовут к поискам внутренней гармонии, пронизаны стремлением уберечь современника от душевной бедности и сухости; в них осуждается акробатика ума, в которой не участвует сердце, попытки умозрительно, холодно-логически запроектировать человеческое сердце. В действительности, утверждают романисты, все гораздо сложнее, в этом уравнении — множество неизвестных. Впрочем, кое-кто из их героев подчас теряется даже в несложных житейских уравнениях.

Когда Сашо использует недозволенные средства в дискуссии, развернувшейся вокруг открытия Урумова, академик говорит своему ученику, что тому необходим «внутренний судья», помогающий отличать добро от зла. В ответ Сашо возражает: ему не нужен «мистический судья», ему достаточно разума. «Похоже, что недостаточно,— замечает Урумов,— иначе ты не поступил бы так безобразно. Совесть — не только разум, она мироощущение». Совесть должна проснуться в будущем преемнике Урумова, сердце должно очеловечить и облагородить его рассудок — эта надежда освещает роман Вежинова.

По-своему осмысляя ту же тему, А. Гуляшки показывает, какой катастрофой может подчас обернуться для человека полная бездуховность. Он рисует не только ад, в который Ставри и ему подобные могли бы превратить окружающий мир, реализуя свои технократические проекты, но и ад в душе самого Ставри.

Сложность новых жизненных коллизий вносит в творчество наших романистов новые акценты, новые интонации. Углубляясь в действительность, они находят в ее гуще иных героев — носителей подлинных человеческих ценностей. В романе «Звезды над нами» (1966)[1] Вежинов создал образ деда Штиляна, воплощающего прочные нравственные устои и душевную цельность болгарского народа. Молодые же герои романа обретают мудрость и духовную силу Штиляна ценой мучительных поисков, жертв и разочарований в прежних романтических представлениях о жизни.

В романе «Белые кони в ночи» Вежинов не просто продолжает линию, намеченную в предыдущей книге: углубилось его проникновение в жизнь и психологию людей, обогатилась творческая палитра.

Писатель поэтично рисует грустную умудренность академика Урумова, душевную тонкость очаровательной девушки Кристы, в которую влюблен Сашо, и ее матери Марии Обретеновой. Можно смело утверждать, что никогда Вежинов не добивался такой непринужденности и естественности стиля, такой полноты в изображении жизни. Роман, посвященный, казалось бы, судьбе чисто научной идеи, пронизан удивительным лиризмом: переживания молодых героев и неразделенная поздняя любовь Урумова к Марии Обретеновой непрестанно напоминают о вечнозеленом дереве жизни, неподвластной самым сложным научным схемам.

Столкнувшись с новыми проблемами действительности, меняется как художник и Андрей Гуляшки. Его книгу «Дом с лестницей красного дерева» я бы назвал новаторской. Конфликт романа развертывается внутри семьи старого коммуниста Драгии Брусарского. Он, его родные сыновья Методи и Ставри, приемный сын Рафаил — не только люди разных поколений, различны их взгляды на будущее своего города и в связи с этим — на отношение к окружающей среде.

Четыре героя книги — не просто четыре характера. Здесь писатель скорее набрасывает четыре этюда, посвященных нравственному облику наших современников. Вот один из них, Ставри, он принадлежит к тем руководителям производства, что рассматривают технический прогресс как самоцель и забывают об опасности такого подхода. Безотрадное чувство оставляет описанная Гуляшки картина кошмарной жизни, начавшейся в городе после того, как Ставри осуществил свой проект строительства химического комбината. Разумеется, ясно, что писатель сгущает краски и заостряет ситуации, настоятельно призывая задуматься, пока не поздно, над тем, как должны использоваться достижения техники в социалистическом обществе.

Его положительный герой Рафаил, не боясь прослыть ретроградом, решительно восстает против проекта Ставри; именно он, сын по духу, а не по крови, становится подлинным наследником Драгии Брусарского.

Подзаголовок романа — «Семейная хроника» — может ввести в заблуждение, хотя, в сущности, нет болгарского прозаика, которому форма хроники была бы более чужда, чем Гуляшки. Его романы сознательно задуманы как антихроники, пародирующие летописный стиль. И «Дом с лестницей красного дерева» построен именно так. Не уловив этого, трудно понять основную мысль Гуляшки, оценить по достоинству язык его романа — нарочито старомодный и обретший неожиданную свежесть. Не чувствуя иронически-романтической окрашенности всех реалий, резких поворотов сюжета, переплетения различных линий повествования, нельзя ощутить все оттенки звучания этого романа, написанного как предостережение: и проект Ставри, и он сам терпят крушение.

«Река мертва», «Река была мертва» повторяется как лейтмотив в романе Дико Фучеджиева. В девственном краю строится флотационная фабрика и своими отходами губит Реку, которую Фучеджиев изображает как живое существо. Строительство фабрики сплетает в сложный узел взаимоотношения партийного работника Грашева, который понимает и необходимость индустриализации своего края, и возможные «издержки» этого процесса, руководителя стройки Белички, прагматика, человека чуждого Реке, для которого важно любой ценой «двигать жизнь вперед», лесовода Медарова, энтузиаста, любящего природу и являющего собой полную противоположность равнодушной деловитости Белички.

Подобно молодому человеку, молодое общество иногда способно, так сказать, проявлять «легкомыслие» по отношению к окружающей среде. Ему нелегко постичь простую истину: оно само—плод окружающей среды, одно из звеньев ее эволюции. Порой естественная среда кажется нам созданной только нами и для нас и потому всегда податливой нашему своеволию. Лишь с течением времени мы осознаем ее как нечто доставшееся нам в наследство, как результат тысячелетней эволюции. А к концу жизни понимаем истинно бережное отношение к ней как долг. Раскрытию мысли о нерушимой связи человека с природой и историей подчинена композиция «Реки». Своей темой, построением, поэтической интонацией «Река», на мой взгляд, напоминает большой и сложный роман Леонова «Русский лес».

В книге Д. Фучеджиева как бы три пласта. Каждый из них несет определенную смысловую нагрузку, для каждого автор выбирает различные художественные средства. Прежде всего мы ощущаем взгляд автора на природную среду как на первооснову жизни, активно участвующую в формировании человеческой личности. Так возникает тема Реки, исполненная взволнованности, нежности и грусти. В сущности, она не нова для писателя (вспомним его ран-

[1] На русском языке роман опубликован в «Избранном» П. Вежинова. М., «Художественная литература», 1972.

нюю повесть о реке Велеке «Небо над Велекой» [1]), но здесь обретает другие масштабы, подчинена иному замыслу — Река, дающая жизнь, символ жизни, Река — равноправный герой саги. Отношение к ней служит как бы лакмусовой бумажкой, которой проверяются нравственные и общественные качества, человеческая значимость героев. Отношением к Реке измеряет автор духовный рост каждого из героев, призрачным и романтическим сиянием ее освещены их лица.

Второй план повествования — прошлое героев, жизнь предшествующих поколений, наследие которых они продолжают и развивают. И если в первом случае доминирует тема Реки, то во втором — опять-таки как равноправный герой саги — господствует образ Села, его история. О зрелости авторской мысли, мне кажется, свидетельствует то, что эти две стихии человеческой жизни представлены в романе как одинаково значимые, а над всем главенствует широкий и романтически возвышенный взгляд писателя на природную среду, в которой человеку суждено жить, на человеческую историю, творением которой он является. Эта линия повествования отмечена большой выразительностью, особенно запоминается сцена нестинарского танца: на тлеющих углях исполняет старинный обрядовый танец Нуна, вкладывая в него всю несгибаемую силу народного духа.

Третий план — сегодняшняя жизнь героев, их дела и помыслы. Это верхняя, видимая часть айсберга. Здесь нет романтического настроя саги, все словно написано не с заглавной, а с маленькой буквы. Но именно здесь изображены столкновения, происходящие вокруг строительства фабрики, психологически мотивируются поступки героев. К сожалению, эта линия, как мне кажется,— ахиллесова пята романа. Порой она с трудом увязывается с двумя другими, а кое-где конфликт и отношения героев выглядят несколько облегченными. Тем не менее безусловной удачей можно считать образ коммуниста Грашева. Он органически связан как с Рекой, так и с Селом, с проблемами природы и человека в современном мире — и с проблемой продолжения традиций сегодня. С этой точки зрения образ Грашева нов для болгарской романистики и представляет собой серьезный шаг на пути к воссозданию облика современника.

Рассказ о Грашеве звучит автобиографически и служит своего рода показателем морального самочувствия целого поколения строителей нашего общества, того поколения, которое уже достигло возраста инфарктов и раздумий, но продолжает оставаться главным действующим лицом в жизни страны.

■

Проведение параллелей между развитием литературы и движением жизни — операция тонкая и рискованная, но, пожалуй, ни один жанр не позволяет с такой глубиной сопоставить созревание общества и литературы, как роман. Зрелость общества находит свое отражение в зрелости литературы; зрелое общество ждет своего романа. И современный болгарский роман настойчиво старается оправдать эти ожидания. Произведения П. Вежинова, А. Гуляшки и Д. Фучеджиева, думается, подтверждают эту мысль.

Болгарской критике нередко приходилось с сожалением констатировать, что наши писатели оказывались не впереди, а позади выдвигаемых жизнью проблем. Современный наш роман решительно перешагнул этот рубеж. Сегодня он смело поднимает темы, связанные с самыми различными сторонами развития меняющегося мира, берется за сложные проблемы формирования нравственного облика нового человека. Стихия романа как литературной формы — исследование взаимоотношений человека с его средой, понятой в самом широком смысле; здесь и природа, и прошлое народа, его история. Здесь и социальные отношения Поиски болгарского романа идут в перспективном направлении, они приносят плоды сегодня, принесут их и завтра.

Перевод с болгарского М. ТАРАСОВОЙ

[1] Опубликована в «Иностранной литературе» № 6, 1965 г.

◆

Л. ДЕЛЮСИН

ДИСКУССИЯ О КУЛЬТУРАХ ВОСТОКА И ЗАПАДА В КИТАЕ 20-х ГОДОВ

Проблемы, поднятые в статьях Т. Григорьевой и А. Гуревича[1], лишь на первый взгляд кажутся новыми. Не одно поколение ученых и не ученых писало о своеобразии восточной культуры и ее отличии от западной. Вспоминаются слова русского китаеведа Иакинфа Бичурина о том, что в Китае «видим все то же, что есть у нас, и в то же время видим, что все это не так, как у нас, там много находится вещей, которые мы имеем, но там все в другом виде»[2]. Аналогичного рода суждения можно встретить в книгах европейских авторов, рассказывающих об Индии, Японии и других азиатских странах. Подобным же образом китайцы и японцы, знакомясь с жизнью Европы и Америки, выражали удивление и недоумение, как люди могут жить иначе, чем они, рассуждать и действовать необычно и, на их взгляд, нелогично.

Соотношение между прошлым и современностью — также вечная тема, которая по-разному обсуждалась на протяжении столетий. И если выступления Т. Григорьевой и А. Гуревича привлекли внимание читательской аудитории и получили широкий резонанс, то это объясняется не новизной темы, а, с одной стороны, оригинальной, более глубокой и обстоятельной ее разработкой, а с другой стороны, и тем, что сама эта проблема перестала быть предметом абстрактного изучения кабинетных ученых-востоковедов и стала делом, касающимся миллионов. В самое тесное соприкосновение и общение друг с другом пришли не единицы, а тысячи и десятки тысяч людей, контакты между представителями разных наций и разных культур становятся повседневным явлением и в ходе этих контактов, встреч, дискуссий нередко бывает так, что при наличии даже самых прекрасных переводчиков собеседники не понимают друг друга — даже в тех случаях, когда они добиваются одной и той же цели и исходят из одинаковых, казалось бы, побуждений.

Поэтому сохраняет свою актуальность попытка Т. Григорьевой показать, «как Восток и Запад соотносятся в духовном, психологическом плане, на уровне устойчивых культурных ценностей, которые достались нам от прошлого и которые мы обязаны передать в будущее, чтобы не нарушать закон преемственности, поддерживающей жизнь человечества».

Реализация этой задачи немыслима без глубокого и всестороннего изучения богатого культурного наследия народов Востока — философского, литературного, художественного. Работа ведется давно, но, как справедливо отмечали многие ученые, часто при переводе и толковании идей китайских и японских мыслителей европейские и американские ученые сознательно или бессознательно подменяли возникшие в конкретной

[1] Статьи Т. Григорьевой «И еще раз о Востоке и Западе» и А. Гуревича «Мировая культура и современность» были опубликованы в «Иностранной литературе» № 7, 1975 г. и № 1, 1976 г.

[2] Китай в гражданском и нравственном состоянии. Сочинение монаха Иакинфа. Пекин, 1912, стр. 1.

национально-исторической ситуации категории и понятия теми, которые были выработаны западноевропейской философией. Происходило смещение, а затем и искажение понятий, что, естественно, давало о себе знать при дальнейшем исследовании культуры Китая и Японии. Нельзя сказать, что этого не замечали. Нет, о возможности ошибочного переноса своих понятий на иную национальную почву писали и говорили. Востоковеды предостерегали друг друга от ошибок такого рода, и тем не менее избежать их оказалось весьма сложно. Здесь действовали объективные причины. Изучающий не может полностью перевоплотиться в изучаемого, заставить себя думать и говорить его языком. На ход и результаты научного исследования влияют язык, психология, культурный багаж. Но это не значит, что задача остается неразрешимой. Статьи Т. Григорьевой показывают, что трудности постижения философско-эстетических принципов и норм, лежащих в основе национальной культуры Китая и Японии, вполне преодолимы. Инерцию можно побороть, если ученым движет уважение и любовь к изучаемой культуре, стремление понять эту культуру не извне, а изнутри. Надо лишь внимательно отнестись к тому, что сами японцы и китайцы думают и пишут о своей культуре.

Цель этих заметок — поддержать дальнейшее исследование интересных проблем, затронутых в статьях Т. Григорьевой и А. Гуревича. Эти проблемы горячо, взволнованно обсуждались в Китае уже в первой четверти двадцатого века. Китайское общество переживало тогда время интенсивного познания западной культуры, которое совпало с усилившимся ростом национального самосознания. Перед китайской интеллигенцией со всей остротой встала проблема взаимосвязей культур Востока и Запада, которая тесно переплеталась с не менее жгучей проблемой отношения к традициям прошлого и их роли в борьбе за новый, современный Китай.

В первые два десятилетия нашего века в Китай бурным потоком хлынула культура Запада. На студенческую молодежь, на широкие круги новой интеллигенции страны она произвела огромное впечатление. Китайские журналы печатали переводы работ русских, немецких, английских и американских философов, публиковали произведения европейских писателей, репродукции с картин великих художников Запада.

«Кропоткин, Маркс, Энгельс; «Дама с камелиями» и «Общественный договор»; Эйнштейн, Бергсон, Дарвин; проф. Dewy и Мопассан; Бернард Шоу и Гомер; Толстой и Арцыбашев; Ницше и Смайлис; Бертран Рассел и Конан-Дойль; Спенсер, Лабиш, Шопенгауэр, Александр Дюма, Чехов и великое множество других авторов и произведений, зачастую совершенно случайно переведенных,—все читается и изучается с одинаковым благоговением.

Как когда-то, много столетий тому назад, шли китайские пилигримы в страну Сакья-Муни, чтобы на самой родине великого учителя получить истинное знание, так и теперь, но уже более широким, непрерывным потоком стремится китайская молодежь на далекий Запад, растекается по университетам Америки, Англии, Германии, Бельгии, Франции, чтобы «овладеть наукой»[1]. В этой корреспонденции из Пекина известного советского журналиста А. Ивина хорошо передана интеллектуальная атмосфера Китая тех лет.

Китайское общество не было единым в отношении к этому вторжению незнакомой и не всегда понятной культуры. Одни потянулись к новой культуре с открытой душой и сердцем, другие осыпали ее проклятиями. Одни в новой культуре видели тот чудодейственный рычаг, который перевернет закосневшее китайское общество. Другие мрачно и уныло пророчили утрату национального духа, моральную деградацию всего народа. Общим для тех и других, однако, было ощущение, что Китай вступил в полосу невиданных перемен, когда трещат и рушатся стропила и балки почитаемых храмов и святилищ, когда ускользает из-под ног точка опоры, почва колеблется и неизвестно, куда и как идти. Отчалив от традиционного старого берега, китайский корабль оказался в открытом море, и мало кто понимал, к какому берегу он теперь пристанет. Не случайно некоторые китайские публицисты писали о том, что Китай катится в бездонную пропасть. Будущее страны представлялось им смутным. Пессимисты предрекали гибель китайской нации, если не будут приняты строгие меры для ограждения своей культуры от чужеродного влияния. По их мнению, китайцы могли спасти себя как нацию, лишь отказавшись от идей современного Запада и воскресив и укрепив культурные и этические ценности седой конфуцианской старины. Они предлагали, так сказать, двигаться вперед, повернув головы назад.

Не только консерваторы били тревогу. Многих прогрессивных интеллигентов, размышлявших о развитии Китая по пути социально-экономического и культурного обновления, беспокоила судьба национальной культуры. Ли Да-чжао, один из первых пропагандистов марксизма в Китае, со скорбью писал о том, что Китай тяжело болен и решается вопрос о том, сумеет ли страна возродиться или же ей уготована гибель.

Находились и такие, кто, признавая историческую ценность старой китайской культуры, полагал, что она устарела и не отвечает требованиям, предъявляемым современным миром. Они считали, что опасаться надо не того, что европеизация и американизация поведут к утрате национального духа, а, наоборот, что этот процесс будет непоследовательным и сохранятся остатки прежней культуры, а это помешает Китаю занять достойное место среди передовых наций мира. По их мнению, следовало радоваться проникновению в Китай западной культуры и всемерно содействовать ее распространению, вытесняя с ее помощью из

[1] А. Ивин. Китай и Советский Союз. М., Госиздат, 1924, стр. 15.

всех сфер китайского общества традиционную культуру.

Активный участник движения за новую культуру, философ Ху Ши, получивший образование в Соединенных Штатах и являвшийся поклонником американской школы прагматизма, выступал за полную «вестернизацию» китайской культурной и политической жизни. Он утверждал, что беда Китая не в том, что он утрачивает свою национальную сущность, а в том, что ее пытаются сохранить. Ху Ши решительно осуждал тех, кто доказывал преимущества духовной китайской культуры, сам он нигилистически отрицал какие-либо ее достоинства. Философ зло издевался над теми, кто, хотя и признавал материально-техническую отсталость Китая от стран Запада, утешал себя мыслью, что в духовном отношении Китай намного превосходит Запад. Ху Ши заявлял, что Китай уступает странам Запада не только в материальном и техническом отношении и несчастье не только в том, что его политическая система хуже западной, но что Китай ниже других стран и в сфере морали, науки, литературы, искусства, музыки. «Даже по физическому сложению,— восклицал Ху Ши,— мы уступаем людям Запада». На вопрос о том, куда идти — на Запад или на Восток, Ху Ши отвечал безоговорочно — на Запад, ибо «западная культура — это культура трамвая и автомобиля, а восточная — это культура рикши».

Призывы Ху Ши покориться силе «западного ветра» и полностью подчиниться его воле находили определенную аудиторию среди китайской интеллигенции и студенчества, остро переживавших отсталость и бессилие Китая перед лицом империалистических держав, особенно после несправедливых решений Парижской мирной конференции весной 1919 года. Проблемы выбора путей культурного развития страны нельзя было решать в отрыве от проблем политических и социальных. Их тесную связь понимали лучшие представители передовой китайской интеллигенции тех лет. Но многие из них нелегко соглашались на отказ от традиционной культуры, от духовных ценностей прошлого, который в столь категоричной форме предлагал Ху Ши. В центре дискуссии об особенностях культуры Востока и Запада, развернувшейся на рубеже 20-х годов на страницах китайских журналов и газет, оказались, главным образом, вопросы о роли культуры в жизни отдельных народов; о влиянии культуры на социально-экономическое и политическое развитие; о взаимодействии национальных культур и общемировой культуры; о судьбах китайской культуры, о том, можно ли сохранить нацию и ее самобытность без сохранения духовных основ традиционной культуры; наконец, о будущем мировой культуры.

Решение всех этих проблем зависело от понимания того, что, собственно говоря, есть специфика, самобытность, оригинальность китайской культуры, каковы главные отличия культуры Востока (понимаемой, прежде всего, как культура Китая) от культуры Запада.

В дискуссию включились виднейшие публицисты того времени: Лян Ци-чао, Чэнь Ду-сю, Ху Ши, Ли Да-чжао, Лян Шу-мин и другие. Почти все ее участники подчеркивали качественное отличие культуры Востока от культуры Запада. Лян Ци-чао, входивший в состав китайской делегации на Парижской мирной конференции, по возвращении в Китай опубликовал ряд статей, делясь впечатлениями о европейской культуре. Основным ее признаком он считал веру во «всесилие науки». В этом Лян Ци-чао видел и достоинство и порок западной культуры, поскольку, по его мнению, наука несет человечеству не столько счастье, сколько различного рода беды. Надеясь на всесилие науки, человек утрачивает способность к спокойной жизни, дар примирения с судьбой. Наука, по словам Лян Ци-чао, это мираж, который лишь обманывает заблудившегося в пустыне путника, но не помогает ему спастись. Наука заражает людей «материальным духом», они забывают о чистых и справедливых нормах человеческой морали, высоким эталоном которых для Лян Ци-чао были китайские. Западная культура с ее преклонением перед «госпожой Наукой» рождает в людях дух активности, энергии, в то время как восточная культура воспитывает человека в духе рассудительности, помогает обрести «покой и ясность сердца», «успокоение души». Наука, рассуждает Лян Ци-чао, не принесла человечеству покоя и удовлетворенности, она скорее обанкротилась. Китайцев же отличает от европейцев склонность к умеренности, к постоянству, неизменности. Им чужда идея прогресса, умы их обращены к древности, они не тянутся к новому, как это делают европейцы. Лян Ци-чао предостерегал своих соотечественников от соблазна материальных благ, который несет с собой европейская культура, прививающая людям неограниченные желания; он советовал ограничиваться удовлетворением лишь самых насущных потребностей.

В противовес Ху Ши, убеждавшему китайскую молодежь «идти на Запад», Лян Ци-чао призывал уважать и хранить собственную культуру, глубже познавать ее истинную сущность с помощью научных методов Запада. Будущее мировой культуры Лян Ци-чао видел в синтезе восточной и западной культур, в основу которого должна была, по его мнению, лечь культура китайская, превосходящая европейскую по своему духовному и моральному уровню.

Мысль о том, что Запад обогнал Восток лишь в области материальной культуры, но уступает ему в духовном отношении, разделяли в те годы многие китайские интеллигенты. Такова была и позиция выдающегося революционера, знатока европейской и американской культуры Сун Ят-сена. Китай, считал он, должен заимствовать у Европы только естественно-научные и техни-

ческие знания, что же касается политической философии, то здесь Европа должна учиться у Китая.

В ходе дискуссии были сделаны попытки перейти от общих рассуждений о своеобразии китайской культуры к более обстоятельному обсуждению ее особенностей и ее отличий от культуры Запада. Чэнь Ду-сю, Ли Да-чжао, Лян Шу-мин стремились найти в родной культуре именно те черты, которые составляют ее неповторимую сущность, благодаря которой она и отличается коренным образом от культуры Европы и США.

Точка зрения Ху Ши, с откровенным пренебрежением оценивавшего культуру Китая и требовавшего отказаться от восторженного к ней отношения, не удовлетворяла многих китайских интеллигентов, хотя и выглядела в те годы весьма радикальной. Правильно критикуя, как ошибочное, мнение об исключительно духовном характере восточной культуры и чисто материальной сущности западной, Ху Ши высмеивал тех, кто, «сидя на джонке, хвастается своей духовной культурой и насмехается над материальной культурой тех, кто едет на пятидесятитысячетонном пароходе». Ху Ши заявлял, что нечего страшиться утраты национальной культуры, которая давно уже стала «полуживой-полумертвой». Упрекая китайцев в лени, пассивности, глупости, склонности к суевериям, он требовал отбросить старую культуру, признать свое ничтожество, покончить со слепотой и серьезно учиться у Запада, не боясь подражать ему, ибо «подражание — предпосылка творчества». Сводя все дело к разнице в уровнях материальной культуры Ху Ши игнорировал объективно существующие национальные особенности китайской культуры, а это не только закрывало пути к пониманию ее сокровенной сути, выявлению ее самобытности, но и мешало освоению западной культуры. Не зря древние мыслители учили, что нельзя понять другого, не поняв себя. Тотальная «вестернизация», к которой призывал Ху Ши, отрицание традиционной культуры, так же как и другая крайность — поклонное преклонение перед ней его оппонентов, не давали возможности вынести правильное суждение о достоинствах и недостатках культурного наследия.

Резкие выпады Ху Ши против национальной культуры, традиционных этических норм обвораживали китайскую молодежь, студенчество и школьников своей смелостью и решительностью. В то же время его презрительное и нигилистическое отношение к родной культуре никак не отвечало подъему национальных чувств, который охватил китайское общество после подписания Версальского договора, включавшего статьи, оскорблявшие честь и достоинство китайской нации.

Безудержного восхваления всего западного, и прежде всего американского, не одобряли те, кто более решительно, чем Ху Ши, переходил на позиции революционной демократии и смело выступал против патриархально-феодальных устоев старого монархического Китая. Такие образованные люди, как Чэнь Ду-сю и Ли Да-чжао, занимавшие в политике более радикальные позиции, чем Ху Ши, выступали за критическое и одновременно бережное отношение к национальной культуре, стараясь объективно разобраться в ее специфике, установить ее истинную суть. Чэнь Ду-сю, например, различия между восточной и западной цивилизациями сводил к трем пунктам:

1) если на Западе основой жизни наций является война, то на востоке — мир (покой); 2) основой западных наций является индивидуум, основой восточных — семья; 3) движущей силой на Западе является Право и материальная выгода, на Востоке — чувство и показное бескорыстие.

Все это, по мнению Чэнь Ду-сю, и предопределяло специфику идейных течений и культурных систем Запада и Востока[1]. Более детальный подход к проблеме наблюдается у Ли Да-чжао. В статье «Особенности основ цивилизаций Востока и Запада» он набросал целый перечень тех черт, которые, по его мнению, могут дать полное представление об основных особенностях двух различных культурных систем:

Восток	Запад
естественность	искусственность
покой	движение
мир	война
пассивность	активность
склонность к зависимости	самостоятельность
медлительность	стремительность
стояние на месте	прогресс
интуиция	разум
искусство	наука
дух	материя
душа	плоть
обращенность к Небу	обращенность к Земле
гармония с природой	противоборство с природой
покорность природе	покорение природы
жесткость	гибкость
пессимизм	оптимизм
земледелие	промышленность и торговля
кисть	перо

[1] Журнал «Синьцинянь», т. 1, № 4, «Особенности основных идей у восточных и западных наций» (на китайском языке).

Наличие такого рода особенностей различного подхода к жизни, природе и обществу Ли Да-чжао объяснял климатическими условиями: поскольку на Востоке много солнца, климат жаркий, то жители азиатских стран любят прохладу, в то время как в Европе солнце скупое, природа скудная и люди тянутся к теплу, что сказывается на их психологии и характере, идеологии, культуре, религии, политике. Восточные религии, например, зовут человека покинуть мирскую суету, проповедуют уход от жизни, христианство же, с его точки зрения, напротив, требует активного вторжения в жизнь. В политической сфере восточные нации связывают надежды на лучшее с деятельностью героев, сильных личностей, что ведет к укреплению деспотизма. На Западе же люди полагаются на силу общества, нации, что способствует установлению демократии.

Соглашаясь с теми, кто доказывал превосходство западной культуры над восточной, Ли Да-чжао видел слабость китайской культуры в том, что она воспитывает пессимизм, а это противоречит законам развития общества, что она прививает инертное отношение к жизни, пренебрежение интересами отдельной личности, способствует укреплению деспотических порядков.

Вместе с тем Ли Да-чжао считал, что восточная культура обладает и определенными достоинствами, к числу которых он относил способность к проникновению в сокровенные тайны жизни, способность к самоуглублению, развитое чувство внутренней гармонии. Он призывал не сбрасывать со счетов культуру Востока только потому, что в материальном плане она уступает Западу, культура которого тоже не лишена слабостей. По убеждению Ли Да-чжао, обе эти культурные сферы образуют две великие оси мирового прогресса. Как повозка не может двигаться без двух колес, как птица не может летать без двух крыльев, так и общечеловеческая культура не может развиваться без двух своих частей: восточной и западной. Между обеими культурами должна установиться гармоническая связь — дополняя друг друга, они будут постепенно сближаться, идти друг другу навстречу, пока не сольются в единую мировую культуру. Таким образом, в органическом синтезе двух различных культур будет создана новая общемировая культура. Роль посредника между восточной и западной культурами Ли Да-чжао отводил России.

Как видим, Ли Да-чжао, не отдавая предпочтения ни западной, ни восточной культуре, стремился лишь определить характерные свойства той и другой, чтобы наметить пути их гармонического сближения.

Противниками точки зрения Ли Да-чжао и в равной мере взглядов Ху Ши выступали Ку Хун-мин и Лян Шу-мин. Оба они отстаивали мнение об абсолютном превосходстве над всеми другими китайской культуры, основанной на учении Конфуция. Они категорически отвергали самую мысль о возможности сочетания культур Востока и Запада. Ку Хун-мин считал, что культуры, в основе которых лежат, например, идеи христианства, подходят лишь для варваров, детей и женщин. Цивилизованному же миру необходима культура конфуцианская, наделенная всеми необходимыми качествами, чтобы стать единой, универсальной культурой всего мира, основой новой, совершенной цивилизации[1].

Мысль о конфуцианстве как учении, призванном послужить прочной базой будущей мировой культуры, настойчиво отстаивал китайский философ Лян Шу-мин[2]. Согласно его концепции все составные части мировой культуры делятся на три типа: а) китайский, который отличается стремлением к гармонии; б) индийский, устремленный назад, в прошлое; в) западный, особенность которого — движение вперед.

Западную культуру Лян Шу-мин, как и многие другие китайские мыслители того времени, определяет как культуру силы, культуру, направленную на борьбу с природой и подчинение ее человеку. Восточная культура, напротив, стремится к слиянию с природой, «следует естественности», не ставя целью подчинить природу себе.

Вопрос о высоком уровне развития Запада и отсталости Китая Лян Шу-мин решает иначе, чем другие участники дискуссии. Суть проблемы, по его убеждению, заключается не в том, что Китай двигался медленнее, чем Запад, а в том, что шел он в совершенно ином направлении. Если бы страна не подвергалась внешнему влиянию, а была бы предоставлена самой себе, то она не пришла бы к цивилизации западного типа. «Если бы Китай сохранил свою изоляцию от Европы и продолжал проводить политику закрытых дверей, то спустя 300, 500 или даже 1000 лет он не изобрел бы ни пароходов, ни паровозов, ни самолетов и никогда не пришел бы к Науке и Демократии».

Благодаря иному подходу к жизни, к природе, к обществу китайцы, по Лян Шу-мину, выработали собственные критерии и понятия, не идентичные западным. Китайцы, например, не понимают смысла борьбы за равенство и свободу, ибо не представляют себе человеческое общество без иерархического деления. У них вообще отсутствует проблема взаимоотношений между обществом и человеком, существует лишь вопрос об отношении «человек — человек».

Стремление к равновесию, постоянству, скромному удовлетворению материальных потребностей, укоренившаяся привычка довольствоваться тем малым, что есть,— все это, по словам Лян Шу-мина, и объясняет, почему в Китае не возникло ни духа демо-

---

[1] Simone Téry. Fièvre jaune. Paris, 1928, p. 104—105.

[2] Лян Шу-мин. Культура Востока и Запада и их философия. Шанхай, 1921 (на китайском языке).

кратии, ни духа науки. Волновавшие европейцев проблемы соотношения духа и материи, монизма или дуализма мира не занимали умы китайских мудрецов, поглощенных решением конкретных проблем социально-политической жизни.

Будучи идеалистом и в ряде вопросов последователем Шопенгауэра, Лян Шу-мин отвергает учение о решающем значении экономического фактора как движущей силы общественного развития, считая таковой дух, волю. В Китае этот дух и определял неизменность, постоянство социальной жизни на протяжении веков, и «если бы не возникло связей между Европой и Азией, дух китайцев оставался бы прежним, таким, каким он пребывал в течение тысячелетий».

Китайская культура, по мысли Лян Шумина, не знает понятия развития, прогресса. Главное — это поддержание стабильности, порядка, равновесия и в природе, и в обществе. Привычный ход вещей не должен нарушаться. Это не значит, что китайская философия не признает изменений. Нет, учение о переменах, разработанное в каноне «Ицзин», относится к числу древнейших и почитаемых. Но цель перемен должна сводиться к восстановлению нарушенного равновесия; гармония — дисгармония — новая гармония — в этом смысл движения, суть изменений.

В основе китайской культуры, подчеркивал Лян Шу-мин, лежит конфуцианство, главным образом идеи Конфуция о гуманности, о золотой середине, о «следовании естественности», об отрицательном отношении к материальным интересам, выгоде. Именно благодаря тому что учение Конфуция стало стержнем китайской культуры, она сохраняла свои черты на протяжении многих веков. Китайцам, по Лян Шу-мину, чужды понятия борьбы, насилия, для них типичен дух примирения, согласия, гармонии, что и предопределяет долговечность их установок, обычаев, норм, согласно которым ум человеческий был направлен не на постижение внешней среды, а на познание своего внутреннего мира, во имя его совершенствования. Культивируемый на Западе принцип силы тут не поможет, он способен воздействовать на окружение человека, но самого человека он не меняет.

Лян Шу-мин признает, что хотя духовная культура Запада не во всем уступает китайской, в целом она зашла в тупик, у нее нет будущего. Он решительно отвергает мнение Ли Да-чжао о том, что грядущая мировая культура образуется в результате синтеза восточной и западной культур. Для него бесспорным является то, что китайская культура, основанная на конфуцианстве, должна полностью вытеснить западную и стать культурой общемировой. С этим связана судьба всего человеческого общества. Благодаря распространению «китайского пути» будет отвергнут принцип насилия и борьбы и среди людей воцарятся согласие и гармония. Переустройство внешнего мира ни счастья, ни удовлетворения не даст. Чувство материальной неудовлетворенности исчезнет, главную роль будет играть духовная неуспокоенность. Человек устремит свой взор внутрь себя. Эпоха господства отношения «человек — вещь» сменится эпохой господства отношения «человек — человек». Социальная жизнь будет строиться на основах конфуцианского принципа человеколюбия. Приоритет знания уступит место приоритету чувства, ибо «не знание двигает людьми, а чувства и желания»; место разума займет интуиция. Законы будут заменены ритуалами и музыкой.

По мнению Лян Шу-мина, распространение на Западе учения Бертрана Рассела о гильдейском социализме и особенно идеи взаимопомощи «великого мудреца» Петра Кропоткина свидетельствует о том, что Запад становится на путь Конфуция—единственно правильный для всего человечества. В будущем жизнь людей будет такой, какой она была в древнем Китае и какой она представлена в идеале Конфуция. Ни европейский, ни индийский пути не могут быть приняты в качестве фундамента общечеловеческой культуры. «Будущая мировая культура — это возрожденная культура Китая»,— заявляет Лян Шу-мин, ибо «конфуцианство — это не просто идеи, а сама жизнь».

Нетрудно заметить, что участники дискуссии об особенностях культур Востока и Запада в пылу полемики допускали преувеличение одних факторов и принижение других. Они иной раз выпячивали одни черты китайской культуры и совершенно игнорировали другие. Дискуссия проходила в годы, когда в памяти людей свежи были сообщения о кровавых и жестоких сражениях мировой войны, которую в Китае называли европейской. Культура Запада рассматривалась однобоко, характеристики и оценки, даваемые участниками дискуссии, относились к буржуазной культуре, хотя уже тогда в Китае знали о существовании в Европе и Америке другой культуры, демократической и гуманистической.

В ходе дискуссии шел процесс более полного осознавания своей национальной культуры как отличной от западной, причем европейско-американская культура в представлении многих образованных китайцев рисовалась как единое целое. Она не подразделялась на английскую, французскую, немецкую. Иногда лишь выделяли в особую статью русскую культуру. И что самое главное — о социальном, конкретно-историческом подходе к западной культуре речи вообще не было, так же как его не было и в отношении своей национальной культуры. Приукрашивалась китайская конфуцианская культура, она изображалась в весьма розовых тонах. Но и тогда в Китае находились писатели, которые за лицемерными рассуждениями чиновников конфуцианского толка о гуманности, гармонии и справедливости сумели разглядеть их истинную суть. Если Лян Шу-мин был убежден в том, что именно конфуцианство должно стать философской основой всеобщей мировой культуры, то другие китайские интеллигенты категорически отвергали конфуцианство как идеологию, сохранение которой спо-

собно лишь сдерживать и тормозить процесс становления новой китайской культуры. Лу Синь, например, писал о таких гуманистах: «Когда он говорит о принципах справедливости, у него не только губы вымазаны человеческим салом, но и сердце наполнено мыслями о людоедстве»[1].

При всей односторонности подхода к проблеме Восток—Запад, многие участники этой дискуссии сумели подметить, уловить. отдельные черты того национального своеобразия, которое отличает китайскую культуру от европейской. Знакомство со взглядами китайских деятелей культуры, для которых в начале 20-х годов нашего столетия проблема Восток—Запад была и культурной, и социально-политической проблемой, мне кажется, небезынтересно для тех, кто занимается этим вопросом и в наши дни.

Современная наука признает, что единство, общность человеческого мышления складываются из его многообразных форм. В рамках одной нации мы наблюдаем разный подход, разное восприятие окружающего мира у людей неодинаковых профессий, воспитания, происхождения. Художник иначе смотрит на природу, общество, человеческие взаимоотношения, чем ученый или политик. Вкусы, взгляды, мнения и представления — художественные, этические и социальные — различны у представителей разных наций, при всем том, что у них существует общность классовых интересов. Мир современного человека становится все более интернациональным, жителей всех стран и континентов занимают и волнуют часто одни и те же проблемы, к оценке и решению которых они относятся по-разному. Выявить и понять эти отличия трудно, а может быть и невозможно, без глубокого конкретно-исторического изучения традиционной жизненной философии, мировоззрения, этических и эстетических норм других народов.

Нам казалось полезным после тех «типологических» акцентов в проблеме Восток—Запад, которые были сделаны в статье Т. Григорьевой, и того обращения к категории исторического времени, какое читатели нашли у А. Гуревича, дополнить эти интересные поиски указанием на конкретный, социально-исторический и полемический смысл проблемы, какой она приобрела в ходе дискуссии в Китае начала 20-х годов. Дискуссия эта была важным фактором общественного сознания в самой стране, стоявшей в ту пору перед своего рода выбором дальнейшего пути. Она поучительна тем, что затронутые в ней вопросы не утратили своей актуальности и в наши дни. Попытки прорваться сквозь преграды, поставленные национальными традициями — философскими, этическими и эстетическими,— неосуществимы за короткое время. Но они продолжаются, преодолевая препятствия и этические, и эстетические, и политические.

Понять культуру Востока помогают писатели, художники, философы. Внимательное и бережное отношение к их духовному миру, традиционным взглядам на природу, общество и человека будет способствовать лучшему, более глубокому пониманию особенностей социального и политического поведения людей разных наций. То, что обыденному сознанию нередко представляется странным и нелогичным, станет понятным и оправданным.

Друг в представлении древнекитайских мудрецов — «тот, кого знаешь, как самого себя». Это нелегко и достигается ценой определенных усилий. Но без этого не прийти к взаимопониманию и дружбе.

Интересный и нужный разговор, начатый на страницах «Иностранной литературы», не должен, на мой взгляд, прерваться. И хорошо, если в нем примут участие наши друзья из восточных стран.

---

[1] Лу Синь. Собр. соч., т. 1. М., ГИХЛ, 1954, стр. 67.

ГАБОР ГАРАИ

«МОЙ ПИСАТЕЛЬСКИЙ КАБИНЕТ»

Беседа с Иштваном Шимоном

В № 4 нашего журнала за 1975 год было напечатано одно из интервью Иштвана Шимона — с Йожефом Дарвашем. Целая серия — около полутора десятков — интервью с ведущими деятелями современной венгерской литературы вводила радиослушателей (а впоследствии и читателей) в творческую лабораторию виднейших писателей и поэтов и снискала широкую популярность зачинателю и неизменному организатору этих бесед Иштвану Шимону Имя замечательного венгерского поэта хорошо известно советскому читателю. Вместе с венгерскими почитателями его таланта мы глубоко пережили преждевременную смерть Иштвана Шимона 7 июля 1975 года. В сентябре 1976 года ему исполнилось бы пятьдесят лет...

Интервью, взятое у И Шимона видным поэтом генеральным секретарем Правления Союза венгерских писателей Габором Гараи, было передано по радио 19 августа 1973 года, а затем напечатано в № 9 журнала «Кортарш» за 1975 год.

Г. Гараи. Мы находимся в кабинете — рабочем, писательском кабинете—Иштвана Шимона, в доме по улице Валленберга, поблизости от Большого кольца, а стало быть, в центре Будапешта. И все же у меня такое ощущение, что эта комната — тихое, укромное место, проникнутое тем же спокойствием, уравновешенностью, надежностью, которыми дышит поэзия Иштвана Шимона. Я не впервые здесь, в этой комнате, но сейчас я как бы заново осматриваюсь, чтобы понять, какова тут обстановка и атмосфера, что окружает Иштвана Шимона, когда он пишет. Окружение его, естественно, составляют книги, размещенные на очень простых, удобных стеллажах, письменный стол небольшого размера, а две театральные афиши по стенам заставляют вспомнить, что не так давно Иштван Шимон, следуя Петефи и строго придерживаясь жанровых особенностей оригинала, вторгся в мир театра. Обе афиши объявляют постановку пьесы «Сельский молот»[1]. Вот, пожалуй, и все, что по первому впечатлению могу сказать об этой комнате. Уютная обстановка и одухотворенная атмосфера — сам писательский кабинет, повторяю, внушает ту же спокойную уравновешенность и гармонию, что так характерны и для поэзии Шимона.

Иштвана Шимона я знаю не первый день, я знал его даже раньше, чем сам я ступил на стезю поэзии. Помнится, мне было неполных девятнадцать, шел 1948 год, я готовился к экзаменам на аттестат зрелости, и стихи мои в то время читались только в

[1] В нашем журнале в № 8 за прошлый год были опубликованы стихи из последнего сборника Иштвана Шимона и статья В. Лакшина о его творчестве.

[1] «Сельский молот» — пародийная поэма Шандора Петефи, высмеивающая традиционный жанр лжегероического эпоса. И. Шимон создал сценический вариант этого произведения. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

кружке самодеятельности, а Иштван Шимон уже заслуженно слыл признанным и любимым поэтом, и через несколько лет, в 1955 году, ему присудили премию имени Кошута. Однако в дальнейшем, по мере того как шли годы, мы все больше сближались, сделались, можно сказать, сверстниками, и не просто по той причине, что разница в возрасте между нами не велика, но и потому, что — как мне кажется — с течением времени мы стали ближе друг другу в духовном смысле благодаря общим заботам, общности поэтических устремлений и общим выступлениям на литературной арене. Эстетический и моральный долг объединил нас, и потому теперь я решаюсь обратиться к Иштвану Шимону как к своему другу и хочу сразу же задать вопрос — не только от имени тех, кто знает поэта заочно, по его стихам, но и от себя лично: какое чувство испытывает человек, помнящий, что у него есть родное село. Я задаю этот вопрос потому, что сам я родился в Будапеште, и хотя, конечно, в городе есть такой район, который я считаю родным, но все же применительно к нам, урожденным будапештцам, немыслимо представить, например, такую ситуацию: встречаю это я где-нибудь на Большом кольце земляка, и земляк обещает мне свою помощь. Так какое же это чувство, когда человек помнит, что у него есть родное село?

И. Шимон. Я всегда с теплотой вспоминаю о своем родном селе. И действительно, у меня такое чувство, будто это подарок судьбы: то, что я родился в небольшом, расположенном вдали от Будапешта селе, провел там детство и даже юность. Чтобы выразить сжато, скажу: чувство это очень радостное. Думаю, тебе интересно услышать почему. Мы с тобой оба находимся на службе у поэтического слова. И тебе тоже известно, что стоит оглянуться на традиции венгерской литературы — на те самые, что впитаны нами в детстве, в годы учения,— как становится ясно: насколько это важно, если поэт откуда-то приходит. Я хочу сказать, важен не сам факт, где человек родился, в Пеште или, скажем, в Кишкёрёше[1], если уж говорить о великих поэтах, существенно другое: какой мир несет с собою поэт.

В начале сороковых годов, когда я, будучи школяром, только начинал писать, я понял, что в литературе, помимо утверждения идеалов прекрасного, поэта ждет еще более величественная задача. А именно: из того малого мирка, откуда вышел сам поэт, создать, вылепить словами такой мир, чтобы был он самобытным, автономным и потому добавил бы нечто новое к той целостной культуре, которую народ может назвать своей. Ну так вот, именно с этой точки зрения — раскрытия нового мира — жизнь родного села я считаю бесценным источником, хотя недавно минуло двадцать пять лет, как я насовсем покинул его. Правда, мне случалось и раньше довольно долгое время жить вдали от села, но не по своей воле. На деле же я расстался с ним в июле 1948-го, когда окончательно уехал из родных мест. И все-таки именно благодаря внутреннему убеждению, что мне доступен этот бесценный источник, меня никогда не покидало чувство, будто я оставался там — во всяком случае мыслями и душою,— в Бажи, моем родном селе. Пожалуй, я мог бы еще добавить, что примерно в 1948 году, когда мы начали печататься здесь, в Будапеште, мы и тогда вполне осознанно стремились продолжить традиции нашей национальной литературы и уже тогда считали себя социалистическими поэтами. Но те перемены, что совершались на наших глазах, мы и не могли бы выразить в слове и образе иначе, как «через свое родное село». Итак, в те годы мы несли в литературу свои поэтические идеалы, а кроме того, самые непосредственные жизненные впечатления, с какими мы пустились в путь из нашего маленького родного мирка.

Г. Гараи. Мне кажется, можно сказать, что Иштван Шимон прославил свое родное село. Недавно, когда я впервые в жизни побывал в Бажи, у меня сложилось впечатление, что село это — упорное и терпеливое, стойкое его терпение напомнило мне Иштвана Шимона. Видишь ли, я всегда чувствовал, Пишта, что и в тебе живет такое же огромное, кроткое и упорное терпение: поэтому ты идешь в литературе своей поэтической тропой, и никакие модные веяния не в силах сбить тебя с истинного пути. Сегодня ты продолжаешь то, что начал, и если у тебя и возникают вполне оправданные и необходимые изменения поэтической интонации, то, по сути говоря, цель твоя остается неизменной. Ведь, мне кажется, ты и сам согласен, что твоя поэзия имеет практический смысл и, можно сказать, практическую направленность.

И. Шимон. Прежде всего, что касается моего села... Вот ты говоришь, что оно, с его единственной длинной улицей, показалось тебе упорным. Истина же заключается в том, что жизнь наша действительно была очень трудной. Не в том смысле, что лично мое положение было чрезмерно тяжелым, нет. Мои родители в том селе — относительно, конечно,— были не из самых бедных: ведь они даже имели возможность учить меня. У нас было шесть хольдов земли. В те времена, в конце тридцатых годов, это кое-что да значило. Жизненные трудности выражались в том, что тогда каждому на селе приходилось вести повседневную беспощадную борьбу ради самого существования, просто чтобы выжить. А для этого необходимо было упорство. Хотя я рос среди землепашцев, в крестьянской семье, у которой была своя земля, но с детства видел мир подневольного труда. Поместья князя Фештечича и владения вес-

[1] Родина Шандора Петефи.

премского епископа со всех сторон замыкали наше маленькое — в одну улочку — село, точно крохотный островок. Тогда еще я почувствовал, понял, испытал на собственной шкуре, что в жизни ничего не дается даром Человек должен оставаться верным самому себе.

В тех краях были живы старинные культурные традиции. Нет, я имею в виду не литературу, ведь в то время во всем селе, по-моему, кроме нотариуса, учителя да меня, никто больше не держал книг. Зато берегли памятники времен Паннонии и венгерского средневековья Как ты помнишь, из нашего села видны развалины трех крепостей: Шюмег, близ села — Татика, а чуть подальше — крепость Рези. Итак, не только сам по себе край был необыкновенно живописен, но, кроме того, на образ жизни и духовный мир коренных жителей тех мест в значительной мере влияло это живое присутствие истории — ощущение, которое они, пожалуй, не могли бы выразить словами, но тем не менее оно передавалось от поколения к поколению. Верно и другое: писать я действительно начал для того, чтобы попытаться — если пороху хватит — представить в венгерской литературе именно этот мир и этих людей. Насколько мне известно, Габор, ты заканчивал гимназию в Будапеште, я же — в Шюмеге По части учебной программы между гимназиями вряд ли была разница, но вот в условиях жизни — наверняка, и немалая! Я ездил на велосипеде из Бажи в Шюмег и по дороге, вспоминая отрывок из Тацита или раздумывая, как правильно ответить по математике, я на каждом шагу встречал батраков за плугом, обгонял медленные, запряженные четверкой волов крестьянские повозки Эти беглые, чисто внешние приметы жизни тех мест и времен глаз мой впитал навечно. Стереть их из памяти невозможно

В январе не то феврале 1944 года вышел первый мой маленький сборничек стихов. А знаешь ли, как я начал писать? Вкратце расскажу Поначалу я делал наброски, пытался рисовать, но необходимых для рисования принадлежностей дома не было, не было и достаточных средств для «дальнейшего развития», а потому живопись меня уже не удовлетворяла В ту же пору я познакомился с поэзией Дюлы Юхаса, Аттилы Йожефа, очень любил я стихи Петефи и тут сделал для себя поразительное открытие: вот ведь наши великие поэты умели живописать словом! И тогда я тоже попробовал обрисовать, выразить словами свои впечатления о родном крае, свои чувства и настроения Так я начал писать стихи. Мое увлечение заметил местный учитель, а после него — Иллеш Анти, священник из соседнего села. Оба они в те военные годы много внимания уделяли нам, молодежи, крестьянским ребятишкам. А поскольку я, пожалуй, знал больше других своих сверстников, учитель и священник попросили меня сделать доклады о литературе, в первую очередь, естественно, о «народных писателях»[1]. Помню, как по вечерам, при свете керосиновой лампы я рассказывал о Дюле Ийеше, Петере Вереше, Пале Сабо. Нам предоставили дровяной сарай при школе, и мы, как могли, приспособили его для своих целей, для литературных собраний. Да, это были незабываемые впечатления! Интересно отметить, что священник — теперь его уже нет в живых, я был на его похоронах в Пештэржебете — давал мне читать не книги религиозного содержания, а произведения «народных писателей», в том числе и «Люди пушты» Дюлы Ийеша На меня эта вещь произвела неизгладимое впечатление. До тех пор я считал, что литературным героем может быть лишь тот, кто свершил какое-нибудь великое деяние. И вдруг я увидел, что сидящие рядом со мной за партой мальчуганы с хуторов — тоже в своем роде литературные герои: ведь ребятишки из «Людей пушты» жили той же самой жизнью, что и они. Таким образом я открыл для себя истинное призвание литературы... Жизнь моего родного села Бажи не только дала содержание моим стихам, от него же идут истоки моей убежденности, что я как поэт поверю в собственные силы, поверю в дело рук своих только в том случае, если останусь предан людям того села и в глазах у них буду всегда читать те же чувства и мысли, которые легли в основу какого-либо моего стихотворения или прозаической вещи.

Г. Гараи. Все сказанное тобою подкрепляет мое убеждение, что избрание тебя депутатом парламента, собственно говоря, лишь «узаконило» фактическое положение вещей Ведь поэт, сознающий долг свой — быть выразителем чаяний народа,— тем самым уже становится представителем народа, его депутатом Но это узаконенное, официальное представительство все же, должно быть, прибавило тебе забот и увеличило личную ответственность. Скажи, в связи с твоим новым положением не породила ли у тебя, как у поэта, внутренних противоречий такая проблема: как дальше развивать тему, начатую тобою в сборнике «Недостаточно»? Не возникало ли у тебя порой мысли, что поскольку теперь ты занимаешь высокий общественный пост, тебе следует сдерживать собственную неудовлетворенность по поводу того, что кое-что делается все еще «недостаточно»?

И. Шимон. Внутренних конфликтов во мне это не вызывало, ведь стихотворение «Недостаточно» я писал в 1954 году, соотносительно с весьма сложной исторической ситуацией Но девять лет спустя ситуация в корне изменилась, и мне — в водовороте депутатской работы — порой даже некогда было особенно задумываться, что теперь у меня иные задачи, чем были раньше. И если я недоволен чем-либо, то свою неудовлет-

[1] Направление в венгерской литературе в середине 30-х годов XX века, характеризующееся интересом к социальным и политическим проблемам крестьянства, в котором «народные писатели» видели главную движущую силу национального развития.

воренность мне, естественно, совсем необязательно выражать именно в стихах — теперь, когда у меня есть возможность решить проблемы каким-то иным путем. Но это отнюдь не означает, что теперь мне недоступно чувство неудовлетворенности или что моя депутатская совесть взбунтовалась бы против него. Я и сам сознаю, что свою общественную работу и поэтическую потребность в самовыражении я не мог бы обособить друг от друга. У меня во всем так, и, видимо, это определяется уже самой моей натурой: любое дело, любой вопрос не дает мне покоя до тех пор, пока я не нахожу для себя его решение. Если решение данной проблемы в моих силах, то, естественно, выражается ли оно в стихах или проводится мною на практике — в любом случае это доставляет мне приятное чувство удовлетворения. Но, конечно, есть свои особенности, связанные с моим теперешним положением депутата: совсем не одно и то же решать ту или иную проблему изнутри или же оценивать ее со стороны. Когда речь идет о близкой мне по характеру и специфике общественной проблеме, то понятно, что я имею право и возможность вмешиваться, используя определенные каналы, вплоть до того, что выступаю в парламенте. Но это еще не означает, что задачи нашего общества не волновали бы меня настолько, чтобы не возникало потребности, скажем, излить душу в стихах. Ведь одно дело жить заботами определенного избирательного округа и совсем другое — видеть перед глазами всю страну в целом, с ее общественными проблемами и перспективами развития. Если смотреть с этой точки зрения, то я не ощущаю внутренних конфликтов. Разве что не сразу хватаюсь за перо, а поначалу пытаюсь найти практическое решение на данный момент. Бывает и так: решение найти удается, но тогда отпадает надобность в стихотворении.

Г. Гараи. Все, что ты сейчас сказал, в какой-то мере напоминает строки одного из лучших твоих стихотворений «Решето летает»: «...проворные ладони, с яростью какой-то злой» выполняют трудовую нашу миссию. И если я правильно понимаю, эти «ладони» не противопоставляются друг другу, обе они способствуют тому, чтобы «охвостье шло птицам», а чистое зерно оставалось посевам. Я цитирую тебя не дословно, а по смыслу. Но позволь мне возвратиться к теме, затронутой «мимоходом»: ты упомянул о том времени, когда ты вступил на литературное поприще и, по-моему, буквально выразился так: «...когда мы выступили в сорок восьмом...», то есть не в первом лице единственного числа, а от имени какого-то коллектива. Я полагаю, ты имел в виду не обширную когорту учащихся народных коллегиумов, но более узкую группировку — тех своих собратьев по перу, кто «стартовал» одновременно с тобою. Любишь ли ты вспоминать те времена?

И. Шимон. 1948 год действительно был поворотным в моей жизни... Странным образом, против всякой воли и желания — ведь этого не хотел никто из так называемых «простых людей» — восемнадцатилетним парнишкой и я оказался втянутым во вторую мировую войну, хотя и к самой развязке событий. В результате мне пришлось довольно долгое время провести вдали от дома, в плену на Кавказе. Когда я вернулся домой и сдал экзамены на аттестат зрелости, все мои стремления были направлены к тому, чтобы в обновленной стране, в формирующемся новом обществе найти свое место. Наверное, в ту пору я не лишен был некоторой наивности. Помнится, во время жатвы на поле мать собирала снопы, а я — за нею — связывал их, и вот мать спросила меня, что, мол, собираешься делать. Я и выпалил: «Так, мол, и так, мама, завтра я уезжаю в Будапешт».— «С чего это вдруг — да в Будапешт?»—«Я так решил, соберите мне чего из барахлишка с собой. Надо приглядеться, может, и для меня там какое дело найдется. Очень хотелось бы попасть в университет...» Ну, а поскольку три года почитай что выпали у меня из жизни, я и не знал толком, какие перемены произошли за это время, не испытал на собственном опыте. Поэтому я отправился на завоевание мира этаким сказочным простаком. В Будапеште, в коллегиуме имени Аттилы Йожефа, я очень скоро смог убедиться, что не только один я был в таком положении, но и та молодежь, что была принята на философский факультет, в особенности же на литературное отделение. В первый же вечер, ложась спать в общежитии, я увидел на соседней койке молодого челозека с усиками, с густой шевелюрой. На тумбочке лежал номер журнала «Валошаг», и знакомые этого молодого человека обсуждали журнал. Прислушавшись к их разговору, я сообразил, что этот черноглазый и темноволосый молодой человек — автор и что его стихотворение напечатали в журнале.

Это был Ференц Юхас, так мы с ним познакомились и разговорились. Оказалось, что и он тоже намеревается стать поэтом. Затем я там же встретился и с Ласло Надем. Он раньше, года за два до того, приехал в Пешт, и стихи его тогда уже пользовались известностью. Кроме того, в коллегиуме я познакомился и с Дюлой Тотом, а позднее, когда перебрался в коллегиум Этвёша, столкнулся с молодыми поэтами, чьи стихотворения уже печатались в «Валасе» и других журналах: с Андрашем Фодором, Ласло Латором, Имре Сасом, который тогда писал не прозу, а стихи. Переняв их опыт, теперь и я примерно представлял, что мне нужно делать, а именно: в первую очередь завязать контакты с редакциями. И вот, если память мне не изменяет, в конце 1948 года я отнес свои стихи в редакцию журнала «Чиллаг» и в следующем же номере было напечатано мое стихотворение. Затем мои стихи регулярно публиковались и в журнале «Чиллаг», позднее — в «Уй ханг»,

а там один за другим стали выходить и отдельные сборники.

Почему это было так важно для меня? Ты, Габор, хорошо знаешь, что мы, как говорится, биографией вошли в литературу. И это естественно, ведь мы выросли в классовом обществе, и определенное классовое сознание было живо в нас. Мы читали и любили тех своих непосредственных предшественников, кто представлял трудовые классы: Аттилу Йожефа — пролетарского поэта, Дюлу Ийеша и Петера Вереша — выразителей интересов крестьянства. Одним словом, тогдашнее среднее поколение, служа нам до известной степени примером, как бы подсказывало, что нам делать. И в то же время мы видели и на себе испытывали те гигантские перемены, что произошли в стране. Таким образом эти поиски своего места носили двойной смысл; но я чувствую, что какие бы трудности ни достались нам в удел позднее, мы, выступившие в 48-м, собственно говоря, можем быть благодарны судьбе: ведь нас так много ждало впереди, все дороги были открыты — «зеленая улица». Мы пришли с твердым намерением выложить на стол все, что припасли в торбе, ведь мы поистине представляли бедный люд, освобожденный народ, и представляли при таком строе, когда нам за это не грозили ни хула, ни наказание. Если просмотреть вышедшие в 1948, 1950, 1952 годах сборники, то увидишь, что по известным причинам в них встречается и немало слабых, написанных по шаблону стихотворений, но я и теперь, по прошествии лет, чувствую, что само намерение авторов во всех случаях было благородным и чистым. Мы искренне стремились осуществить поставленную перед нами цель, именуемую созданием социалистической литературы.

Вот так и попал я в ту группу молодежи, которая с начала 50-х годов выступила как молодое поколение поэтов и вскоре завоевала довольно широкое «жизненное пространство». Среди писателей старшего поколения были такие, кто в силу тех или иных причин тогда не писал или не мог писать, так что даже если журналов было и мало, то перед нами — я спокойно могу говорить об этом задним числом, поскольку и сам я пользовался этим преимуществом,— были открыты все двери.

Г. Гараи. Этот период в литературе проходил под лозунгом «Наше знамя — Петефи». Я знаю, что тебя с детства влекла поэзия Петефи, и потому для тебя не было нужды в специальном призыве, чтобы любить его. Тебя это ничуть не сковывало. И дело тут обстояло вовсе не так, что был выдвинут лозунг и ты послушно следовал ему, а просто не было внутреннего противоречия между естественным звучанием твоих стихов и требованием современного переосмысления народности Петефи.

И. Шимон. Могу сказать, что я считал этот призыв вполне естественным, ведь я был студентом и в тонкостях политической, идеологической жизни был не слишком-то искушен. Да они меня не очень и интересовали. Я хотел писать. Мой поэтический голос, язык, система образов были таковы, что лозунг «Наше знамя — Петефи» не вызывал во мне каких-либо творческих конфликтов. Как я уже упоминал, с самого начала сороковых годов, когда я только пробовал писать, я интуитивно избрал ясную, доступную манеру изложения поэтической мысли; поскольку я рос на селе, среди крестьян, у меня навсегда сохранилось внутреннее убеждение, что если я хочу обращаться к народу, говорить нужно так, чтобы меня понимали.

Теперь о Петефи... На меня, тогда еще подростка, очень сильное влияние оказали Петефи, Арань, то есть крупнейшие реалисты прошлого века. Да оно и понятно. Вспомним, какие книги попадали в руки деревенским ребятишкам? Собственно говоря, мы выросли на грошовых, тоненьких изданиях Петефи, только их и можно было достать. Понятное дело, что, к примеру, в 1942 году в захолустном Бажи мне никак не мог попасть в руки томик Костолани, и даже с поэзией Ади я смог познакомиться только случайно. Помню, как один паренек из нашего села — он ходил на учительские курсы в Кёсеге — дал мне почитать стихи Ади. Впечатление было ошеломляющим, первые недели я просто не мог прийти в себя, в уме моем вдруг все смешалось. Ведь до тех пор я знал лишь одного поэта — Петефи.

Не менее сильное впечатление осталось после знакомства с поэзией Аттилы Йожефа. Так что оценивая мои первые стихи с точки зрения влияния на них Петефи, можно говорить о таком влиянии прежде всего в том смысле, что я стремился показать мир простых людей — «маленького человека» — и в малой эпической форме. С точки зрения поэтической техники, то есть характера рифмы и внутренних атрибутов стиха, на меня очень сильное влияние оказывал тогда Аттила Йожеф, хотя в начале 50-х годов Аттилу Йожефа и не провозглашали знаменем. Вернусь к прежней мысли. Подчеркиваю, что лично я не считал, что этот лозунг меня сковывает; я считал вполне естественным, что Петефи — это поэтический образец, которому надо следовать. Мне не говорили этого ни при Хорти, ни в 1943-м, и все же уже тогда для меня он служил образцом для подражания. Однако в тот период, о котором идет речь, и я пережил некоторый внутренний конфликт. Если позволишь, я, пожалуй, расскажу тебе одну историю. Она может пролить свет на обстановку тех лет.

В то время вопросами идеологии занимался Йожеф Реваи. Я очень уважал его, почитаю его и сейчас как весьма умного и чрезвычайно одаренного человека. В 1952 году, окончив университет, я стал журналистом, работал в отделе культуры газеты «Сабад неп». Так что имел возможность не раз лично встречаться с Реваи. Когда он узнал, что я и есть тот самый Иштван Шимон, который пишет стихи, то как-то на одном приеме сказал мне:

— Послушайте, Шимон, я знаю ваши стихи, читаю их. Отчего бы вам не писать побоевитее? Вам всегда есть что сказать, но у меня такое ощущение, будто вас что-то сдерживает. Будьте смелее, чуточку боевитее! (Он употребил именно это слово.) Сейчас нам это крайне необходимо. (Не следует забывать, что дело происходило году в 52—53-м.)

— Видите ли, товарищ Реваи, мне кажется, я пытаюсь отразить действительность.

— Ну, конечно, действительность! Только ведь действительность предполагает многообразие явлений, а вы, будучи человеком несколько миролюбивого склада, отражаете, на мой взгляд, лишь видимую, поверхностную сторону народной жизни. Значительные политические явления опущены в ваших стихотворениях.

— У меня вроде бы нет такого ощущения,— ответил я.

— Ступайте-ка вы на заводы, приглядитесь к рабочему классу, это вам очень поможет.

— Да я бы с удовольствием, но ведь я в жизни своей не переступал порога ни одного завода.

— А вы попробуйте и вот увидите, вам удастся приблизиться к жизни!

Про себя я удивился такому предложению, но я очень верил товарищу Реваи. Меня одолевали сомнения: а ну как и вправду я недостаточно знаю жизнь и неверно передаю даже собственное пережитое. И тогда я твердо решил, что еще докажу: я тоже умею писать такие «жизненные» стихи, которые выхвачены из самой гущи действительности, вскормлены ею. Случилось так, что мой младший брат, демобилизовавшись из армии, пригласил меня навестить родные края. Брат задумал жениться, а в ту пору еще держался обычай представлять нареченную всей родне. Короче говоря, отправились мы из Бажи в Немешбюк, к будущим родственникам, на смотрины. А когда пришла пора возвращаться домой, я задержался в селе еще на некоторое время. Как сейчас помню, был второй день рождества. Мне пришли на память слова Реваи. Ну, думаю, уж более жизненных впечатлений, чем эти, у меня и быть не может. Тут и народная жизнь, тут и мои собственные наблюдения. И тогда я за один присест написал «С младшим братом на смотрины», и это стихотворение месяц спустя было напечатано в журнале «Чиллаг». Пожалуй, это было первое мое стихотворение, которое привлекло к себе внимание — и не только литераторов, но и широкой публики.

Шли дни и месяцы. И вот мы снова встретились с Йожефом Реваи.

— Прочел я ваше последнее стихотворение,— говорит он,— но вы ведь совсем не так меня поняли. Я нисколько не сомневался, что вы умеете писать такие стихи. Но где тут боевитость? Могли бы вы быть и чуть посмелее...

Уже тогда я почувствовал, что из-за злополучного моего характера, о котором ты упоминал в начале нашей беседы, из-за своего рода упрямства не могу я себя переделать в угоду сиюминутным требованиям. Я не мог писать о таком, что я сам в глубине души не считал бы жизненно верным, пережитым мною. Однако критика тех лет говорила обо мне, что я — поэт «идиллический», и, признаюсь откровенно, это было неприятно, так как в ту пору такое определение считалось бранным эпитетом.

Г. Гараи. Вот и у меня напрашивался вопрос: как ты сам относишься к подобному определению?

И. Шимон. Охотно отвечу. Что такое идиллия, как я это себе представляю? Это значит, что поэт, не считаясь с условиями действительности, создает настроение покоя в угоду людям, жаждущим отдохновения, встречи с прекрасным. Меня же в ту пору волновали вполне реальные общественные проблемы Стоит упомянуть, к примеру, стихотворение «Звенит пила», где показан глубокий конфликт двух поколений. Нас двое — отец и я, стоя друг против друга, каждый тянет пилу на себя, и оба мы понимаем, какой это тяжкий труд. Стихотворение представляет собою иносказательный диалог — следует помнить, что эта вещь написана в 1951 году в очень сложной ситуации, точно так же как и «Бухенвальдская рапсодия». У меня нет желания прихвастнуть, это было бы нескромно с моей стороны, но, пожалуй, есть основания утверждать, что я одним из первых попытался столь глубокие общественные конфликты отобразить в стихотворной форме как личное переживание.

Г. Гараи. Теперь я могу задать тебе вопрос: в чем ты усматриваешь практическую пользу поэзии? И вообще веришь ли ты в то, что поэзия может иметь чисто практический смысл?

И. Шимон. Я верю в то, что сложную действительность, которая нередко представляется лабиринтом, можно сделать для людей понятнее, яснее, с помощью правдивых, хороших стихов. Тот или иной период в литературе или поэзии лишь тогда можно назвать по-настоящему ярким, богатым, если созданные за это время произведения всесторонне освещают сложную, разноречивую действительность. Стало быть, я принадлежу к числу поэтов, кого не раздражает то, что существуют другое мировосприятие и другие поэтические голоса. На мой взгляд, это естественно. Теперь о «пользе» поэзии. Я и до сих пор считаю самым высоким художественным уровнем реалистическую поэзию, помогающую читателю постигать реальный мир. И даже не будь я сам поэтом, я все равно считал бы так, потому что питаю пристрастие к стихам именно такого типа. Ну а поскольку и сам

я причастен к поэзии, то тем более ратую за то, чтобы поэт активно воздействовал на читателей, помогал людям, давал ответ на волнующие их вопросы. Конечно, в наш век широкого распространения литературы и среди многообразия конфликтов нелегко пытаться как-то выделить, обозначить конкретную пользу определенного стихотворения. Каждый поэт пытается сделать это по-своему. Но самое главное, чтобы художник по крайней мере не утрачивал чувства достоверности того, о чем пишет, что́ сам испытывает, что говорит. Поясню на одном примере. Зрини [1] сказал: если сабля твоя коротка, удлини ее на один шаг. В поэтическом творчестве короткую саблю нельзя удлинить, сделав шаг вперед. Тут весь секрет в том, что содержание художественного произведения и внутренняя убежденность художника должны совпадать абсолютно. А если такого совпадения не происходит, то читатель непременно почувствует это. Я лично убежден, что если в литературе господствует здоровое общественное мнение, то в таком случае подлинная, искренне прочувствованная и пережитая поэзия почти неизбежно оказывает превалирующее влияние на общество, одним словом, не проходит незамеченной.

Г. Гараи. Испытываешь ли ты необходимость в личном переживании для того, чтобы написать стихотворение? Я задаю этот вопрос не случайно. Несколько лет назад один из весьма уважаемых мною критиков провел своего рода классификацию в венгерской поэзии, причем странным образом решительно отделил тебя от упомянутых тобою собратьев по перу, тех, с которыми ты одновременно выступил на поэтическом поприще. Мотивировка была приблизительно такова: вот ведь есть в наше время и такие поэты, кто не является сторонником высокого интеллектуализма, народного сюрреализма или других ультрасовременных тенденций, а создает своего рода поэзию живого впечатления; к их числу относится и Шимон Не кажется ли тебе такое определение уничижительным?

И. Шимон. Отнюдь нет! Ведь если счесть его уничижительным, можно, чего доброго, зачеркнуть три четверти венгерской поэзии, созданной за семь столетий. Или, во всяком случае, снабдить ее уничижительным ярлыком. Это не так-то просто. Восемнадцать лет опыта редакционной работы позволяют мне судить о том, как формируются определенные настроения в критике, каким образом «навешиваются» ярлыки Мне кажется что этим настроениям, этим «веяниям» больше подвержена наша критика, нежели писатели и поэты. С критиками бывало и так: что в одни периоды считалось позитивным, то может моментально видоизмениться и получить уничижительную характеристику.

Испытываю ли я творческую необходимость в непосредственно пережитом и прочувствованном? Я не могу себе представить высокоинтеллектуальное стихотворение, которое не было бы порождено каким-либо впечатлением, переживанием. Даже работа мысли, интеллектуальное напряжение — это уже само по себе сильнейшее впечатление. Я знаю, что с тобой я могу свободно говорить на эту тему, ведь и результаты твоего творчества не раз «раскладывали по полочкам»: то ты оказывался «интеллектуальным» поэтом, то вместе с нами причислялся к «пишущим под впечатлением». А по-моему, так недюжинный интеллект необходим как для того, чтобы человек познавал окружающий мир, то есть травы, деревья, животных, жизнь людей, иными словами, непосредственную реальную действительность, так и для того, чтобы превосходно разбираться, скажем, в поэзии Верлена или английской поэзии елизаветинской эпохи. Поэзию можно считать оригинальной, самобытной лишь в том случае, если она несет с собою аромат родной земли, родной почвы, если поэт создает свой собственный мир; при этом меня совершенно не интересует, создан ли этот мир поэта в жестоких душевных муках, или какие-то эфемерно-легкие переживания, мимолетные впечатления заронили то зерно, из которого выросло поэтическое произведение. В этом смысле я отвергаю излишне прямолинейное деление на подобные категории, а для нашей критики подчас характерно стремление любой ценой втиснуть в эти категории поэзию, возникающую подобно живому организму, то замирающую, то воскресающую вновь, вместо того, чтобы изучать внутренние законы поэзии и каждого поэта рассматривать как суверенную индивидуальность. По-моему, критике надо всерьез пересмотреть свои позиции, иначе поэзия — и возможно, именно та лучшая часть ее, которая знай себе делает свое дело потихоньку, не привлекая к себе внимания,— отойдет от нее. А между тем в литературу войдут, пожалуй, именно эти «тихие» стихи, а не те, о которых каждый критик, а тем более желающий заработать себе имя, упоминает по обязанности. Соблюдение протокола здесь оборачивается только во вред делу, думаю, тут ты со мной согласен. Не люблю я эту тягу к протоколу, не любил и в пятидесятые годы. Слава богу, я и тогда не был зачислен в протокольный список, поскольку, как я говорил раньше, считался поэтом «идиллическим». А потом, в шестидесятые годы, я заметил, что вдруг стал «боевитым». И скажу откровенно, к сожалению, это писали обо мне одни и те же критики — как в пятьдесят третьем, так и в шестьдесят третьем годах. Но это не значит, что я изменился, а по-видимому, сдвинулся круг, вращающийся около меня.

Г. Гараи. Или, скажем, изменилась мода, она всегда меняется. Но, по-моему, ты — поэт удачливый. Ведь если при очередном литературном поветрии кому-то захочется осудить интеллектуальную поэзию, то ты попадешь и под эту волну. Из-под твоего

---

[1] Миклош Зрини (1620—1664) — видный венгерский поэт, политический деятель, полководец.

пера вышли «Гимн разуму» — вдохновенное, непреходящей ценности стихотворение, а также любимый мною цикл сонетов «В вечном круге» — а уж это ли не интеллектуальная поэзия! Я употребляю это определение в лучшем его смысле, а вовсе не для того, чтобы продолжить раскладывание поэзии по полочкам. Для настоящего поэта любая полочка тесна... Однако один вопрос здесь все-таки встает, а именно: при всей моей любви к твоим стихам порою у меня возникает чувство, будто в побудительных мотивах твоей поэзии, которые ты сам возводишь к лирической страстности Аттилы Йожефа, словно бы отсутствует «хождение по мукам». Скажи: ты сознательно или из врожденной застенчивости избегаешь катарсиса, изображения внутренних страданий? Что бы ты ответил, если бы я, уподобясь эдакому профану или, напротив, желая «поддеть» тебя, спросил без околичностей: скажите, вы всегда пишете с легкой душой? Вы никогда не испытываете страданий? Всегда счастливы? Вам всегда все удается?

И. Шимон. Твой вопрос вполне правомерен. В течение ряда лет я не встречал почти ни одной критической статьи, где не утверждалось бы, что я «целомудренно-застенчив», стремлюсь к гармонии, больше склонен замечать хорошее, нежели плохое, и что я избегаю конфликтов. Ну так истина как раз в обратном. По крайней мере, таково мое убеждение... Я всегда теряюсь, когда мне приходится вот так раскрывать себя, говорить о самом своем сокровенном... Я мучительно страдаю, когда вижу, чувствую какой-либо конфликт или нерешенную проблему и пытаюсь передать их средствами стиха. И страдаю именно тогда и потому, когда сознаю, что интересной, действительно волнующей эта проблема может предстать лишь через яркий художественный образ, то есть в завершенном стихотворении. А в процессе написания я должен в душе переболеть и перемучиться всеми стадиями конфликтной ситуации именно потому, что они не попадают на бумагу и не видны, поскольку в готовом стихотворении я даю уже конечный результат. Ты, Габор, как я понял, хотел напомнить о крылатой фразе Аттилы Йожефа: кто хочет стать волынщиком, тому дорога в ад. Отвечу на это. Как никому другому, мне известно состояние, когда человек по своей воле сам себя низвергает в ад — именно потому, что его в процессе творчества терзают мысли, терзают противоречия, терзают факты или ситуации, еще не ясные, а он хотел бы найти для них решение. И пока я не постигну суть, пока не уясню себе, где же, собственно, здесь через дисгармонию путь к согласию и гармонии, до тех пор мне как поэту приходится невероятно тяжело. А меня отнесли к поэтам сдержанно-застенчивым именно за то, что я и правда не кричу во всеуслышание, что-де вот он я: стражду, мучаюсь и умираю ради человечества, за то, что вместо громких деклараций я пытаюсь отобразить в своих стихах тот или иной конфликтный случай уже с готовым решением. Я с болью выносил его в себе и потому теперь могу дать его в форме конечной истины, отлитой в поэтических строках. Предварительный период вздохов и стенаний, период мук поэта понятен и оправдан, коль скоро эти строки стихов действительно необходимы Человеку и созданы во имя Человека.

Г. Гараи Мне кажется, что в последние годы ты пишешь меньше, нежели на заре своего творчества, впрочем, по-моему, это характерно для каждого поэта. Однако я замечаю, что не только новых твоих стихотворений публикуется меньше, но и в тех, что появляются, в новых твоих стихах, явственно ощущается своего рода уплотненность, намеренная и целенаправленная немногословность. Помнится, в университете ты учился на немецком отделении; у немцев есть удачное слово применительно к поэзии — Dichtung; оно образовано от корня, буквально означающего «концентрация». Конечно, я понимаю, что не оно навело тебя на мысль писать более сжато, что у тебя это уплотнение стиха явилось результатом естественного внутреннего развития. Для меня же лично, признаюсь,— подлинная услада души читать эти плотные, крепко сбитые, бьющие в самую цель стихотворные строки: ведь за последнее время в нашей поэзии опять возобладало многословие.

И. Шимон. В молодости, как тебе известно, радуешься каждой написанной строке. Все дни твои исчисляются теми часами, когда снисходит вдохновение. Позднее это состояние проходит. Теперь я ловлю себя на том, что меня волнует не количество стихов. Безразлично, написал я их десять или только два. Для меня гораздо существеннее та определенная поэтическая логика, которая должна быть четко выражена в каждом произведении, должна стать явной. В стихотворении, что я пишу, она может проявиться лишь в том случае, если я сознательно контролирую свой творческий процесс. Не даю воли чувствам, фантазии, а пытаюсь держать их в узде И снова оправдывает себя та истина, что поэту каждый раз приходится низвергаться в ад: как без душевных мук решить, что может быть оставлено в стихотворении? Вот ты сказал, что немцы называют поэзию Dichtung, то есть буквально: концентрацией, сгустком. Действительно, существует какой-то определенный предел, и если его переступить, то стихотворение, как бы ни росло по строкам, по смыслу останется куцым. Необходимо четко видеть эту тонкую, как острие бритвы, пограничную полоску, на грани которой смысл стихотворения, чувства человека и более того — даже сама поэтическая форма могут проявиться наиболее экономно, а стало быть, и наиболее совершенно.

В этом направлении я много экспериментировал за последние годы. И действительно очень мало писал. Именно потому, что я ставил себе более высокие задачи и порою так высоко поднимал планку — хотя со стороны это и не было заметно, ведь я не выпускал ее из рук,— что иногда и сам не в силах был взять установленный барьер. Но все равно это было хорошо: я мог вновь испытать свои возможности, проверить, что нового могу дать людям, что могу сказать важного, действительно заслуживающего того, чтобы быть обнародовано, донесено до читателя — пусть это будет хотя бы единственная, но удачная строка. И учти следующее. Возьми, к примеру, Ласло Беньямина, которого я очень люблю, уважаю, высоко ценю,— как мало он пишет! Большая дружба связывает меня с Имре Чанади. Не правда ли, в каких муках создает он свои стихи? Если присмотреться повнимательней, то и ты пишешь меньше, чем в 1958—1959-м! И это можно сказать почти о всех нас, кто считает своим долгом следование реализму, кто сознательно избрал этот путь. А мы именно избрали его, ведь другими мы и не могли бы быть. Не случайно мы с таким уважением относимся друг к другу, нас связывают дружеские узы. С течением лет становится очевидным, что каждый из нас чуть ли не интуитивно пытается расширить тот маленький мирок, который мы, несколько человек, собою представляем. Не знаю, так ли это у тебя? Со мной дело обстоит именно так. И я имею в виду не только себя — не случайно я упомянул Беньямина, Чанади и упомянул бы, будь он жив, также Михая Ваци,— тем самым я пытаюсь хоть немного защитить нас. Может быть, настанет время, когда полностью утратят силу упомянутые выше неконструктивные критерии критики и окончательно возобладает нормальный естественный подход к отдельным проблемам, когда нас перестанут раскладывать по полочкам, а каждую группу поэтов, каждый поэтический голос или каждое индивидуальное устремление попытаются оценить, как оно того заслуживает. Я, естественно, уже не в силах отказаться от того, чтобы в своей поэзии говорить о проблемах тетушки Мари или дядюшки Йожи. Конечно, я выражаюсь фигурально Но чувство коллектива я впервые усвоил не через теорию, марксизм лишь помог мне сознательно уяснить его. В очень трудный период, еще с детства, я чувствовал, что у каждого человека — свое призвание, у каждого — свое предназначение, и, как я писал в одной из своих прозаических вещей, я постоянно чувствую: что бы я ни делал, я лишь пытаюсь отквитать какую-то часть вечного и неоплатного долга. Как бы пояснить поточнее? Когда бедная мать моя еще была жива, я всегда прятал от нее свои стихи, мне было не по себе, когда в семье говорили об этом. Даже сейчас, когда в селе говорят обо мне, что я поэт, мне и то неловко. Не хочу я быть для них поэтом... Я... по-прежнему приятель Имре или Лайчи, словом, ты понимаешь, как это не просто, ведь в жизни так оно и есть... я очень застенчив. Это определение я принимаю без оговорок. Но дело не только в нем. Я говорил, что прятал свои стихи от матери, но не только потому, что стеснялся; я не смог бы пережить, если бы она не поняла моих стихов. Ведь я знал, что она их читала. Более того, расскажу тебе одну забавную историю. Прочтя одно посвященное ей стихотворение, мать была возмущена. Дело было совсем не так, упрекала она меня. Ей было невдомек, что изложенные на словах те же самые переживания, те же самые факты производят другое впечатление. Мать не знала, что поэзия поднимает голую фактографию на ступень выше. Ей казалось, что я выдаю ее за кого-то другого И поняла лишь позднее, прочтя стихотворение несколько раз. А кроме того, и другие подтвердили, что, напротив, в этом сихотворении она та же самая, что и в действительности. Так что видишь, конфликты у меня были постоянно и даже вот такого рода. И все это приходилось учитывать. Если, к примеру, в Секешфехерваре меня кто-нибудь спросит, куда ты едешь, и я отвечу: «Домой», то я имею в виду не улицу Валленберга, а все еще село Бажи. Я не в силах измениться! Да теперь уж и не хочу. Если мне удастся еще что-либо прибавить к тому, что я сделал до сих пор, пусть меня оценивают как хотят. Я желал добра. По-моему, Ийеш писал: «...я никогда не желал зла, только добра»,— ну, вот, и я тоже. Много несуразностей допускает человек, часто делает промахи. Однажды, размышляя над этим, я написал стихотворение «Чистая работа», в котором проводил мысль о том, как легко остаться чистым, незамаранным, если ничего не делаешь. Тот, кто хватается за ведро и тряпку, не может не запачкать рук. Но ведь только так и можно очистить жизнь — и это тоже не что иное, как своего рода хождение по мукам Меня волнуют не мои личные интересы; безразлично, как на меня посмотрят, как меня оценят. Волнует другое: смог ли я — хоть на сантиметр, на грамм, на одну мысль, на одно чувство! — увеличить свой вклад в общее дело, помочь людям лучше познать мир, почувствовать себя в нем уютнее. Для меня важно это — и только это. Надеюсь, что так будет всегда.

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

Заметки на полях

КИНО БЕЗ ЛИТЕРАТУРЫ?

В прошлом году в варшавском еженедельнике «Культура» (№ 24) был напечатан материал, вызвавший немалый интерес читателей. Известный польский режиссер Анджей Вайда накаиуне завершения работы над очередным фильмом дал интервью. Уже само заглавие, под которым оно было опубликоваио, останавлнвало внимание: «Хватит литературы!» Такая категоричность озадачивала, хотя бы потому, что из 20 фильмов, снятых режиссером для кино и телевидения, лишь четыре сделаны по оригинальным, специально написанным сценариям. Самое значительное произведение Вайды «Пепел и алмаз» (1958) — экранизация одного из крупных сочинений литературы Народной Польши. Многие критики связывают творческую эволюцию кинематографиста с переменами в его литературных пристрастиях. Ранний Вайда увлеченно переносил на экран послевоенную польскую прозу. Зрелый Вайда работает над национальной и мировой классикой («Пепел» по Жеромскому, «Березняк» по Ивашкевичу, «Свадьба» по Выспянскому, «Земля обетованная» по Реймонту, «Макбет» для телевидения, проза Лескова и Булгакова), долгое время вынашивает, не решаясь осуществить, мечту пересказать языком кино Джозефа Конрада: в архиве кинематографиста нереализованный сценарий «Сердца тьмы». (Свободное переложение этой повести готовит в настоящее время к выпуску на экран американский режиссер Френсис Ф. Коппола под названием «Это апокалипсис».) Словом, Вайда — из числа художников, активно изыскивающих возможности средствами самого массового искусства распространять духовное богатство мировой литературы. Его поиски сродни опытам Орсона Уэллеса, перенесшего на экран пять «шекспиров», непреходящему интересу к литературиым шедеврам Акиры Куросавы, экранизировавшего «На дне», «Расёмон», «Макбета», «Идиота», классическим прочтениям Лукино Висконти («Белые ночи» и «Смерть в Венеции»), работам Пазолини. Названные картины — не только известные фильмы, но произведения, способствовавшие «самоопределению» кинематографа как искусства, раздвижению его духовных горизонтов, усовершенствованию его образности. Здесь связь диалектическая. Сколь бы спорными ни были перечисленные кинверсии великой прозы, они возникли как и н т е р п р е т а ц и я наследия, а это стало по плечу кинематографу лишь на определенном этапе развития.

Едва появившись на свет, кинематограф обнаружил претензии считать себя искусством и даже сверхискусством, чуть ли не искусством над искусством. Способность экрана свободно усваивать и, усвоив, объединять материал всех видов художе-

ственного творчества плюс экстраординарная широта бытования фильмов были осознаны рано, задолго до того, как реально, не только в эстетических мечтаниях, кино доказало свою причастность к сонму муз. Не успела еще новая техническая игрушка покинуть лабораторию лионских фабрикантов братьев Люмьер, как уже были проделаны опыты экранизации сначала спектаклей, потом и литературных произведений. Этот общеизвестный момент — не просто «страница истории мирового кино». Это спасительный импульс чрезвычайной важности, интуитивно найденный путь ускоренного развития, одоления тысячелетнего опоздания в сравнении с развитием старших искусств. Однако диалектика становления новой художественной дисциплины состояла в том, что из ярмарочного аттракциона кино превратилось в высокое искусство не благодаря фильмам — экранизациям большой литературы, а скорее наоборот — благодаря лентам, снятым по оригинальным сценариям или на основе творений второсортной словесности. Чаплин, Гриффит, Эйзенштейн, Штрогейм, Довженко не «обработали» для экрана ни одного классического текста. Лишь раз в своей творческой жизни обращались к классике Пудовкин и Ромм. В фильмографиях большинства современных кинематографистов нет постановок по литературным произведениям, или же они возникают как случай, отступление от правил, абсолютное исключение. Бергман бессчетно ставил на сцене Ибсена, Чехова, Стриндберга, а на киностудии лишь однажды работал не по своему сценарию: то была Моцартова «Волшебная флейта». Феллини снял «Сатирикон», но его фильм так отличен от романа Петрония, что кинематографист посчитал разумным избавить зрителя от недоумения, а критиков от напрасной сопоставительной работы. В заглавие картины он вынес свое имя: в оригинале — с полным на то основанием — фильм называется «Сатирикон Феллини». В титрах «Фотоувеличения» («Блоу-ап») Антониони имеется ссылка на Хулио Кортасара. Соотношение фильма и новеллы аргентинского прозаика «Слюни дьявола» исчерпывающе определены самим Антониони в коротеньком предисловии к итальянскому изданию сценария:

> «Замысел «Фотоувеличения» возник, когда я прочитал маленький рассказ Хулио Кортасара. Меня заинтересовало не столько описанное в нем событие, сколько сам процесс фотографирования и обработки снятого. Я написал новый сюжет, в котором этому процессу придан иной вес и абсолютно другое значение».

Нетрудно назвать еще кинематографистов, избегающих полных экранизаций. У принципиальных «неэкранизаторов» много причин идти избранным ими путем. Одна из них состоит в стремлении к возможно более полной свободе воображения, к независимости от идей и образов других художников. Другая причина продиктована заботой о чистоте литературы. Ведь, по словам известного французского критика и теоретика кино Андре Базена, кинематограф в целом совершает «большое ограбление литературы».

Так называемое «другое кино» (cinema bis) — кино-неискусство — бесцеремонно втискивает в свои стереотипы (социологи приспособили для определения этой продукции термины «адаптация» и «снижение») Библию и Вольтера, Гомера и аббата Прево, Боккаччо и Томаса Манна, Шекспира и Гюго, Достоевского и Скотта Фицджеральда.

В выступлении Вайды делается попытка определить новый уровень взаимоотношений двух искусств. Осенью 1975 года он приступил к съемкам биографической повести Конрада «Теневая черта».

> «Я вернулся к Конраду, сделал «Теневую черту», потому что невозможное, недостижимое всегда мучило беспокоило меня, притягивало к себе. Хотелось помериться силами испытать, проверить, что же наконец может из этого получиться?. В последние годы я перенес на экран много произведений очень разных писателей. И я понимал, что попытка экранизировать прозу Конрада поставит меня перед трудностями высшего порядка, что я иду на риск, какого до сих пор не знал».

Такое признание можно было бы принять за почитание суверенности литературы, если бы оно не принадлежало человеку, снявшему «Макбета» (разве Шекспир

«легче» Конрада?) и еще недавно грезившему перенести на экран «Бесов» (и Достоевский — «легче»?).

О многом говорит сам характер вайдовских экранизаций. Снимая произведения своих соотечественников и современников, он сосредоточивался на тех реальных конфликтах и характерах, которые в свое время заинтересовали и писателей. Он шел сквозь литературу к жизни. Из сопоставления кинематографического «Пепла и алмаза» с литературным видно, как властно, хотя и во внутреннем согласии с прозаиком, режиссер претворяет, делая своим, материал реальности — материал второй мировой войны. Он меняет местами героев — одних выводит в фон, других максимально приближает к зрителю, социально-политическую проблематику романа обогащает нравственными раздумьями, отвергает описательный, сугубо конкретный стиль писателя, предлагая плотный метафорический язык, прерывистую романтическую интонацию. «Пепел и алмаз» на экране — безраздельно вайдовский фильм, хотя ему и предшествовала популярная, вышедшая к моменту экранизации десятками тиражей книга.

> «А что случилось теперь? Произошло странное явление, о котором я, может быть, и догадывался, но результатов которого все же до конца предвидеть не мог. Оказалось, что эта повесть («Теневая черта».— **И. Р.**) так кристально ясно построена, образует настолько единое, суверенное целое, что не поддается никаким преобразованиям, сопротивляется всяческим экранизаторским ухищрениям, не позволяет трактовать себя как «мотив» или повод представить личное отношение режиссера к адаптируемому сочинению и вышивать по его канве собственные узоры. А ведь именно так я поступал, реализуя «Пепел», «Свадьбу», «Пепел и алмаз».

Выход через литературу к породившей ее реальности — один из распространенных способов прочтения экранизируемых произведений. Таков, например, творческий генезис экранных изысканий Пьера Паоло Пазолини над Софоклом и Еврипидом, Боккаччо и Чосером, сказками «Тысячи и одной ночи». Пластическая и драматическая образность Пазолини — как бы «перевоссозданная» античная Греция, ренессансные Италия и Англия, ближневосточная архаика, претворенные художественным сознанием середины XX века. Сходный тип мышления обнаруживает и Феллини в «Сатириконе». Воспроизведение эпохи, фабулы и персонажей в новой образной структуре — возможно, наиболее творческий путь кино к литературе.

Есть и другой. Бывает, что кино заимствует у литературы не претворенную ею жизнь, а нравственный вывод — один вариант — или, вариант другой, сам способ претворения. Молодое искусство учится у старшего секретам его сложной художественности.

Вайда-экранизатор проделал и эту работу. В снятых им библейских фрагментах «Мастера и Маргариты» (фильм называется «Пилат и другие») предметом экранизации стала не извлеченная из слова историческая или, в данном случае, квазиисторическая действительность (фабула ленты развертывается на фоне... европейского города начала 70-х годов нашего столетия!), а психология и внутренние связи действующих лиц. Булгаков рассказал свою версию неравного поединка Христа и римского наместника, кинематографисту это дало моральное право предложить свою. А в «Свадьбе» экранизировалась сама поэтика Выспянского, его путь к метафоре, логика национальной символики, которой так насыщен «польский стиль», напряженная, даже избыточная полифония ритмов.

Обучение искусству — весьма плодотворный вариант взаимодействия кинематографа и словесности.

Третий способ, способ самый сложный, вырисовывается в интервью Вайды, опубликованном еженедельником «Культура».

Уже на ранней стадии оформления замысла «Теневой черты» в процессе написания сценария

> «я почувствовал, что властно и неотвратимо подвергаюсь натиску произведения Конрада. Это выглядело так, будто автор «Теневой черты» вежливо, но реши-

тельно склонял меня к безоглядному подчинению тому, что написано, исходно исключая самомалейшее отступление от литературного оригинала, делая невозможным хоть сколько-нибудь смелый прием, какую бы то ни было попытку деформации текста, перемену точки зрения, выражения собственного взгляда...

Я пребывал в противоречивом состоянии. Сопротивление материи конрадовской прозы вызывало нетерпение и беспокойство, и одновременно, чем дальше я увязал в этом деле (постановке картины.— **И. Р.**), тем чаще мое положение рисовалось мне решенным, тем чаще я испытывал чувство особого удовлетворения своей покорностью перед неколебимой силой конрадовского слова.

В конце концов я сделал фильм в точности по литературному оригиналу, слово в слово, точка в точку, запятая в запятую... Сегодня, когда для меня эта работа — пройденный этап, я думаю, что должен был пройти через все это, что, по-видимому, рано или поздно мне надлежало получить этот урок. Мне стало окончательно ясно то, о чем в глубине души я давно уже подозревал: литература, во всяком случае высокая литература, не может быть сырьем для кинематографа...

Вероятно, я должен был достичь такой крайней степени послушания требованиям литературного текста, чтобы сказать себе — нет! Хватит литературы; ни одного фильма без оригинального, специально для него созданного сценария».

Разумеется, высказанное Вайдой носит глубоко личный характер. Даже «поэтика» беседы — типично вайдовская: обезоруживающая искренность, патетика открытия, крайняя эмоциональность переживаемого состояния. И все же нельзя не услышать в словах польского кинорежиссера общезначимый смысл, сигнал приближения трудностей, которые завтра возникнут перед другими кинематографистами «литературного уклона».

Литература щедро помогла кинематографу — поставила ему несметное число сюжетов, научила емким образным структурам. Кинематограф за это распространил, сделал широко доступными фабулы, героев, мысли известных творений. Но как часто это происходило (и происходит) ценой упрощений, обеднения, если не просто опошления первоисточника! Доросло ли кино до диалога на равных с литературой?

Надо смотреть на вещи трезво: экран никогда не перестанет обращаться к литературе. Известный польский критик литературы и кино Александр Яцкевич весьма реалистически высказался на этот счет в книге «История литературы в моем кино»:

«Потребность увидеть литературное произведение так натуральна и так сильна, что экранизации будут делаться до тех пор, пока будет существовать кинематограф, хотя экранизация нередко и превращается в варварство».

Речь не о том, чтобы захлопнуть перед носом десятой музы двери в сокровищницу мыслей и образов великой прозы Вайда одним из первых подписал «охранную грамоту» литературе, которую следует понимать не как секвестр, но как строгий наказ художественной этики.

И. РУБАНОВА

◆

ПОЛЬСКИЙ КРИТИК О СОВЕТСКОМ ПИСАТЕЛЕ

Известный польский критик и литературовед Эдвард Павляк опубликовал в журнале «Месенчник литерацки» статью, целиком посвященную творчеству Сергея Залыгина. Называется статья «Сибирь, Чехов и великая любовь», и знающие написанное Залыгиным уже по названию могут догадаться, о чем идет у критика речь.

Следует сказать, что крепнущий год от года в социалистических странах взаимный интерес к текущему литературному процессу, к новым книгам и произведениям, к давно работающим писателям и дебютантам, к спорам и дискуссиям, веяниям и настроениям, короче говоря, к современной жизни литератур — не просто радующее и примечательное явление. Прямое следствие такого интереса — взаимообогащение литератур, проявляющееся, разумеется, не в формах заимствования, а куда более сложно и тонко. Если верно, а это действительно верно, что литературы вообще никогда не жили обособленно, а всегда пристально или ревниво, восхищенно или вопрошающе присматривались, приглядывались друг к другу, отчего, кстати, проистекала немалая польза, то к нынешним временам и нынешнему состоянию и движению социалистических литератур эта бесспорная истина тем более применима. На соответствующих литературных симпозиумах, научных конференциях, встречах писателей об этом уже не раз говорилось. Нам же здесь хочется заметить, что взаимный интерес нагляднее всего виден в критике: она первая «регистрирует» то или иное явление в соседней или далекой литературе, и уже в силу этого именно по критике легче всего определить — случаен или симптоматичен такой интерес. А может, не только симптоматичен, но и основателен.

Статья Эдварда Павляка как раз свидетельствует об основательности, с какой наши польские друзья изучают современный литературный процесс в нашей стране. Это не рецензия, не обзор, к которым чаще всего прибегают, когда дело касается не своей литературы, и даже не проблемная статья, стягивающая вокруг того или иного современно жгучего вопроса группу интересующих критика произведений. Это статья монографического типа, занятая исследованием творчества одного писателя, взятого не изолированно от всей литературы, а в тесной связи с ней.

Эдвард Павляк преимущественно размышляет о писателе, высказывая свои соображения, иногда совпадающие с тем, что уже говорилось о Залыгине у нас, а в ряде случаев новые, свежие, неожиданные: со стороны, как говорится, виднее, ну а нам эти наблюдения, пожалуй, особенно интересны.

«Его творчество не ограничивается одним жанром или тематическим кругом,— пишет Эдвард Павляк,— оно распространяется в разные стороны, проникая в новые миры (деревня, научная среда), вникая в самое себя, словом, находится в состоянии неустанного поиска и развития, впрочем, так же как герои книг Залыгина».

Здесь сразу же «ухвачена» одна из важнейших особенностей Залыгина-художника: исследовательский дух его творчества.

Польский критик верно замечает в Залыгине стремление узнать, постичь, осмыслить, дойти до корня и сделать все это там, где, казалось бы, уже давно многое постигнуто и осмыслено. Широкое исследование проблем, как исторических, так и современных,— суть и пафос залыгинского творчества.

«Литература для Залыгина — прежде всего познание, познание особого рода. Она — «путешествие в знаемое» и ее цель — показ (с авторской точки зрения) всего, что уже известно, с последующим отделением правды от лжи, или, другими словами,— раскрытие существа и правды данного явления».

Достигается это преимущественно предельной близостью автора к документу, реальному историческому факту (Павляк называет это «документализированностью фона») при одновременном психологическом исследовании сложнейших народных характеров. В этом органическом единстве документа и вымысла, науки и творчества Эдвард Павляк справедливо видит силу Залыгина-художника:

«Стремясь передать читателю наиболее убедительно революционный дух, Залыгин заходит так далеко, что диалог — а он играет огромную роль — основывает на статьях из партизанских газет или дневниках смертельной битвы с адмиралом Колчаком Таким образом мы получаем речь ядреную, чисто крестьянскую, а стиль экономный, лаконичный, четкий».

Но в то же время Залыгин не просто документалист, документ при всем уважении писателя к нему еще не вся истина, во всяком случае, не вся историческая и вместе с тем художественная истина.

«В романе (имеется в виду «Соленая Падь».— **А. К.**) Залыгин не стремился исключительно к тому, чтобы представить достоверно события минувших лет, страсти эпохи, в которую, как говорит один из героев романа, история «переходит дорогу человеку», но прежде всего к изображению предельно углубленной психологии персонажей, вовлеченных в гущу трудных для разрешения проблем... Дистанция времени и историческая перспектива создают основу для правдивого, не условного освещения этих сложных проблем. Со всем этим связано еще одно стремление — показать эволюцию русского крестьянина, который от Платона Каратаева, героев Чехова шел к Чапаеву, Григорию Мелехову, Василию Теркину Герои Залыгина — Степан Чаузов («На Иртыше»), главнокомандующий сибирской крестьянской армией Ефрем Мещеряков («Соленая Падь») имеют много общего, много точек соприкосновения с этими славными персонажами, хотя скромный и по-чеховски тактичный Залыгин не ставит их на одну доску, а лишь указывает на их тесную связь».

Разумеется, Залыгин нигде и не говорит о такой связи, хотя она, конечно же, существует и подмечена Павляком верно. Сам Залыгин писал о повести «На Иртыше» и романе «Соленая Падь», к ним можно добавить теперь и «Комиссию»: «Это произведения не столько событийные, сколько психологические. Думая о них, их замышляя, я не говорю себе: «Отражу-ка я такие-то и такие-то события!» Нет, дело

обстоит иначе. Я говорю: «Поставлю-ка я своего героя перед такими-то и такими-то испытаниями, в такие-то условия». Откуда вырос нынешний колхозник? Кем он был двадцать, тридцать лет назад?»

Эдвард Павляк видит залыгинских героев в еще более далекой исторической перспективе, сравнивая их с Каратаевым и героями Чехова, и, пожалуй, не противоречит в этом самому Залыгину и, что еще важнее, написанному Залыгиным. Ставя Чаузова и Мещерякова в действительно славный историко-литературный ряд, критик, полагаю, угадал мысль и намерение писателя понять современного советского колхозника и шире — советского человека, увидеть его психологические истоки, традиции и представить ту трансформацию, которую человек и традиции претерпели в истории. Хотя возможно, что так широко и сам писатель не «замахивался» в своих замыслах, скорее всего, нет, и, однако, соображение польского критика нисколько не умозрительно: напротив, оно вытекает из самого произведения и подчеркивает одну из важных особенностей залыгинского творчества вообще — его ярко заявляющий о себе историзм, дающий возможность читателю домыслить кое-что за автора, «разомкнуть» его творчество в обе стороны — и в прошлое, и в будущее.

Эдвард Павляк останавливается и на том, как достигается такого рода историзм. И тут его рассуждения не лишены свежести и интереса:

> «Роман эпичен, хотя Залыгин ограничился изображением лишь одной стороны баррикад — лагеря красных... Он сконцентрировал внимание исключительно на «собирательном образе» Мещерякова, прототипом которого явился руководитель западносибирской партизанской крестьянской армии Ефим Мамонтов, который не проиграл ни одной битвы, а после окончания боев вернулся к своему наделу.
>
> Кем был этот человек, спрашивает автор, которого 40-тысячная армия выбрала своим вождем, которому доверяла и с которым шла от победы к победе? Залыгин не ставил перед собой цели создать достоверную биографию Мамонтова, задача его — написать собирательный, психологически глубокий портрет крестьянина-вождя, вознесенного на волне Октября. Показать его душу, характер, мысли и чувства, показать, как благодаря таким людям свершалась революция — вот ядро залыгинской концепции»

Такая неотрывная близость героя, вождя к выдвинувшей, породившей его народной массе («после окончания боев вернулся к своему наделу») диктовала особую необходимость показать и саму народную массу: без этого нечего было думать не только об эпичности повествования, но и просто о его исторической правдивости. Польский критик, справедливо видя центр притяжения романа в Мещерякове, вместе с тем отмечает редкостную сложность и полифоничность произведения. Роман о широком, захватывающем тысячи и миллионы людей народном движении только и мог быть таким — многоголосым и многофигурным.

> «Сталкивая между собой точки зрения отдельных героев, убежденных в правильности и неопровержимости своих доводов, Залыгин далек и от апофеоза и от снижения, поскольку каждый из спорящих несет какую-то свою правду, свое право, и с ними нужно считаться, принимать их во внимание. Из суммы этих правд, прав и поступков складывается облик партизанской армии... Апогеем столкновения человеческих страстей и темпераментов, столкновения различных основ и различных характеров, жалоб и претензии стал драматический «спор споров», «суд судов», подлинно увлекательная битва — съезд делегатов Соленой Пади, где речь шла о характере и сущности будущей власти».

Изображая людей, народ, Залыгин никогда не представляет его в виде неразличимой, спекшейся в один неразделимый кусок массы. У него никто не говорит одним голосом, никто не думает одинаково. Каждый, кого автор выводит на свои страницы,— индивидуальность, личность, у каждого есть своя судьба и своя правда. Павляк это заметил, и оттого его общий вывод звучит логично, так же как по-своему стройна и логична сложнейшая картина народной жизни, рисуемая Залыгиным.

«Показ врастания простых сибирских крестьян в революцию, формирование революционного сознания — одна из главных черт «Соленой Пади», которая сегодня воспринимается как хороший урок истории. Сергей Залыгин благодаря этой книге вырастает в одну из интереснейших фигур современной советской литературы.

...После опубликования «На Иртыше» и «Соленой Пади».— продолжает критик,— думали, что любимая писателем Сибирь станет для него источником очередных творческих начинаний. Но оказалось, что Залыгин не намеревался строить «фортификаций» вокруг темы, а решил идти дальше вперед».

Это «дальше вперед» в творчестве далеко не всегда означает «вперед к лучшему». Вряд ли правомерно делать какие-либо сравнения, скажем, между романом «Соленая Падь» и обращением Залыгина к Чехову в его большом эссе «Мой поэт». Сравнение здесь недопустимо уже в силу совершенно разных задач, которые решал в том и в другом случае писатель, и решал к тому же в совершенно разных жанрах. Но при всем том степень читательского удовлетворения может уравнивать и жанры, и задачи, и все что угодно в литературе: было бы хорошо, а в каком жанре написано, разве это имеет значение? И тогда скромная по замыслу вещь вдруг может оказаться «томов премногих тяжелей» и, следовательно, открывается возможность правомерного сравнения вроде бы несравнимого...

Мне кажется, что польский критик, увлекшись анализом содержания произведения Залыгина и вообще увлеченный и заметно восхищенный работой Залыгина в литературе (разве это не приятно само по себе?), несколько выпрямляет путь Залыгина-художника. Может быть, мне показалось, но «дальше вперед» у него получается именно как «вперед к лучшему», как движение только по восходящей. Оговариваюсь, что это могло и показаться, потому что Эдвард Павляк нигде не говорит того, что я ему сейчас приписываю. Приписываю же по той причине, что, переходя к эссе о Чехове и дальше к роману «Южноамериканский вариант», критик нисколько не сбавляет тона и говорит об этих работах почти так же или точно так же, как и о повести «На Иртыше» или о романе «Соленая Падь». А иной раз и добавляет одической меди в свой голос:

«...Роман «Южноамериканский вариант» продемонстрировал свежую, новаторскую трактовку проблем, имя которым любовь. В советской литературе эта тема раскрывается недостаточно увлекательно, писатели придерживаются устаревших, несколько пуританских схем. Залыгин пытается придать ей иной характер, показывая, что чувство — одно из важнейших составных частей человеческой личности».

Не станем спорить с критиком относительно всей советской литературы, придерживающейся пуританских схем (преувеличение? или упрощение? а может, то и другое вместе? несомненно!). Даже если бы Залыгин был первым, кто произнес «а» в трактовке проблемы, «имя которой любовь», оставался бы еще вопрос, сколь художественно убедительно он это сделал. Эдвард Павляк знает о шумных спорах вокруг «Южноамериканского варианта» в нашей периодике, он цитирует критиков Залыгина, но решительно с ними не соглашается: завышенный тон уже не позволяет ему согласиться с какой-либо критикой.

Думаю, что вряд ли следует во всем солидаризироваться с самими критиками этого залыгинского романа, не увидевшими в нем никаких достоинств. «Новаторская трактовка» — сказано Павляком слишком сильно. А вот что трактовка эта своеобразная, свежая, как и многое другое, что есть в романе, это тоже несомненно Неслучайна сама разноречивость мнений об этом произведении: не может же она проистекать от одних лишь недостатков и просчетов автора.

Несколько завышая, как нам кажется, истинную значимость поисков Залыгина, куда бы и на что бы они ни были направлены, Эдвард Павляк высказывает, однако, и здесь мысли и соображения любопытные:

«Чехов с недоверием относился к стремлению «отражать величие»... В размышлениях Залыгина Чехов прежде всего тончайший знаток этического кодек-

са за все время его существования. Этот непримиримый враг многословия и приблизительности отлично знал, что «можно» и что «нельзя» в искусстве, он был — и это в залыгинских рассуждениях на первом плане — «гением такта», «тактичным судьей жизни», желающим одного — «очеловечения человека». В этих суждениях выражена действительная суть чеховского творчества».

Затем польский критик вдруг переключает наше внимание на творчество самого автора «Моего поэта», который в книге «На Иртыше» и в «Соленой Пади» также выступает как «тактичный судья жизни», как тонкий искатель правды о человеке, брошенном в крутящийся водоворот исторических событий.

Нисколько не сомневаюсь, что, работая над «Моим поэтом», Сергей Залыгин и в мыслях своих никогда не допускал какого-либо сравнения себя с Чеховым и не о том пекся в этой работе, чтобы поднять себя на пьедестал к Чехову. Не делает этого и польский критик. Он лишь проводит — почти невольно — сопоставление, и начинаешь догадываться, почему Залыгина, казалось бы далекого от литературоведения, потянуло на исследование о Чехове и почему, занимаясь Чеховым, он больше всего пытался понять не какие-либо стороны чеховского творчества или черты его характера, личности, а всего Чехова целиком во всей его необозримо сложной совокупности. Задача гигантская, и Залыгин не решил и не мог решить ее полностью. Но пытался. Ему это было нужно. Нужно было и важно понять суть художнической души, потому что, поняв ее, лучше всего поймешь и самого себя, и собственный путь в литературе, как бы он ни был несоизмерим с чеховским.

Когда задумываешься об этом, то неожиданные сравнения и сопоставления польского критика меньше всего воспринимаются как парадоксы. Напротив, в желании нашего польского друга и коллеги понять творчество одного из известных советских писателей, поддержать его в творческих поисках видна благородная заинтересованность в этом творчестве, а значит, и в новых успехах нашей литературы.

А. КОНДРАТОВИЧ

ДЖЕБ СТЮАРТ МАГРУДЕР

АМЕРИКАНСКАЯ ЖИЗНЬ
Одна из дорог к Уотергейту

Фрагменты книги

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

ПРОЛОГ

Снаружи владение Ричарда Никсона в Сан-Клементе не производит особого впечатления. Раньше здесь было два отдельных участка: на одном стоял частный особняк, на другом располагался пост морской пограничной службы. Да и сегодня, подъезжая к владению Никсона со стороны шоссе, можно принять его за военно-морской пост: видны лишь ворота, будка и часовые в форме, а дом президента прячется за стеной деревьев и кустарника. Но как только по знаку часовых въезжаешь в распахнувшиеся ворота, испытываешь такое чувство, будто ты перенесся в совершенно иной мир, отличающийся от обычного как небо от земли. И дело не только в том, что после сутолоки, мишуры и позолоты Южной Калифорнии оказываешься в роскоши приморской виллы миллионера. Подлинное отличие носит скорее нематериальный характер — это ореол власти, широчайших возможностей и политической умудренности, атмосфера вынашиваемых государственных решений и разлитого в воздухе сознания того, что в присутствии президента это тихое убежище превращается в нервный центр западного мира.

Ярким солнечным днем в середине августа 1969 года я впервые переступил порог мира окружающего президента. Мне шел тридцать пятый год, и я возглавлял две небольшие косметические фирмы. В период перед президентскими выборами 1968 года я был координатором избирательной кампании Никсона в Южной Калифорнии, и вот теперь начальник аппарата сотрудников президента Боб Холдеман пригласил меня в Сан-Клементе (где президент обосновался со своим штатом в недавно приобретенном им загородном владении), чтобы обговорить вопрос должности в Белом доме.

Прибыв в Сан-Клементе вскоре после полудня, я после короткой проверки у ворот был пропущен внутрь и подрулил к стоянке машин неподалеку от огороженной административной зоны, где находятся служебные помещения президента и его помощников. Административный корпус расположен на территории бывшего поста морской пограничной службы, а в двухстах ярдах справа виднеется дом президента в кольце пальм, стоящий особняком от административного центра. У входа в канцелярию я заметил несколько гольф-картов, которыми президент и ближайшие его сотрудники иногда пользуются как транспортным средством для поездок между служебными помещениями и особняком. Эти карты являются высоко ценимым символом престижа в непосредственном окружении президента.

© Jeb Stuart Magruder, 1974.

Боб Холдеман приветливо поздоровался со мной. Я оделся для этой встречи официально — в пиджачную пару, а на моем собеседнике была спортивная куртка: президент и его помощники обычно носят в Сан-Клементе куртки свободного покроя. Во время предвыборной кампании Боб снискал себе репутацию человека крутого, требовательного, трудного, и нельзя сказать, чтобы эта репутация была совсем незаслуженной. Боб терпеть не мог дураков. Однако с человеком, которого он считал полезным для себя — или для президента,— он умел быть исключительно любезным и тактичным. Во время беседы со мной он не отвечал ни на какие телефонные звонки и сосредоточил все внимание на мне и на той работе, которую я мог бы для него сделать. Мне было очень лестно, что этот властный и уверенный в себе человек нуждается во мне, чтобы с моей помощью решить важную для Белого дома проблему.

Речь шла об ужасном состоянии, в котором находились взаимоотношения Никсона с прессой и прочими средствами массовой информации; проблема «паблик рилейшнс»[1] была больным местом Ричарда Никсона на протяжении всей его политической карьеры. На то имелся ряд причин: многие журналисты не любили Никсона и не доверяли ему; Никсон зачастую скованно и напряженно держался перед телекамерой да и вообще отличался некоторой неуклюжестью и неумением болтать о светских пустяках. Таким образом, как это понимали и Холдеман и президент, проблема была связана с личными качествами самого Никсона. Он не обладал обаянием, и никакое улучшение «паблик рилейшнс» не могло наделить его привлекательностью. Но Холдеман считал, что в этой проблеме имеется также и организационная сторона. В первые месяцы работы новой администрации во взаимоотношениях Белого дома с прессой, конгрессом и широкой публикой царил хаос. Поэтому Холдеман хотел бы, чтобы кто-нибудь разработал план координации деятельности всех сотрудников и служб Белого дома ведающих связью с печатью, радио и телевидением и информацией общественности, таких, как пресс-отдел, возглавляемый Роном Зиглером, служба информации во главе с Гербом Клейном, те или иные составители речей и консультанты, отдел сношений с конгрессом и т. д. Холдеман откровенно давал понять: ему нужен не руководитель программы внешних связей Белого дома, а всего лишь сотрудник, способный спланировать организационную структуру, через посредство которой он, Холдеман, сможет осуществлять руководство этой программой. Его идея заключалась в том, что если создание такой структуры будет поручено мне, то впоследствии мы сможем определить мое собственное место в ней.

В ходе разговора я преследовал одну вполне определенную цель. Как мне было известно, в последние годы авторитет в глазах Никсона завоевывали жесткие, умелые и энергичные администраторы типа Холдемана и Джона Митчелла, люди, которые, так же как и Никсон, не переносили журналистов и старались по возможности не иметь с ними дела. Поэтому я понимал, что, если мне предложат работу в Белом доме, нужно добиваться, чтобы меня пригласили в качестве административного работника, а не как специалиста по связи с печатью, ибо в последнем случае я почти наверняка окажусь в тупике.

Вот уже почти три часа говорили мы с Бобом о сложившейся ситуации, о моих взглядах и подготовке. Наконец, я нетерпеливо спросил:

— Боб, вы хотите поручить мне эту работу?

— Нет,— спокойно ответил Холдеман.— Пока нет.

Боб больше не вел речь об этой работе в тот день — по-видимому, он хотел сначала обсудить мою кандидатуру с президентом. Заканчивая нашу встречу, он предложил мне побеседовать с несколькими его помощниками. Первым моим собеседником был Ларри Хигби — очень худой, серьезный, рано начавший лысеть молодой человек лет двадцати пяти. Мы с ним прошли к очаровательному домику на краю утеса, отвесно обрывающегося в океан. Разговаривая, мы потягивали пиво и наблюдали, как скользят по волнам молодые любители сёрфинга внизу под нами.

Одно замечание Ларри показалось мне весьма многозначительным:

— Меня, да, наверно, и Боба, беспокоит одна вещь: вы часто меняли местожительство и работу Мы, конечно, знаем, что вы поднимались вверх по лестнице, но все же вы столько раз уходили с работы и поступали на новое место!

Мне подумалось, что в этих словах Ларри нашло выражение опасение Холдемана, что я мог бы использовать Белый дом как средство для получения более высокооплачиваемой работы в сфере бизнеса, поэтому я ответил со всей осмотрительностью. Я сказал, что действительно за одиннадцать лет после окончания колледжа я переменил пять мест, руководствуясь финансовыми соображениями. Но по крайней мере в одном случае, добавил я, мой уход с работы объяснялся политическими причинами. Я был молод и независим, и когда мой босс поставил меня перед выбором: или работа, или политическая деятельность, я предпочел уволиться Если учесть мою любовь к политике, заверил я Хигби, маловероятно, чтобы я поспешил оставить место в Белом доме.

---

[1] Public relations – в данном контексте -взаимоотношения президента со средствами информации и общественностью *(англ.). (Здесь и далее примечания переводчика.)*

Мой ответ, по-видимому, удовлетворил Ларри, и вскоре мы вернулись из коттеджа в административное здание, где я переговорил с тремя другими помощниками Холдемана: Дуайтом Чэпином, Кеном Коулом и Алексом Баттерфилдом. Было почти шесть часов, когда я закончил беседы с ними и вернулся в кабинет Холдемана. Боб пригласил меня на прием, который президент давал для представителей прессы и телевидения,— это была первая неофициальная встреча президента с журналистами в его новом доме.

Когда Хигби, Холдеман и я вышли из оффиса, обнаружилось, что к подъезду не подан гольф-карт Холдемана. Холдеман пришел в ярость. Он напустился на Хигби и учинил ему жестокий разнос. Я не верил своим ушам. Пройти пешком пару сотен ярдов до дома президента было бы в такой чудный вечер одним удовольствием. Но Боб суровым, презрительным тоном напомнил Ларри, что следить за тем, чтобы гольф-карты были на месте,— его прямая обязанность и если он не может справиться со своей работой, то он, Холдеман, подыщет на его место кого-нибудь порасторопнее.

Холдеман еще минуту-другую распекал провинившегося, после чего мы отправились на прием. Мне пришло в голову, что, может быть, нагоняй, который Боб устроил Ларри, предназначался для моего сведения: возможно, Боб тем самым предупреждал меня, чтобы я не шел к нему в подчинение, если я не готов сносить подобные головомойки. Если так, то предупреждение оказалось напрасным. Я был согласен работать в Белом доме на любых условиях. Наверное, я все еще обольщал себя иллюзией, что уж мне-то не придется получать подобные нахлобучки. В дальнейшем мне довольно быстро помогли расстаться с этой иллюзией.

Впрочем, поразмыслив, я решил, что гнев Боба из-за неподанного гольф-карта, вероятно. не был напускным. Конечно, это не повод для гнева в условиях обычного мира, где мы смотрим на маленькие житейские неудобства — не заводится автомобиль, испортилось отопление — как на неизбежное зло. Но Белый дом или Сан-Клементе — это не обычный мир! За несколько часов моего пребывания в Сан-Клементе я был прямо-таки поражен тем, до какого совершенства доведен здесь быт: цветники в безупречном порядке, система связи идеально отлажена, к услугам Холдемана лимузины, вертолеты, самолеты... Избалованному подобной обстановкой человеку даже такая мелочь, как отсутствие гольф-карта, может показаться серьезным упущением.

Не желая злоупотреблять гостеприимством людей, пригласивших меня на прием, я через полчаса откланялся и направился домой. Выехав за ворота, я словно опустился с неба на землю — рядовой водитель в потоке автомобилей на переполненном шоссе. Но перед моими глазами мелькнула иная, лучшая жизнь. Я вел машину вдоль побережья на север, слева садилось в океан жаркое летнее солнце, и у меня дрожали от волнения руки. Человек честолюбивый и властолюбивый, я больше всего на свете хотел вернуться в этот оставшийся позади мир власти, больших дел и больших перспектив.

В тот вечер мы с Гейл проговорили за полночь. Жена не разделяла моего энтузиазма. У нас было четверо детей, и за десять лет нашего супружества нам довелось жить в трех городах и переменить шесть квартир. Сейчас мы обосновались в собственном доме в Санта-Моника Каньоне, который нам обоим очень нравился и который Гейл так старательно обставила по нашему вкусу. Ей не хотелось переезжать в Вашингтон и опять привыкать к новым школам, новым знакомым, новым магазинам. Мы оба отлично знали, что в прошлом моя политическая деятельность налагала нелегкое бремя на нашу семейную жизнь. Но Гейл понимала также и то, каким благоприятным шансом может оказаться для меня эта работа. Она только спросила: «Есть ли у нас возможность выбора?» Я ответил, что выбора у нас нет: если мне предложат работу в Белом доме, я должен буду принять это предложение.

Две недели Холдеман не давал о себе знать. Наконец, в пятницу в самом конце августа мне позвонили из его канцелярии и попросили приехать в Сан-Клементе в ближайший понедельник.

Утром в понедельник, выходя из дому, я вдруг почувствовал острую боль в спине. По словам Гейл, которая смотрела мне вслед с верхней площадки лестницы, было заметно, как я судорожно дернулся, ступив с лестницы на паркет. Боль была такая сильная и внезапная, словно кто-то двинул меня по спине бейсбольной битой В юности я растянул себе спину, играя в теннис, и впоследствии боль иногда возвращалась как следствие нервного перенапряжения, а за две недели ожидания вестей от Холдемана нервы мои напряглись до предела. Мне бы, конечно, следовало вызвать врача да улечься в постель. Вместо этого я, невзирая на все усиливающуюся боль, катил в направлении Сан-Клементе Кажется, я приехал бы на эту встречу, даже если бы сломал ногу. Я ни словом не обмолвился о своем недомогании во время беседы с Холдеманом, чтобы он не подумал, что у меня не в порядке здоровье.

Боб предложил мне должность специального помощника президента в секретариате Белого дома. Для меня не являлось секретом, что, несмотря на звучный титул, я буду не столько помощником президента, сколько помощником Холдемана, но меня это устраивало.

Единственной проблемой была зарплата. Я зарабатывал около 35 000 долларов в год. Боб предложил мне 27 000 долларов и обещал быстрое повышение оклада, если все пойдет хорошо. Он имел обыкновение, принимая сотрудников в штат, назначать для начала низкие ставки, а затем использовать прибавки как стимул повышения про-

изводительности их труда. Я не стал торговаться и тут же принял его предложение. Боб хотел, чтобы я приступил к работе как можно скорее, и я сказал, что для урегулирования моих коммерческих дел мне понадобится месяц — до 1 октября. По правде говоря, как только я добрался в тот день до дома, я слег и полмесяца провел в постели с болью в спине.

Итак, я стану сотрудником Белого дома! У меня будет меньше денег, мне придется покинуть дом, который я полюбил, и бросить дело, которое я только что начал,— но какое это имеет значение! Меня переполняло волнение и радостное ожидание. Вот он — тот случай, которого я ждал всю жизнь.

В Овальном оффисе

Утром 5 ноября 1969 года, через месяц после поступления на службу в Белый дом, я сидел в Овальном оффисе президента и зачарованно слушал, как Ричард Никсон, радостный и торжествующий, комментирует свою только что одержанную политическую победу.

— Ну, теперь мы обратили этих либеральных ублюдков в бегство,— горделиво ораторствовал он,— мы заставили их бежать и не дадим им опомниться!

Позавчера вечером Никсон, выступив по телевидению, объявил о своем плане постепенного вывода из Вьетнама войск США и повышения военной роли южновьетнамских вооруженных сил. Эта речь, имевшая целью подорвать растущее антивоенное движение, вызвала весьма благоприятную реакцию прессы и широкой общественности. И вот сейчас, в знак признательности тем, кто помог ему принять соответствующие меры перед лицом кризиса, Никсон пригласил нескольких сотрудников своего персонала на чашку кофе.

В президентском кабинете собрались Боб Холдеман, Генри Киссинджер, Рон Зиглер, Герб Клейн, Дуайт Чэпин, специалисты по подготовке речей Пэт Бьюкенен и Рей Прайс и я, единственный новый человек в группе приглашенных.

Никсон, благодушествуя, опустился на стул и положил ноги на письменный стол; при этом он с довольной улыбкой на лице продолжал свой монолог.

— В политике,— рассуждал он,— лучшая защита — решительное наступление; нашей телевизионной речью мы сбили этих либеральных щенков с ног и не дадим им больше подняться.

Говорил он резко, но тон был не гневным, а скорее удовлетворенным.

— Мы выиграли битву,— подчеркнул он,— и теперь мы сплотились в команду, которая должна одерживать победу за победой.

Не только президент, но и все мы испытывали чувство удовлетворения и облегчения. В Белом доме из недели в неделю нарастало напряжение. 15 октября участники движения против войны во Вьетнаме провели по всей стране массовые митинги с требованием прекратить военные действия; они назначили на 15 ноября проведение массовой демонстрации в Вашингтоне. Но президент, объявив о постепенном выводе войск, выбил у них почву из-под ног — во всяком случае, так нам казалось.

Поднявшись со стула, Никсон стал ходить по кабинету, обращаясь с несколькими словами поочередно к каждому из присутствующих. Когда он похвалил Киссинджера, советник президента по иностранным делам предупредил его, что, хотя мы и преодолели кризис, до удовлетворительного решения вопроса об окончании войны, по-видимому, еще далеко. Никсон поблагодарил специалистов-текстовиков за помощь в составлении его речи. Затем, повернувшись ко мне и Чэпину, он заговорил о кипах телеграмм, которые благодаря нашим заботам, уже вчера утром лежали на его письменном столе и скорая доставка которых прекрасно аттестует телеграфную службу.

— Замечательные телеграммы,— сказал он Чэпину.— Это ваша с Джебом заслуга, не так ли? Я слышал, у вас были какие-то затруднения?

— Сначала деятели из «Вестерн юнион» заявили нам, что обеспечить доставку этих телеграмм к утру нет никакой возможности,— пояснил Чэпин.— Тогда я позвонил президенту «Вестерн юнион», и тот сказал, что возможность найдется.

Улыбнувшись, Никсон обернулся к Пэту Бьюкенену, в прошлом весьма консервативному и весьма воинственному журналисту, который не только писал ему речи, но и составлял для него сводки новостей дня.

— Скажите-ка Пэт, а какие комментарии передавались вчера вечером по телевидению?

— Благоприятные, за исключением одного,— ответил Бьюкенен и назвал фамилию автора — телекорреспондента, который, как мы считали, часто проявлял предвзятость по отношению к администрации Никсона.

— Между прочим, господин президент,— вмешался в разговор Генри Киссинджер,— этот человек, кажется работает на румынское правительство.— Далее он разъяснил, что упомянутый корреспондент, работая по соглашению, получает за сообщения из Вашингтона гонорары от румынского правительства, которое, как известно, является правительством коммунистическим.

— Совершенно верно! Этот малый — коммунист,— рассерженно подхватил президент. Взгляд его остановился на мне.— Джеб, вы — наша новая ударная сила. Расскажите-ка где надо об этом типе.

Я увидел, как побледнел Герб Клейн.

— Слушаюсь, господин президент,— сказал я.

Разговор перешел на другие темы, был подан кофе, а немного погодя президент встал, показывая, что встреча окончена. Я вернулся в свой кабинет в цокольном этаже Белого дома напротив столовой, наискосок от многокомнатного служебного помещения Киссинджера. Наверное, никто и не помнил об этом разговоре, но ведь я-то получил от президента прямое указание рассказать в среде журналистов о коммунистических связях названного телекорреспондента. Я не стал гадать, как мне следует поступить: за месяц работы в Белом доме я уже успел убедиться в том, что те помощники, которые пытаются задним числом поправить президента, быстро теряют его расположение. Не мудрствуя лукаво я рассказал об этом корреспонденте все, что мне было велено, нескольким дружественным Белому дому репортерам.

Через пару дней корреспондент явился к Гербу Клейну и потребовал, чтобы его отвели к этому «сукину сыну Магрудеру», который распускает слухи, будто он — коммунист. Клейн, который постоянно попадал в такие переделки, принес всяческие извинения.

— Магрудер,— объяснял он,— работает здесь недавно и по неопытности допустил ошибку; ничего подобного больше никогда не повторится.

Прежде чем продолжить рассказ, я хотел бы охарактеризовать нескольких ведущих сотрудников Белого дома. Начну с Боба Холдемана — главенствующей, центральной фигуры исполнительного аппарата Белого дома при Никсоне. Это был рослый, стриженный «ежиком», уверенный в себе человек, умелый, собранный, нетерпеливый, крутой, справедливый и ультраконсервативный руководитель. Он мог быть обаятельным — если позволяло время, которого вечно не хватало. С большинством сотрудников он общался при помощи докладных записок: они экономили время и упраздняли всякие личные моменты. Докладные он прямо-таки фетишизировал. Помню, одну из первых моих докладных он вернул мне с требованием перепечатать: я упустил какую-то стилистическую мелочь, кажется, не проследил, чтобы его фамилия была напечатана большими буквами. Докладные он обычно возвращал сотрудникам со своими замечаниями на полях, и все мы с трепетом ждали его пометок, как мальчишки — табеля успеваемости. Надпись «Хорошая мысль» или «Отлично!» заметно поднимала настроение, тогда как «Не согласен!» или «Зайдите ко мне!» повергала в отчаяние.

Коренастый брюнет Рон Зиглер был довольно молод; самым большим его достоинством как пресс-секретаря являлось умение не обронить ни одного слова, которое не было бы сначала одобрено Никсоном или Холдеманом. Именно благодаря этому качеству он сумел получить должность директора пресс-отдела, обскакав Герба Клейна и других претендентов, о которых было известно, что иной раз они могут высказать личное мнение или независимую мысль.

Гораздо большее уважение вызывал у меня директор службы информации Герб Клейн, человек с усталыми глазами, в прошлом редактор газеты. Герб не вполне разделял господствовавшую в Белом доме маниакальную враждебность к журналистам. Он считал, что если мы станем относиться к репортерам хорошо и будем с ними по возможности откровенны и искренни они в большинстве своем ответят непредвзятым к нам отношением. Одним словом, он видел в журналистах не врагов, а просто-напросто критиков, которые, если обходиться с ними как следует, вероятно, будут отдавать нам должное. Такая его позиция имела два следствия. Во-первых, Клейн стал благодаря ей лучшим специалистом Белого дома по взаимоотношениям с прессой. Во-вторых, Холдеман, Никсон и прочие стали все больше подозревать его в «нелояльности».

Чак Колсон поступил на работу в аппарат президента вскоре вслед за мной. Он появился тут в результате той же общей перестановки кадров, благодаря которой пригласили в Белый дом и меня.

Колсон, по моему убеждению, стал нашим злым гением. Он, несомненно, обладал блестящими способностями, но слишком часто употреблял их на разжигание темных инстинктов Никсона, его стремления разить своих врагов, брать их за глотку. Можно смело утверждать (конечно, с той непременной оговоркой, что главную ответственность за все происшедшее в период его администрации несет сам Никсон), что Колсон как никто другой из советников президента ответствен за создание морального климата, в котором Уотергейт стал возможен, даже неизбежен.

Очень быстро между мной и Колсоном возник конфликт. Колсон хотел выжить Клейна и подчинить себе службу информации, а когда я воспротивился его намерениям, он стал относиться ко мне враждебно. Я не меньше его желал нашей победы на выборах и посрамления наших критиков, но тактика Колсона часто представлялась мне слишком жесткой, слишком грубой и поэтому приводящей к обратным результатам. Например, во время избирательной кампании 1972 года он добивался, чтобы я заслал на сборище гомосексуалистов фиктивного «приверженца» Макговерна; я отказался

сделать это — не из милосердия к Макговерну, а из опасения, что эта уловка будет легко раскрыта. Конечно, и у него бывали удачи. Так, он мог без конца похваляться тем, как в 1970 году он «свалил» сенатора Джозефа Тайдингса, инспирировав опубликование в журнале «Лайф» статьи, обвиняющей Тайдингса в финансовых злоупотреблениях. Вспоминается такой случай: Колсон явился ко мне с фотографией Теда Кеннеди, снятого в Риме вместе с красивой женщиной, которая не была г-жой Кеннеди, и попросил меня устроить публикацию этой фотографии в печати. Мне удалось пристроить снимок в бульварную газету «Нэшнл инквайрер», откуда его перепечатал один из политических журналов. Этот маленький успех, который Колсон ставил себе в заслугу, иллюстрирует еще одну из его способностей — умение делать грязную работу чужими руками, оставаясь, как правило, в тени.

Но главное в характеристике Чака Колсона заключалось вот в чем: начиная с 1970 года именно к его советам в вопросах политики и использования печати президент прислушивался чаще всего. При поступлении в Белый дом Колсон обходился одним-единственным секретарем, а перед уходом оттуда он имел десятки подчиненных. Мы, остальные сотрудники исполнительного аппарата при президенте, любили отпускать шутки о все расширяющейся империи Колсона, которую называли «департаментом грязных махинаций», и о том, какую, интересно, пакость замышляет Колсон на этот раз.

Впоследствии шутки эти обернутся против нас.

В ходе моей работы по подготовке празднования 4 июля под лозунгом «Чти Америку» я впервые близко познакомился с моим будущим шефом, министром юстиции Джоном Митчеллом. Два-три раза я подробно осведомлял его о проделанной работе. Митчелл произвел на меня глубокое впечатление. Сразу было видно, почему он стал сильным человеком администрации Никсона.

Митчелл был не только властным, решительным политиком — для десятков руководящих работников администрации он являлся олицетворением отеческого авторитета. Заботливым отцом был он в глазах молодых сотрудников вроде меня и Джона Дина, и даже сам президент, по-видимому, считал его надежной опорой, ровней себе во всем, человеком, к которому следует обращаться за советом в трудный час. Митчелл внушал доверие. Он обладал представительной внешностью и имел вид преуспевающего, уверенного в себе администратора, который всегда и во всем является хозяином положения. Человек благожелательный, мягкий в речах и философски невозмутимый, он мог быть жестким, даже жестоким со всяким, кто противодействовал или досаждал ему, как это делали время от времени Финч и Колсон, но к тем сотрудникам младшего поколения, которые относились к нему с почтением, он был неизменно внимателен и снисходителен. Митчелл придерживался жесткой линии в политико-философском смысле — он ратовал за строгие законодательные меры в борьбе с преступностью и хотел видеть консерваторов в Верховном суде,— но в отличие от Колсона и Никсона он не был приверженцем жесткого курса в смысле беспощадной расправы с нашими критиками. У меня сложилось впечатление, что он мирился с методами «грязных махинаций» только ради президента.

Из Белого дома — в Комитет по переизбранию президента

Прослужив в Вашингтоне год, я пришел к выводу, что мне пора уходить из Белого дома. Деятельность в его стенах уже не радовала меня так, как радовала прежде. Львиная доля рабочего времени уходила на наблюдение за нескончаемым потоком мелочей, которое приходилось осуществлять под постоянным давлением. К тому же Колсон, казалось, вот-вот выживет Клейна. Работать под началом Колсона я не хотел, воевать с ним устал, и поэтому мысль о переходе напрашивалась сама собой.

Но куда перейти? Вероятно, я мог бы рассчитывать на должность помощника министра в одном из департаментов, однако мне пришлось бы заниматься примерно теми же делами, что сейчас. Это был бы шаг в сторону, а не вверх. И я решил, что лучшая стратегия для меня — поступить в аппарат, создаваемый для организации предвыборной кампании 1972 года и использовать свою должность в качестве средства получить какой-нибудь высокий пост во второй администрации Никсона. Поскольку в руководители кампании прочили Джона Митчелла, я решил обратиться к нему. В результате уже 1 марта 1971 года Митчелл пригласил меня к себе в министерство юстиции, чтобы сообщить, что он договорился с Холдеманом о моем уходе из Белого дома и поступлении на службу к нему.

И вот я оказался в Комитете по переизбранию президента (КПП) на должности с окладом 38 500 долларов в год — на несколько тысяч больше того, что я получал в Белом доме. Подав в отставку и обменявшись письмами с президентом, я перебрался на новое место службы — в только что оборудованные для КПП служебные помещения на Пенсильвания авеню, в двух шагах от Белого дома. На душе было радостно от

сознания, что мне больше нет дела до борьбы за власть в Белом доме, что впереди хлопоты, связанные с организацией предвыборной кампании в общенациональном масштабе под началом у Митчелла. Лишь одно досадное при всей своей незначительности происшествие омрачило радость нашего переселения в новую политическую штаб-квартиру. Телевизионная компания Си-би-эс, прослышав о нашем новом оффисе, направила к зданию съемочную группу телеоператоров. Ничего не подозревавший казначей комитета Хью Слоун, выйдя за дверь, очутился прямо перед нацеленными на него камерами. От неожиданности он, человек неопытный, инстинктивно закрылся рукой, представ перед телезрителями в классической позе налетчика, прячущего лицо от фотографов. Это был не совсем тот образ, который мы хотели придать Комитету по переизбранию президента.

В течение 1971 года сотрудники аппарата Белого дома критиковали нас, работников комитета, за то, что наша деятельность не давала-де ощутимых результатов. Холдеман и его помощник Стрэчен либо Колсон и его помощник Дик Хауард время от времени негодующе вопрошали: «И чем только вы, бездельники, там занимаетесь? Что мы получаем, тратя на вас такие деньги?» Эти упреки — еще куда бы ни шло, но особенно обидным казалось стандартное обвинение, будто в новых служебных помещениях в доме 1701 по Пенсильвания авеню мы утопаем в роскоши. Конечно, разместились мы неплохо — в фешенебельном районе Вашингтона, в каком-нибудь полуквартале от Белого дома. Полы в нашем оффисе были устланы ворсистыми коврами темно-оранжевого цвета, в тон с общей цветовой гаммой интерьера, у нас была хорошая мебель, отличное конторское оборудование. Мне достался кабинет с ванной — замечательное удобство! Теперь, если я задерживался вечером на работе и ехал прямо оттуда куда-нибудь ужинать, я имел возможность сначала принять душ и сменить белье. При всем том критические замечания, будто мы тут роскошествуем, возмущали меня: ведь они исходили от людей, наслаждавшихся комфортом-люкс Белого дома, по сравнению с которым помещение КПП выглядело так же скромно, как канцелярия Христианского союза молодых людей.

Наряду со шпильками по поводу отсутствия в нашей работе результатов и нашего «шикарного стиля жизни» нам адресовались все более настойчивые требования, чтобы КПП занялся сбором секретной информации. «Неужели вы там в комитете не можете как следует разведать, что на уме у этого Маски?» — спрашивали сотрудники Белого дома. Меня эти вопросы ничуть не удивляли. Белый дом всегда интересовался данными политической разведки, а после майских демонстраций и июньской публикации секретных документов Пентагона стремление Белого дома узнать, что замышляют против нас «враги», заметно усилилось. Основная проблема, которая существовала и прежде, а теперь еще более обострилась, состояла в следующем: президент с Холдеманом считали, что активных противников войны во Вьетнаме субсидируют некие коммунистические круги, а так как ни ФБР, ни отдел внутренней безопасности министерства юстиции не нашли тому доказательств, Никсон и Холдеман поставили на этих ведомствах крест и решили поручить поиски доказательств своим собственным следователям.

Мы с Митчеллом обсудили положение и порешили на том, что Комитету по переизбранию президента следует заняться сбором информации о деятельности претендентов на президентский пост в рядах демократов, и в особенности сенатора Маски, который, как тогда казалось, имел наибольшие шансы быть выдвинутым кандидатом от демократической партии. При этом меня поразила двойственность позиции Митчелла: соглашаясь, что нам нужны разведывательные данные, он вместе с тем не проявлял никакого энтузиазма.

С просьбой подумать о том, каким образом можно было бы раздобыть секретную информацию о Маски, я обратился к Кену Ритцу, главе отдела КПП, занимавшегося молодежью. Не мог ли бы он заслать одного из своих молодых помощников под видом добровольца на работу в штаб-квартиру Маски? Кен обещал поразмыслить над этим. Через неделю-другую он зашел ко мне сообщить, что у него на примете есть человек, который мог бы устроиться у Маски шофером, но что осведомителю придется платить тысячу долларов в месяц. Я доложил об этом Митчеллу, и он утвердил соответствующие расходы. И на сей раз он явно не горел энтузиазмом; по-моему, он смотрел на ассигнование тысячи долларов в месяц как на дешевый способ отделаться от Белого дома.

Ритц не посвятил меня тогда в детали операции, но впоследствии выяснилось, что он связался с одним своим знакомым, государственным служащим Джеком Бакли, имевшим в прошлом опыт следовательской работы, а тот — с бывшим шофером такси, которому удалось наняться к Маски. Интересно, что Ритц, дилетант в шпионских делах, выполнил свою задачу профессионально: нашего агента отделяли от КПП два звена связи, и он не имел ни малейшего понятия о том, что работает на нас. В дальнейшем нам предстояло иметь дело с «профессионалами» в области шпионажа, которые позабудут принять эту первейшую меру предосторожности!

Барту Портеру, ведавшему у нас программой координации ораторов, которые будут выступать от имени президента, поручили выплачивать деньги нашему агенту в лагере Маски и получать высылаемые им документы. Агент добыл нам несколько документов сенатора Маски, по меньшей мере два из которых мы сумели использовать.

В начале ноября я разговаривал с юридическим советником президента Джоном Дином, с которым был на короткой ноге, о необходимости перевести операции по сбору секретной информации на профессиональный уровень.

— Если мы собираемся и дальше играть в эти шпионские игры,— сказал я,— глупо поручать их заботам Ритца и Портера.

— Может, нам удастся объединить разведывательные функции с юрисконсультскими,— ответил Дин. (Дело в том, что КПП нуждался в штатном юристе и Дин подыскивал нам подходящую кандидатуру.) — Я займусь этим.

В первых числах декабря Дин позвонил мне, чтобы сообщить приятную новость:

— Я нашел для вас юриста.

— Прекрасно! Кто он?

— Некий Гордон Лидди. Это как раз тот человек, который вам нужен!

Лидди выдвигает свой план

Гордон Лидди вошел в мою жизнь в пятницу 3 декабря 1971 года, когда Джон Дин привел его в мой кабинет — как мне показалось, для предварительной беседы с кандидатом на вакантную должность. Но Дин поспешил вывести меня из заблуждения:

— Послушай, Джеб, Митчелл считает, что Гордон идеально подходит для должности нашего юрисконсульта.

Таким образом, беседа с Лидди свелась к чистой формальности. Меня это укололо, но я доверял суждениям Дина. Он отзывался о Лидди в самых лестных выражениях, и я готов был дать этому Лидди возможность показать себя. Тем более что из рассказа самого Лидди о его прошлой служебной деятельности как будто явствовало, что он знает свое дело. В начале 60-х годов он был агентом ФБР, затем — помощником окружного прокурора в штате Нью-Йорк. О своих последующих занятиях в Белом доме он говорил уклончиво. Я решил, что он имел отношение к законодательным мерам по борьбе с наркотиками. На самом же деле, как это выяснилось впоследствии, в связи с утечкой документов Пентагона была создана группа по расследованию во главе с Крогом, получившая название «водопроводчиков» (так как в ее задачу входило ликвидировать утечки). Вот там-то и подвизался Лидди — в «бригаде водопроводчиков», одной из главных операций которой явилось проникновение со взломом в кабинет психиатра, лечившего Дэниела Эллсберга. Ничего этого я тогда не знал. Мне было известно лишь, что Лидди — юрист, которого горячо рекомендовал Бад Крог, и что Дин и Митчелл заинтересованы в зачислении его в штат.

В ходе нашей беседы Дин заметил, что Лидди мог бы взять на себя и еще одну функцию — руководство программой сбора секретной информации.

— Можете не волноваться,— заявил Лидди.— Я мастер по этой части. Знаком с новейшей техникой и методами этого дела. Могу добыть все что угодно.

— Отлично, Гордон,— обрадовался я,— нам определенно нужен профессиональный руководитель в этой области.

На следующий день после того, как Лидди поступил к нам в комитет, я вызвал его к себе, чтобы подробнее поговорить о его обязанностях. В частности, мне хотелось обсудить с ним некоторые аспекты его будущей разведывательной деятельности. Однако как только я коснулся этой темы, он прервал меня:

— Включите радио.

— Что-что, Гордон?

— Радио. Включите радио.

— У меня нет времени слушать радио, Гордон. Я хотел бы докончить нашу беседу.

— Вы что, не понимаете?

— Ничего не понимаю!

— Видите вон то здание?

— Ну, вижу.— Широкое окно моего кабинета выходило на Пенсильвания авеню, и прямо напротив нас на противоположной стороне улицы сооружалось новое административное здание.

— Так вот, возможно, что кто-нибудь подслушивает нас оттуда.

— Подслушивает нас через улицу? — Я был слишком заинтригован, чтобы сердиться.

— Вот именно! Сейчас появились подслушивающие устройства, способные улавливать звуковые колебания за закрытым окном по другую сторону улицы. Поэтому секретничать приходится при включенном радио, чтобы они поймали не те колебания, которые им нужны.

Я пожал плечами и включил радио. Ведь как-никак я имел дело с профессионалом, а немного музыки, право, не помешает. Пригласив к себе Ритца и Портера, я сообщил им, что разведывательная деятельность, которой они занимались, переходит отныне в ведение Лидди. Затем мы приступили к обсуждению бюджета его службы. Лидди спросил, на какую сумму он может рассчитывать.

— Мы расходуем около четырех-пяти тысяч в месяц,— ответил я — Ваши оперативные расходы не должны превышать этих пределов.

— Какие-то четыре-пять тысяч? — воскликнул Лидди.— А Дин говорил, что на разведку мне отпустят миллион!

Это было сногсшибательное заявление, но, не зная, что́ именно могли иметь в виду Дин или другие сотрудники Белого дома, я сказал:

— Послушайте, Гордон, миллион долларов — это большие деньги. Советую вам подготовить для сведения министра юстиции план мероприятий, который объяснял бы подобные затраты.

— Ну, за этим дело не станет,— заверил меня Лидди.— Будьте спокойны!

Через пару дней, представляя Лидди руководящим деятелям комитета, собравшимся на совещание, я позволил себе пошутить:

— Таланты Гордона не ограничиваются одной юриспруденцией. Он, кроме того, будет нашим супердетективом.

Лидди покраснел, надулся и промолчал до конца совещания. Как только заседание окончилось, он отвел меня в сторону и сердито проговорил:

— Мне необходимо сохранять анонимность — иначе я не смогу заниматься этой работой. Вы что — хотите демаскировать меня?

Я сконфуженно извинился. Самое смешное, что Лидди постоянно хвастался своими подвигами. Прямо-таки классический пример такого бахвальства всплыл наружу позже: оказывается, когда Лидди с Говардом Хантом после операции по проникновению со взломом в кабинет психиатра, пользовавшего Эллсберга, летели обратно в Вашингтон, они, пытаясь произвести впечатление на двух стюардесс, похвалялись, что, мол, только что провернули крупное дело по линии ведомства госбезопасности. Летели они под чужими фамилиями и историю со взломом рассказали в измененном виде, но тем не менее выболтали достаточно, чтобы стюардессы узнали их в разгар уотергейтского скандала по фотографиям в газетах и позвонили в ФБР.

С течением времени я все больше убеждался, что наш юрисконсульт, мягко выражаясь, большой оригинал. Первое, что обращало на себя внимание в нем,— это его рукопожатие. Здороваясь, он стискивал вам руку словно клещами, так что, если не поберечься, можно было остаться с поврежденными суставами. Он был невысок ростом, но сохранял хорошую спортивную форму — эдакий «бойцовый петух», любитель прихвастнуть своими похождениями в духе Джеймса Бонда — например, как он на полной скорости выпрыгнул из машины и задержал особо опасного преступника, разыскиваемого полицией, или как он возглавлял налет на особняк гангстера Тимоти Лири. Верный «джеймсбондовской» традиции, Гордон Лидди обожал огнестрельное оружие. Он любил рассказывать, как в бытность свою помощником окружного прокурора он, подытоживая перед присяжными результаты судебного следствия по делу о вооруженном грабеже, выхватил из кармана револьвер и выстрелил в потолок, чтобы наглядно доказать какое-то положение обвинения. Как-то раз Лидди сказал мне:

— Знаете, Джеб, у меня есть пистолет, который стреляет под водой.

— При каких же это обстоятельствах, Гордон, вы собираетесь стрелять в кого-нибудь под водой? — спросил я после минутного раздумья.

— Мало ли при каких,— заметил он.— Никогда не знаешь, что может случиться.

В другой раз Лидди поведал мне, что во время службы в ФБР он был членом секретной «ударной группы» и однажды убил человека. По словам Лидди, он подкараулил свою жертву в гараже; напав на вошедшего, он скрутил его, накинул на шею петлю и вздернул его на стропилах.

— И знаете, что оказалось? — продолжил он, качая головой.— Я обнаружил, что убил не того человека. С тех самых пор это лежит у меня на совести.

Возможно, Лидди сочинил эту историю, но он рассказывал ее так убедительно, что я поверил. Я никогда раньше не имел дела с подобными типами и уже начинал жалеть, что повстречался с Лидди. Однако во встрече этой был какой-то элемент неизбежности. Стоит только признать допустимость сбора тайной информации по принципу «все средства хороши» и вы в конце концов придете к Гордону Лидди.

К середине января Лидди сообщил мне, что он готов представить министру юстиции программу разведывательных операций. Я наметил встречу с Митчеллом на 27 января и пригласил на нее Джона Дина, поскольку он сосватал нам Лидди и проявлял интерес к его разведывательным планам.

Перед самым нашим отъездом на прием к Митчеллу, назначенный на четыре часа, Лидди лихорадочно рыскал по всем служебным помещениям КПП в поисках штатива для демонстрации диаграмм. Я подключил к поискам своего помощника Боба Рейснера, но поскольку штатив все не отыскивался, я попросил Боба позвонить в канцелярию Митчелла и узнать, не найдется ли этой штуки у них. Наконец, мы с Лидди уселись в лимузин, подкатили к министерству юстиции и поднялись на лифте на пятый этаж, где находился кабинет министра юстиции. В приемной нас встретил Дин, и с боем часов мы вошли к Митчеллу.

Совещание началось с краткого доклада Лидди о том, как затронет новый избирательный закон наши расходы по предвыборной кампании. Это заняло минут пять—десять, после чего Лидди перешел к изложению своей разведывательной программы. Штатив удалось где-то найти, и Лидди развернул рулон из шести-семи профессиональ-

но вычерченных диаграмм, каждая — с кодовым названием наверху, обозначавшим какой-нибудь один аспект предлагаемой им программы. Среди кодовых названий были «Джемстон» и «Мишень».

Оживленно и бойко Лидди принялся посвящать нас в детали своего плана. Это был стопроцентный профессионал — Джеймс Бонд на деловой встрече с М. Содержание плана, который он излагал с завидной самоуверенностью, явилось для нас полнейшей неожиданностью. Чего там только не было: «отряды по наведению порядка», похищение людей, диверсии, использование проституток для политического шантажа, кража и фотографирование секретных документов и разнообразные виды слежки и подслушивания с помощью электронной аппаратуры. Отряды по наведению порядка, пояснял он,— для избиения участников враждебных нам демонстраций. Группы похитителей — для задержания лидеров радикалов, таких, как Джерри Рубин и Эбби Хоффман, с тем чтобы в период съезда республиканской партии упрятать их подальше в «безопасное убежище» в Мексике. Позаботился Лидди и о съезде демократической партии:

— Мы выведем из строя установки для кондиционирования воздуха на сцене. Представляете, как будут выглядеть на телеэкранах всей страны эти делегаты, обливающиеся потом в жару под 50 градусов?!

Далее его планом предусматривалось использование во время съезда демократической партии проституток — как в Вашингтоне, так и в Майами-Бич — с целью компрометации ведущих политиков-демократов. Он предлагал взять напрокат в Майами-Бич яхту и установить на ней скрытые камеры и записывающие устройства. Продажные женщины будут заманивать ничего не подозревающих демократических деятелей на борт яхты, где их ждет тайный сеанс детективной киносъемки и звукозаписи.

— Девиц, мы пригласим самых шикарных,—подчеркивал Лидди,—только высшего класса.

Лидди продолжал в том же духе с полчаса. Это будет, пообещал он, самая совершенная операция такого рода из всех когда-либо предпринимавшихся ранее, и она с лихвой окупит тот миллион долларов, который потребуется для ее осуществления.

Когда Лидди наконец кончил, наступило долгое молчание. Лидди, похоже, ожидал возгласов восторга и аплодисментов. Митчелл с минуту попыхал трубкой и затем высказал свое мнение:

— Гордон, это не совсем то, что мы имели в виду, а с запрашиваемой суммой вы явно хватили через край! Почему бы вам немного не подсократить свою программу, и тогда мы вернемся к разговору о ней.

В характерной для него сдержанной манере Митчелл выразил свое недовольство крайностями этой программы: проститутками и группами похитителей. Тем не менее он не отвергал всего плана целиком, поскольку все мы считали необходимым сбор разведывательных данных и проявили интерес к аспектам плана Лидди, связанным с подслушиванием телефонных разговоров.

Вернувшись к себе в кабинет, я в соответствии с заведенным порядком позвонил Гордону Стрэчену и обрисовал ему сущность предложения Лидди для передачи Холдеману.

Вскоре Лидди известил меня о своей готовности представить сокращенный план, и я договорился о второй встрече с Митчеллом, которая и была назначена на 11 часов утра 4 февраля. На этот раз я ознакомился с предложением Лидди заранее и с удовлетворением убедился в том, что предлагаемый бюджет сокращен до 500 тысяч долларов, а главный упор сделан теперь на подслушивании телефонных разговоров и наблюдении с помощью электронных устройств. На этот раз обошлось без диаграмм — план был отпечатан на машинке, на бумаге стандартного размера.

Как и в прошлый раз, к нам присоединился Дин, и мы провели еще одно обсуждение с Митчеллом, которое и на этот раз не дало определенных результатов. Лидди не указал конкретных объектов перехвата телефонных разговоров, но в ходе обсуждения мы остановились на том, что первоочередными объектами должны стать кабинет Ларри О'Брайена в Национальном комитете демократической партии, разместившемся в гостиничном комплексе Уотергейт, номер отеля в Майами-Бич, в котором О'Брайен остановится во время съезда демократической партии, и предвыборная штаб-квартира будущего кандидата демократов в президенты. За последний год О'Брайен выдвинулся как самый умелый выразитель взглядов демократов и критик нашей администрации.

Третью встречу для рассмотрения плана Лидди мне удалось устроить лишь месяца через два. По-видимому, Лидди пожаловался на задержку Колсону, потому что Колсон как-то вечером позвонил мне по этому поводу:

— Долго вы там будете тянуть с утверждением бюджета Лидди? Нам требуется информация, особенно об О'Брайене!

Где-то в феврале мне позвонил и помощник Колсона Дик Хауард, чтобы сообщить, что Говард Хант закончил свою работу в качестве консультанта Белого дома и мог бы оказаться весьма полезен Комитету по переизбранию президента в сфере разведывательной работы. Я немного знал Ханта, и мне было не совсем ясно, какая нам от него может быть польза. Хауарду я сказал, чтобы он передал Ханту, что он может позвонить Лидди и тот наймет его, если захочет. Лидди действительно подрядил Ханта, который, как выяснилось, был его старым приятелем.

Тогда же, в начале 1972 года, на руководящие посты в КПП, деятельность которого стремительно развертывалась, пришло несколько новых сотрудников, и среди них — Фред Лярю и Боб Мардиан. Фред Лярю, ставший одним из самых близких моих друзей в Вашингтоне, был лет на шесть старше меня. Жизнь этого всегда сосредоточенного, никогда не повышавшего голоса уроженца берегов Миссисипи была омрачена трагедией: в 1957 году, охотясь на уток в Канаде, он случайным выстрелом убил отца.

(В третий раз план Лидди рассматривался 30 марта, вместе со множеством прочих срочных дел, в доме Митчелла в Ки-Бискейне — курортном местечке на островке у побережья Флориды напротив Майами. Митчелл, подав в отставку с поста министра юстиции, отправился туда отдохнуть, перед тем как полностью посвятить себя руководству предвыборной кампанией республиканцев. План Лидди был последним из рассмотренных тридцати документов, по которым требовалось вынести безотлагательное решение.)[1]

Митчелл, разговаривая со мной, что-то быстро написал на подготовленном Лидди документе, где указывались запрашиваемые суммы денег, нужное ему количество агентов и требуемые виды оборудования. В заключение Митчелл сказал, что он утверждает план, но что Лидди получит лишь 250 000 долларов. Мы обсудили конкретные объекты программы подслушивания телефонных разговоров и порешили на том, что Лидди должен вплотную заняться перехватом телефонных разговоров в кабинете Ларри О'Брайена в Уотергейте и что в дальнейшем мы подумаем о других возможных объектах.

Взлом

Сразу после Дня памяти[2] Лидди зашел ко мне сообщить новость: его людям удалось тайно проникнуть в штаб-квартиру демократов в Уотергейте, установить «жучки» и сфотографировать документы. Я выразил удовлетворение и попросил Лидди ознакомить меня с результатами, как только он их получит. Разговор был кратким: пока не было реальных результатов, дела Лидди меня мало интересовали.

В самом начале июня Лидди доставил первые плоды проникновения со взломом в Уотергейт: машинописные копии записей перехваченных телефонных разговоров и фотографии документов из бумаг Ларри О'Брайена. Следующая партия материалов, пояснил он, будет готова через несколько дней. Читая материалы, я вскоре убедился в полной их никчемности. Запись телефонных бесед сообщала нам больше чем достаточно сведений о повседневной жизни и развлечениях тех или иных членов персонала Комитета демократической партии, но ровным счетом ничего, представляющего политический интерес. Когда несколько дней спустя Лидди принес мне новую порцию фотографий и записей, они оказались столь же бесполезными.

Тем не менее я счел нужным показать эти материалы — досье операции «Джемстон» — Стрэчену, хотя бы для того, чтобы поставить Белый дом в известность о выполнении нами обещания проникнуть в штаб-квартиру демократов. Решив, что отсылать это досье, как все прочие материалы, с курьером было бы опрометчиво, я просил Стрэчена заглянуть в комитет и ознакомиться с материалами Лидди у меня в кабинете. Проглядев все досье, Стрэчен, склонный к сарказму, заметил: «Этот болван зря тратит время и наши деньги» — или что-то в этом роде. Я не мог не согласиться с ним.

На следующий день я захватил с собой эти материалы на совещание с Митчеллом, которые он теперь регулярно проводил со мной с 8.30 утра.

— Ничего ценного,— предупредил я, протягивая ему бумаги.

Полистав документы, он нахмурился.

— Пригласите сюда Лидди.

Вызванный мною Лидди через минуту явился.

— Эта белиберда гроша ломаного не стоит,— сказал ему Митчелл.

— Возникло небольшое осложнение,— ответил Лидди.— Один из «жучков» не работает, а другой подключили не к тому аппарату: вместо телефона О'Брайена прослушивается телефон его секретаря. Но я без промедления все это исправлю.

Лидди умчался, а мы с Митчеллом перешли к другим делам. Задним числом напрашивается мысль: вот тут бы нам и покончить с планом Лидди! Но похоже, тогда это никому из нас не пришло в голову. Деятельность Лидди уже обрела определенную бюрократическую инерцию: идея получила утверждение, деньги были ассигнованы, операции начались и дали первые результаты. Правда, произошла маленькая осечка, но Лидди, профессионал в своей области, конечно, все наладит.

На уикэнд 17—18 июня у нас была намечена серия встреч в Лос-Анджелесе с республиканскими лидерами штата Калифорния. Митчелл, Мардиан, Лярю и я отправились в Лос-Анджелес с женами, так как там был запланирован вечер с участием знаменитостей, поддерживающих президента. Вылетели мы днем в пятницу в качестве гостей на борту самолета, принадлежащего нефтяной компании. Правда, Гейл пришлось лететь обычным пассажирским рейсом: ей не хватило места, потому что Марта Митчелл в

---

[1] Пересказ пропущенных глав. *(Прим. ред.)*
[2] 30 мая — День памяти погибших в войнах.

последний момент решила взять с собой какую-то свою приятельницу. Часов в девять вечера все мы прибыли в отель «Биверли-Хиллз».

Наутро Мардиан, Лярю, Портер и я, все с женами, безмятежно завтракали в «Поло-Лаундже», одном из немногих заведений, где подают на завтрак копченую селедку. Я как раз смаковал этот деликатес, когда официант сообщил, что меня вызывают по телефону. Он поставил аппарат передо мной на столе, я взял трубку, и каково же было мое удивление, когда я услышал голос Лидди!

— Вы должны связаться со мной по телефону, который наверняка не прослушивается,— начал Лидди.

— По безопасному телефону? — переспросил я, думая, что он шутит.— Откуда же я знаю, Гордон, где здесь такой телефон?

— Поезжайте на военную базу Эль-Сегундо, это милях в десяти от вашего отеля.

— У меня нет времени для поездок на военную базу,— раздраженно ответил я, возмущаясь неуместностью этой игры в шпионы.— У вас что-нибудь важное?

— Этой ночью в штаб-квартире демократов в Уотергейте арестован наш начальник службы безопасности.

— Как?! Маккорд?

— Да, Джим Маккорд.

Тут до меня дошло, что мне и впрямь как минимум нужен надежный телефон. Обернувшись к Лярю, я спросил, не знает ли он, где тут можно найти телефон, который наверняка не прослушивается, так как случилась вещь, требующая конфиденциального обсуждения. Лярю сказал, что достаточно позвонить из автомата: это вполне безопасно.

— Какой у вас номер? — спросил я у Лидди.— Я позвоню.

Из-за стола я вышел в состоянии шока. Произошло что-то нелепое, немыслимое! Джима Маккорда я едва знал. Последние полгода он занимал у нас штатную должность начальника службы безопасности, проработав до этого несколько месяцев нештатно. Элегантный неразговорчивый человек с наметившейся лысиной, он производил впечатление профессионала, досконально знающего свое дело. У меня и мысли не возникало, что он каким-нибудь образом может быть связан с разведывательными операциями Лидди, а то его арест казался какой-то бессмыслицей. Наших людей не арестовывают. Наши люди — профессионалы.

Отправляясь на поиски телефона, я мысленно поинтересовался, заметили ли мои друзья, оставшиеся за столом, выражение ужаса на моем лице. Я все еще не мог поверить в случившееся, но уже почувствовал, что забавам и играм пришел конец,— наступает новая, суровая действительность.

Спрятать концы

Когда я дозвонился до Лидди из телефона-автомата поблизости от «Поло-Лаунджа», меня душил гнев.

— Скажите, Лидди, за каким чертом Маккорд оказался в Уотергейте? Ведь у вас была инструкция проводить эту операцию, никак не замешивая нас. Вы что — спятили?

— Мне нужно было, чтобы там побывал кто-нибудь, умеющий обращаться с электронными устройствами,— отвечал Лидди.— Маккорд был единственным специалистом, которого мне удалось найти. Вы дали мне слишком мало времени!

Невероятно — Лидди перекладывает на меня вину за свой провал! Но спорить с Лидди не имело смысла, поэтому я взял себя в руки и попросил сообщить мне все, что ему известно. Он рассказал, что вместе с Маккордом арестовано еще четыре человека — кубинские «борцы за свободу», завербованные Говардом Хантом в Майами. При аресте все пятеро назвали вымышленные фамилии, но их личность, надо полагать, будет скоро установлена.

— Но вам нечего беспокоиться,— уверял Лидди.— Мои люди будут молчать.

Я не находил слов. Создавшееся положение казалось каким-то непостижимым кошмаром. Ясно было лишь одно: арест Маккорда — катастрофа. Ведь это начальник службы безопасности КПП. Кубинцы, быть может, даже и не знали, на кого они работают, но как объяснить причастность Маккорда?!

— Я должен переговорить с Митчеллом,— сказал я Лидди.— Оставайтесь у телефона. Мы позвоним.

Вернувшись в «Поло-Лаундж», я счел своим долгом докончить завтрак, чтобы никто не заподозрил неладного. Наши жены оживленно обсуждали планы на предстоящий день: походы по магазинам, осмотр достопримечательностей, вечер со знаменитостями и как к нему одеться. Завтрак тянулся мучительно долго, а когда мы, наконец, вышли из ресторана, я отвел Фреда Лярю в сторону, сказав, что мне нужно кое-что сообщить ему по секрету, и быстро изложил факты: Маккорд и кубинцы схвачены в кабинете Ларри О'Брайена; на очереди, возможно, арест Лидди и Ханта.

— О боже,— простонал я.— Почему я не уволил этого идиота Лидди, когда была возможность! Вот уж действительно дали маху!

— Может, лучше сначала поговорю с Митчеллом я? — вызвался Фред.

Меня это устраивало, и он отправился к Митчеллу — сообщать дурные вести. Через несколько минут меня позвали в номер люкс, занимаемый Митчеллом.

Внутренне Митчелл, наверное, кипел, но внешне он держался спокойно и деловито. Я сообщил ему все, что мне известно, и мы втроем обсудили возникшую проблему. В ходе обсуждения был вызван и Боб Мардиан.

— Если бы мы сумели вытащить его из тюрьмы, прежде чем будет установлено, кто он такой, он мог бы просто-напросто исчезнуть,— пришло в голову кому-то из нас.

Не помню, кто именно высказал эту мысль, но она получила общую поддержку. Видимо, мы хватались за соломинку, но всем нам казалось, что тот или иной выход из положения может быть найден: ведь мы же как-никак — правительство страны; еще совсем недавно Джон Митчелл был министром юстиции Соединенных Штатов. Так неужели нам не под силу вызволить из вашингтонской тюрьмы одного-единственного человека?

Кто-то из нас вспомнил, что в прошлом Маккорд работал в ЦРУ. Может, воспользоваться этим предлогом? Например, сказать, что он выполнял особое задание, и добиться его освобождения — ведь сумел же полтора месяца назад неизвестный «господин в сером костюме» уговорить полицию отпустить кубинцев, избивавших участников антивоенной демонстрации у Капитолия!

Кому-то пришло в голову, что Митчелл мог бы позвонить Дику Клайндинсту, своему преемнику на посту министра юстиции, и попытаться заручиться его помощью в деле освобождения Маккорда из тюрьмы.

— Нет, это не вполне удобно,— ответил Митчелл.— Пусть лучше позвонит Боб.

Тогда это предложение показалось мне логичным, тем более что Боб Мардиан был близким другом Клайндинста, но теперь, оглядываясь назад, я склонен думать, что Митчелл с самого начала старался отгородиться от любых конкретных действий, имевших целью «спрятать концы в воду».

Мардиан попытался заказать разговор с Клайндинстом в Вашингтоне, но министр юстиции, как выяснилось, отправился играть в гольф в загородный клуб. Тогда, охваченные все возрастающей тревогой, мы приняли новый план: позвонить Лидди, поручить ему отыскать Клайндинста на поле для игры в гольф и убедить его выпустить Маккорда из тюрьмы.

Было решено, что позвонит Лидди все тот же Мардиан, друживший с ним. Но тут у Мардиана возникли сомнения — не насчет того, следует ли звонить Лидди, а насчет того, насколько безопасно звонить из номера Митчелла. Все мы начали беспокоиться о нашей собственной безопасности. Факт участия Маккорда в операции «взлом» и его провала казался столь невероятным, что всех нас неотступно преследовало подозрение: а что, если все это — происки демократов; что, если Маккорд работает на них; что, если в эту самую минуту они перехватывают наши телефонные разговоры? Поэтому Мардиан предпочел позвонить Лидди по поводу встречи с Клайндинстом из автомата.

В середине дня Лидди сообщил, что он вступил с Клайндинстом в переговоры на семнадцатом участке гольф-клуба, но что новый министр юстиции отказался обсуждать с ним вопрос об освобождении Маккорда. К тому времени нам стало известно, что полиция обнаружила у взломщиков несколько тысяч долларов. Мы колебались между страхом и надеждой. Боялись, что деньги — наши и что эта нить приведет полицию в КПП. Надеялись, что деньги, как это окажется в ходе следствия, выплачены Ларри О'Брайеном и демократами, ибо мы никак не могли отделаться от подозрения, что Маккорд — провокатор.

В том, что операция провалилась из-за неумелых действий, сомневаться не приходилось. Лидди должен был держать связь со взломщиками через посредника, так чтобы они и понятия не имели, что работают на нас, и не смогли бы впутать нас в случае их ареста Даже Кен Ритц следовал этому принципу, когда поручил Джеку Бакли завербовать человека, нанявшегося шофером к сенатору Маски. Тот факт, что Маккорд, служащий КПП, был в числе взломщиков, не укладывался у нас в сознании. Кроме того, операция «взлом» была проведена с такой явной небрежностью, словно взломщики сами напрашивались на арест. Так, Маккорд, заклеивая клейкой лентой язычки замков в дверях штаб-квартиры демократов, чтобы они не защелкнулись во время операции, наклеил ленту не вертикально (тогда бы она была незаметна при закрытых дверях), а горизонтально, так что с обеих сторон двери торчали концы, которые просто не могли не привлечь внимание любого охранника. Напрашивался вывод, что Маккорд либо невероятный «сапожник», либо двойной агент. Во всяком случае, последнее казалось нам вполне возможным.

Вечером мы собрались в номере Митчелла для окончательного обсуждения событий дня. Митчелл считал, что завтра же Мардиан должен вылететь в Вашингтон, чтобы взять под контроль сложившееся положение, то есть попытаться замять это дело. Наверное, он отдал предпочтение Мардиану потому, что тот был юристом и к тому же хорошо ладил с Лидди. Я, конечно, не обладал ни одним из этих достоинств, но поручать свою судьбу заботам Мардиана мне не очень улыбалось. На этой неопределенной ноте и закончился первый день попыток спрятать концы в уотергейтском деле.

Этот день круто изменил мою жизнь. Впервые я осознал — как осознал, по-моему, каждый из нас,— что мы оказались замешанными в преступную деятельность и что всем нам грозит тюрьма, если только правда выйдет наружу. Весной, когда Лидди излагал нам свой план операции «взлом», я казалось бы, должен был отдавать себе отчет в его противозаконности, но тогда эта акция почему-то казалась приемлемой — может быть, потому, что мы обсуждали ее в кабинете министра юстиции Соединенных Штатов. Однако в то злополучное субботнее утро до меня вдруг дошло, что все это не просто жесткая политическая борьба, а преступление, способное погубить всех нас. Поэтому попытка спрятать концы была предпринята сразу же и автоматически; никто из нас не усомнился в том, что правду нужно скрывать. Казалось невероятным, чтобы при нашей-то политической власти мы не сумели ликвидировать последствия допущенной ошибки. Во всех наших обсуждениях много говорилось о необходимости «защитить президента». Мы, бесспорно, старались помешать использованию уотергейтской истории во вред президенту, но не подлежит сомнению и то, что мы с Митчеллом рассчитывали спасти при этом собственную шкуру. Мы так глубоко погрязли в этом деле, что пути к отступлению, казалось, для нас нет — оставалось очертя голову ринуться вперед.

Утром в воскресенье меня разбудил звонок Холдемана.

— Как вы думаете, ваш телефон не прослушивается? — начал он.

— Не знаю. Думаю, что нет.

— Хорошо. Расскажите, что случилось.

Холдеман был бодр и деловит, как всегда. Я выложил ему все, что мне было известно об аресте Маккорда, о кубинцах, деньгах и т. д. Сказал я ему и о намерении Митчелла отправить в Вашингтон Мардиана, с тем чтобы он вплотную занялся этим делом.

— Нет, это не годится; президент не доверяет Мардиану,— заявил Холдеман.— Вернетесь сюда и займетесь этим делом вы.

— Вы сами скажете об этом Митчеллу?

— Нет, скажите вы. Если у него возникнут какие-нибудь вопросы, он может позвонить мне.

Наша беседа была непродолжительной. Я изложил факты и получил инструкции. В разговоре с Холдеманом я исходил из предположения, что он был в курсе нашего плана тайного проникновения в Уотергейт, и все, что он говорил, свидетельствовало о его осведомленности.

Затем все четверо — Митчелл, Лярю, Мардиан и я — вышли в сад при нашем отеле, сплошной ковер из ярких цветов, чтобы в последний раз посовещаться перед моим отлетом в Вашингтон. В сад мы спустились не для того, чтобы любоваться цветами, а чтобы избавиться от «жучков», которых, как мерещилось нашему встревоженному воображению, могли тайно «подсадить» в номер Митчелла. Митчелл поставил передо мной следующие задачи: выяснить все подробности относительно статуса Ханта и Лидди; успокоить сотрудников КПП, заверив их, что ничего страшного не произошло; переговорить с Джоном Дином о юридических аспектах ситуации.

С момента когда я вошел в свой служебный кабинет утром в понедельник, для меня началась двойная жизнь, которую мне было суждено вести следующие десять месяцев. С одной стороны, большую часть утра я провел в кабинетах и коридорах нашего комитета, уверяя сотрудников, что ничего не случилось, что мы понятия не имели о намерениях Маккорда и что самым правильным для каждого будет спокойно заниматься своей работой. Я подбадривал персонал, но кто действительно нуждался в ободрении, так это я сам. Теперь я на собственном опыте убеждался, как трудно жить во лжи. По мерилам делового мира и мира политики, в которых мне довелось вращаться, я был открытым, прямым человеком. Я доверял людям, и они обычно доверяли мне. Необходимость изо дня в день лгать, мысленно вживаясь в придуманную версию, которая становилась все более сложной и все меньше поддавалась контролю, подвергала мозг и нервы чудовищному перенапряжению.

В те редкие минуты того утра, когда я не занимался подбадриванием сотрудников, я встречался с людьми, располагавшими информацией, которая была нужна мне для того, чтобы разобраться во всех запутанных обстоятельствах этой скверной уотергейтской истории.

Прежде всего я переговорил с нашим казначеем Хью Слоуном. К тому моменту нам было известно, что взломщики, как обнаружила полиция, имели при себе несколько тысяч долларов в стодолларовых купюрах. Но нам еще не было известно, принадлежали ли эти деньги КПП и, если да, может ли следствие установить их источник. Я надеялся получить от Слоуна разъяснения на этот счет.

Слоун вошел ко мне в кабинет взвинченный, явно чем-то потрясенный, а его ответ на мой вопрос потряс и меня. Он сказал, что деньги, найденные у взломщиков,— те самые, которые он выдал Лидди, и что, вероятно, они выведут полицию на нас. Оказывается, когда Лидди явился к Слоуну за очередной суммой на свою разведывательную деятельность, Слоун по чистой случайности выдал ему несколько пачек стодолларовых билетов, серийные номера которых были зарегистрированы банком при выдаче комитету и которые, таким образом, могли быть опознаны. Если бы Слоун или Лидди разменяли стодолларовые билеты на более мелкие купюры, уотергейтское дело,

быть может, приняло бы совсем иной оборот. Этого, однако, не случилось, и теперь, после беседы со Слоуном, я понял, какой серьезный характер приобрела вся ситуация. Маккорд, возможно, и не проболтается, но объяснить тот факт, что взломщики имели при себе деньги, полученные из бухгалтерии Комитета по переизбранию президента, будет нелегко.

Затем я пригласил к себе Лидди, и, когда через минуту он предстал передо мной, это был новый Гордон Лидди, разительно не похожий на прежнего. Куда девались его живость, энергия, блеск в глазах. Джеймс Бонд оказался на поверку бездарным шутом. Мне было его почти жалко. Разговор наш был коротким и едва ли не дружеским. Ругать Лидди не имело смысла.

— Похоже, Гордон, мы здорово влипли,— сказал я.

— Да,— признался он, потупясь,— я свалял дурака.

Днем мне сообщили, что Митчелл, Мардиан и Лярю прилетают в Вашингтон и будут ждать меня около шести вечера в апартаментах Митчелла в Уотергейте. Сунув в портфель досье «Джемстон», я к назначенному часу явился в Уотергейт.

В апартаментах Митчелла было мрачно как в морге. Чуть раньше меня на встречу прибыл Джон Дин, и теперь все ее участники: Дин, Митчелл, Мардиан и Лярю — уныло сидели с бокалами в руках, и в голосах их звучали горечь и растерянность. Дин рассказывал о своем сегодняшнем разговоре с Лидди.

— Он говорит, во всем виноват Джеб, настоявший на сокращении его бюджета,— сухо сказал Дин.— Но при этом заверяет, что он хороший солдат и не станет давать показаний. И еще говорит, что, если мы захотим подстрелить его на улице, он к этому готов.

Перед уходом я обратился к Митчеллу:

— У меня тут с собой досье «Джемстон». Что мне с ним делать?

— Пожалуй, сегодня вечером вам не мешало бы затопить у себя камин,— ответил он.

Домой я вернулся незадолго до полуночи. Гейл и дети спали. Я выпил на кухне стакан молока и направился в гостиную сжигать досье.

Досье представляло собой папку в четыре-пять дюймов толщиной, которую примерно наполовину заполняли фотографии документов, а наполовину — отпечатанные на машинке тексты телефонных разговоров. Я не мог отправить в камин всю папку целиком: она бы не сгорела. Приходилось, поддерживая огонь, подбрасывать бумаги небольшими порциями. Я уселся на полу напротив камина, поджав ноги по-турецки, и бегло просматривал «джемстонские» документы, прежде чем швырнуть их в пламя, посмеиваясь, когда на глаза попадались особо живописные подробности светских развлечений некоторых сотрудников Комитета демократической партии. Фотографии, как я обнаружил, пылали ярко, словно рождественская елка,— на мгновение пламя вспыхивало и норовило выпрыгнуть из камина. Вдруг я подумал: а что, если проходящий мимо полицейский увидит в окне отблески огня и явится проводить расследование? Стоит совершить преступление, и всюду начинают чудиться полицейские.

Полицейский не пришел, зато появилась Гейл, разбуженная моими манипуляциями или же потрескиванием огня в камине.

— Господи, что ты тут делаешь? — спросила она.— Ты же дом спалишь!

— Пустяки,— буркнул я.— Избавляюсь кое от каких бумаг.

— Джеб, а что мы скажем пожарным, если ты подожжешь дом — это в июне-то? — спросила она с ноткой раздражения.

— Не знаю,— признался я.

Гейл села рядом и наблюдала, как я довершаю свое черное дело. Глядя на пожираемые огнем остатки досье «Джемстон», я думал о том, как дорого обошлись эти бумаги и какими ничего не стоящими они оказались, и спрашивал себя, во сколько они еще обойдутся и сколько еще всего может обратиться в дым, прежде чем придет конец этой безумной истории.

Когда догорели последние документы, я перемешал золу, дабы проходящий полицейский, порожденный моим воспаленным воображением, не смог обнаружить обуглившиеся следы преступления, и, убедившись, что «Джемстон» окончательно испепелен, пожелал спокойной ночи жене, принял ванну и, наконец, повалился в постель.

Прикрывающая версия

Коль скоро мы, руководство КПП, решили отрицать какую бы то ни было нашу причастность к уотергейтскому взлому, перед нами встала необходимость создать сложную версию прикрытия, по которой вся вина возлагалась бы на Гордона Лидди и из которой следовало бы, что он растратил в своих собственных противозаконных целях деньги, ассигнованные нами для целей вполне законных.

Основа такой маскировочной версии была разработана в ходе серии совещаний у Митчелла проводившихся на протяжении целого месяца после уотергейтского взлома. На совещаниях, посвященных выработке версии, обычно присутствовали Митчелл, Лярю и я; иногда к нам присоединялись Дин и Мардиан. Проводилось и много других сове-

щаний, на которых рассматривались другие аспекты уотергейтской проблемы — скажем, вопросы, связанные с огласко́й в печати или с выделением средств для подзащитных и для оплаты их адвокатов,— я на них не присутствовал.

В мою задачу входило прежде всего подыскать правдоподобный ответ на вопрос, почему мы утвердили ассигнование двухсот пятидесяти тысяч долларов на осуществление предложенной Лидди программы обеспечения безопасности и тайного сбора информации, то есть убедительно объяснить, что деньги эти отпущены для законных, а вовсе не для незаконных целей. В сущности, надо было изобрести законную программу деятельности, которую якобы и должен был осуществлять Лидди. Все мы подробнейшим образом обсуждали версию прикрытия, но главным ее автором был я, поскольку именно мне предстояло излагать ее следователям ФБР, большому жюри, обвинителям из прокуратуры США и, наконец, судье и присяжным на процессе по уотергейтскому делу.

Главная цель нашей версии состояла в том, чтобы возложить всю ответственность за взлом в Уотергейте на Лидди. Мы исходили из предположения о том, что причастность Ханта и Лидди к этому преступлению скоро выйдет наружу: на их след наведут записные книжки с адресами и деньги, найденные у пяти арестованных взломщиков. Кроме того, мы исходили из того, что Лидди, Хант и Маккорд (а также четверо кубинцев, если они знали об этом) будут молчать о санкционировании взлома Митчеллом. Больше всего нас страшило то, что в случае привлечения к ответственности также и вышестоящих начальников Лидди под ударом скоро окажутся сам президент и перспектива его переизбрания.

Следующей за Лидди линией обороны был я. В случае необходимости, заверил я Митчелла, я возьму вину на себя: скажу прокурорам, что я дал разрешение на взлом без его ведома. Митчелл не сразу отклонил мое предложение. Как мне стало известно впоследствии, он обсуждал его в Белом доме с Дином и Эрлихманом, и поначалу Эрлихману эта идея понравилась. Однако, рассмотрев дело со всех сторон, они решили, что возложить всю вину на меня не удастся: слишком многие знали, что у меня нет полномочий утверждать четвертьмиллионные ассигнования на что бы то ни было. Следовательно, если обвинение не остановится на Лидди, оно быстро минует меня и дойдет до Митчелла. А уж если замешанным окажется Митчелл, близкий друг президента и руководитель кампании по его переизбранию, это фактически затронет и самого президента. Поэтому, скрывая правду об уотергейтском взломе, мы внушали себе, что «ограждаем президента», и в какой-то мере это соответствовало действительности. Разрабатывая нашу версию, мы не испытывали ни чувства замешательства, ни стыда. Если на то пошло, на наших совещаниях, пожалуй, царил дух уверенности в собственной правоте. Мы убедили себя в том, что, хотя содеянное нами формально и является беззаконием, мы не совершили ничего дурного, ничего необычного и что наши враги в прессе и в политических кругах пытаются раздуть из мухи слона и использовать этот пустячный инцидент как средство подорвать престиж Ричарда Никсона. В разговорах об Уотергейте мы не употребляли таких терминов, как «лжесвидетельство», «взлом» или «преступный сговор». Мы предпочитали выражения типа «урегулировать дело», «справиться с положением». В сущности, мы обсуждали юридическую проблему административным языком. Однако дело мы имели не с аккуратненькой административной проблемой. В нашей уотергейтской истории было много запутанного, отовсюду высовывались концы, которые не удалось спрятать в воду.

В конце рабочего дня я частенько заглядывал к Лярю, чтобы выпить глоток-другой спиртного и обсудить бесчисленные сложности уотергейтского дела. Фред считал, что у нас мало шансов на успех, и высказывался примерно в следующем духе:

— Никакая администрация не сумеет скрыть правду перед лицом такого расследования, которому мы подвергнемся. Следствие затянется на годы, нас станут допрашивать в конгрессе, перед большим жюри, на гражданских процессах, нам не дадут покоя газеты. Слишком много у нас тайн, слишком много проблем, слишком много неувязок. Может, мы и выкрутимся, но вряд ли.

Он, разумеется, был прав, и, по-моему, в глубине души все мы ощущали тщетность попытки скрыть истину, но мы не видели никакого иного пути, если не считать признания себя виновными. Но признать свою вину — перед собой и перед всем миром — казалось совершенно немыслимым.

Во вторник 20 июня Ларри О'Брайен объявил, что он возбуждает гражданское судебное дело против должностных лиц Комитета по переизбранию президента. Это давало демократам возможность ознакомиться с нашей служебной документацией с помощью процесса истребования документов в юридическом порядке. Нашей реакцией на иск О'Брайена было позаботиться об уничтожении всех бумаг, которые могли бы послужить уликой против нас. Барт Портер сбалансировал свои кассовые счета и ликвидировал все записи о выплатах Лидди наличными. Боб Рейснер просмотрел мои бумаги и изъял все засекреченные политические материалы. Я позвонил Гордону Стрэчену, и мы заверили друг друга, что наши соответствующие досье подверглись «санитарной» обработке.

Основная наша проблема в ту первую неделю касалась утвержденных нами ассигнований для Лидди. Мы знали, что у пяти взломщиков было обнаружено при аресте 5300 долларов наших денег и что, по всей вероятности, деньги эти будут идентифици-

рованы как наши. Мы знали, что от пяти взломщиков следствие вскоре перейдет к Лидди и что скоро нас попросят объяснить, зачем мы дали Лидди эти 5300 долларов и сколько еще денег мы отпустили ему. Мы, далее, знали, что нами ассигновано Лидди 250 000 долларов, в основном на осуществление операции «взлом» с незаконным подслушиванием телефонных разговоров. Но чего мы не знали (и в течение нескольких недель это представляло для нас серьезную трудность), так это того, какую часть упомянутой суммы успел выплатить Гордону Лидди казначей нашего финансового комитета Хью Слоун.

Поэтому первейшей необходимостью для нас было выяснить у казначея, сколько же все-таки денег из ассигнованных 250 000 долларов он передал Лидди. Как это ни поразительно, Слоун отказался ответить на этот вопрос. Положение со Слоуном получалось сложное, щекотливое. Мы не знали, насколько он осведомлен. Я подозревал, что ему было кое-что известно о плане взлома (и, следовательно, о том, на какие цели расходовались деньги), потому что он дружил с Лидди, который, вероятно, хвастался перед ним своим прожектом. В конце концов обнаружилось, что Слоун уже выплатил Лидди наличными весьма существенную часть сметной суммы в 250 000 долларов; надо полагать, в этом и коренилась причина его упорного нежелания назвать нам точную цифру.

Неделю спустя агенты ФБР приступили к допросу сотрудников нашего комитета. В среду 28 июня они пытались допросить Лидди. Он отказался отвечать на их вопросы, и Митчелл уволил его. Лидди, само собой разумеется, обещал нам, что будет молчать: он провалил операцию, но он до конца будет оставаться хорошим солдатом. Это обещание он выполнил.

Как мне кажется, Белый дом всегда был уверен в Митчелле — в том, что он будет держаться до конца и защищать президента, что бы ни случилось. Сдается, они не были так уверены во мне, но считали целесообразным оставить меня в КПП, где могли как-то контролировать мои действия. Кроме того, если бы Белый дом проявил намерение уволить меня или Митчелла [1], это могло бы сломить решимость Ханта и Лидди молчать, а от их молчания зависело все. Дин и другие сотрудники аппарата Белого дома не раз говорили мне: «Дело тут не только в Уотергейте — нельзя допустить, чтобы всплыло кое-что еще». Тогда я не ведал, что́ это значит. Теперь я склонен думать, что Дин имел в виду программу «водопроводчиков», в осуществлении которой принимали участие Хант и Лидди и которая включала в себя проникновение со взломом в кабинет психиатра, лечившего Дэниела Эллсберга. Таким образом, сокрытие истины Митчеллом и Магрудером в уотергейтском деле должно было гарантировать молчание Ханта и Лидди о программе «водопроводчиков» — вся эта история превратилась в фантастический карточный домик, готовый рассыпаться от малейшего порыва ветра, откуда бы он ни подул.

А тем временем ФБР изъявило желание побеседовать со мной и с Бартом Портером. Я спросил Портера, поддержит ли он мою версию. Как я и ожидал, он ответил утвердительно. Тогда мы еще раз переписали версию, придуманную нами для сокрытия истины, придав ей теперь окончательную форму.

Начиналась наша версия с признания, что Митчелл как руководитель КПП дал разрешение на выплату Лидди из фондов финансового комитета 250 000 долларов на проведение в жизнь программы обеспечения безопасности и сбора секретных сведений. Из этой суммы, утверждали мы, 100 000 долларов предназначались для программы обеспечения безопасности ораторов, которые будут представлять президента; эти деньги якобы были ассигнованы на оплату услуг десяти молодых людей (из расчета по 1000 долларов в месяц каждому на протяжении десяти месяцев), которые должны были проникнуть в группы радикалов, способные создать угрозу для безопасности наших тридцати с лишним ораторов, представляющих президента во время их поездок по стране. Необходимость этой меры, утверждали мы, диктовалась тем, что в некоторые филиалы штаб-квартиры предвыборной кампании республиканцев были подложены зажигательные бомбы; нашим ораторам устраивали обструкцию, им угрожали — вот почему, отправляя их в турне по стране мы были обязаны позаботиться об их охране.

Остальные же 150 000 долларов предназначались, по нашему утверждению, главным образом для целей обеспечения безопасности съезда республиканской партии, в частности, путем вербовки и снабжения всем необходимым агентов для засылки в группы радикалов, которые могли бы попытаться сорвать работу съезда, а также для покрытия служебных расходов самого Лидди.

Все перечисленные нами виды деятельности носили логически обоснованный и законный характер. Одна беда: мы не могли документально подтвердить даже четвертьдолларовый расход, не то что четвертьмиллионный. Дело в том, что сразу после ареста взломщиков Лидди, надеясь, что ему удастся полностью отмежеваться от своих разведывательных функций, порвал все свои расписки в получении денег, квитанции и документы, причем не только связанные с его незаконной деятельностью, но и те, что служили подтверждением законной его деятельности по сбору информации и могли бы пригодиться нам для подкрепления нашей версии.

---

[1] В начале июля Митчелл ушел в отставку с поста руководителя предвыборной кампании республиканцев «по семейным обстоятельствам».

Наша позиция сводилась к следующему: мы санкционировали израсходование 250 000 долларов в течение предвыборной кампании, и если Слоун утверждает, что он авансировал 199 000 долларов, то, хотя мы и удивлены, это тем не менее не выходит за пределы его, Слоуна, компетенции. Да, с бухгалтерской отчетностью, признаемся, дело у нас обстояло из рук вон плохо. Если нас попросят документально отчитаться в том, как Лидди тратил деньги, единственное, что мы сможем сказать, окажется: «Спросите у Лидди». А Лидди, конечно, будет нем как могила.

В начале августа прокуроры сообщили нашим адвокатам, что большое жюри рассматривает вопрос о признании меня невиновным или о вынесении обвинительного акта. И тут я впервые почувствовал, как одинок я в своем уязвимом положении. Помимо меня в преступном сговоре участвовали и другие сотрудники, но не кто иной, как я, согласился дать ложные показания под присягой перед большим жюри. Если бы меня обвинили в преступном сговоре с Лидди или в лжесвидетельстве, я намеревался отмалчиваться, чтобы не повредить Митчеллу и президенту. Я сам вызвался играть такую роль в попытке замять уотергейтское дело, движимый отчасти честолюбием, отчасти чувством лояльности, отчасти стремлением выгородить себя, однако в известной мере другие участники этой истории воспользовались моим честолюбием и моей лояльностью, подобно тому как я воспользовался честолюбием и лояльностью Портера. Впрочем, и я и Портер добровольно пошли на это.

В один из тягостных дней ожидания вызова для дачи показаний перед большим жюри мне позвонил Ларри Хигби и с первых же слов принялся извиняться за то, что меня не пригласили на сегодняшнюю морскую прогулку.

— Что за прогулка? — спросил я.— В первый раз слышу.

Оказалось, речь идет о морской прогулке на президентской яхте «Секвойя», устраиваемой сегодня вечером президентом в честь организаторов предвыборной кампании. В числе приглашенных были Колсон, Зиглер, Чэпин, Малек и был бы я, если бы не моя маленькая проблема с большим жюри. Белый дом, объяснил мне Хигби, считает, что в данный момент мне не следует появляться в обществе президента.

Чем больше я размышлял над этим, тем сильнее меня разбирало зло.

«Вот подонки,— думал я,— хотят, чтобы я лжесвидетельствовал ради них, но не желают приглашать меня на свою паршивую прогулку!»

На 16 августа была, наконец, назначена моя явка на судебное заседание большого жюри, а 15 августа мне было предложено явиться на неофициальный допрос к обвинителям, ведущим уотергейтское дело. При этом прокуроры уведомили меня, что мне не разрешается приглашать с собой адвоката. Я могу отказаться от неофициальной встречи с ними, но, если я решу прийти, я должен буду явиться один.

Хотя моему адвокату Полу О'Брайену было запрещено присутствовать на допросе, он пришел вместе со мной в здание федерального суда, где на два часа дня было назначена моя встреча с прокурорами. Мы явились вовремя, но прокуроры встретили нас обескураживающей тактической уловкой. Они заставили меня ждать. Секретарша Силберта, главного прокурора, сказала, что меня примут с минуты на минуту, но минуты бежали и складывались в часы. Мы с О'Брайеном дожидались на деревянной скамье в коридоре напротив кабинета Силберта. Поначалу мы разговаривали, потом исчерпали все темы для разговора и замолчали. О'Брайен, невысокий, коренастый ирландец, человек исключительного добродушия, через час-другой подобного обращения прямо-таки кипел от гнева. Он то и дело вскакивал с места и шел к секретарше Силберта справиться, не освободились ли прокуроры, а та неизменно заверяла его, что они вот-вот меня примут. Время шло к четырем. Мы ходили пить кофе. Мы читали газеты. Пошел пятый час. Я нервно вышагивал взад и вперед по коридору. Если прокуроры заставили нас ждать умышленно, чтобы лишить меня присутствия духа, то они почти достигли своей цели. Когда ровно в пять секретарша, наконец, пригласила меня на допрос, мои нервы были напряжены до предела. И все же, входя в кабинет к Силберту, я взял себя в руки и успокоился.

Эрл Силберт, сухощавый, серьезный человек моих лет, был известен как один из блестящих молодых талантов министерства юстиции; в прошлом он водил дружбу с Джоном Дином и другими молодыми юристами, сделавшими карьеру в аппарате администрации. Однако в сложившейся ситуации следовало исходить из того, что Силберт и другие прокуроры не дадут нам ни малейшей поблажки, потому что они пеклись о своей репутации точно так же, как мы — о своей.

Силберт и Доналд Кэмпбелл, второй прокурор, тоже лет тридцати пяти, встали и официально поздоровались со мной за руку. Затем Силберт уселся за свой заваленный бумагами письменный стол, я сел на стул против него, а Кэмпбелл устроился сбоку. На протяжении всего собеседования допрашивал меня в основном Силберт, а Кемпбелл попутно уточнял подробности, факты и цифры, сверяясь, когда требовалось, с пометками в своей записной книжке. Третьего прокурора, Сеймура Гланзера, не было — к моему счастью, потому что он славился как специалист по преступлениям должностных лиц и как следователь, проявляющий исключительную цепкость и находчивость при допросах.

С минуту мы с Силбертом молча, без улыбки, смотрели друг другу в лицо. Силберт начал допрос с прямого напоминания о моем статусе:

— Мистер Магрудер, вы, конечно, знаете, что большое жюри производит в отношении вас судебное расследование.

— Да, знаю.

— Нам хотелось бы уведомить вас, что вы вправе не отвечать на наши вопросы.

— Мне это известно, мистер Силберт, но я хочу быть вам полезен чем только могу. Я не меньше вашего заинтересован в том, чтобы это дело прояснилось.

— Вот и хорошо. Поговорим о Гордоне Лидди и о его роли в вашей предвыборной кампании.

В течение часа оба прокурора засыпáли меня трудными, въедливыми вопросами, стараясь поколебать мою версию. Как мне казалось, тон их допроса можно было бы выразить такими словами: «Крутишь, сукин сын, но ты виновен, и мы это знаем».

Они, естественно, с пристрастием выспрашивали меня, почему мы не осуществляли контроль за тем, как Лидди расходует деньги; почему мы выдавали ему наличные; почему у нас не сохранилось никакой денежной документации о произведенных им затратах. Я перекладывал вину на работников финансового комитета: это они, а не я, распоряжались деньгами! Не преминул я упомянуть и о том, что мы с Лидди не переваривали друг друга и плохо ладили,— это можно было легко подтвердить документально. Я постарался оттенить этот выигрышный для меня момент: ну, разве имело мне смысл вступать в преступный сговор с человеком, который однажды грозился убить меня?

Прокуроры интересовались, почему мы не использовали для сбора секретной информации ФБР или другие федеральные агентства, а прибегли вместо этого к услугам Лидди. Я в полном соответствии с истиной отвечал, что мы не доверяли федеральным агентствам.

Особенно настойчиво допрашивали меня в связи с якобы предпринятой мною попыткой склонить Слоуна к лжесвидетельству. Я объяснил допрашивающим, что я лишь напомнил Слоуну о серьезных неприятностях, которые ждали бы его в том случае, если бы он представил фальшивые отчеты о несообщенных пожертвованиях в фонд предвыборной кампании. При этом я добавил, что Слоун всегда меня недолюбливал и что он, видимо, неправильно меня понял или превратно истолковал мои слова.

Дотошнейшим образом расспрашивали меня Силберт с Кэмпбеллом обо всех сторонах деятельности Лидди, реальной и вымышленной. Однако свою версию (в которой, кстати, было немало правды) я знал назубок и имел заранее заготовленные ответы на все их вопросы. Прокуроры, возможно, мне не верили, но подкопаться под мои показания не могли.

Примерно через час тон допроса стал понемногу меняться. Инициатива, как я заметил, явно переходила в мои руки. Теперь уже я, а не прокуроры, направлял разговор. Наступил такой момент, когда мы перестали обращаться друг к другу официально: «мистер Силберт», «мистер Магрудер» — и перешли на «Эрл» и «Джеб». Под конец мы даже принялись рассказывать друг другу анекдотические истории о Лидди.

Было восемь вечера, когда я вышел из кабинета Силберта — в отличном настроении, чувствуя себя весьма уверенно. У меня сложилось впечатление, что я выкарабкался и что предание суду мне не грозит.

На следующий день я давал показания перед большим жюри. Вчерашнего напряжения — как не бывало Тон вопросов обвинителей показывал, что я больше не являюсь объектом их расследования.

Назавтра, 17 августа, мне позвонил Джон Дин и сообщил, что из его источников информации в министерстве юстиции поступило подтверждение того, о чем я уже догадывался: меня не предадут суду. Обвинение будет предъявлено только четырем кубинцам, Маккорду, Ханту и Лидди. Похоже, наша прикрывающая версия выдержала.

Известие, сообщенное Дином, принесло мне огромное облегчение. Как видно, во время трехчасовой беседы с прокурорами я показал себя с «наилучшей» стороны — этакий сведущий, уверенный в себе, умеющий убеждать администратор — и заставил их поверить в правдивость нашей версии.

Вечером того же дня мы с Фредом Лярю отметили это событие ужином в джорджтаунском ресторане «Харчевня Билли Мартина». Мы пребывали в каком-то странном расположении духа. Празднуя победу после двух месяцев жизни на краю пропасти, мы смеялись, шутили, старались расслабиться. Но в самый разгар веселья мы вдруг смолкали, погружались в уныние и мрачно спрашивали друг друга, неужели нам и вправду удастся протащить эту неправдоподобную версию? В такие моменты до моего сознания доходило, что я лишь осложнил мою и без того серьезную юридическую и нравственную дилемму. К концу вечера я напился, как не напивался никогда в жизни.

Провал

Национальный съезд республиканской партии, проходивший в конце августа в Майами-Бич, внешне явился почти идеальной демонстрацией партийного единства, а внутренне — типичным съездом политической партии со всеми типичными для та-

кого съезда политическими конфликтами. Несмотря на наши внутренние проблемы, республиканский съезд в 1972 году был организован с точки зрения контактов с прессой, телевидением и широкой публикой безупречно. Он явился поистине кульминационным пунктом четырехлетней работы по улучшению наших взаимоотношений со средствами массовой информации, состоянием которых президент был глубоко озабочен. Этот организационный успех объяснялся тем, что мы осознали необходимость свести до минимума «рабочие» аспекты нашего съезда и рассматривать его как телевизионный спектакль. Ведь людям, которые следят за работой съезда, сидя дома перед телевизором, неинтересны разные там поименные голосования и парламентские прения. Они хотят театральных зрелищ, знаменитостей и ярких, но коротких речей.

Мы отдавали себе отчет в том, что нашему съезду не хватает драматизма: всем было ясно, что кандидатами от республиканской партии вновь назначат Ричарда Никсона и Спиро Агню. Поэтому мы попытались возместить отсутствие сенсации четким ритмом, разнообразием и зрелищностью. Под руководством Дуайта Чэпина мы подготовили поминутный сценарий спектакля, который был разыгран как по нотам. Речи писались заранее, утверждались и хронометрировались, дабы не нарушался график. Наименее интересные, парламентские стороны работы съезда проводились в дневные часы, с тем чтобы освободить самое «телевизионное» вечернее время для драматических эффектов: показа фильмов о поездке президента в Россию и в Китай, репортажа о демонстрациях нескольких тысяч молодых энтузиастов-республиканцев и, наконец, трансляции речи Никсона с выражением согласия баллотироваться в президенты. По подсчетам, наш съезд периодически наблюдали шестьдесят миллионов американцев, и, хотя иногда они, быть может, зевали перед экранами телевизоров (мы шутили, что следовало бы инсценировать несколько хороших потасовок в зале заседаний съезда, чтобы не дать телезрителям заснуть), они не могли не сравнивать организованность и сплоченность нашего съезда с беспорядком и разбродом на съезде демократов, состоявшемся на месяц раньше.

Республиканский съезд, начавшийся вскоре после моих, по-видимому, успешных объяснений перед большим жюри, стал для меня отрадной передышкой. Ко мне в Майами-Бич приехала Гейл с детьми, и я смог отвлечься от мыслей об Уотергейте хотя бы на время.

Но Уотергейт вскоре напомнил о себе. Не успел я вернуться после съезда в Вашингтон, как большое жюри затребовало мой служебный календарь и вызвало меня самого для дачи дополнительных показаний Требование представить календарь повергло нас в панику: среди моих записей на листках за 27 января и 4 февраля значилось примерно следующее: «Кабинет м. ю.— с Дином и Лидди».

Таким образом, этот календарь прямо указывал на пребывание Лидди — притом двукратное — в кабинете министра юстиции и наводил на по́дозрение, не занимались ли мы там все четверо обсуждением вопросов политического шпионажа.

Получив приказ большого жюри, я отправился, захватив с собой календарь, в юридическую контору Митчелла, где застал его совещающимся с Дином, Мардианом, Лярю и еще несколькими сотрудниками по другому аспекту уотергейтского дела. Дин и Митчелл уединились со мной в незанятом соседнем кабинете, чтобы конфиденциально ознакомиться с моим служебным календарем. Обе записи были сделаны карандашом, поэтому Дин предложил попросту стереть их. Достоинством этого плана была его простота; беда лишь в том, заметил я, что ФБР наверняка имеет экспертов, способных восстановить стертую запись. Ввиду этого я выдвинул другое предложение. Мы можем сказать, что встреча, назначенная на 27 января, была в последнюю минуту отменена и перенесена на 4 февраля и что во время этой встречи мы представили Лидди Митчеллу и обсуждали только юридические вопросы, связанные с новым законом о проведении предвыборной кампании.

Мои собеседники согласились, что это будет наилучшим решением проблемы, касающейся моего служебного календаря. Мы считали маловероятным, чтобы кто-нибудь из наших секретарей запомнил, состоялось или было отменено одно из совещаний полгода тому назад. Следовательно, знали о нем лишь мы, четверо его участников Это побудило меня заметить Дину и Митчеллу:

— Если я покажу, что 27 января встреча не состоялась, и мое показание подвергнется в дальнейшем расследованию, вы оба должны поддержать меня.

Оба кивнули в знак полного своего согласия — увы, не так-то просто было получить эту поддержку несколько месяцев спустя.

Итак, 6 сентября я снова предстал перед большим жюри и дал показания о якобы отмененном совещании. Прокуроры, казалось, были настроены по отношению ко мне дружественно и допрашивали меня без придирчивости. Через несколько дней большое жюри вынесло обвинительные акты. К уголовной ответственности привлекались лишь семеро подследственных: четверо кубинцев, Маккорд, Хант и Лидди. Прикрывающая версия вроде бы сработала.

В начале октября меня посетил друг президента, Уиллард Марриот, являвшийся председателем инаугурационного[1] комитета 1969 года, чтобы обсудить со мной воп-

---

[1] Инаугурация — церемония введения президента в должность.

рос о необходимости приступить к планированию церемонии торжественного введения президента в должность 20 января 1973 года. По его словам, он обратился ко мне, потому что Белый дом не проявил к его инициативе никакого интереса. Марриот подчеркивал, что речь идет о мероприятии, проведение которого потребует миллионных затрат: создании аппарата с тремястами штатными сотрудниками и тремя тысячами нештатных добровольцев, устройстве различных балов, концертов и приемов на тридцать тысяч приглашенных, не говоря уж об организации самой церемонии вступления президента в должность и традиционного военного парада сразу вслед за ней. Если мы начнем планировать инаугурационные торжества только после того, как дождемся исхода выборов 7 ноября, у нас останется слишком мало времени, для того чтобы организовать все как надо.

Согласившись с ним, я переговорил об этом с Холдеманом, который в конце концов признал необходимость принятия некоторых основных решений относительно аппарата и организационных мероприятий уже в октябре. Холдеман далее спросил меня, не хотел ли бы я возглавить персонал сотрудников инаугурационного комитета. И Холдеман и я понимали, что уотергейтская ситуация осложняет вопрос о моей должности во второй администрации Никсона, поэтому мне подумалось, что два-три месяца интересной работы в инаугурационном комитете дадут мне возможность переждать, пока уляжется волнение, вызванное уотергейтским делом. Предложение это не было для меня неожиданностью, я уже успел посоветоваться с Митчеллом и заручиться его одобрением, так что, когда Холдеман предложил мне поработать в инаугурационном комитете, я сразу же согласился. Председателем комитета Холдеман назначил, с одобрения президента, Марриота. Я пригласил в инаугурационный штат Барта Портера, Кена Ритца и некоторых других сотрудников, на которых мог положиться, и мы приступили к планированию торжеств уже в октябре. Три месяца в инаугурационном комитете стали для меня настоящим праздником. У меня был превосходный персонал сотрудников и, судя по всему, с работой мы справлялись отлично. Я с удовольствием пользовался всеми благами и привилегиями, которые полагались мне по штату: разъезжал в «мустанге» со специальным инаугурационным номерным знаком # 4 (первые три номера носили машины президента, вице-президента и Марриота), был в числе «высокопоставленных гостей», когда мы с Гейл посещали балы, вечера и приемы, устраиваемые по случаю вступления президента в должность. Перед самым Днем инаугурации газета «Вашингтон пост» поместила на видном месте большую и весьма лестную статью обо мне. В те первые недели нового года уотергейтская история, казалось, перестала занимать внимание общественности, и можно было надеяться, что теперь, после потрясающей победы президента на выборах, ее предадут забвению. Я получил несколько неофициальных приглашений на работу в частные фирмы, и даже поговаривали о выдвижении моей кандидатуры на выборную должность в Калифорнии. Однако подлинным моим желанием было получить важный пост в новой администрации, и, по мере того как инаугурационная интерлюдия близилась к завершению, я стал серьезно задумываться над этим вопросом.

За пару недель до торжественной церемонии вступления президента в должность я совершил поездку в Нью-Йорк, чтобы повидаться с Митчеллом и обсудить, в частности, мои собственные планы. Я сказал ему, что мне предлагают должность президента сравнительно крупной корпорации с годовым окладом в 75 000 долларов, но что сам я гораздо больше заинтересован в продолжении своей служебной карьеры в администрации — быть может в качестве руководителя одного из ведомств. Митчелл попыхал трубкой и заметил, что мне следует подумать о посте президента корпорации. Это меня несколько насторожило, тем более что незадолго до этого аналогичный совет дал мне и Джон Дин.

Через несколько дней после встречи с Митчеллом у меня состоялся с Джоном Дином очередной разговор об уотергейтском деле: Дин время от времени информировал меня о предстоящем суде над семью обвиняемыми и об усилиях, предпринимаемых с целью заручиться их согласием признать себя виновными и не давать показаний против нас. Однако во время этого январского разговора Джон вдруг выразил удивление по поводу того, как вообще могла случиться такая странная история, как уотергейтский взлом.

— Послушай, Джон,— воскликнул я,— ведь ты же помнишь те наши совещания в кабинете Митчелла!

Но Дин, оказывается, не помнил. Он, как и Митчелл, говорил теперь об Уотергейте как-то неясно и уклончиво. Я не на шутку встревожился. Выходит, Дин и Митчелл начисто «забыли» о совещаниях, на которых мы обсуждали план Лидди. А что, если понадобилось найти козла отпущения и честь стать таковым решили предоставить мне? Оглядываясь сейчас назад, я склонен думать, что Дин и Митчелл, получив какие-то сигналы о намерении большого жюри возобновить расследование, действительно пытались подготовить почву для того, чтобы я смог принять на себя всю ответственность. Но если на первых порах я сам вызывался взять в случае необходимости вину на себя, чтобы оградить от обвинений Митчелла и президента, то теперь я не собирался приносить себя в жертву. Слишком многое произошло с тех пор: уклончивость Дина и Митчелла, нежелание управления кадров Белого дома позаботиться о преданных мне сотрудниках, заявление Колсона репортеру о том, что

для меня не найдется места во второй администрации Никсона. У меня начало складываться впечатление, что в то время как я оставался верен своей команде, команда вела себя не очень лояльно по отношению ко мне. Кроме того, даже если бы я по-прежнему был готов стать козлом отпущения, свалить все грехи на меня уже не было никакой практической возможности. Слишком уж разрослось уотергейтское дело! К первоначальному преступному сговору прибавились теперь лжесвидетельство, препятствование отправлению правосудия, разнообразные попытки купить молчание семерых подсудимых; я бы при всем желании не смог взять вину за все это на одного себя.

После того как у Дина обнаружился «провал памяти», я решил поговорить начистоту с Холдеманом. Подробно изложив ему факты — три совещания с Митчеллом, создание версии для сокрытия истины, лжесвидетельство, причастность широкого круга лиц,— я, по существу, сказал: «Вот что, Боб, я был хорошим солдатом, но мне хотелось бы быть уверенным, что вам известно, что в этом деле замешан не один я — у меня немало соучастников».

Однако Холдеман тоже проявил уклончивость. Он сказал, что о многом он услышал сейчас впервые и что о взломе ему ничего не было известно заранее. Возможно, и так, если Стрэчен не ознакомил его с присланным мной материалом о плане Лидди, но последнее представлялось мне крайне маловероятным.

Покончив с Уотергейтом, мы с Холдеманом обсудили перспективы моей дальнейшей работы. Я изъявил готовность на время вернуться в аппарат Белого дома, но Холдемана, по-видимому, это не устраивало. Он упомянул о возможности поручить мне руководство планированием деятельности Комиссии по празднованию двухсотлетия США. Меня эта идея заинтересовала, и я согласился переговорить с некоторыми людьми о работе комиссии. Беседа с Холдеманом приободрила меня. Я посвятил его в подоплеку уотергейтской истории и получил от него заверения насчет работы. Казалось, беспокоиться мне больше не о чем, по крайней мере пока.

Во вторник 23 января, на третий день после инаугурации, я давал свидетельские показания на процессе по уотергейтскому делу в зале судебного заседания судьи Джона Сирики. Трудно представить себе процедуру более будничную. Я вошел, присягнул, подвергся сорокапятиминутному допросу и был отпущен. Ни прокуроры (а я проходил на суде как свидетель обвинения), ни адвокаты обвиняемых не подвергли мою версию сомнению. Впрочем, не исключено, что прокуроры закладывали основу для последующего привлечения меня к суду за лжесвидетельство. Во всяком случае, Эрл Силберт сумел четко зафиксировать в судебных протоколах мои ложные показания с помощью следующих вопросов.

Вопрос: Мистер Магрудер, давали ли вы когда-либо мистеру Лидди какое-нибудь задание, касавшееся Национального комитета демократической партии?

Ответ: Нет.

Вопрос: Получали ли вы когда-либо от мистера Лидди какой-нибудь доклад касательно служебных помещений и штаб-квартиры Национального комитета демократической партии?

Ответ: Нет.

Вопрос: Давали ли вы когда-либо мистеру Лидди какое-нибудь задание, касавшееся штаб-квартиры предвыборной кампании сенатора Макговерна?

Ответ: Нет.

Вопрос: Получали ли вы когда-либо от него какие-нибудь разведывательные сведения относительно этой штаб-квартиры?

Ответ: Нет, никаких разведывательных сведений.

Самым памятным событием моего выступления на суде стал тот момент, когда я, покидая место для дачи свидетельских показаний, встретился взглядом с сидевшим на скамье подсудимых Гордоном Лидди: он улыбнулся и подмигнул мне.

Дав свидетельские показания в суде, я вылетел в Калифорнию — прозондировать политическую почву. Дело в том, что Эдмунд Браун, занимавший тогда должность секретаря штата, собирался выставить свою кандидатуру на выборах губернатора в 1974 году, и я подумывал о возможности баллотироваться на должность секретаря штата, если бы Браун действительно оставил ее. Правда, я предпочел бы занять хороший пост в администрации, и выдвижение своей кандидатуры на выборах секретаря штата в Калифорнии рассматривал как способ перестраховаться на случай неудачи в Вашингтоне.

Из Калифорнии я вернулся убежденным, что, если только Рейган не решит поддержать на первичных выборах какого-нибудь другого кандидата, я, вероятно, смогу добиться выдвижения моей кандидатуры от республиканской партии. Мне уже были обещаны стотысячные пожертвования в мой предвыборный фонд — неплохое начало для избирательной кампании в штате, где баллотироваться на выборную должность — занятие чрезвычайно дорогостоящее. Я рассчитывал произвести благоприятное впечатление на телезрителей и понимал, каким плюсом явится для меня моя семья. Я знал немало молодых представителей бизнеса и свободных профессий, которые с удовольствием помогли бы мне в моей предвыборной борьбе, и считал, что

сумею организовать первоклассную политическую кампанию. Весь вопрос сводился к тому, стоит ли мне баллотироваться или же лучше подождать назначения на такой пост в новой администрации, который окажется для меня более привлекательным.

При обычных обстоятельствах я мог бы рассчитывать на назначение либо заместителем руководителя одного из департаментов, либо — что еще лучше — руководителем какого-нибудь ведомства, скажем, Агентства по охране окружающей среды. Увы, теперь назначение меня на подобные посты исключалось, так как для этого требовалось утверждение сената. Простейшим выходом из положения было бы перейти на работу в частную корпорацию, где мне платили бы вдвое больше того, на что я мог рассчитывать на государственной службе, но мне нравилось работать в правительственном аппарате, и после четырех лет административной деятельности в качестве подчиненного я мечтал о самостоятельной руководящей работе.

В начале марта Холдеман вызвал меня к себе, чтобы обсудить мое служебное положение. У Холдемана я застал Джона Дина. Как я узнал впоследствии, Холдеман поручил управлению кадров Белого дома подготовить список десяти вакантных должностей — мне на выбор. Из них восемь подлежали утверждению в сенате, так что понадобился бы приказ президента об изменении их статуса, а две не требовали сенатского утверждения. Одну из них Холдеман с Дином и предложили мне в первую очередь — должность начальника отдела планирования политики в министерстве торговли Руководство штатом экономистов и статистиков, консультировавших министра торговли по политическим вопросам, представляло собой работу не столько административную, сколько политическую. Оклад составлял 38 000 долларов. Хотя это было явно не то, чего мне хотелось, я нашел это предложение интересным и решил пока его принять. Холдеман подчеркивал, что назначение это будет временным — покуда не затихнет уотергейтский скандал; только тогда можно будет рискнуть поставить мою кандидатуру на утверждение сената.

К моему радостному удивлению, кратковременное пребывание в министерстве торговли доставило мне большое удовольствие. Работать с министром торговли Дентом было легко и приятно, а аппарат сотрудников, который я возглавил, был просто безукоризненным. Увы, срок моей работы в министерстве торговли оказался еще короче, чем я ожидал.

Днем в пятницу 23 марта в моем кабинете в министерстве торговли зазвонил телефон. Я взял трубку. Говорил Ван Шамуэй, ведавший в Комитете по переизбранию президента вопросами связи с прессой.

— Вы слышали о письме Маккорда? — спросил он.

— Боже мой,— воскликнул я.— Какое письмо?

— Маккорд написал письмо судье Сирике. Оно напечатано в дневном выпуске «Вашингтон стар».

— И что он там пишет?

— Много чего.— И Шамуэй прочел мне письмо, в котором Маккорд выдвигал обвинение в том, что на него и других подсудимых в уотергейтском деле оказывали «политический нажим», принуждая их признать себя виновными и отказаться от дачи показаний; что на суде было совершено лжесвидетельство и что к разработке плана проникновения со взломом были причастны вышестоящие лица.

Обвинения Маккорда, конечно, соответствовали действительности, и мне не приходилось сомневаться, что он назовет меня в числе вышестоящих лиц — участников заговора. С какой бы стати стал он выгораживать меня! Два месяца назад, когда «Вашингтон пост» поместила статью обо мне, Маккорд горько жаловался Джону Дину: «Я сяду в тюрьму, а Магрудер публикует свои фото в газетах!» Маккорд боролся за то, чтобы остаться на свободе; впутав меня, он мог бы спастись сам. Судья Сирика, пригрозив обвиняемым по уотергейтскому делу длительными сроками тюремного заключения, «расколол» одного из них, и это стало началом конца прикрывающей версии. Если бы не Сирика, наша версия, пожалуй, выдержала бы. Много воды утекло с тех пор, когда Джон Дин, узнав, что рассмотрение уотергейтского дела поручено судье Сирике, заметил: «Ну что ж, хотя мне мало что о нем известно, это все-таки республиканец, так что на него, вероятно, можно будет положиться».

Пробормотав что-то невнятное Шамуэю, я повесил трубку и тут же набрал номер Джона Дина в Белом доме. Секретарша Дина ответила, что он у себя и что она соединяет меня с ним; через минуту она снова взяла трубку и сказала, что как раз сейчас Дин занят и говорить со мной не может. Я попросил ее передать Дину, что звоню по чрезвычайно важному делу; после непродолжительной паузы к телефону опять подошла секретарша — извинившись, она сказала, что Дин позвонит мне позже.

Я начал терять голову: мне нужно узнать, что происходит, чем чревато для нас письмо Маккорда, что мы должны делать, а Дин отказывается говорить со мной! Звоню Полу О'Брайену, адвокату КПП.

— Пол, я позвонил о письме Маккорда Дину, а он не берет трубку.

— Понятно,— сказал О'Брайен.— По-моему, он не хочет говорить с вами.

Это я и без него понял. Мы поговорили с минуту о письме, но О'Брайен, похо-

же, не мог подсказать мне ничего дельного, поэтому после разговора с ним я решил позвонить Фреду Лярю — одному из немногих, кому я мог полностью довериться.

— Что происходит? — спросил я Фреда.— Дин не желает со мной разговаривать.

— Знаю,— ответил он.— Попытаюсь переубедить его.

— Все полетит к чертям, если мы не станем г о в о р и т ь друг с другом!

— Знаю, знаю,— отвечал Лярю.— Нам нужно встретиться и обмозговать это дело.

В тот же день и утром следующего дня я побывал у Лярю на его уотергейтской квартире; оба раза мы пытались как можно точнее оценить сложившееся положение. Чем больше я думал над всем этим, тем больше убеждался, что показание Маккорда само по себе не будет для нас фатальным. Ведь все, о чем Маккорд мог знать (допустим, о том, что в разработке планов взлома принимали участие Дин, Митчелл и я), было известно ему со слов Лидди, а это явилось бы свидетельским показанием с чужих слов, то есть доказательством, основанным на слухах. Пока Лидди хранил молчание, информация Маккорда, полученная не из первых рук, не могла отправить нас на скамью подсудимых.

Проблема заключалась в том, что письмо Маккорда почти наверняка побудит большое жюри возобновить рассмотрение дела, а я не верил, что наша прикрывающая версия сможет выдержать дополнительное расследование. Прокуроры, конечно, подробно допросят Боба Рейснера, и его свидетельские показания, по всей вероятности, свяжут меня и Митчелла с составленным Лидди досье «Джемстон». Кроме того, как заметил Лярю, Маккорд, возможно, располагает полученной из первоисточника информацией о других аспектах уотергейтского дела, связанных с обещанием подзащитным денег и президентского помилования. Вдобавок ко всему на днях должно было начаться разбирательство в сенате, что тоже представляло серьезную угрозу нашей шаткой прикрывающей версии.

К этой субботе 24 марта мне следовало бы осознать, что версия наша трещит по всем швам, что положение нам не удастся спасти никакими ухищрениями. Мною все еще руководил инстинкт самосохранения, заставлявший меня обольщаться иллюзией, что нам каким-то образом удастся избежать неизбежного, но, кажется, я начал все больше отдавать себе отчет в том, что не смогу пройти через все это еще раз. Прошлым летом все мы действовали как дружная команда, объединенные общей целью — переизбранием президента. Теперь, когда цель была достигнута, команда распалась и, похоже, ее члены готовы были поступать по принципу «каждый за себя».

Назавтра, в воскресенье, мне позвонил домой репортер «Лос-Анджелес таймс» и попросил прокомментировать сообщение о том, что Маккорд указал на меня и Дина как на лиц, которым было заранее известно об уотергейтском взломе. Сказав, что воздержусь от комментариев, я повесил трубку и в тот же миг почувствовал себя сломленным, конченым человеком. Вот оно, начинается. Теперь правда выплывет наружу и жизнь моя потерпит крушение.

Утром в понедельник приятель, позвонивший из Лос-Анджелеса, прочел мне статью, напечатанную в «Лос-Анджелес таймс». Это была передовая статья на первой странице газеты, с фотографиями меня и Дина, которая начиналась следующими словами:

«Как стало известно редакции «Лос-Анджелес таймс» в воскресенье, Джеймс У. Маккорд, признанный виновным в уотергейтском преступном сговоре, заявил сенатским следователям, что юридический советник Белого дома Джон У Дин и бывший помощник президента Джеб Стюарт Магрудер заранее знали об установке в прошлом году устройств для подслушивания в штаб-квартире Национального комитета демократической партии».

Как только я добрался в тот день до своего служебного кабинета, я позвонил Дину, и на этот раз он соизволил говорить со мной. Впрочем, говорить он предоставил в основном мне, и я изложил ему свою теорию насчет того что все сведения о планах взлома, которыми может располагать Маккорд, получены им с чужих слов и недоказуемы. Выразив друг другу сочувствие по поводу статьи в «Лос-Анджелес таймс» и назойливости журналистов, мы с Дином уговорились поддерживать тесный контакт. Впоследствии я узнал от прокурора, что Дин записал этот разговор на магнитофонную ленту.

Наша с Гейл спальня выходит окнами на лужайку перед домом; следующим утром меня разбудили какие-то странные звуки, доносившиеся снаружи. Гейл встала, раздвинула шторы и вдруг, вскрикнув, бросилась на пол. На нашей лужайке толпилось человек двадцать репортеров и фотокорреспондентов, нацеливших на дом свои аппараты. Накануне я поставил машину на подъездной аллее, так что когда пришло время ехать на службу, мне ничего не оставалось, как проталкиваться сквозь толпу журналистов, бормоча «комментариев нет» в ответ на их вопросы. Но представителей прессы это отнюдь не обескуражило. На протяжении ближайших двух месяцев журналисты неотступно дежурили на моей лужайке, когда по двое, по трое, когда по двадцать — тридцать человек. В конце концов я научился предугадывать, в зависимости от состояния уотергейтского дела на тот или иной день, сколько репортеров будет пастись завтра утром перед нашими окнами. Иной раз, когда назавтра ожидался «большой день», мы с Гейл забирали детей и отправлялись ночевать к нашим ближайшим друзьям. С журналистами у меня завязалась настоящая игра в кошки-мышки.

Вскоре я начал ставить автомобиль где-нибудь на соседней улице и тайком ускользать по утрам из дому, проходя черным ходом и перелезая через забор на заднем дворе. Репортеры разгадали этот маневр и принялись выставлять наблюдателей в стратегических пунктах вокруг дома, откуда просматривались все мои передвижения. Некоторые репортеры с усердием, достойным лучшего применения, шныряли по нашему заднему двору и заглядывали к нам в окна, проверяя, не прячусь ли я где-нибудь внутри. Однако после того первого утра журналистам ни разу не удалось поймать меня — это стало одним из немногих моих триумфов в ближайшие несколько месяцев.

В это утро, во вторник, когда я, наконец, пришел на службу, мне позвонил Митчелл и попросил меня прилететь сегодня днем в Нью-Йорк, так как ему нужно поговорить со мной. Надо полагать, О'Брайен передал ему, что меня начинает тревожить мое юридическое положение. В самолете я записал в желтом блокноте, которыми пользуются юристы, все вопросы, на которые рассчитывал получить ответ от Митчелла. Будут ли оплачены мои судебные издержки? Будет ли обеспечена моя семья, если я попаду в тюрьму? Помогут ли мне найти работу после тюрьмы? Есть ли надежда на помилование властью президента?

Во время беседы с Митчеллом, состоявшейся в его служебном кабинете, я пункт за пунктом обсудил с ним этот перечень, и он заверил меня, что все мои просьбы могут быть удовлетворены. В словах Митчелла звучали твердая уверенность и участие.

— Не волнуйтесь, Джеб,— успокаивал он.— Мы о вас позаботимся.

Я был рад получить от него эти заверения, но, поскольку сам Митчелл жил и работал теперь в Нью-Йорке, я сказал ему, что чувствовал бы себя спокойнее, если бы получил такие же заверения и от Холдемана. Митчелл ответил, что нет ничего проще: завтра он будет в Вашингтоне и договорится о нашей встрече с Холдеманом.

Он сдержал свое обещание, и вот назавтра, в среду 28 марта, я в назначенный час явился к Холдеману; Митчелл уже был там. Я рассказал Холдеману, насколько серьезны, на мой взгляд, стоящие передо мной юридические проблемы; выразил надежду, что, если меня обвинят и привлекут к суду, я получу финансовую поддержку и, если понадобится, буду помилован президентом. Холдеман, как и Митчелл, всячески ободрял меня и успокаивал Он подчеркивал, что они с президентом считают меня одним из лучших работников в администрации и хотят помочь мне всеми доступными способами. Однако тут же предусмотрительно дал мне понять, что помочь они мне могут только как друзья, а не как представители государственной власти.

Затем я поднял главный вопрос: необходимо, чтобы Дин и Митчелл подтвердили версию о том, что наше совещание с Лидди 27 января было отменено, которой мы вместе решили придерживаться и которую я изложил большому жюри. Митчеллу я доверял, а вот Дину — нет, тем более что некоторые его высказывания в разговоре со мной наводили на подозрение, что он теперь раздумал подтверждать версию, о поддержке которой мы договорились, когда большое жюри затребовало мой служебный календарь. Холдеман, сказав, что тут он помочь делу не может, посоветовал нам с Митчеллом сегодня же переговорить с Дином.

В тот же день Митчелл и я встретились с Дином в кабинете Хигби; Дин прямо так и не сказал, что он подтвердит мое свидетельство об отмене совещания. если его вызовут для дачи показаний перед большим жюри. Он всячески уклонялся от ответа. Может быть, еще рано обсуждать этот вопрос, говорил он. Может быть, его еще и не вызовут давать показания или же он откажется от дачи показаний, сославшись на свое официальное положение.

— Ну, а что, если тебе, Джон, все-таки придется давать свидетельские показания? — настаивал я.

Однако Дин и тут не дал прямого ответа. Лишь месяцы спустя я уразумел почему. К этому моменту Дин уже ясно понимал, что, подтвердив мое ложное показание, он завязнет еще глубже, и всерьез подумывал о том, чтобы явиться к прокурорам с повинной. Так он и поступил через несколько дней в надежде избежать наказания. Будучи юристом, Дин представлял себе реальное положение дел гораздо лучше, чем я. Как свидетельствует хронология событий этой истории, он оказался дней этак на десять сообразительнее меня. Я продолжал говорить со своими коллегами открыто, искренне, считая их друзьями и надеясь, что каким-то образом мы ухитримся свести концы с концами, а Дин тем временем уже вел переговоры с прокурорами и записывал на магнитофон разговоры со мной. В Белом доме поговаривали, что записью своих телефонных разговоров на магнитофонную пленку занимается Колсон, но чтобы мои друзья стали записывать разговоры со мной — такого мне и в голову не приходило!

В четверг я позвонил Биербоуэру — адвокату, которого рекомендовал мне О'Брайен, и договорился о встрече с ним. Митчелл настоятельно советовал мне проконсультироваться с адвокатом. но при этом добавил, что адвокату, конечно, нельзя рассказывать правду.

Дождливым утром в пятницу я прочел в газете, что на днях большое жюри вызывает для дачи свидетельских показаний Боба Рейснера. Похоже, это меня и доконает. Рейснер знал, что я видел досье «Джемстон» и брал его с собой на совещание с Митчеллом. Кроме того, я где-то слышал (не помню где), что Рейснер не забыл, как искали штатив для Лидди перед самым нашим отбытием на совещание с Митчел-

лом 27 января. Его воспоминание о поисках штатива поколеблет мое данное под присягой показание о том, что совещание было отменено. Это ужасно меня расстроило. Еще бы, я давным-давно позабыл о проклятом штативе, так зачем же Рейснеру помнить о нем?

Я позвонил Рейснеру домой, сказал, что мне нужно поговорить с ним, и предложил подвезти его — он работал теперь в управлении кадров Белого дома. Тон Рейснера был дружески-учтивым, но он ответил, что разговаривать нам ни к чему.

На работе я не находил себе места, думая о свидетельских показаниях Рейснера. Позвонив ему на службу, я настойчиво повторил, что мне необходимо поговорить с ним. Он стал было отнекиваться, но в конце концов согласился встретиться со мной в присутствии свидетеля. Я сказал, что меня это устраивает, и договорился о встрече в адвокатской конторе Пола О'Брайена. Однако, явившись к О'Брайену, я узнал, что Рейснер позвонил сюда и объявил о своем решении не приходить. Еще раньше я просил О'Брайена незаметно выведать у Рейснера, помнит ли он о штативе. О'Брайен убедился в том, что Рейснер помнит. Потеряв голову от волнения, я позвонил Рейснеру из кабинета О'Брайена.

— Боб, что ты делаешь? — воскликнул я.— Не было никакого штатива! Забудь о штативе. Я тебя не понимаю. Ты что — отказываешься идти навстречу? Ведь идут же навстречу все остальные! Пойми, дело не только во мне. Если все выйдет наружу, к суду привлекут самого президента.

Рейснер отвечал, что он не хочет причинять вред ни мне, ни кому-нибудь другому, но что он собирается рассказать на допросе всю правду о том, что ему известно.

Остыв, я понял, что Рейснер прав, что он должен говорить правду и что глупо ожидать от него чего-то другого. И так уже немало людей попало из-за меня в беду — стоило ли прибавлять к их числу еще и Рейснера?

Мне следовало немедленно пойти к прокурорам, а я даже с адвокатом еще не говорил. Думается, мешкал я главным образом из боязни, раскрыв правду, причинить вред Митчеллу. Со своей собственной судьбой я более или менее смирился, за Дина я не беспокоился, о том, что мои показания повредят Холдеману, я еще не догадывался, но мне не хотелось предпринимать действия, которые поставили бы под удар Митчелла. Я по-прежнему видел в нем олицетворение отеческого авторитета, самого близкого мне по духу члена правительства, человека, которого я до сих пор называл в разговоре «боссом».

В первых числах апреля Митчелл был в Вашингтоне, и я не преминул заглянуть в его юридическую контору, чтобы еще раз побеседовать с ним. Митчелл снова внушал мне, что я должен держаться и что, если я буду держаться, мы сумеем довести дело до благополучного конца. Я хотел ему верить, но не мог. Дело в том, что Митчелл утратил способность здраво судить об уотергейтской ситуации. Все, что ему осталось,— это слепо верить. При обсуждении конкретных вопросов — увиливания Дина или свидетельских показаний Рейснера — он не говорил «надо сделать то-то и то-то», а лишь твердил «как-нибудь уладим это». Но нам от этого легче не было. Мы с Лярю пришли к заключению, что Митчелл просто-напросто перестал смотреть в лицо действительности, он закрыл глаза на факты и верил лишь в то, во что ему хотелось верить.

Я всей душой сочувствовал Митчеллу. Ведь он утвердил план Лидди весьма неохотно и, по-моему, только потому, что поддался царившему в администрации умонастроению. Митчелл был преуспевающим адвокатом, чрезвычайно популярным на Уолл-стрите, потом — министром юстиции Соединенных Штатов, и вот теперь ему грозили позор и тюрьма из-за одного непродуманного решения. Взглянуть в лицо столь суровой реальности было и впрямь нелегко. Однако же Лярю и я глядели в лицо фактам и отдавали себе отчет в том, что наша прикрывающая версия разваливается и что, вероятно, вскоре нам придется рассказать всю правду. Лярю подчеркивал, что пора нам, наконец, перестать заботиться о том, как бы не повредить Митчеллу и президенту, и позаботиться вместо этого о самих себе и о наших семьях.

В субботу 7 апреля я встретился с моим адвокатом Джимом Биербоуэром, чтобы подробно, со всех сторон, обсудить мое положение. Биербоуэр познакомил меня с молодым адвокатом Джимом Шарпом, который только что поступил на работу в его юридическую фирму и который будет совместно с ним вести мое дело. Это был жилистый, загорелый черноволосый уроженец Оклахомы лет тридцати. Он совсем недавно перешел в фирму Биербоуэра из прокуратуры США. В бытность свою помощником федерального прокурора Шарп добился осуждения за взяточничество бывшего сенатора от штата Мэриленд Дэниела Брустера, а также обвинительного приговора в нашумевшем деле Роберта Аммидауна, вашингтонского гражданского служащего, нанявшего человека для убийства своей жены.

Когда я изложил Биербоуэру и Шарпу мою версию событий — прикрывающую версию,— Шарп принялся задавать мне прокурорские вопросы, жесткие и скептические. Я понял, что он мне не верит. Биербоуэр, слов нет,— превосходный адвокат, давший мне немало ценных советов, но, по-моему, сначала он поверил в правдивость моей версии, тогда как Шарп с его опытом работы в прокуратуре сразу же увидел ее несостоятельность.

Биербоуэр сообщил мне, что незадолго до нашей встречи он говорил с адвокатом Джона Дина, который сказал ему буквально следующее: «Ну, перед Джоном-то, конечно, не стоит никакой юридической проблемы, но вот Джеб серьезно запутался, и вряд ли ему можно помочь». Это привело меня в ярость. Да, я запутался, но запутался и Дин, причем не менее серьезно.

В начале следующей недели у меня состоялся, на этот раз в моем служебном кабинете, еще один разговор с Джимом Шарпом по поводу моей прикрывающей версии. Шарп слушал меня с явным скептицизмом, а прощаясь, заметил: «Джеб, очень скоро вам придется рассказать мне правду».

Его слова произвели на меня должное действие. Запираясь, я ставил себя в смешное положение. Ну действительно, ведь я по уши завяз в преступном сговоре, и теперь, когда у меня есть адвокат, который пытается помочь мне, я вожу его за нос. Большое жюри возобновляет разбирательство, вот-вот начнется сенатское расследование, Маккорд назвал меня как соучастника, Рейснер подтвердил мою причастность, Дин, возможно, оспорит мои показания, данные под присягой,— в свете всего этого у меня не оставалось ни малейшего шанса выдать мою версию за правду. Да если бы и оставались шансы на успех, у меня уже не хватало решимости продолжать эту ложь. Мне было больше невмоготу лгать жене, друзьям, журналистам, даже себе Сказывалось непосильное напряжение. Я стал нервным, подавленным, раздражительным. В кругу семьи или среди коллег на службе я часто уходил в себя, забывая об окружающих. Чтобы успокоить расходившиеся нервы, я начал много пить, а ночью не мог заснуть без транквилизатора. Мой мозг, моя воля, весь мой организм неспособны были переносить все это дольше. Я по-прежнему не хотел причинять вреда Митчеллу, но речь шла теперь совсем о другом. Назавтра, 10 апреля, я с утра явился к Джиму Шарпу и рассказал ему правду об Уотергейте Когда я кончил, он покачал головой и сказал единственное, что он мог сказать в данных обстоятельствах:

— Джеб, у вас нет выбора. Следствие раскроет всю правду — это лишь дело времени. Но как раз сейчас прокуроры нуждаются в нас. Мы должны пойти к ним и заключить с ними как можно более выгодную сделку [1].

Шарп разъяснил мне мое юридическое положение. Я, конечно, могу, представ перед судом, заявить о своей невиновности и отказаться от дачи показаний, но, учитывая уличающие меня показания свидетелей, эта позиция окажется чрезвычайно слабой. Он подчеркивал, что Уотергейт — это не обычное уголовное дело. Уотергейтское дело — это часть истории, оно может затянуться надолго, и, пытаясь защитить свою версию в судах наперекор факту моей виновности, я вконец подорву свои финансы и здоровье, физическое и психическое. Пусть я еще раз взвешу все альтернативы, говорил Шарп, но лучший совет, который он может мне дать,— это признать себя виновным, предоставив ему выторговать у прокуроров все что возможно. Подробно обсудив с Шарпом каждую из доступных мне альтернатив, я признал его правоту.

Решив сознаться, я сразу же ощутил невыразимое облегчение; я был почти счастлив при мысли, что разделался с прикрывающей версией и всей сопутствующей ложью. У меня было такое чувство, словно я вновь обрел рассудок после долгого периода сумасшествия.

В среду или четверг мне позвонил Хигби. Я спросил у него, нет ли для меня каких-нибудь инструкций от Холдемана. Хигби ответил примерно следующее:

— Боб просил передать вам, что президент хочет, чтобы вы сказали правду.

Хигби далее поинтересовался, кого затронут мои свидетельские показания. Я сказал, что Митчелла, а в меньшей степени — Мардиана и Лярю в КПП; Дина, Стрэчена и, возможно Колсона в Белом доме.

— Значит, Боба вы не затрагиваете? — спросил Хигби.

Я ответил: насколько я понимаю, нет. Мне не приходило в голову, что Холдеман оказался юридически замешанным, после того как я рассказал ему в январе о прикрывающей версии и моем лжесвидетельстве...

После разговора с Хигби я почувствовал себя гораздо уверенней. Он передал мне, что президент хочет, чтобы я рассказал правду, и я собираюсь рассказать правду прокурорам. Все довольны. Впоследствии я узнал, что наш разговор был записан на пленку. Только тогда я понял: утверждение, что президенту желательно, чтобы я рассказал правду, и наводящие вопросы относительно Холдемана имели своей целью подкрепить юридическую позицию Холдемана на случай судебной защиты.

В четверг Шарп и Биербоуэр приступили к переговорам с обвинителями. В обмен на мои показания и обещание сотрудничать они собирались заручиться согласием прокуроров не выдвигать против меня обвинения по всем возможным пунктам. Я предупредил моих адвокатов, что не рассчитываю на полное освобождение от наказания, но, естественно, хочу, чтобы им удалось заключить как можно более выгодную для меня сделку; я заранее уполномочил их соглашаться на то, чтобы меня

---

[1] В американском уголовном процессе практикуется процедура заключения сделки о признании себя виновным, в соответствии с которой обвиняемый соглашается признать себя виновным по одному из предъявленных ему обвинений, чаще всего самому малозначительному, в обмен на прекращение преследования по всем остальным пунктам обвинения.

обвинили в одном уголовном преступлении — в моем случае это означало бы приговор максимум к пяти годам тюремного заключения. Практически же, если учесть систему условного досрочного освобождения, приговор к пяти годам тюрьмы означал бы месяцев двадцать фактического пребывания за решеткой. Ну и, разумеется, можно было рассчитывать на то, что судья приговорит меня меньше чем к пяти годам.

В первый день переговоров с моими адвокатами Эрл Силберт занял жесткую позицию. Он намекал на то, что сможет обойтись без моего добровольного признания и, возможно, предпочтет подвести меня под максимально суровый приговор. (Тогда мы еще не знали, что Дин уже обратился к Силберту с предложением рассказать всю правду в обмен на полное избавление от наказания.) Назавтра переговоры были возобновлены в кабинете Биербоуэра (чтобы о происходящем не пронюхали журналисты) и продолжались три часа, в течение которых я маялся в ожидании результата в одном из соседних кабинетов. Решившись явиться с повинной, я хотел теперь, чтобы они поскорей столковались: три часа сидеть и ждать, пока люди в соседней комнате договорятся, сколько времени тебе сидеть в тюрьме, было настоящей пыткой. Наконец, вошел Шарп и сказал, что Силберт хотел бы послушать часть моей истории, чтобы получить более ясное представление о том, какими сведениями я располагаю. Мы условились, что Шарп и Биербоуэр будут контролировать меня: следить за тем, чтобы Силберт лишь познакомился с моими показаниями, а не получил их целиком. Я вошел в кабинет Биербоуэра и встретился лицом к лицу с Силбертом — прокурором, которому я так долго лгал. Я не мог не думать о том, с каким большим удовольствием Силберт упечет теперь меня в тюрьму как человека, больше чем кто-либо повинного в неудаче первого уотергейтского расследования.

Прежде всего я извинился перед Силбертом:

— Эрл, простите меня за все происшедшее. Мне ли не знать, как я осложнил вашу задачу. Я поступал так, потому что считал это необходимым. Но теперь я не вижу больше надобности запираться и готов сотрудничать с вами.

Силберт любезно принял мои извинения, после чего я стал излагать ему основные факты моей истории. У меня сложилось впечатление, что он был поражен сложностью плана операции «взлом» и прикрывающей версии, а также причастностью к Уотергейту столь большого числа высокопоставленных должностных лиц.

Окончился рабочий день, а адвокатам так и не удалось прийти к соглашению с Силбертом относительно моего признания себя виновным. Я вернулся домой, и мы с Гейл отправились на званый обед к одному адмиралу, устроенный в честь тетушки и дядюшки Гейл, приехавших в Вашингтон погостить. Весь этот вечер Джим Шарп провел у телефона, выторговывая уступки у Силберта. Прокурор упорно настаивал на предъявлении обвинения по двум пунктам, что грозило мне при максимально строгом приговоре десятью годами тюрьмы. Шарп добивался для меня обвинения по одному пункту — за мелкое преступление, что означало бы в качестве максимального срока год тюремного заключения. Несколько раз во время обеда я выходил, чтобы позвонить Шарпу и узнать, как продвигаются переговоры. И вот, наконец, Шарп позвонил мне, чтобы сообщить, что Силберт согласился предъявить мне обвинение по одному пункту — за серьезное уголовное преступление. Хорошо, сказал я и присоединился к званому обществу.

На следующий день, в субботу, я все утро давал показания прокурорам в кабинете Биербоуэра. В разгар беседы мне позвонил Хигби и передал просьбу Эрлихмана повидаться с ним сегодня в Белом доме. Прокуроры не возражали против этой встречи, и я ответил Хигби, что приду. Дело в том, что я уже сказал прокурорам о своем желании в ближайшие дни рассказать обо всем Холдеману, Лярю и Митчеллу. Пусть друзья услышат мою историю из моих собственных уст, а не от репортеров или прокуроров — это был долг вежливости, который я хотел соблюсти по отношению к ним. Обвинители дали на то свое согласие. По-видимому, они надеялись, что мое решение стать свидетелем обвинения побудит кое-кого из моих коллег предпринять аналогичный шаг.

К Эрлихману я явился в сопровождении обоих моих адвокатов, кажется не на шутку обеспокоенных тем, как бы я не наговорил чего-нибудь лишнего, что впоследствии могло бы быть использовано против меня. Эрлихман начал с заявления, что президент поручил ему выяснить правду об Уотергейте. Эрлихману было уже известно о моей явке с повинной. Минут за двадцать я изложил ему основные моменты показаний, которые я теперь давал прокурорам: три совещания с Митчеллом, последующие попытки скрыть истину, включая мое лжесвидетельство. Эрлихман выразил удивление по поводу всего этого, но пожелал мне удачи и порадовался, что у меня такие замечательные адвокаты. Затем он добавил, что к нему-то вся эта история не имела ни малейшего отношения; Биербоуэр, по-моему, несколько пошатнул его уверенность, заметив:

— А знаете, мистер Эрлихман, прокуроры очень интересуются вами и Холдеманом.

Когда мы, простившись с Эрлихманом, проходили мимо кабинета Холдемана, я попросил адвокатов подождать, пока я зайду на минутку поздороваться с Холдема-

ном. Вернее, попрощаться, потому что вряд ли я теперь буду видеться с ним. Холдемана я застал сидящим за письменным столом, сбоку от него сидел Хигби. Я сказал Холдеману, что работать у него было для меня удовольствием, что я сожалею о случившемся, но что у меня возникли серьезные неприятности, я совершил лжесвидетельство и должен, заботясь о собственной семье, сотрудничать с обвинителями.

Услышав, что я лжесвидетельствовал, Холдеман — точь-в-точь как и Эрлихман — выразил удивление. Правда, о моем лжесвидетельстве он узнал от меня еще три месяца назад, но сейчас я зашел сюда не для того, чтобы препираться с ним. Пожав плечами, я сказал в ответ что-то вежливое и невнятное.

Как я узнал впоследствии, наш разговор был записан на пленку, с тем чтобы запись можно было использовать для защиты Холдемана в суде. Позже прокуроры сообщили мне, что Эрлихман тоже записал на пленку разговор со мной в тот день. Пожалуй, ничто другое во всей этой истории не огорчило меня больше: подумать только — Дин, Холдеман и Эрлихман записывали на магнитофон разговоры со мной! Я считал их своими друзьями и поступал с ними по чистой совести, а они, оказывается, задавали мне наводящие вопросы, стараясь выгородить и обелить себя; они пытались потопить меня, чтобы спастись самим! Но, с другой стороны, хоть я и не записывал на пленку никаких разговоров, я без колебаний воспользовался лояльностью Барта Портера и втянул его в деятельность по сокрытию истины, а ведь он тоже считал меня своим другом!

В понедельник я позвонил Митчеллу. Наш краткий разговор был трудным, но не оставил неприятного осадка. Мне предстояло сказать человеку, почитаемому мной и любимому, что я начал давать показания, которые, возможно, приведут его в тюрьму.

— Простите меня,— проговорил я,— но я должен думать о моей семье, и у меня нет другого выбора.

— Разумеется,— сказал он.— Конечно, вы тоже понимаете, что мой путь не может не быть иным?

Другими словами, он станет отрицать мои обвинения, и дело, быть может, кончится тем, что мы начнем называть друг друга на суде лжецами.

— Да, понимаю,— ответил я.— Всего хорошего, босс.

— Всего хорошего, Джеб.

Вот и все. Он пошел своей дорогой, а я — своей.

Ожидание

В течение месяцев, последовавших за апрелем 1973 года, когда я начал сотрудничать с прокурорами, расследующими уотергейтское дело, нередко высказывалось недоумение: раз Магрудер признает себя виновным, то с какой стати его оставляют на свободе, в то время как уотергейтские взломщики томятся в тюрьме?

Ответ простой На свободе я оставался потому, что так было удобнее прокурорам. Им требовалось подробно допросить меня обо всем, что касалось Уотергейта, допрашивать же меня было проще, когда я находился у себя дома, а не в тюрьме. Тюрьма могла подождать до того времени, когда они окончательно разберутся со мной

Передо мной, однако, встал вопрос: как и где я буду зарабатывать на жизнь в ожидании судебного приговора. О том, чтобы вовсе не работать, не могло быть и речи. Наших сбережений надолго не хватило бы, да и вообще мне следовало думать о том, как бы отложить деньги на содержание семьи во время моего пребывания в тюрьме.

Поскольку моим временем располагали теперь прокуроры и поскольку я не знал, как долго еще пробуду на свободе, штатная работа для меня исключалась, даже если бы кто-нибудь предложил мне ее.

Поэтому я решил основать собственную фирму — выступить в качестве консультанта по вопросам сбыта. Если принять во внимание мои особые обстоятельства, начала фирма неплохо. Став консультантом, я зарабатывал примерно столько же, сколько получал бы, оставаясь на государственной службе с окладом в 38 000 долларов в год. Но дальше в делах обозначился застой, и в конце концов я понял, что, пока я не отсижу свое, положение фирмы будет непрочным.

Однажды в разговоре со мной Арт Бухвальд настойчиво рекомендовал мне заняться чтением лекций, что позволило бы мне, с одной стороны, поправить финансовые дела, а с другой — конструктивно использовать опыт пережитого. Бухвальд дал мне телефон своего агента — устроителя лекций и уговорил меня позвонить ему.

Обнаружилось, что как лектор я пользуюсь большим спросом и что за лекции платят хорошие деньги. После выплаты комиссионных агенту и покрытия моих издержек я мог выручить за одну лекцию 1500 долларов чистой прибыли. Это было отрадной новостью На деньги от лекций могла бы жить моя семья, пока я отбываю срок в тюрьме. Поэтому я уполномочил моего нового агента организовать для меня лекционное турне по студенческим городкам, приурочив его к началу учебных за-

нятий в колледжах в сентябре месяце. Мне нельзя было рассказывать об обстоятельствах уотергейтского дела, но я считал, что смогу прочесть содержательную лекцию о причинах Уотергейта и моральных уроках, которые следует извлечь из этой истории.

Однако объявление о моем предстоящем лекционном турне сразу же вызвало протесты и возражения. Газета «Нью-Йорк таймс» поместила 28 августа на самом видном месте статью Виктора Голда, бывшего пресс-секретаря вице-президента Агню, озаглавленную «Джеб Магрудер, суперзвезда», в которой автор попеременно сравнивал меня с налетчиком Джоном Диллинджером, грозой банков, и с Артуром Бремером, психически неполноценным молодым человеком, стрелявшим в Джорджа Уоллеса; основная мысль статьи сводилась к тому, что не следует позволять лжесвидетелю наживаться на собственном преступлении. Как раз тогда пресса проведала о юридических проблемах вице-президента, и я расценил нападки Голда на меня как попытку отвлечь внимание общественности от постигших Агню неприятностей. Как бы там ни было, его критический выпад оказался метким и действенным. Несколько раз после этого я видел Голда в ресторанах, но он старательно прятал глаза.

Дальше события приняли невеселый оборот. Еще 16 августа я подтвердил перед судьей Сирикой, что принимаю выдвинутое против меня обвинение по одному пункту — признаю себя виновным в преступном сговоре. По просьбе обвинителей судья отсрочил вынесение мне приговора, но с этого момента вся моя деятельность подпадала под его юрисдикцию. Джим Маккорд также находился под юрисдикцией суда, и судья Сирика потребовал, чтобы он отменил свое лекционное турне. Адвокаты Маккорда заявили протест, указывая на то, что, коль скоро Магрудеру разрешено читать лекции, нельзя лишать этого права и их клиента. Судья Сирика отреагировал на этот протест предписанием от 5 сентября, запрещающим мне читать какие бы то ни было лекции.

Мне ничего не оставалось, как отменить турне. Мои адвокаты считали, что с чисто правовой точки зрения я смог бы, по всей вероятности, обжаловать предписание судьи и добиться его отмены, ссылаясь на то, что никто не лишал меня одного из основных прав человека — свободы слова. Но с практической точки зрения, конечно, не стоило дразнить судью, собирающегося принять решение о сроке моего тюремного заключения...

Как могло это случиться?

В ходе повествования я пытался указать на ряд факторов, личностных и политических, которые привели к Уотергейту. Подводя итоги, выделю три главные, на мой взгляд, причины.

Во-первых, тот факт, что за минувшее тридцатилетие в Белом доме сосредоточилась непомерно большая власть. Слишком много там работает людей, назначение которых не утверждается сенатом и которые подотчетны только президенту. В последнее время эта мысль высказывалась в целом ряде статей. Я могу лишь добавить, что наблюдал «имперское президентство» вблизи, будучи одним из «придворных»; жизнь «при дворе», спору нет, приятна, но вместе с тем и нереальна. Люди, сосредоточивающие в своих руках большую власть, отрываются от действительности, что неизбежно приводит к злоупотреблениям властью. На совести одной администрации — Уотергейт, на совести другой — Вьетнам. Совершенно очевидно, что конгресс, суды, средства информации и широкая общественность должны, действуя каждый по-своему, бороться за ограничение президентской власти и против того ореола правовой бесконтрольности помазанника божия, который окружает ныне нашего президента. Я согласен с профессором Филиппом Карлендом, писавшим в «Уолл-стрит джорнел»: «Именно тогда, когда Белый дом стал тем, чем он является в настоящее время — четвертой властью в нашей системе правления, мы двинулись по дороге к Уотергейту».

Второй причиной Уотергейта явились, по-моему, особенности характера Ричарда Никсона, человека с огромными талантами и с огромными недостатками. Никсон, бесспорно, обладал потенциальными возможностями стать крупнейшим консервативным политическим лидером своего времени; он имел перед собой четкие цели и знал, как достичь их. Однако был в его характере и роковой изъян: нетерпимость к критике, склонность к чрезмерно сильным ответным реакциям в политической борьбе.

Не берусь судить, что появилось раньше: неприязнь либералов к Никсону или же неприязнь Никсона к либералам, но только взаимное недоброжелательство все усиливалось и переросло в ненависть, так что, став президентом, Никсон не мог удержаться от искушения использовать свою громадную власть для «сокрушения» врагов. А ведь президент задает тон своей администрации. Если бы президент Никсон сказал нам: «Я хочу, чтобы каждый из вас делал свое дело, соблюдал законы и не обращал внимания на наших критиков», никакого Уотергейта не было бы. Вместо этого подозрительность президента, усугубленная постоянным противодействием средств массовой информации, политиков либерального толка и активных противников войны, привела к созданию в Белом доме атмосферы, благоприятствовавшей операциям «водопроводчиков», составлению списков врагов и Уотергейту.

Наконец, третья причина Уотергейта коренится в том, что некоторые из нас, служивших президенту, служили ему плохо. Ссылки на созданную им атмосферу не снимают вины с нас самих. Никто не заставлял меня и других нарушать законы. Однако мы, побуждаемые честолюбием, преданностью и партийным рвением, не вняли голосу рассудка. Мы могли бы выразить свое неодобрение по поводу происходившего или же в знак протеста подать в отставку. Вместо этого мы убедили себя в том, что зло есть добро, и очертя голову принялись действовать.

Невозможно оправдать взлом, подслушивание, лжесвидетельство и все прочие правонарушения, которые мы совершали, пытаясь скрыть истину. Что касается меня, то я был повинен в вопиющем пренебрежении к основным принципам демократии. Я и мои коллеги оправдывали противозаконные действия ссылками на «обычную политическую практику», «сбор информации», «национальную безопасность». Это было в корне неверно, и, только лишь признав свою неправоту и публично расплатившись за свои ошибки, сможем мы рассчитывать на то, что общественность проникнется бóльшим доверием к нашему правительству да и к нашей политической системе.

Слишком часто мы считаем наши конституционные права чем-то абстрактным. Должен сознаться, что я до конца не понимал, насколько неправомерен наш акт подслушивания телефонных разговоров, пока не узнал, что Холдеман, Дин и Эрлихман — мои д р у з ь я — тайком от меня записывали на пленку свои разговоры со мной. Я пришел в ярость. Ведь это же были ч а с т н ы е б е с е д ы! Какое п р а в о имели они записывать их?! Наконец-то я понял — не только сознанием, но и всем нутром,—что точно так же мы не имели права подслушивать телефонные разговоры Ларри О'Брайена. Понял я в конце концов и то, что общество не может быть терпимым к акту лжесвидетельства, который подрывает самую основу нашей судебной системы.

Меня иногда спрашивают, не знаю ли я за собой какого-нибудь порока, изъяна характера, которым можно было бы объяснить мои ошибки. Яснее ясного, что человек, сознательно нарушающий закон, имеет тот или иной дефект в характере, в сознании или в нравственном чувстве справедливости. И все же при мысли о том, как много людей повинно в нарушении закона в связи с уотергейтской историей, людей, которые, как правило, были образцовыми гражданами в частной жизни, возникает вопрос: не служат ли наши изъяны отражением еще бóльших изъянов в системе ценностей нашего общества?

Как мне кажется, я довольно типичный представитель своего поколения. Так вот, оглядываясь теперь назад на мою жизнь, не могу не признать, что я, как и многие среди моего поколения, придавал слишком много значения своим честолюбивым стремлениям, достижению материального успеха и слишком мало — нравственным и человеческим ценностям. Думается, большинство из нас, участников уотергейтского дела, оказалось неспособно устоять против нажима и соблазнов, которым подвергаешься в высших политических сферах. Мы были морально устойчивыми людьми в личной жизни, но не имели понятия о морали гражданской. Вместо того чтобы руководствоваться в государственных делах принципами своей личной морали, мы приняли принципы политического поведения, продиктованные президентом, и результат был трагичным для него и для нас.

В ЗЕРКАЛЕ УОТЕРГЕЙТА

Джеб Стюарт Магрудер назвал свою автобиографическую книгу «Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту». Одна дорога. Из многих. Так как первые главы в журнальной публикации опущены, есть смысл рассказать вкратце о начале этой дороги.

Автор родился в 1934 году на Статен-Айленд—район Нью-Йорка, примыкающий к гавани и океану. Отец — владелец небольшой типографии, скромный бизнесмен. Дед разбогател на судостроении в годы первой мировой войны, потом был судим за финансовые злоупотребления и попал на полгода в тюрьму. Позор и разорение деда — как печальная семейная память и источник некоторой приниженности.

Детские годы. Школа. Уильямс-колледж в штате Массачусетс. «Молчаливые» студенты начала 50-х. Армия и служба в Южной Корее. Диплом Уильямс-колледжа. Становление молодого бизнесмена с типичным деловым подходом к людям и жизни: «Я рано понял, что нравлюсь людям и что, если делаю им приятное, получаю обычно что хочу...» Коммивояжер, торгующий туалетной бумагой. Служащий консультативной фирмы. Менеджер по рекламе в сети продовольственных магазинов. Заведующий косметическим отделом в универмаге. Владелец двух небольших косметических фирм. Разные города, почти всегда удачи, растущие заработки... Жена и дети (четверо)...

То в Чикаго, то в Лос-Анджелесе добровольное участие в предвыборных кампаниях на стороне консервативных республиканцев, тяга к политике, пробуждение мечты о политической карьере: «Я получал больше удовольствия от продажи политического кандидата, в которого верил, чем от продажи бумажной продукции компании «Кроун Зеллербах» оптовикам Среднего Запада». Он толков, активен, контактен. В Калифорнии в 1967—1968 годах по-

могает и предвыборной кампании Ричарда Никсона. Его заметили. В августе 1969 года Джеб Магрудер получает предложение поступить на службу в Белый дом. «Вот он — тот случай, которого я ждал всю жизнь».

Теперь 35-летний бизнесмен сбывает не бумажную продукцию, а образ (image) президента США. Косметика — политическая. Вместо оптовиков — журналисты при Белом доме. Рынок сбыта — головы американцев.

Из удачливого дельца получается удачливый политический карьерист. Его область— рекомендации по манипулированию общественным мнением. У президента плохие отношения с прессой. Президента допекают критики продолжающейся войны в Индокитае. Магрудер пишет: «У нас были свои проблемы в продаже программы Никсона». Как правило, проблемы не имеют никакого отношения к правде, к принципам. Одно из открытий Магрудера: «В правительстве граница между формой и существом, между образом и реальностью часто не видна...»

1972 год. Ричард Никсон, подходя к концу первого срока в Белом доме, решает баллотироваться на второй срок. Джеб Магрудер получает важную должность — заместитель председателя Комитета по переизбранию президента. Его шеф — Джон Митчелл, покинувший пост министра юстиции, чтобы возглавить предвыборную кампанию своего друга и бывшего партнера по адвокатской фирме в Нью-Йорке Ричарда Никсона.

Вот, собственно, и вся дорога Магрудера к Уотергейту. Дальше — уже Уотергейт. И, за рамками книги,— семь месяцев тюремного заключения...

Эта дорога к Уотергейту — не самая долгая и не самая заметная. Другой пример у всех перед глазами — Ричард Милхауз Никсон. Его отставка с поста президента США в августе 1974 года в результате развития уотергейтского скандала была не венцом, а концом почти тридцатилетней политической карьеры. Конец пришел вскоре после триумфа — переизбрания небывалым большинством голосов в ноябре 1972 года. После убийства Джона Кеннеди в 1963 году, после политической капитуляции Линдона Джонсона в 1968 году, отказавшегося баллотироваться на второй срок под давлением вьетнамского кризиса, злая ирония Уотергейта еще раз доказывает, что Белый дом — отнюдь не Олимп, каким он иногда видится издалека, и что громы и молнии мечут не только оттуда, но и туда. Между прочим, Никсон хотел председательствовать при праздновании 200-летия независимости Соединенных Штатов Америки и еще в 1969 году распорядился на носу своего президентского самолета написать: «Дух 76-го». Еще один пример рекламной спешки. Когда президентом стал Джеральд Форд, надпись исчезла. Дух 76-го? В 1976 году это все еще был дух Уотергейта...

Не только изгибы и изломы судеб проступают в бездонном зеркале Уотергейта, не только жесткие, как на скорости удар о стенку, финиши карьер. Уотергейт — чрезвычайно емкая политическая метафора в современной Америке. Это многосложное явление, которому по величине и важности находят лишь одно сравнение — с Вьетнамом. «Вьетнам и Уотергейт — эти два кошмара будут тревожить нас всю нашу жизнь»,— восклицает известный американский историк Артур Шлезингер.

■

Метафоре и явлению дал название Уотергейт зримый, физический —полдюжины зданий, образующих фешенебельный административно-жилой комплекс в северо-западной части Вашингтона.

Временный житель американской столицы, я часто проезжаю мимо этого Уотергейта, показываю его заезжим москвичам (он вообще стал туристской достопримечательностью, и однажды в самолете, проходившем над Уотергейтом перед посадкой в Национальном аэропорту, я услышал полное скрытой иронии приветствие стюардессы: «Добро пожаловать в нашу национальную столицу, где находятся Белый дом, конгресс США, памятник Вашингтону, мемориал Линкольна, Пентагон и... Уотергейт»). Он расположен на краю живописного, дикого, хотя и в городской черте, парка Рок-Крик через автостраду от полноводного красивого Потомака, текущего в приземистых берегах. Закругленные, как кормовые части кораблей, выступают рядом с рекой внушительные и элегантные, благородного серого цвета дома, опоясанные балконами, как палубами. Красиво. Лишь в крупных зубьях балконных оград есть что-то от гребня крепостной стены, и это нарушает романтический образ кораблей, добавляет красоте какую-то ощеренность.

Ощеренность идет от богатства и сознания исключительности. Живут в Уотергейте высшие чиновники, сенаторы и конгрессмены, состоятельные люди, уже вырастившие детей и по тем или иным причинам переселившиеся в столицу; уотергейтские квартиры устраивают их больше, чем отдельные дома. Жил, кстати (или некстати), в Уотергейте и Джон Митчелл, ставший одним из главных героев скандала.

Масса удобств. Принцип самообеспечения: ресторан французской кухни, пассажи с дорогими магазинами — филиалами парижских и нью-йоркских супермаркет и винный погреб, аптека, салон красоты, отделения банков, свой отель для приезжих, бассейн для плавания, теннисные корты, подземные гаражи и т. д. В административных зданий Уотергейта несколько посольств, преимущественно небольших арабских стран, а также адвокатские фирмы, консультативные конторы, оффисы открытых и скрытых лоббистов...

С. КОНДРАШОВ
В ЗЕРКАЛЕ УОТЕРГЕЙТА

От Уотергейта все близко, кроме неспокойных, живущих своей жизнью негритянских кварталов. До Белого дома рукой подать, Госдепартамент еще ближе. По автостраде десять минут до Капитолийского холма. И буквально в двух шагах—новая гордость столицы, болезненно переживавшей свой культурный провинциализм, Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, где сменяют друг друга на гастролях звезды первой величины, зачастую останавливающиеся в уотергейтском отеле... На реке — спортивная база, скользят, услаждая зрение, байдарки-восьмерки; вдоль берега — дорожка для велосипедистов и многочисленных любителей бегом стряхнуть лишние фунты...

Самообеспечению сопутствует самозащита, как это водится в нынешней американской городской жизни. Уотергейтский сеттельмент, оберегая безопасность жильцов и оффисов, оснащен собственным контрольным телевидением с телеглазами в нужных и потенциально опасных местах, сигнальными системами, а также живыми охранниками. В 1972 году охранников поставляла частная фирма «Дженерал секьюрити сервис», одна из многих в процветающем бизнесе безопасности. Был среди них молодой негр Фрэнк Уиллс, недоучка и неудачник, работавший где попало, часто вовсе без работы.

И вот этот-то ночной сторож Фрэнк Уиллс в ночь на субботу 17 июня 1972 года вышел на вахту и... на рандеву с историей. Безмятежно совершая свой первый обход, в подвальном этаже одного из уотергейтских зданий он обнаружил незапертые двери, язычки их замков были прижаты клейкой лентой. Не придав значения незапертым дверям, Уиллс, однако, устранил непорядок, отодрав ленту и сунув ее в карман. При втором обходе ему пришлось удивиться: на тех же дверях и замках опять была клейкая лента. Ночной сторож вызвал полицию. На шестом этаже полицейские обнаружили и арестовали пять человек—в помещении Национального комитета демократической партии, с фотоаппаратами и устройствами для подслушивания. Они охотились не за добром, а за информацией Не воры, а шпионы...

Это событие в обширной уотергейтской хронологии, уже вошедшей в политические ежегодники и обеспечившей себе место в энциклопедиях, фигурирует как break-in, кража со взломом, точнее — шпионаж со взломом. Оно положило начало Уотергейту-скандалу.

■

Кто мог угадать тогда размеры скандала?! Но уже в самом истоке, в биографиях пойманных пятерых, как в атомах, проглядывали структура и происхождение того, что стало впоследствии Уотергейтом-явлением. Четверо из пятерых прилетели в Вашингтон из Майами. Это были завербованные, хорошо оплачиваемые ненавистники Фиделя Кастро и новой Кубы. Два кубинца, сбежавших с Кубы, два американца, участвовавшие в попытке вторжения на Кубу весной 1961 года. Один из американцев и один из кубинцев — бывшие служащие ЦРУ. Мотивировки их были под стать биографиям. Они шпионили в штаб-квартире демократов, которые делят с республиканцами политическую власть в США, но их первая линия защиты — антикоммунизм. Они, видите ли, подозревали, что демократы, особенно их тогдашний кандидат в президенты сенатор Джордж Макговерн, «мягки» к коммунизму. Проверяя подозрения, всего лишь не соразмерили свои ночные средства с благородной целью. Бес попутал, но ведь какой извинительный бес — патриотизма! Разве наказывают за бдительность, пусть чрезмерную? За усердие, пусть не по разуму, в охране Америки от красных? Кто бросит камень в таких ревностных патриотов?

Но, кроме четверки заблудших овечек из Майами, был еще пятый — и главный — среди арестованных июньской ночью в Уотергейте. Его-то арест Джеб Магрудер называет «катастрофой». Пятый был Джеймс Маккорд — не из Майами, а из того дома по Пенсильвания авеню в Вашингтоне, где размещался под руководством Джона Митчелла Комитет по переизбранию президента Никсона. И в этом комитете Джеймс Маккорд служил главным охранником, начальником службы безопасности. Шел выборный 1972 год, самая его политически жаркая серединка. И вдруг человек, следящий, чтобы и мышь не проскользнула незамеченной в штаб-квартире республиканцев, пойман, яко тать в нощи, в штаб-квартире демократов. Как перепутал он места и роли? И тоже отставной сотрудник ЦРУ. Оттрубив там девятнадцать лет, создал по выходе в отставку свою фирму платного сервиса в сфере безопасности. Нечто вроде «Дженерал секьюрити сервис», где служил Фрэнк Уиллс, только поменьше. От профессии у Маккорда универсализм: в одном месте сторожит, в другом — тянет чужое.

Демократы, конечно, потребовали расследования. Нити его быстро привели к Белому дому, но поначалу не к главным кабинетам, а к периферийным, к обитателям вроде бы случайным. К двум новым персонажам, таким же типажам, что и первые пять. Гордон Лидди, когда-то служивший в ФБР, «бойцовый петух», по определению Магрудера, авантюрист, работавший под Джеймса Бонда, характерный пример взаимопроникновения и взаимодействия жизни и детективной литературы. Говард Хант, бывший агент ЦРУ, консультант Белого дома, из группы так называемых «водопроводчиков»: после публикации в 1970 году разоблачительных «документов Пентагона» о вьетнамской войне «водопроводчики» искали щели, через которые в Белом доме просачивалась секретная информация. Хант не просто подражает Джеймсу Бонду. Он «тоже писатель», во множестве плодит собственных шпионов,

опубликовав более сорока детективных романов.

Итак, уотергейтская семерка, первой попавшая на скамью подсудимых. Уотергейтские полузабытые пешки. До поры до времени они берут огонь на себя, признавая себя виновными, пытаясь оборвать нити расследования и прикрыть более крупные фигуры; впрочем, четверка из Майами даже не знает об этих фигурах. За молчание им тайно платят — из тех же обильных, многомиллионных предвыборных фондов, из которых сотни тысяч были отпущены на операции по «домашнему» шпионажу и саботажу. Первым заговорил Маккорд. Потом... Впрочем, нет смысла повторяться. В книжке Джеба Магрудера довольно подробно рассказывается, как по следам break-in пришел cover-up — второй и самый длительный этап Уотергейта, попытка утаить истину и уклониться от правосудия.

Магрудер не скрывает своей брезгливой неприязни к Гордону Лидди, который числился юридическим советником Комитета по переизбранию и был организатором «грязных трюков». Это неприязнь упорядоченного менеджера, поддавшегося авантюристу. Различия, конечно, есть, но они не мешали Митчеллу и Магрудеру санкционировать и финансировать авантюризм Лидди. Сходство сильнее различия. Уотергейт — это одинаковый строй мышления. Мы вернемся к этой теме позднее.

...Магрудер заканчивает свое повествование хронологическими рамками лета 1973 года. Он признал себя виновным и ждет приговора. До тюремного заключения спешит высказаться, одним из первых осознав долларовый потенциал уотергейтских историй. Впереди еще целый год скандала, но в Белом доме уже признаки распада, тонущего корабля, усиливающегося шкурничества. Прежние категорические опровержения сменились неохотными отступлениями под натиском новых и новых доказательств, вынужденными отставками Боба Холдемана и Джона Эрлихмана, ближайших помощников президента, затягиванием в ненасытную воронку Уотергейта «всей президентской рати» (заглавие книги Карла Бернстайна и Боба Вудворда, двух репортеров из газеты «Вашингтон пост», которые первыми раскрыли многие уотергейтские секреты).

Второй год, не освещенный в записках Магрудера, принес эскалации, о которых надо напомнить. Уотергейт становится осью, на которой вертится жизнь политической Америки, не говоря уж о Вашингтоне. Телевизионщики неотлучно дежурят у здания федерального суда... Перед судьей Джоном Сирикой нескончаемой чередой проходят виднейшие чиновники, свидетелями или обвиняемыми, привлеченные по уотергейтским делам... Дел этих все больше... Назначение, а затем смещение Никсоном за непокорство специального прокурора Арчибальда Кокса... Дознания Леона Джаворски, нового специального прокурора, бульдожьей хваткой вцепившегося в Белый дом... Слушания в сенатской комиссии Сэма Эрвина доставляют участников Уотергейта на телеэкраны миллионов американских домов — на целые недели... Свидетель Александр Баттерфилд нечаянно открывает поразительную тайну: в кабинете президента и в некоторых других помещениях Белого дома, оказывается, давно действует система автоматической магнитофонной записи всех разговоров: она установлена по распоряжению самого Никсона в расчете на мемуары и историю...

Многомесячная тяжба вокруг записей: специальный прокурор и конгресс требуют пленки, связанные с Уотергейтом, президент упорствует... «Скандал века»... Подозрения публики... Небывалое падение престижа президента... Палата представителей приступает к импичменту — процедуре отлучения президента от власти за действия, противоречащие конституции... Допуск к магнитофонным лентам, но не ко всем... Пропуски на лентах — в самых «интересных» местах... В очередном телевизионном обращении к нации Ричард Никсон категорически заявляет: «Я не плут!» И однако, свидетельства обратного находят в магнитофонных записях, самых оберегаемых, отданных последними: знал, скрывал, плутовал... 8 августа 1974 года последняя, самая мощная бомба Уотергейта — отставка президента, первая за двести лет существования США... Последние вымученные улыбки, прощальные взмахи рук, последний взлет президентского вертолета с Ричардом Никсоном на борту с Южной лужайки Белого дома... Джеральд Форд произносит присягу...

■

Что было бы, если бы ночной сторож Фрэнк Уиллс не совершил своего второго обхода? Если бы совершил его на час позже? Остался бы Ричард Милхауз Никсон, 37-й президент США, в Белом доме до 20 января 1977 года, если бы неизвестный ему молодой негр Фрэнк Уиллс проявил бы 17 июня 1972 года невнимание к своей скромной службе, за которую получал весьма скромное вознаграждение? Забавные и праздные вопросы. Им суждено остаться без ответа. История, как и человеческая жизнь, не признает сослагательного наклонения. История многовариантна лишь в нашем живом воображении, но в действительности имеет всего один — случившийся — вариант, задним числом утверждая случившееся как единственно возможное. Правомочнее другой вопрос: что было раньше — событие или явление? Событие вызвало к жизни явление Уотергейт или наоборот? По-моему, «наоборот». Уотергейт мог прийти под другим названием. Событие (и его название) зависело от случая, но в явлении, родившемся раньше события, проглядывают неумолимые закономерности послевоенного развития Америки. В из-

---

С. КОНДРАШОВ
В ЗЕРКАЛЕ УОТЕРГЕЙТА

вестном смысле Уотергейт оказал услугу истории, выявив и обнажив эти закономерности.

О пожаре Москвы 1812 года, захваченной французами, Лев Толстой писал: «Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители, и так же неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжение нескольких дней будут сыпаться искры огня». Это толстовское рассуждение приходит на ум, когда думаешь о причинах Уотергейта. Только вместо искр огня от солдатских костров и кучи стружек, с которой Толстой сравнивает «деревянный город», надо подставить долголетие и инерцию «холодной войны», «охоту за ведьмами», не похороненную вместе с сенатором Джозефом Маккарти на тихом красивом кладбище в висконсинском городе Эплтон, манию подозрительности, перенесенную с международной арены на арену внутриполитической борьбы, культ ЦРУ и ФБР, из которых сделали безупречные патриотические святыни, «электронный шпионаж» как национальное хобби, облегченное лидерством в области компьютеризации и миниатюризации. (Кому не известно, что прикладными чудесами НТР в Америке оснащены и сонмы частных детективов, отныне избавленных от унизительного подглядывания в замочную скважину, и корпорации, не без корысти интересующиеся состоянием дел у соседа, и т. д. и т. п. Как советский журналист, я могу уверенно предположить, что стук моей пишущей машинки даже в поздний час отдается в чьих-то уполномоченных ушах или впрок ложится на магнитофонную ленту.)

Эта аккумуляция, материальная и психологическая, должна была дать Уотергейт в той или иной форме, под тем или иным именем. Явление было наготове, оно лишь ждало события, чтобы обрасти мясом и плотью фактов, лиц, интриг, судеб, разоблаченных тайн, судебных процессов — всех этих искр и стружек, давших зрелище уотергейтского пожара.

Когда Уотергейт ставят рядом с Вьетнамом, речь идет не просто о сопоставимых по величине американских кризисах, но и о связи между ними. Это две кульминации послевоенного развития Соединенных Штатов, их политики. Вьетнамская авантюра — внешнеполитическая кульминация, подорвавшая «самонадеянность силы», которую осуждал сенатор Уильям Фулбрайт, отбившая охоту и упоение, с которыми американский империализм брался за роль мирового полицейского. Уотергейтский скандал — это своеобразная внутриполитическая кульминация. Методы «холодной войны» были взяты на вооружение внутри страны, в борьбе за Белый дом, в соперничестве двух буржуазно законных, лояльных системе партий. Братом-близнецом мирового жандарма стал домашний шпион, сующий нос не только к коммунистам, не только в антивоенные и леворадикальные организации, но и в штабы и оффисы партнеров-соперников по двухпартийной системе. Подозрительность, почти маниакальная ненависть к критикам вьетнамской войны, к прессе и либералам, лихорадка вечного кризиса — эта атмосфера «осажденного Белого дома» неплохо передана Магрудером.

Все аспекты Уотергейта-явления перечислить трудно. Но два-три хотелось бы отметить. «Так же как Вьетнам страшной ценой научил нас видеть пределы нашей мудрости и силы в международных делах,— пишет историк Шлезингер,— так и Уотергейт научил нас — за более низкую цену — видеть пределы мудрости и власти президентского поста». Мысль верная, хотя опять следует добавить: Вьетнам и Уотергейт нужно не только сравнивать, но и связывать. Во вьетнамскую трясину Америка влезла посредством президентских акций. К конгрессу за санкциями Белый дом обращался редко и получал их вначале легко. Чем дольше и тяжелее становилась война, тем критичнее был конгресс и тем чаще Белый дом действовал в обход конгресса, без его ведома, вопреки ему и даже обманывая его. Эту самую долгую, так и не объявленную конгрессом войну прозвали «президентской». Она резко поставила вопрос о непомерной, опасно гипертрофированной власти президента, которая объяснялась и оправдывалась государственными нуждами эпохи ракетно-ядерного противостояния двух систем. При Никсоне, который вызывающе пренебрегал волей конгресса, особенно в ходе вторжения в Камбоджу весной 1970 года, заговорили уже об «имперском президентстве».

Уотергейт-явление возник на этом фоне соперничества законодательной и исполнительной власти. Это реванш конгресса, демонстрирующий теперь новое, напряженное равновесие между Белым домом и Капитолийским холмом. Объективно такой реванш был облегчен атмосферой международной разрядки. Только в условиях ослабления конфронтации, когда противники начали покидать окопы «холодной войны», когда угроза ядерной войны была смягчена, правящая Америка могла позволить себе роскошь публичного сведения счетов на своем высшем уровне.

Послеуотергейтские расследования незаконных действий ЦРУ и ФБР по-своему подтверждают эту мысль. Ведь тайные обыски, провокации, саботаж — вся эта практика «домашнего» шпионажа не нова. Как выявила сенатская комиссия Фрэнка Черча, этим занимались почти все при всех послевоенных президентах Америки — Эйзенхауэре, Кеннеди, Джонсоне. У них были, можно сказать, свои Уотергейты, но без имени и огласки. При Никсоне «лишь» продолжалась заведенная практика. Но время, международный и внутренний климат стали иными. В известном смысле за руку уотергейтских заговорщиков схватило само время, изменившаяся Америка. Главная жертва Уотергейта, Ричард Никсон,— козел отпущения у времени.

Уотергейт оказался неожиданным, последним кризисом человека, у которого было много взлетов и падений, неожиданным

итогом противоречивого развития этого политического и государственного деятеля. В конце 40-х и начале 50-х годов молодой конгрессмен Ричард Никсон сделал молниеносную карьеру, участвуя в антикоммунистической истерии. Репутация ястреба и узколобого консерватора долго оставалась за ним, вызывая стойкую неприязнь не только прогрессивных, но и либеральных американцев. Но и он рос, и он менялся вместе со временем. Оказавшись в Белом доме, достаточно трезво подходил к проблемам нормализации и улучшения советско-американских отношений на основе принципов мирного сосуществования. Это хорошо известно советскому читателю Внес свой вклад в развитие процесса международной разрядки.

Но прошлое не так-то легко отпускает нас. Крестник «холодной войны» не умер, продолжал жить в Никсоне — неразборчивый в средствах, не гнушающийся обманом, подозрительный. Он выплыл и был мстительно наказан в ходе уотергейтского скандала.

■

Кроме кабинетов следователей и залов суда есть еще одно место, где встречались и продолжают встречаться все участники уотергейтского дела, правые и виновные, обвинители и обвиняемые, судьи и подсудимые. Это место — книжный рынок. Сначала Уотергейт кормил газеты и журналы, напечатавшие о нем миллиарды слов. Потом, одну за другой, стали издавать книги. Сейчас их десятки, и уже сказывается кризис перепроизводства — перенасыщенность рынка, зевота читателя, отработанность сенсации.

На полках текущей политической литературы Уотергейт потеснил все остальное. Профессорские попытки серьезного анализа соседствуют с репортажами, написанными в манере детектива, вроде уже упоминавшейся книги «Вся президентская рать»; она долго числилась в списке бестселлеров, была экранизирована — роль двух вашингтонских репортеров играют известные киноактеры Роберт Редфорд и Дастин Хофман. Вышла книга специального прокурора Леона Джаворски, вернувшегося к адвокатской практике в Техасе. Поразительно много книг написано самими «уотергейтскими заговорщиками». Каждый спешит поведать о своей дороге к Уотергейту. Писали и пишут в ходе судебного разбирательства, в ожидании приговора, в местах заключения, дописывают, выйдя из этих мест, зная, что дорого яичко ко Христову дню и что время — деньги, демонстрируя, что у американца расстояния коротки не только между словом и делом, но и между делом (типа уотергейтского) и словом (печатным).

Публикуется Джеймс Маккорд, никогда не бравшийся за перо. Говард Хант является в суд, держа в руке—для телекамер и бесплатной рекламы — новый свой роман, поспешно выпущенный, пока он был за решеткой. В бестселлеры попадают воспоминания Джона Дина, юридического советника Белого дома, который первым подвел нити расследования к двери президентского Овального оффиса. Пока Дин отбывал свой срок (небольшой, как, впрочем, и у всех остальных), его жена Морин успела издать историю своей жизни. Ее книга продавалась даже в универмагах, рекламировалась на газетных полосах рядом с модами очередного сезона; в универмаге «Вудворд энд Лотроп», в трех шагах от моего вашингтонского жилья, дамы-покупательницы стояли в очереди за автографами «уотергейтской жены». Толстый том — «Рожденный вновь» — издал Чарльз Колсон, доверенный советчик Никсона, «злой гений» Белого дома, семь месяцев отсидевший в тюрьме. Джон Эрлихман, бывший главный помощник президента по внутренним делам, отрастил писательскую бороду, опростился, переехав на жительство в Аризону, и написал роман «Компания» — о Белом доме, секретах ЦРУ, вымышленном президенте Ричарде Монктоне, в котором легко угадать прототип.

Кто не пишет (пока не пишет!), тот читает лекции и дает интервью. Среди зарабатывающих на Уотергейте — бывший ночной сторож Фрэнк Уиллс. Как «историческим символом» им торгует адвокат-негр Дорсей Эванс, кладя себе в карман четвертую часть гонораров. Терзаясь отсутствием постоянной работы, Уиллс ездит по Америке, выступая перед негритянскими аудиториями с платными рассказами об уотергейтской ночи, клейкой ленте, незапертых дверях. Продает набор цветных фотоснимков: сторож на фоне знакомых зданий, цена — один доллар. Даже за интервью с Уиллсом установлена такса: триста долларов с телевизионщиков, пятьдесят — с газетчиков.

При этом адвокат Эванс жалуется на неравенство черных. Еще бы! Бобу Холдеману, главному помощнику Никсона, телевизионная корпорация Си-би-эс отвалила за интервью десятки тысяч долларов. Гонорары за популярные книги об Уотергейте исчисляются сотнями тысяч долларов. Лекторы тоже не в обиде. Рон Зиглер, бывший пресс-секретарь Белого дома, Джон Дин и другие, выступая в университетах, брали по три-четыре тысячи долларов за «лекцию». Эти гонорары вызвали возмущение, разговоры об «окупаемости преступлений». Один профессор писал в «Нью-Йорк таймс», что уотергейтским злоумышленникам в университетах платят больше, чем нобелевским лауреатам.

Такие протесты принимаются моралью, но отвергаются действительностью. В Америке известность — всегда капитал Чем она скандальнее, тем больший на нее спрос и тем, следовательно, она прибыльнее. Это в природе всеядной «массовой культуры» Это особая алхимия американской жизни, которая и грязь превращает в золото. Ироническая гримаса Уотергейта: известнейший из скандалов стал скандалом самым прибыль-

---

С. КОНДРАШОВ
В ЗЕРКАЛЕ УОТЕРГЕЙТА

ным. Доллар — общее поле, на котором его участники встречаются как подданные одного короля и служители одного культа. Коммерческому расчету не мешает даже раскаяние.

■

Тут мы возвращаемся к Магрудеру (кстати, его жена Гейл тоже стала одной из уотергейтских писательниц). В ожидании суда и тюрьмы он намеревался совершить лекционное турне, но судья Джон Сирика подсудимому читать лекции запретил. Пришлось искать иные жанры Так возникла идея о книге, а потом и сама книга Магрудера, одна из первых об Уотергейте.

Типичное дитя буржуазной Америки, Магрудер ни разу не забывает упомянуть, сколько тысяч долларов в год получал он там и тут, восходя по лестницам частного бизнеса и государственного аппарата. Цифрами обозначается его успех в жизни. Лишившись правительственного жалованья, Магрудер, как и другие, саму уотергейтскую историю превратил в источник добывания средств к существованию. Справедливости ради отметим, что у него не было выбора. Литературное крещение вынуждалось не только потребностями обеспечения семьи. Как и другие участники громких уотергейтских процессов, вчерашний влиятельный бюрократ стал жертвой адвокатов, взимающих многотысячные гонорары. (Позднее, выйдя из тюрьмы, Магрудер поделился злым недоумением: «Я все еще никак не пойму, почему ушло сто тысяч долларов на то, чтобы признать себя виновным».)

Не лишней будет и другая оговорка. Коммерческая эксплуатация темы не означает, что уотергейтская литература лишена общественной полезности. Литература эта — аналитическая, серьезно-познавательная, дешево-сенсационная — слишком пестра и обширна для одной оценки, одного обобщения. В лучших образцах она дает и немало информации критического содержания, и пищу для размышлений об американской жизни. Ознакомившись с отрывками из книги Магрудера, читатель, видимо, убедится в ценности этого свидетельства очевидца.

В уотергейтской цепи Джеб Стюарт Магрудер являл собой важное звено — на стыке исполнителей «грязных трюков» типа Гордона Лидди и стратегов, из которых ближайшим к нему был Джон Митчелл, председатель Комитета по переизбранию, друг и партнер президента Никсона. Это была хорошая точка для наблюдения (и последующего написания своеобразных мемуаров), что усиливает достоверность общественных показаний автора.

Магрудер был не только свидетелем, но и участником. Присутствовал на тайных совещаниях, заложивших уотергейтскую бомбу замедленного действия. Дважды возил Лидди к Митчеллу и в кабинете министра юстиции принимал участие в рассмотрении предложений авантюриста, заведомо нарушающих закон. В специальной папке под названием «Джемстон» Магрудер хранил донесения Лидди о нелегальных «вторжениях» в штаб-квартиру демократической партии, записи подслушанных разговоров. После задержания полицией уотергейтских взломщиков началась «новая реальность», и Магрудер эпизод за эпизодом описывает «двойную жизнь», которой жил не только он, но и Митчелл, но и другие люди из окружения президента, публично отвергая причастность к случившемуся, втайне заметая следы, сочиняя и репетируя сценарии лжесвидетельства.

Круговая порука продержалась недолго. Когда тучи сгустились, началось откровенное шкурничество, каждый старался отвести громы и молнии от себя и направить их на сослуживцев. Самопожертвование не числилось среди добродетелей уотергейтских «заговорщиков». Чувствуя, что его вот-вот предадут и выдадут, Магрудер наносит упреждающий удар, признает себя виновным, дает показания против Дина и Митчелла...

Из книги Магрудера советский читатель получает конкретное представление о возникновении и развитии уотергейтского дела. особенно на первых его этапах. Но не только в этом ее познавательная ценность. Любопытен сам автор, его, пусть вынужденная и самозащитная, откровенность, набросанные им закулисные картины Белого дома. Понимая, что Уотергейт — это прощание с политической карьерой и разрыв с прошлым, Магрудер смотрит на прошлое с долей сожаления, но без иллюзий, критично. Стиль его канцелярски-суховат, но не лишен временами выразительности и иронии. Иронично даже это, внешне спокойно-эпическое, название — «Американская жизнь», которое можно было бы перевести и как «Одна американская жизнь». В начале послесловия мы вкратце говорили об этой жизни, которая, в общем-то легко и гладко, шла своим путем к Уотергейту. Шла под прагматическим двигателем выгоды и честолюбия, без духовных вопросов, запросов и кризисов, в механическом ритме, позволяющем без труда приспосабливаться к новым городам и положениям, к новым знакомым, с легким перескоком из бизнеса в политику, причем большую, делающуюся в Белом доме, с отсутствием твердых взглядов, с готовностью к любым поручениям...

В этой американской жизни посторонний взгляд, пожалуй, увидит больше, чем взгляд американца. Для американца все здесь — норма. Норма не только этот легкий перескок из калифорнийской косметической фирмы в Белый дом но и то, что новая работа Магрудера по глубинной своей сути весьма походила на старую. У американской политики метод коммерческой рекламы. Избиратель — это покупатель, а политик, ищущий выборной должности,— это продавец, предлагающий вместо товара самого себя. Отношения между ними — это отношения купли-продажи. Вот Магрудер, назначенный в Комитет по переизбранию президента, с воодушевлением, которое потом сбил Уотергейт, пишет: «Мы хотели на-

учной кампании». И дает пример вопроса, которым должна заниматься эта странная, называемая политической, наука: «Следует ли президенту улыбаться или выглядеть серьезным на плакате, адресованном молодежи?» Улыбается ли сам Магрудер, оперируя этим примером? Нет, он вполне серьезен. В его представлении, типично американском, это действительно наука — уравнивать и даже менять местами сущее и кажущееся, подчинять все, в том числе и истину, интересам охоты за голосами избирателей. Для справки: Боб Холдеман, считавшийся правой рукой Никсона, несколько его помощников, а также пресс-секретарь Рональд Зиглер попали в «большую политику» прямиком из недр крупнейшей в США рекламной фирмы «Джей Уолтер Томпсон».

Холдеман... Эрлихман... Колсон... Дин... Критическими штрихами Магрудер создает портрет «всей президентской рати». Этот портрет заставляет задуматься: на высоком месте мелкая игра честолюбий, карьеристские интриги, тайная и явная неприязнь друг к другу, соперничество за благосклонность «хозяина», подножки и удары ниже пояса. А фон — «перманентный кризис» и перманентный психоз, при котором всюду видятся уже не просто политические оппоненты, а смертельные враги — в антивоенном движении, в сенаторах Кеннеди и Маски, в газетных обозревателях и т. д. и т. п.

Магрудер был слишком близок к событиям, чтобы общим взглядом окинуть Уотергейт-явление. Но частную причину он указывает верно: «План Лидди был одобрен из-за климата страха и подозрений, который создался в Белом доме, из-за атмосферы. которая шла от самого президента и достигала нас через Холдемана, Колсона и других, которая так воздействовала на все наше мышление, что решения, которые сейчас представляются безумными, тогда выглядели рациональными»...

■

Уотергейтский скандал породил много надежд и цинизма, разговоры об очищении и еще большее безверие относительно системы и политиков. Послесловие к Уотергейту теперь пишет сама американская жизнь. Оно получается длинным и мозаичным. Проведенные специальными комиссиями конгресса детальные расследования деятельности ЦРУ и ФБР вскрыли массовые факты нарушения закона, слежки, тех же «взломов», провокаций, а также использования этих специфических учреждений в своих личных политических целях практически всеми послевоенными обитателями Белого дома.

Одни видят в уотергейтской истории исключение и отклонение от нормы и объявляют общественной добродетелью уже сам факт разоблаченного общественного порока. Другие упрекают соотечественников в короткой памяти (сами про себя американцы говорят, что из трех времен для них существует лишь одно — настоящее). Критики вспоминают об Уотергейтах прошлого, утверждая, что коррупция—вечная спутница Америки; в частности, это тема нового романа Гора Видала — «1876», который, повествуя о Нью-Йорке и Вашингтоне столетней давности, считался вполне актуальной и весьма саркастической поздравительной открыткой к двухсотлетию независимости Соединенных Штатов.

С. КОНДРАШОВ

г. Вашингтон

◆

ИСПАНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ И АНОНИМНАЯ ЭПИГРАММА

Перевод с испанского ПАВЛА ГРУШКО

КРИСТОБАЛЬ ДЕ КАСТИЛЬЕХО

(1490? — 1550?)

ПОЭТУ, КОТОРЫЙ ПРИСЛАЛ ДУРНО СОЧИНЕННЫЙ КУПЛЕТ

Ваше принял я творенье,
не желая слышать пени,
будто зависть или спесь
мне их не дали прочесть
и о них составить мненье.

Но скажи я вам по чести,
что бездарен ваш куплет,—
закричите вы о мести,
и скажу я так в ответ:
вирши ваши — ваш портрет.

ФРАНСИСКО ДЕ ЛА ТОРРЕ

(1534? — 1594?)

■ ■ ■

Поэта, скажу заране,
ценю я прежде всего
не по стопе его,
а по умелой длани.

■ ■ ■

Когда бессмыслицу солидно
вещает гений — все тщета:
ведь темнота — есть темнота,
в ней даже гения не видно.

■ ■ ■

Почему ты оплеуху
заработал от меня?
Потому что под рукою
у меня лишь пятерня!

ХУАН САЛИНАС ДЕ КАСТРО

(1559—1642)

ВОСКОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ХРИСТА

Вставший на стезю порока,
урони скупую слезку!
Ты же видишь — я из воску,
и смягчусь в мгновенье ока.

ЛУИС ДЕ ГОНГОРА И АРГОТЕ

(1561—1627)

НА ЛОПЕ ДЕ ВЕГУ[1]

Брат Лопе, выброс ь свой сонет с цита —
из Ариосто и из Гарсила — .
Ты Библии не тронь своими ла — :
в твоих устах молитвы — свягота — .

«Анхе́лику» сожги, как маврита —,
и «Драгонтею» с книжкой, чье загла — —
«Аркадия», и брось за ними в пла —
комедии свои и эпита — .

Бог знает что б я сделал с «Сан-Иси— »,
когда бы не был добрым прихожа — .
От «Пилигрима» я, как пес, взбеси — !
На четырех наречьях ты рожа —

свой бред: четыре нации не в си —
тебя понять, так пишешь ты ужа — !
И лучше бы ты свой «Иеруса — »
не дописал, несчастнейший писа — !

ЛОПЕ ФЕЛИКС ДЕ ВЕГА КАРПИО (ЛОПЕ ДЕ ВЕГА)

(1562—1635)

■ ■ ■

Живописцу заказал
«Ве́черю» сеньор ученый.
Видит он, придя за оной,
что апостолами зал
переполнен на картине —
их тринадцать. «Что за бред!
Брать картину смысла нет,—
говорит сеньор в унынье.—
Накажи плута, Всевышний!»
А художник холст сует,
приговаривая: «Лишний
съест свой ужин и уйдет!»

ХУАН ДЕ ТАССИС-И-ПЕРАЛЬТА (Граф ВИЛЬЯМЕДИАНА)

(1580—1622)

НА ФОНТАН САНТА-КРУС

Столь прилипчиво влиянье
непутевого квартала,
что и кошка на фонтане
нечиста на лапы стала!

ТИРСО ДЕ МОЛИНА

(1583? — 1648)

■ ■ ■

Свекровь и невестка —
собаки и кошки,
не едят из одной плошки.

ХУАН ДЕ ИРИАРТЕ-И-СИСНЕРОС

(1702—1771)

■ ■ ■

Скажу вам без обиняков:
наш Робрес труженик прилежный —
у нас он создал дом ночлежный
и для ночлежки — бедняков.

ТОМАС ДЕ ИРИАРТЕ

(1750—1791)

СТАРОМУ СКРЯГЕ

Ты прав: до самой смерти
копи деньжата впрок —
в сырой могиле будет
на черный день кусок.

АНТИРУБРИКА

[1] В сонете упоминаются помимо поэтов Ариосто и Гарсиласо де ла Веги следующие произведения Лопе де Веги. «Слезы Анхелики», «Драгонтея», «Аркадия», «Сан-Исидро», «Пилигрим у себя на родине» и «Завоеванный Иерусалим» *(прим. перев.)*.

ФРАНСИСКО ГРЕГОРИО ДЕ САЛАС

(1755? — 1822?)

ЛЕКАРЮ

Кто избавится от Смерти!
Всех разит ее рука:
прибрала она сегодня
даже лучшего дружка.

ФРАНСИСКО МАРТИНЕС ДЕ ЛА РОСА

(1787—1862)

КЛАДБИЩЕ МОНСТРОВ

В земле сырой жена и муж
с детишками лежат.
Сюда бы дьявола к тому ж —
и был бы полный ад.

■ ■ ■

Священник прибыл на погост
из монастырского закутка.
Скончался он в великий пост
от несварения желудка.

■ ■ ■

Алхимия была его уделом.
Всю жизнь из меди золото он делал.
Ввиду столь уважительной причины
он похоронен здесь за счет общины.

■ ■ ■

«Дон Хуан де Ас... пей... ти... гу... ррея».
Уф! Сам дьявол не прочтет быстрее!

Анонимная испанская эпиграмма

■ ■ ■

Услышав про измену милой,
Мачука, испустивши крик,
рванул власы с такою силой,
что с головы сорвал парик.

■ ■ ■

Сто песо взял он год назад,
теперь же вместо этих денег
тебе он отдал пятьдесят,
поскольку окривел мошенник.
Бери и радуйся, мой друг,
считай, что смог на нем разжиться:
представь, что будет, если вдруг
второго глаза он лишится!

■ ■ ■

— Я десять лет, любезный Пако,
служу моей родной стране! —
вчера Мигель поведал мне.
А я подумал: «Вот служака!
Он получал за труд втройне,
уж это ли назвать заслугой?
Не он служил своей стране —
страна была его прислугой».

■ ■ ■

«Всяк должен ближнего любить».
Узнав из Библии об этом,
Коласа, чтоб не согрешить,
грешит отныне с целым светом.

■ ■ ■

— Подайте многодетному, сеньоры! —
кричал надсадно нищий в толкотне.
Другой стонал, чтоб увеличить сборы:
— Я недоносок! Мне подайте, мне!
А третий, воздевая к небу посох,
им подложил свинью средь бела дня:
— Сеньоры, поглядите на меня!
Я старый многодетный недоносок.

■ ■ ■

— Язык ваш ясен, как кристалл!
А я ему скажи на это:
— Дружище, мне нужна песета.
Он слов моих не разобрал.

■ ■ ■

Он перестал здороваться со мной —
на мне теперь заплата на заплате.
А с ним не стал здороваться портной —
поскольку он не заплатил за платье.

■ ■ ■

У нас достойная семья:
отец мой лечит люд окрестный,
мой старший брат — священник местный,
и, наконец, могильщик — я.
Кто занемог, чтоб не усоп,
папашу кличут в одночасье,
за ним мой брат выходит в рясе,
а там и я тащу свой гроб.
Когда объявится больной
и денег в доме маловато,
не надо звать отца и брата —
пошлите сразу же за мной.

■ ■ ■

Зачем ты бегаешь, трубя,
что пишешь ты быстрее всех?
Твои стихи и без тебя
нам говорят про этот грех.

■ ■ ■

Кричал горбатому кривой,
раздвинув штору на окне:
— Такая рань, дружочек мой,
а ты уж с грузом на спине!
— С утра трудиться не грешно,
а то, что рано, нету спору,
раз в вашем доме в эту пору
открыто лишь одно окно!

■ ■ ■

Вчера спросил я у Рамона,
есть дети у него иль нет?
— Не знаю я определенно.
Жена вам точный даст ответ.

■ ■ ■

Покоится под этим пьедесталом
монах Кирико: зову сердца следуя,
святой отец, легко богатым стал он,
в своем приходе бедность проповедуя.

■ ■ ■

Бартоло наш пожертвовал для Бласа
затасканную пару панталон.
— Носил я их,— сказал бедняге он,—
ну не солгать, каких-нибудь два раза...
— Два раза...—
прошептал с усмешкой Блас.
— Бери! Теперь опять такая мода!
Я их носил лет восемь в первый раз,
а во второй — всего четыре года.

■ ■ ■

Покоится под этим камнем врач,
он был такой отъявленный палач,
что, не имея больше клиентуры,
назначил сам себе свои микстуры.

■ ■ ■

Напьется бедный — дело плохо,
все тычут пальцем: «Выпивоха!»
А если пьяница богат —
«Хорош красавчик!» — говорят.

■ ■ ■

Луне сказало Солнце грозно:
— Не следует гулять так поздно!
Добропорядочной невесте
ночная жизнь — ущерб для чести!

УИЛЬЯМ САРОЯН

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ВЛЮБЛЯЛИСЬ В КРОШКУ?

РАССКАЗ

Перевод с английского МАРИНЫ АКСЕНОВОЙ

— Думаю, тебе не случалось влюбляться в крошку; она не потянет и на сорок фунтов.

— Нет,— отвечаю я,— давай-ка выпьем еще по одной.

— Было это двадцать лет назад, в Галопе,— говорит он.— Один малый, Руфус Дженкис его звали, приехал в город с лошадьми: шестью белыми и двумя вороными. Сказал, что ищет человека объезжать лошадей: вместо левой ноги у него деревяшка, так что самому ему несподручно было делать это. Тогда подвернулся мне под руку один в лавке Паркера Меркантиля, ну, и кончилось дело заварушкой с Генри Уоллполом: раскроил ему голову медной пепельницей и сбежал в Мексику, да не загнулся.

Пришлось держать язык за зубами. Сошелся я там с одним торговцем скотом. Звали его Диего, учился он в Калифорнии. Болтал по-английски почище нас с тобой. Сказал мне: «Твое дело, Мэрф, откармливать этих племенных быков». А мне что? «О'кей,— говорю,— а чем их кормить?» — «Сено, латук, соль и пиво».— «О'кей,— повторяю,— мне что, быки-то твои».

Повздорили через два дня из-за аккордеона: он божился, что я его стянул. А я возьми да и трахни его этим аккордеоном по башке; загубил самый лучший аккордеон, который я когда-либо держал в руках. Прихватил лошадь и рванул опять через границу в Техас. Потрепался там с одним типом: показался мне честным парнем. Оказался фараоном, он за мной охотился.

— Постой,— говорю,— ты что-то болтал о малышке, легкой как перышко.

— Да разве я когда-нибудь забуду эту даму? Эту крохотную амазонку?

— А что,— спрашиваю я,— и впрямь помнить будешь?

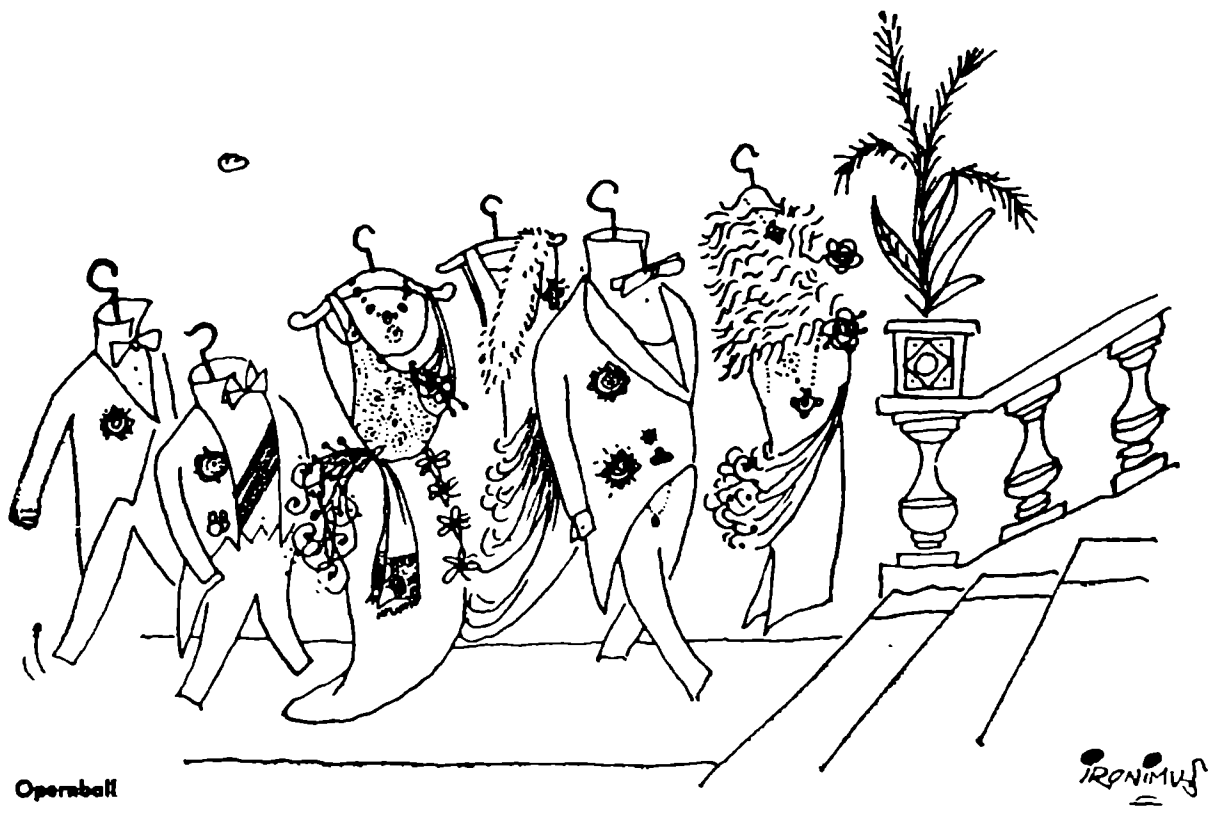
— Если дотяну до шестидесяти.

— До шестидесяти? — говорю.— Сдается мне, что тебе уже больше.

— Это,— говорит,— меня горе состарило. Всякие напасти. Три месяца назад мне стукнуло пятьдесят шесть.

— Ясно,— говорю.

— Сказал тому фараону в Техасе, что зовут меня Ротстайн, что я, дескать, горный инженер из Пенсильвании, ищу что-нибудь стоящее. Назвал мне два злачных местечка в Хьюстоне. Как-то раз утром, спускаясь по лестнице, чуть без глаза не остался. Наткнулся на верзилу с железной клешней, она у него вместо правой руки болталась. «Здесь,— говорит,— я хозяин». Сказал ему, что я новичок в Хьюстоне. А девицы тем временем уже на лестнице собрались, чтобы сверху на драку поглазеть. Целых семь штук. А в нем шесть футов и клешня железная. Это на нервы действует плохо. Въехал ему ногой в зубы, когда он решил дать мне своей клешней по башке Остался бы без глаза, если бы не увернулся. Шлепнулся он прямо в грязь и хвать пистолет. Пальнул



ИРОНИМУС. Бал в оперном театре.
Из сборника «Шутки и карикатуры».
Австрия.

семь раз, да я уже был наверху. Отсиделся там часок: переоделся в шелковое платье, нацепил шляпу с перьями, она мне добрых полрожи закрыла. Гляжу, стоит на углу, ждет. «Эй, ты,— говорю,— хочешь девочку?» «Нет»,— говорит. Иду себе дальше по улице: только меня и видели.

Не думаю, чтобы тебе случалось переодеваться в женское платье, чтобы спасти шкуру.

— Нет,— говорю,— и я никогда не влюблялся в крошку весом в сорок фунтов. Еще по кружечке.

— Спасибо,— говорит,— а случалось тебе сбивать скот в стадо на велосипеде?

— Нет,— отвечаю я.

— Ушел я из Хьюстона с шестьюдесятью центами в кармане— подарок одной девицы, Люсинды. За четырнадцать часов четырнадцать миль протопал.

Гляжу, огромный дом, вокруг колючая проволока и большущие псы. Единственная штука на свете, с которой никогда не мог сладить. Хочу пить и есть — нахожу дырку в заборе. Псы на меня. Иду прямо на них, чувствую, на глазах старею. Подхожу к дверям, стучу. Открывает огромная негритянка и тут же захлопывает. «Иди,— говорит,— своей дорогой, белая шваль». Стучу снова. Она опять: «Иди своей дорогой». Стучу. Она знай твердит: «Иди отсюда». Стучу еще. Тут выходит старик, лет ему этак за девяносто. В руках обрез. «Я,— говорю,— никому зла не хочу, папаша. Хочу пить и есть, зовут меня Каванаф». Ведет он меня в дом, сбивает два виски с мятой. «Один,— спрашиваю,— живешь здесь, папаша?» А он мне: «Знай пей, да не задавай вопросов. Может, один, а может, нет. Ты видел негритянку. Сам думай».

Я его, конечно, отлично расслышал, но приличия ради не стал подмигивать.

«Эльвира,— кричит,— принеси этому джентльмену бутерброды». А та ничего себе, куда как хороша для семидесятилетнего. Этакая толстуха лет под сорок, никак не больше.

«В карты играешь? — спрашивает старик. «Нет»,— говорю. «О'кей,— говорит,— Каванаф, давай-ка партию в покер». Дулись всю ночь. Слушай, если бы я тебе сказал, что этот старик с Юга мой дед, ты б мне поверил?

— Вот еще,— говорю.

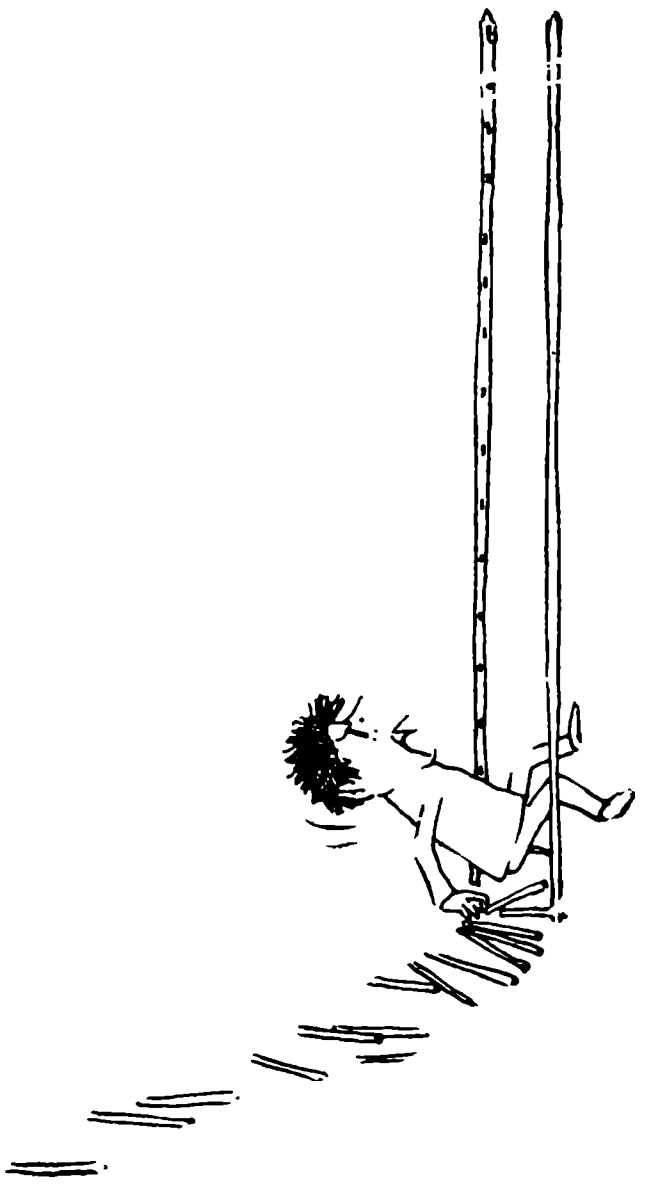
— Это точно,— говорит,— он им и не был, хотя было б интересно, если бы он был.

— Так где же ты сбивал скот в стадо на велосипеде?

— В Толедо, штат Огайо, 1918 год.

— В Толедо, штат Огайо? — спрашиваю.— Там не сбивают скот в стада.

— Теперь не сбивают. А в 1918-м сбивали. По крайней мере один парень сбивал. Бухгалтер, Сэм Голд. Единственный ковбой-еврей из всех, которых я когда-либо знал. Прямо из нью-йоркского Ист-Энда. Сомбреро, лассо, две коровы да два велосипеда. Называл свою ферму «ранчо Голд Бар» — два акра, прямо у самого города. В том году еще была война, если помнишь.



ИРОНИМУС. Без слов.
Из сборника «Шутки и карикатуры».
Австрия.

— Ага,— говорю,— помню.

— Помнишь фильм «К оружию!».

— Еще бы,— говорю,— не помнить. Пять раз смотрел.

— Помнишь, как Чарли Чаплин думал, что моет свою ногу, а оказалось, что это нога другого парня?

— Точно,— говорю,— помню.

— Может, ты мне и не поверишь,— говорит,— но я и есть тот самый парень, которому Чарли Чаплин мыл ногу.

— Может, оно и так,— говорю,— а как насчет тех двух коров, которых ты сбивал в стадо на велосипеде? Как это себе удавалось?

— Проще простого. Ехал без рук. Иначе не смог бы бросать лассо. Работал на Сэма Голда, пока коровы не разбежались. Велосипеды их пугали. Они ушли в Толедо, и мы никогда больше их не видели. Давали объявления во все газеты, но так ни шиша и не получили. Это его доконало. Продал оба велосипеда и вернулся в Нью-Йорк.

Прихватил я четыре туза из колоды и двинул в город. Покер. Моего партнера звали Чак Коллинз, он любил блефовать. Ну, я и говорю ему с улыбочкой, держу, дескать, пари, что не поставишь сто долларов против моих четырех тузов в следующей игре. Ударили по рукам. У моих тузов рубашка красная, а у его карт — синяя. А я возьми да и забудь о том, что мои тузы с красной рубашкой. Показываю ему четыре туза Туз пик, туз червей, туз треф и туз бубен. Буду помнить эти четыре карты, если доживу до шестидесяти. Прикончили бы меня на месте, если б не ураган.

— Какой еще ураган?

— Да неужто ты забыл ураган в Толедо, в 1918-м?

— Постой,— говорю,— никогда в Толедо не было никакого урагана.

— Ну, так скажи мне,— говорит,— бога ради, что это тогда были за волнения? И как это получилось, что я оказался в Чикаго? И как во сне брел по Стейт-стрит.

— Может,— говорю,— это они тебя так напугали?

— Да нет,— говорит,— не в этом дело. Если полазить в газетах за ноябрь 1918-го, думаю, ты увидишь, что в Толедо действительно был ураган. Как сейчас помню, сижу я на крыше двухэтажного дома и лечу на северо-запад.

— На северо-запад? — спрашиваю.

— Точно,— говорит,— на северо-запад.

— О'кей,— говорю,— тогда еще по кружечке.

— Спасибо,— говорит,— спа-а-а-сибо.

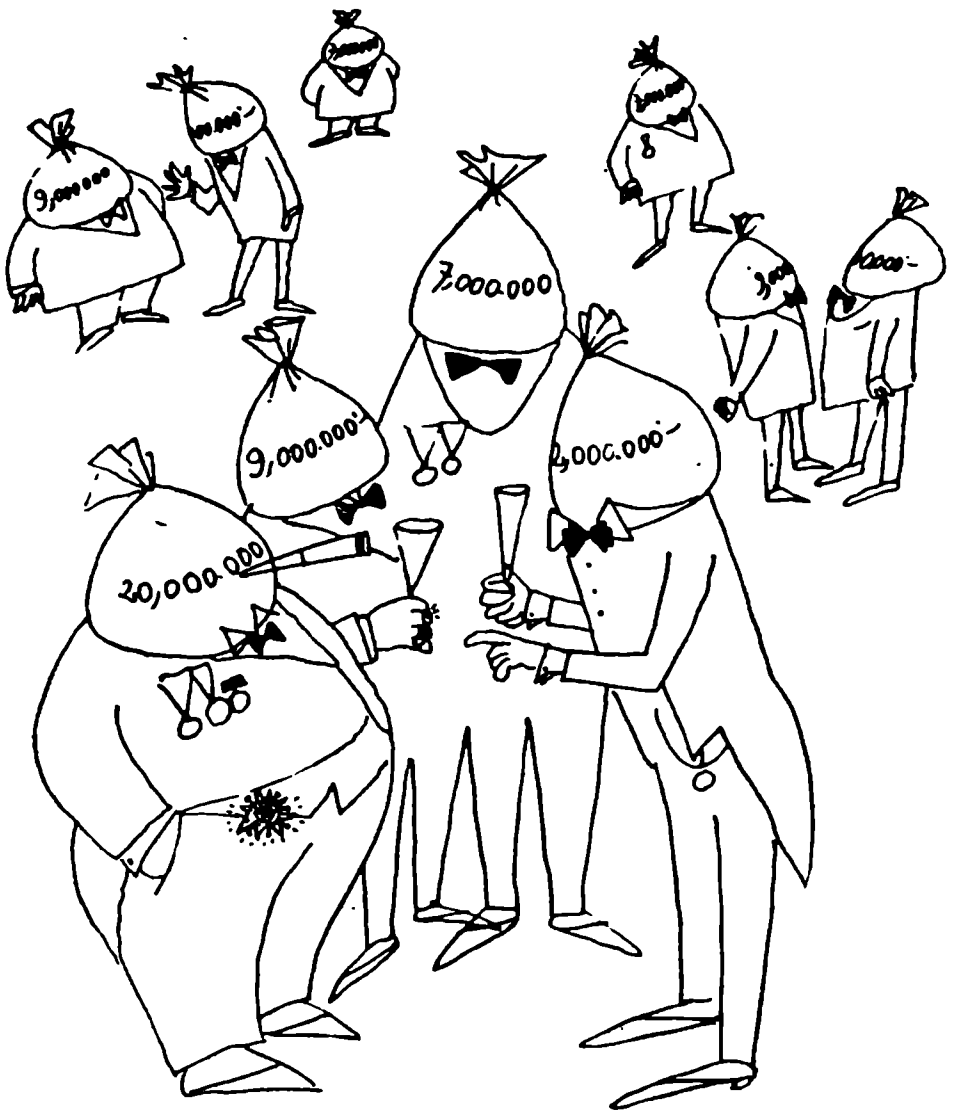
— Не думаю,— говорю,— чтобы тебе случалось влюбляться в крошку, которая не потянет и на сорок фунтов.

— Кому? — спрашивает.

— Тебе.

— Нет,— говорит,— не помню за собой такого.

— О'кей,— говорю,— тогда я расскажу тебе об этом.



ИРОНИМУС. Компания.
Из сборника «Шутки и карикатуры».
Австрия.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Перевод с английского АНДРЕЯ ДУБРОВСКОГО

Королевская почта

19, Трегунтер Кресчент, В 8

Ваше Величество!

После долгих колебаний я осмеливаюсь просить Вас о благодеянии в отношении моей дочери Пенелопы. Для своих двенадцати лет крошка Пэнни отлично развита и недавно она буквально «заболела» теннисом. Пэнни надеется стать второй Кристин Трумэн! Но у нее в школе нет теннисного корта, и она вынуждена тренироваться в парке.

Когда я еду на работу, мой автобус проезжает между Викторией и Гайд-Парком, минуя дворцовый сад. Я всегда восторгаюсь его чудесным видом с крыши автобуса. Сквозь листья деревьев отлично виден Ваш теннисный корт. Он в великолепном состоянии, но я ни разу не замечала, чтобы на нем кто-либо играл. И вот я осмеливаюсь спросить: нельзя ли моей Пэнни воспользоваться им?

Искренне Ваша
Памела Джонсон.

От леди Джин Сайдботом

Букингемский дворец, СВ 1

Дорогая миссис Джонсон!

Ее Величество поручили мне ответить на Ваше письмо и сообщить, что, к сожалению, Они не считают возможным в настоящее время удовлетворить Вашу просьбу.

Искренне Ваша
Джин Сайдботом,
фрейлина Ее Величества.

Дорогая леди Сайдботом!

Мне кажется, что Вы меня не так поняли. Я вовсе не хотела, чтобы Ее Величество согласились сыграть с Пэнни; ясно, что Ее Величество для этого слишком заняты. Моя дочь пригласит с собой кого-нибудь из своих друзей. Конечно, если Ее Величеству захочется поразмяться после государственных дел, то это будет восхитительная игра!

Пэнни и ее друг захватят с собой свои теннисные мячи Лучше всего, если они придут в среду или пятницу, примерно к половине третьего. Они оба с нетерпением ждут этого часа.

Искренне Ваша
Памела Джонсон.

Дорогая миссис Джонсон!

Мы рассмотрели Ваше второе письмо и с сожалением сообщаем, что в данном случае не может быть никаких исключений.

Искренне Ваша
Джин Сайдботом.

20, Трегунтер Кресчент. В 8

Дорогая Королева!

Моя хорошая приятельница и соседка миссис Джонсон сказала мне, что Вы задумали открыть Ваш теннисный корт для молодежи. Это отличные новости Моя дочь Хельга влюбилась в теннис, когда гостила прошлым летом в Ганновере у дядюшки Генриха, и сейчас тоже хочет присоединиться к этой группе.

Привет!
Гертруда Баушер.

Дорогая миссис Баушер!

Ее Величество поручили мне ответить на Ваше письмо и сообщить, что, к сожалению, Вас ввели в заблуждение и что теннисный корт Ее Величества не предназначен для общественного пользования.

Искренне Ваша
Джин Сайдботом.

Дорогая леди Сайдботом!

Я узнала, что миссис Баушер написала Вам,— конечно, глупо было с моей стороны посвящать ее в наш маленький секрет. Несомненно, если пускать на корт каждого — там будет твориться неимоверно что, а мы ведь этого не хотим. Когда удобно для ребят начать игру?

Искренне Ваша
Памела Джонсон.

Дорогая миссис Джонсон!

Мне необычайно хотелось быть Вам полезной, однако Вам следует понять, что соображения безопасности в эти тревожные дни играют особую роль и только они заставляют нас отказать Вашей дочери в допуске на территорию Дворца.

Искренне Ваша
Джин Сайдботом.

Дорогая леди Сайдботом!

Вы не должны беспокоиться относительно безопасности. Пэнни отлично знает, что нельзя ломать деревья или топтать клумбы в парке. Мы всегда учили ее уважать чужую собственность. Разве я оставила хоть царапину на дворцовых воротах, которыми пользуются многие? Наши ребятки не станут мять траву и ходить будут только по тропинкам парка. Как насчет следующей среды?

Искренне Ваша
Памела Джонсон.

Дорогая леди Сайдботом!

Я не понимаю, почему Хельгу не пропустили на корт. Пэнни Джонсон ходит распушив перья по всему Кресченту, а Хельга осталась за бортом! Разве это Британская Справедливость?

Привет!
Гертруда Баушер.

Дорогая миссис Баушер!

Боюсь, что Вы находитесь в заблуждении. Никто не допускался на теннисный корт Ее Величества. Соображения безопасности в эти тревожные дни играют особую роль.

Искренне Ваша
Джин Сайдботом.

Дорогая леди Сайдботом!

Нас не испугаешь. Мы не беспокоимся о безопасности. Мы, немцы, так же бдительны на геннисном корте, как и на поле боя. Хельга ничего не боится. У нее медаль по каратэ, и она сумеет постоять за себя.

Привет!
Гертруда Баушер.

Дорогая леди Сайдботом!

Получили ли Вы мое последнее письмо? Дети давно готовы — а новостей все нет! Будущая неделя — самое подходящее время для их первого посещения. Пожалуйста, сообщите мне поскорее.

Искренне Ваша
Памела Джонсон.

От Ее Сиятельства миссис Дж. С. Б. Тинт,
Букингемский дворец, СВ 1

Дорогая миссис Джонсон!

В связи с глубоким нервным потрясением леди Джин освобождена от должности, и в ее отсутствие переписку веду я. Так как объем корреспонденции всегда очень велик, мы не сохраняем писем и наших ответов на них. У меня возникли некоторые сомнения относительно «первого посещения», о котором Вы пишете. Не могли бы Вы объяснить это?

Искренне Ваша
Мьюриэл Тинт,
фрейлина Ее Величества.

Дорогая миссис Тинт!

Конечно, я могу. Моя дочь Пенелопа недавно «заболела» теннисом...

Ностальгия

К своему собственному удивлению, я обнаружил, что, попадая на какую-нибудь театральную премьеру, я первым делом бросаюсь на поиски запасного выхода. И совсем не потому, что опасаюсь пожара. Моя беда в другом: я не всегда понимаю, что же, собственно, происходит на сцене, и от этого начинаю нервничать. Я получил истинное наслаждение от восхитительной игры Джона Гилгуда и Ральфа Ричардсона в «Ничьей земле». Впоследствии я все-таки решил узнать, что же, черт возьми, там происходило, и спросил об этом сэра Джона Гилгуда, моего старого приятеля. Но и сам он, оказалось, не вполне уяснил себе замысел. «По-моему, там кто-то кому-то угрожал»,— туманно пояснил он. Я вежливо ответил, что теперь мне все понятно.

Раньше мне частенько приходилось «нырять» между кресел, удирая с какого-нибудь скучнейшего спектакля. Теперь я стараюсь купить местечко поближе к проходу, чтобы обеспечить себе путь к отступлению. Впервые я «нырнул» в 1931 году, не рискуя долее оставаться на пьесе Стриндберга под названием «Соната привидения», где в лучших традициях тоскливого глубокомыслия по сцене шатались различные персонажи — все в виде призраков, хлопотливо тараторящих что-то неразборчивое. Я смело «вынырнул» с пьесы «Сторож», в которой одного бродягу, пожалуй, слишком часто для меня спрашивали, как его все-таки зовут. Но быстрее всего я «вынырнул» (через две минуты после звонка) со спектакля под названием «Время доброй воли». Как оказалось, автором его был я. Я же первым и сбежал с тонущего корабля, ибо не смог вынести скучнейших диалогов, которые были ниже всякой критики. К счастью, зрители в здравом уме пришли к такому же выводу.

Как бы то ни было, бремя ответственности за дорогостоящий театральный провал действует отрезвляюще. Вы чувствуете себя виноватым, да вы и впрямь виноваты. Повинную голову, однако, принято наказывать. Душевные терзания наступают незамедлительно и приобретают систематический характер. Утренняя пресса (*«Это утомительное зрелище...»*). Вечерние газеты (*«Что побудило режиссера?..»*). Театральные журналы (*«Мы обойдем молчанием...»*). Радиокритики (*«Когда я проснулся, то...»*). Автор пытается придать своему лицу мужественное выражение; и я, прохаживаясь по улице, выглядел таким нахально жизнерадостным, просветленным и беззаботным, что устрашенные знакомые вздрагивали и перебегали на противоположную сторону, чтобы избежать моего идиотского взгляда.

Неподалеку от меня жила в то время прекрасная, но несколько язвительная актриса Ирэн Браун. «Чем объясняется ваша смелость после такого сокрушительного фиаско? — без конца спрашивала она. Видимо решившись доконать меня, она переменила тон: — Откуда у вас это упрямство?..» Действительно, откуда? Это была этакая смесь отчаяния с уязвленным тщеславием, приправленная бравадой.

Под рождество драматические критики обычно выступают со статьями о театральных шедеврах и провалах и вновь вспомнили обо мне (*«Среди наиболее разочаровывающих событий выделялось...»*).

Я утешал себя тогда совершенно тем же способом, что и ныне, вспоминая милые сердцу довоенные утренние спектакли, когда публика приходила в театр поглазеть на приму, нисколько не интересуясь самим спектаклем. Я ходил на них постоянно. И тогда за чашкой чая в антракте можно было бросить мимолетный взгляд на программку, где с очаровательной любезностью доходчиво излагалось содержание пьесы.

С волнением я смотрел, как гас свет и поднимался занавес, открывая декорации роскошной лондонской гостиной, украшенной дорогими цветами. В этот чертог входит опрятная, в традиционном передничке горничная, за которой появляется одна из заслуживающих доверие актрис типа Мартиты Хант, привычных нам на афишах театра и играющих абсолютно надежных подруг примы. Они беседуют. «Ее милость еще не вернулись, Дорис?» — «Нет мадам, она предупредила, что задержится».

Муж примы, светловолосый, внушительный, спускается из своего кабинета. «Ах, Грейс, моя дорогая. (Целует ее.) Стелла собиралась приехать к чаю. Ты не знаешь, что она замышляет? Последние дни она странно выглядит и сегодня все утро сидела как на иголках». Все предельно ясно и понятно. Восхищение, интерес и любопытство публики гарантированы. Нет, Грейс не знает. Так же, как и Дорис, которая вышла

Слышно, как останавливается автомобиль. Кто-то громко стучит в парадную дверь. По зрительному залу прокатывается нетерпеливое шушуканье. И вот звучит знакомый до каждой нотки голос Мари Темпест, видимо передающей поклажу Дорис. Мы готовы к аплодисментам (если б мы о них позабыли, мисс Темпест начала бы сама аплодировать еще за кулисами), дверь отворяется, и вплывает — «О, Грейс, моя милочка!» (Целуются.) — розовое видение в модной шляпке, и вслед за тем мы отдаемся двухчасовому безмятежному наслаждению.

В антракте я услышал женский голос, произнесший позади меня: «Очаровательно, и ей никак не дашь больше восьмидесяти». Конечно, это вздор, однако ремарки в зрительном зале подчас убийственно точны. Например, Гамлета в исполнении Джона Барримора я смотрел в компании двух нарядно одетых женщин средних лет, которые, судя по разговору, видели пьесу впер-

---

АНТИРУБРИКА

вые. Фей Комптон отлично играла Офелию, и в сцене сумасшествия она, как и полагалось, нетвердо бродила по подмосткам и невнятно бормотала. Ремарка сзади: «О, дорогая, боюсь, бедняжка сегодня немного устала».

Я протестую

Можно до посинения толковать о всяких там пониженных децибелах и допустимой мощности звука. Что касается меня, то я уже трижды чуть было не отошел в лучший мир, слушая рев этих адских «счетверенных сопел» «Конкорда», когда он, слава богу, улетал от меня: звук был омерзителен. Бомбежка по сравнению с этим ревом не что иное, как мелодичный перезвон чашечек на подносе. Тот, кто утверждает, что «Конкорд» шумит как обычный реактивный самолет,— гнусный обманщик. Послушайте — и вы сами убедитесь. Моя душа рвется к тем бедным поселянам, что живут вблизи аэропорта «Хитроу» и теперь рыскают в поисках бутыли виски и надежных затычек для ушей.

Как-то облачным днем один мой приятель, копаясь вместе с женой в саду, услыхал, как над ним пролетел «Конкорд», и, не разобрав, в чем дело, в ужасе бросился в дом, уверенный, что это был сигнал собираться на Страшный суд и что в скором времени они с женой очутятся на небесах, где им придется отвечать на самые каверзные вопросы. Клянусь головой, это не самая трусливая пара Но если в небесах «Конкорд» действительно выглядит как прекрасное, сияющее и вместительное игольное ушко, то на посадочной полосе походит на отвратительную хищную птицу с двумя бородавками под крыльями. А грохот!

Я бы назвал этот рассказ «Я обвиняю», если б знал, кого обвинять. Придется ограничиться заголовком: «Я протестую».

— А престиж страны, прогресс техники — как быть с этим,—могут меня спросить. В самом деле, для чего они нужны? Неужели только для того, чтобы преуспевающие бизнесмены (а кто еще кроме них может бросать такие бешеные деньги за авиационный билет?) могли на четыре часа раньше попасть на Манхэттен и, одурев от грохота, выпить там на четыре порции виски больше, чем обычно, и в четыре раза больше напортачить?

Один мой знакомый математик, большой чудак и оригинал, выдвинул теорию, что на перекрестках дорог надо жать со всей скоростью, потому что, проскакивая эти перекрестки молниеносно, вы практически никогда на них и не окажетесь и тем самым избегнете неприятных встреч с другими колесницами. Опыт развенчал эту теорию. И кто пытается проделать подобные штучки, на мой взгляд, тот еще чудак. Кому угодно лететь «быстрее и быстрее»? Нынешние скорости вполне нас устраивают: дело лишь в их слишком высокой оплате. И так уж железнодорожные магнаты, воодушевленные «Конкордом», грезят о сверхскоростных поездах, проскакивающих пулями через горы и овраги и в окошках которых будут мелькать только верхушки деревьев, облака и уж в лучшем случае птички. Представляю, как нас там замучает ужасная болтанка.

Я вовсе не хочу сказать, что ненавижу шум любой машины. Наш остров полон всевозможных звуков, и с некоторыми из них вполне можно ужиться. Стрекотанье косилки — это сосед стрижет траву на лужайке, и оттуда вскоре мы услышим: «диньдон» (значит, играют в крикет) или «клок» (гольф). «Чух-чух-чух» — так пыхтят поезда в подземке. «Свушч» — ворчливо и надменно выговаривает отъезжающий «роллс-ройс». Мягкий плеск старого колесного парохода. Даже звук нового скоростного зубного сверла, которое нежно входит в челюсть лежащего в расслабленной позе пациента, кажется утешительной музыкой райских кущ.

Возвращаясь на землю, я хочу заявить, что никогда не полечу на «Конкорде», а посему, пожалуйста, прошу не присылать мне проездных билетов. Оставляю за собой право путешествовать другими средствами.

Недавно в Лондоне я повстречал двух необычных энтузиастов-путешественников. Вагон подземки («чух-чух-чух») остановился на одной крошечной станции, и в него проковыляли два старых потрепанных голубя, которые стали жадно клевать рассыпанные возле сидений крошки. Дверь захлопнулась, и мы оказались в одной компании до следующей станции. Дверь снова открылась, голуби выглянули наружу, но, по всей вероятности, не увидев для себя ничего подходящего, проковыляли обратно. Так мы и ехали вместе до моей остановки, где они и вышли. Выглядели голуби ошарашенными, нерадостными и, надо полагать, скучали по своему дому. Пожалуй, всем нам стоит научиться не слишком быстро и не слишком далеко залетать.

Земляника и сливки

Сейчас я нахожусь в замечательной форме и могу натаскать любого, кто хочет вызубрить что-нибудь и затем с блеском выступить в телепрограмме «Повышай свой интеллект», придуманной для проверки нашего умственного развития. Сноровку я приобрел, изучая родословные герцогов некоролевской крови.

Прежде всего, некоторые сведения, оставленные нам самими герцогами. Как прави-

ло, они были слишком заняты подписанием строительных контрактов, чтобы заниматься литературой, хотя Восьмой герцог Аргильский в свое время разразился автобиографией на тысячи страниц. Он состряпал еще несколько искрометных творений под заголовками «Вороны и их повадки», «Взгляды Гладстона на Россию», «Ископаемые листья» и «Спиритический сеанс в Олбани» (во время которого было раскрыто мошенничество епископа Вилберфорса).

Вдохновленный своим предшественником, Девятый герцог Аргильский выпустил в свет избранное из переписки XVIII века (*«Самые свежие веселые и грустные письма»*), откопал загадочные родовые счета (*«Две рыжие свиньи по шесть шиллингов...»*) и составил сборник полезных советов для тех, кто обожает карты и не прочь пропустить стопочку (*«Лучшее лекарство — женитьба»*). Там можно встретить и шутки: лакей вносит на подносе куропатку и смущенно объявляет: «Честь подана, ваша дичь!»; задремавший настоятель, приняв спросонья предложение отведать бенедиктина за слова молитвы «Benedictus Benedicat», отвечает: «Аминь».

Затем следует Первая герцогиня Ньюкасл-ская, сетующая на то, что муж приказал ей заложить последнее платье, чтобы купить продуктов к обеду. Восьмой герцог Девонширский едва ли понял бы герцогиню, ибо вел роскошнейший образ жизни в своем комфортабельном викторианском чертоге (*«Осенью преуспевающий англичанин, утомленный городской суетой, устраивается на свежем воздухе»*).

Но вернемся, однако, к телепередаче «Повышай свой интеллект». Зажигаются юпитеры, и ведущий, облизав губы, начинает задавать каверзные вопросы:

— Ваше имя?

— Артур Маршалл.

— Род занятий?

— Пенсионер. Изучаю родословные герцогов некоролевской крови.

— Сколько же их?

— По последним подсчетам двадцать шесть. И все, представьте себе, в родстве между собой. Правда, есть еще несколько генеалогических деревьев, но их в свое время, обвиняя в заговорах, регулярно подстригали. Ну а когда жертву вешали публично, тело разрубали на куски и отправляли в близлежащие города, дабы тамошние жители не очень огорчались, что пропустили само зрелище. Нынешние герцоги почти не отличаются от прочих людей, но подчас их легко заметить: в торжественных случаях они надевают маленькую корону из девяти золотых земляничных листьев.

— По традиции они должны быть скучными и надоедливыми. Так ли это?

— Отнюдь! Герцоги — самые эксцентричные, жестокие, эгоистичные, необычайно нахальные существа. А что касается склонности к правонарушениям и сумасшествию — то это у них в крови.

— Кто же из них отличался наибольшей оригинальностью?

— Пальму первенства надо отдать Пятому герцогу Портлендскому, чей бульдожий нос поддерживался двумя бородавками, штанины—тесемочками, а в закромах было спрятано восемьдесят шесть париков. На всякий случай он летом щеголял в тяжелой собольей шубе, а от изумленных взглядов прохожих оборонялся зонтиком. Он так перестроил свой родовой замок, что все комнаты, включая и залу на две тысячи человек, оказались глубоко под землей, и добраться до них можно было лишь по пятнадцатимильному тоннелю.

— Ну, а кто же на втором месте?

— Трудно сказать. Быть может, Двенадцатый герцог Олбанский — личность относительно не столь древняя, но восхитительно оригинальная. Он прерывал проповедников криками «вздор! ерунда!», делая визиты, таскал с собой пижаму в коричневом бумажном мешке и надеялся оживить на свой лад коронацию 1953 года, выпустив живых соколов. Однажды он отказался покинуть объятый пламенем отель и выкрикивал оттуда самым жизнерадостным голосом: «Пустяки! Принесите мне лучше еще тостов!»

— Как вы считаете, герцоги — зло или, наоборот, явление положительное?

— Положительное. Большинство из них отличалось отменным вкусом в выборе поместий. Они собрали грандиозные коллекции картин, фарфора и других сокровищ, которые сейчас распродаются по умеренной цене. Возможно, что некоторые из них и были личностями серыми. Так, Первый герцог Мальборо отказывался ставить точки над i, чтобы сэкономить чернила.

— Будут ли у нас новые герцоги?

— Это невозможно. Последние герцоги были созданы еще при Виктории, хотя в свое время герцогский титул получил Черчилль. Поначалу это считалось веселым занятием. Благодарный Карл II подарил стране двадцать герцогов, пять своих племянников и шесть незаконных детей. По крайней мере, тринадцать премьер-министров могут проследить свою родословную от сладостного союза этого сверхочаровательного короля и неугомонной леди Виллерс, которая одного за другим ликвидировала десять любовников, причем диапазон ее интересов простирался от изысканного лорда Уичерли и до канатного плясуна.

— Что бы вы еще хотели рассказать?

— О, еще массу всего! Четвертый герцог Куинсберрийский принимал молочные ванны, так как ему прискучила Темза (*«Она все течет и течет»*). Покойный герцог Норфолкский довольно смело обращался с приглашенными на обед дамами: «У меня только две темы для разговора — крикет и канализация. Выбирайте».

— Благодарю. Кстати, вы не забыли о печальном опыте великолепной мисс Гермионы Гинголд, которая, блистая в одном из утренних спектаклей, услышала, как сидящий в первом ряду ребенок громко спросил: «Мама, а зачем здесь эта тетя?»

— Благодарю, отлично помню.

— Тогда скажите, для чего же нам нужны герцоги?

— ...

Розмари Киффер
(ЛЮКСЕМБУРГ)

Люксембургская писательница Розмари Киффер — частый гость в Советском Союзе, и мы не впервые встречаемся с ней в нашей редакции. Она возглавляет Пушкинский культурный центр в Люксембурге и ведет большую работу по популяризации русской и советской литературы. С разговора о Пушкинском центре и начинается наша беседа.

— Четыре года назад,— рассказывает Розмари Киффер,— мы — то есть наш актер Тун Дойч, художница Жермен Маас, жена советского посла в Люксембурге Валентина Косарева и я — решили устроить вечер для больных детей под названием «Пушкин: поэзия и музыка». Я подготовила сообщение, Тун Дойч читал в переводах на французский язык пушкинские произведения, а Жермен Маас выполнила иллюстрации к повести «Пиковая дама». Вечер имел большой успех и вызвал множество откликов. Поскольку нам уже давно хотелось создать Центр дружбы, который укреплял бы связи между Люксембургом и СССР, мы решили продолжать наше сотрудничество, а Тун Дойч предложил назвать наш центр Пушкинским. Центр работает целиком на общественных началах. Сейчас его активно посещает уже более двухсот человек. Большинство из них — молодежь, студенты, но немало и пожилых людей. Приходят к нам и иностранцы (итальянцы, немцы, американцы), проживающие в настоящий момент в Люксембурге и интересующиеся советской культурой. Мы издаем свой журнал, ведем кружок русского языка. Недавно у нас состоялась целая серия вечеров, посвященных белорусской, грузинской, армянской, киргизской литературам. Вечера эти пользуются большим успехом, и, как правило, в зале не хватает мест для всех желающих. Такие вечера обязательно сопровождаются выставкой иллюстраций к произведениям тех писателей, с чьим творчеством мы знакомим наших посетителей.

В дни празднования годовщины Октябрьской революции у нас начался Горьковский фестиваль, который продлится до весны. Помимо специально подготовленного цикла лекций и тематической выставки рисунков мы устраиваем просмотры советских фильмов о жизни выдающегося пролетарского писателя.

По нашей просьбе Розмари Киффер рассказывает и о своей литературной работе.

— Сейчас я готовлю к печати новый сборник рассказов [1], многие из которых навеяны моими поездками в Советский Союз.

---

[1] Рецензия на предыдущий сборник рассказов Р. Киффер была опубликована в «Иностранной литературе» № 9, 1975.

В последнее время я написала также несколько статей о творчестве советских писателей: Чингиза Айтматова, Василия Шукшина, Вениамина Каверина, Василия Быкова, Григола Абашидзе. Готовлю материал о киргизской прозе. Почти все мне приходится печатать за пределами Люксембурга (в США, Бельгии). В нашей стране не так много газет и журналов, которые регулярно публикуют материалы о Советском Союзе. Правда, недавно свое сотрудничество мне предложила довольно популярная у нас газета «Репюбликэн лоррэн», где я уже опубликовала ряд статей о жизни в СССР.

Р. Киффер, часто выступающая с критическими статьями и о произведениях люксембургских авторов, охотно соглашается рассказать нам о примечательных явлениях в современной литературе Люксембурга.

— Правда, нарисовать полную и объективную картину литературной жизни в моей стране весьма трудно,— подчеркивает наша гостья.— Ведь речь приходится вести не о всех заслуживающих внимания писателях, а о тех, кому удалось опубликовать свои произведения. Издательств у нас очень мало, и, чтобы напечататься в них, автор, как правило, должен полностью оплатить все расходы, связанные с публикацией. Поэтому мчогие стараются издавать свои книги за рубежом: в Бельгии, во Франции, в Канаде, но и там значительную часть расходов по публикации несут сами авторы. Естественно, что в этих условиях заработать себе на жизнь литературным трудом почти невозможно. Поэтому большинство писателей вынуждено сочетать литературное творчество с работой в школах, газетах, на радио.

Что касается наиболее интересных книг, вышедших в последнее время, я хотела бы назвать роман хорошо известного у нас франкоязычного прозаика и драматурга старшего поколения Жозефа Лейденбаха «Игра в шахматы». Сам Лейденбах — президент международного банка в Люксембурге — может быть, поэтому он и сделал героем своей новой книги крупного капиталиста Пьера Ботра. Однако герой этот показан довольно едко и безжалостно: «Управляя машиной, он в конце концов и сам стал походить на машину»,— пишет о нем Лейденбах. Тяжелая болезнь (рак) и сознание своей обреченности заставляют Пьера Ботра подвергнуть переоценке прожитую жизнь и путь, что привел его к богатству. И вот трагический вывод, который он делает перед смертью: «Долгие годы я участвовал в маскараде, в игре. И жизнь моя была не чем иным, как бегством. Только болезнь сорвала с меня маску, и я впервые задумался о том, что меня окружает»...

Среди более молодых писателей стоит отметить Корнеля Медера, пишущего на немецком языке,— говорит Р. Киффер.— Он является членом ЦК социалистической партии Люксембурга и председателем Культурного центра на юге нашей страны — центр этот много делает для знакомства жителей близлежащих районов с культурой зарубежных стран. Корнель Медер работает директором школы, и его новый роман «Шуман» (так зовут юного героя) посвящен проблемам подрастающего поколения.

Пьер Хамер пишет в детективном жанре, и хотя действие его последних четырех романов, пользующихся определенным успехом, происходит две тысячи лет назад, их главный персонаж очень похож на современного комиссара Мегрэ из произведений Сименона.

Все популярнее становится у нас поэзия. Среди молодых поэтов много женщин. Это — Сильвия Бинц, Аннис Колтс, Анн Берже, Марион Блэз и другие, издающиеся на французском, немецком языках и люксембургском диалекте.

Разговор заходит и о театральном искусстве Люксембурга.

— У нас довольно много театров,— говорит писательница.— Кроме городского, где поочередно ставятся пьесы на разных языках, большим успехом пользуются спектакли, идущие на одном из трех языков в Театре кентавра и в Открытом театре. В настоящий момент переживает расцвет драматургия на люксембургском диалекте. Интересно, что среди авторов, печатающихся на этом диалекте, много поэтов и драматургов, но совсем нет романистов. К сожалению, при переводе произведения, написанные на люксембургском диалекте, утрачивают большую часть своеобразия. Как видите, помимо многих других проблем в нашей маленькой стране существует и языковая проблема,— замечает Розмари Киффер.

Н. ПОПОВА

Издано в СССР

«ЧТОБЫ ПИСАТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАДО БЫТЬ ПОЭТОМ...»

Джеймс Олдридж. Спортивное предложение. Перевод с английского К. Федоровой и Л. Чернявского. Москва, «Детская литература», 1975.

Вышедшая впервые на русском языке повесть Дж. Олдриджа «Спортивное предложение» пользуется большим успехом у наших юных читателей. Редакция журнала попросила автора ответить на несколько вопросов, связанных с историей ее создания, а критика Н. Разговорова — поделиться мнением об этой повести.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ О СВОЕЙ КНИГЕ

— Есть у вас и другие книги для детей? И что это за книги?

— Одна из моих книг называется «Летающий троллейбус», и рассказывается в ней о троллейбусе № 19. Дело в том, что, когда я работал в Британском музее, я обычно добирался туда на троллейбусе № 19, который то и дело попадал в дорожные пробки. Поэтому я и придумал историю о летающем троллейбусе. Эту книгу я написал десять лет назад, но и по сей день она пользуется популярностью. В Англии ее переиздают почти каждый год. «Спортивное предложение» вышло у нас в 1973 году, и через год я выпустил еще одну книгу для детей под названием «Чудесный монгольский конь». К тому же я написал о детях довольно много коротких рассказов.

— Почти все ваши книги для детей основаны на воспоминаниях о детстве. Что заставляет вас снова и снова возвращаться к этой поре?

— В жизни писателя, как и в жизни любого человека, обязательно наступает такой момент, когда он возвращается к своему детству. Правда, я не думал, что это случится и со мной. Я даже противился этому желанию. Но внезапно понял, что нельзя не воспользоваться такой возможностью. Слишком многое в моей жизни связано с детством. Надо сказать, у меня было удивительное детство. Веселое, радостное, полное приключений. Причем все, что связано с моим детством, я помню очень отчетливо. И вот теперь пришло время осмыслить этот период. «Спортивное предложение» — вторая часть трилогии. Первая книга называлась «Мой брат Том» (1966), третья — «Неприкасаемая Джуди» — вышла совсем недавно. Действие во всех трех книгах происходит одновременно, и рассказ ведется от одного и того же лица.

— А как встречают ваши книги дети?

— Я получаю от них множество писем. Не меньшей популярностью пользуются и фильмы, снятые по моим книгам.

— Приходилось ли вам встречаться с советскими детьми?

— Да, и у меня очень много маленьких советских друзей. Каждый раз, когда я бываю в СССР, я обязательно посещаю школы. Я почетный член пятидесяти детских организаций и клубов.

Должен признаться, что я очень люблю писать для детей. Может быть, я смогу объяснить свое отношение к этому жанру творчества, приведя в пример трагедию Хемингуэя. Сейчас я закончил работу над книгой об этом художнике: меня очень волнует его судьба. Думаю, что кому-то следовало убедить Хемингуэя писать для детей. И не потому, что в конце жизни он уже больше не мог писать о том, о чем пи-

сал прежде. Я уверен, что он многое мог бы рассказать детям, если бы в душе его хоть что-то сохранилось от поэта. Чтобы писать для детей, надо быть поэтом...

КТО ЖЕ ПОБЕЖДАЕТ?

В Австралии, на родине Джеймса Олдриджа, где происходят события, описанные в повести «Спортивное предложение», когда произносится слово «поэт», люди думают прежде всего о Генри Лоусоне, подобно тому как у нас — о Пушкине. Писал ли Пушкин свои сказки «для детей»? Я не рискнул бы утверждать это. Но какое детство мыслимо без пушкинских сказок? То же самое можно сказать и о Лоусоне. Несомненно, многие из его баллад навсегда остаются в памяти тех, кто по ним учился читать. И я думаю, что писатель, создающий книгу об Австралии своего детства, просто не в состоянии — даже если бы он этого хотел — написать ее так, чтобы где-то она не соприкоснулась с миром лоусоновской поэзии. И нет ничего удивительного в том, что «Спортивное предложение» заставляет вспомнить стихотворение Генри Лоусона «Скачки в Грог-энд-Грэмбле». Поединок между двумя скакунами — Палачом и Хриплым (последний принадлежит бедному шотландцу Мак-Дермеру) в этой балладе вызывает великое волнение у зрителей... На финишном кругу

Морда к морде мчатся кони,
И черта уже близка.
Тут Мак-Дермер громко крикнул:
— Высуни язык, скотина!
И Палач остался сзади
На две трети языка!

Редкий случай в конных состязаниях. Но в литературном деле всякий успех — не меньше чем на две трети! — всегда победа языка. Свой рассказ о великом споре из-за пони — «Бо это или Тэфф?», — вызвавшем столкновение самых бурных страстей в маленьком австралийском городке, Джеймс Олдридж ведет так, что до последнего круга, до последней страницы читатель не перестает быть «болельщиком» и при этом «болеет» сразу за обе борющиеся между собой стороны. Чем вызвана эта борьба? Можно с протокольной краткостью — дело, кстати говоря, слушается в суде — ответить на этот вопрос. У подростка Скотти Пири, сына беднейшего в округе фермера, иммигранта из Шотландии, пропал пони Тэфф. Через некоторое время мальчик видит его запряженным в коляску Джози Эйр, дочери Эллисона Эйра, владельца самого богатого хозяйства в штате. У Джози парализована нога, результат перенесенного полиомиелита. Девочка зовет свою лошадь Бо. Вскоре Бо исчезает. Подозрения падают на Скотти Пири.

Адвокат Квейл — от имени его сына ведется рассказ, — взявшийся защищать Скотти, добивается того, что мальчик приводит пони. Предстоит решить вопрос: Тэфф это или Бо? Но валлийские пони похожи друг на друга как две капли воды, и целый табун их пасется за рекой. Мистер Квейл ведет защиту с мудростью и искушенностью, которым мог бы позавидовать сам Санчо Панса, легко распутывавший самые казуистические дела в дни своего славного губернаторства. Раскол города — кто за Скотти Пири, кто за Эллисона Эйра — обозначается в достаточной мере четко среди взрослого населения. Труднее сделать свой выбор детям, сверстникам Скотти и Джози. Они знают, что у босоногого Скотти не было ничего, кроме его Тэффа, а у Джози есть все, но по сути дела нет ног, и она приложила так много труда, чтобы приучить к себе лошадь и научиться управлять коляской.

Если бы Тэфф, подобно Хриплому, по свисту хозяина всегда показывал язык, решить спорное дело было бы проще. А так... В конце концов оно решается, но по мере того как стягивается и распутывается этот клубок противоречий, читатель — и юный, думается мне, раньше взрослого — начинает понимать, что главное, разумеется, не в самом деле, не в его юридическом завершении. Справедливость побеждает, но она не осмеливается торжествовать. Тэфф возвращен Скотти, но в той неловкости, с которой он спрашивает в финале повести у Джози: «У тебя другой теперь?» — хорошо отражено, что все юные герои этой истории выходят из нее другими. «Теперь действительно все было кончено, — заключает рассказчик. — Для всех. Нам оставалось только будущее. И в этом будущем были свои проблемы, свои трудности, и загадки, и непредвиденные повороты судьбы». Здесь автор повести, на мой взгляд, включает в уста рассказчика излишне взрослые слова — это уже ретроспективный взгляд писателя на какой-то момент его детства, уместный скорее в жанре воспоминаний. Но «Спортивное предложение» завоевывает читателя своей сиюминутностью, психологической достоверностью каждого описанного момента. Именно поэтому повесть с величайшим интересом, с увлечением читают дети. Но я не вижу, какие изменения должен был бы внести автор, если бы решил переписать ее «для взрослых». Достоинством книги является как раз то, что Джеймс Олдридж смело опускает такие эпизоды, которые, добавив внешней увлекательности, снизили бы общую психологическую остроту книги. Рассказчику и, соответственно, читателю остается неизвестным ни как Скотти похитил Тэффа у Эллисонов, ни где он его прятал. За счет таких «сокращений» увеличивается напряженность основного нравственного конфликта.

Надо твердо хранить верность гуманистическим идеалам, чтобы именно так построить книгу. На западном книжном рынке детская литература представлена, как правило, произведениями совсем иного рода. В огромном количестве для детей создаются комиксы, начиненные культом насилия. С ними соперничают приключенческие и детективные повествования, претендующие лишь на развлекательность.

СРЕДИ КНИГ

На таком фоне само заглавие повести «Спортивное предложение» приобретает даже несколько полемический характер. Писатель как бы бросает вызов и доказывает, что книги, адресованные юному читателю, можно и нужно писать по тем законам, которые в Англии навсегда связаны с именами Диккенса и Гринвуда.

НИКИТА РАЗГОВОРОВ

С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА

Велько Петрович. Избранное. Перевод с сербско-хорватского. Составление и предисловие Т. Поповой. Москва, «Художественная литература», 1975.

В январе 1915 года в окружном суде города Великий Бечкерек в Воеводине, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи, слушалось необычное дело — судили книгу стихов. Судили за вольнолюбивые мысли, за смелый призыв к освобождению. Автор книги находился в ту пору за пределами Австро-Венгрии, и к ответу привлекли никому не известного крестьянина, у которого оказались «крамольные» стихи. Суд вынужден был признать ответчика невиновным, но вынес решение: книгу конфисковать, а все ее экземпляры, обнаруженные на территории двуединой монархии, уничтожить.

Речь шла о книге «Патриотические стихи» молодого в ту пору Велько Петровича. Этот выдающийся югославский писатель XX века прожил долгую жизнь. Более шести десятилетий — с 1903 по 1967 год,— которые он отдал литературе, были наполнены неустанным трудом, деятельным участием в литературно-общественной жизни страны. Он был поэтом и прозаиком, журналистом и ученым, писавшим о прошлом и настоящем отечественной и зарубежной литературы. Знаток национального искусства, академик Велько Петрович долгое время возглавлял Народный музей в Белграде — он был назначен его директором сразу после Освобождения, в 1944 году.

Вышедший у нас сборник рассказов В. Петровича — не первое знакомство советского читателя с творчеством югославского художника слова. Но даже тех, кто помнит первую изданную у нас книгу его рассказов, порадует эта новая встреча. В «Избранное» В. Петровича вошло немало произведений, впервые переведенных на русский язык. В то же время отобраны действительно лучшие рассказы писателя, позволяющие убедиться в его поистине многогранном мастерстве (в этом несомненная заслуга составителя сборника и автора предисловия Т. Поповой). В каждом рассказе В. Петрович предстает неожиданным и новым — и в то же время удивительно цельным в своей верности реалистическим традициям, в утверждении их неиссякающей, животворной силы.

В. Петрович вошел в литературу как певец своего родного края Воеводины. В жизни Воеводины первых десятилетий XX века (когда, как замечает автор предисловия, ее «былая слава отшумела, она словно бы... впала в состояние немощи») находит писатель темы и проблемы для своих произведений, своих героев. Это обусловило обостренную гражданственность его «Патриотических стихов»; но и здесь же, в те же годы были созданы его ранние рассказы, сосредоточенные на повседневной жизни маленького человека, на его внутренних переживаниях, трудных, нередко драматичных отношениях с окружающей средой. Однако замкнутость рассказов В. Петровича кажущаяся. В них ощущается и подспудная тревога писателя за трагическую судьбу своего народа, который хотят лишить родного языка, воспитать в нем страх и покорность («Crucis amore»), и боль за человека, творческие силы которого не находят применения в порабощенной стране («Молох»). В них — и острое обличение человеконенавистнической сущности мещанства, торжествующего в провинциальном захолустье («Янош и Мацко»).

Но в буднях глухой провинции отражаются и богатство, и противоречивость большого мира; в неприметных, далеких от нас судьбах людей — сложность, объемность человеческой натуры.

Писатель психологического склада, В. Петрович тонко улавливает непредвиденные «ходы» в развитии человеческого характера, его подвластность не только разуму, устойчивым принципам добра и морали, но и неуправляемой стихии чувства, подсознательным душевным движениям. Глубокий интерес писателя к внутреннему миру человека объясняется тем, что он, как и многие сербские литераторы, испытал на себе воздействие великих классиков русского реализма. В. Петрович хорошо знал и высоко ценил русскую литературу. «Умер Лев Толстой,— писал он в 1910 году.— С его смертью Россия потеряла своего самого славного сына, а человечество — одного из самых честных своих мыслителей, крупнейшего своего писателя». Перу В. Петровича принадлежат статьи о Толстом, Достоевском, Горьком.

У В. Петровича, как у многих его современников в начале века и позже, в межвоенный период, неразрешимость противоречий действительности нередко проявляется в драматизме человеческих судеб, в непоправимых людских трагедиях («Буня», «Маковка»). Особенность писателя в том, что водовороту жизни всегда противостоят в его творчестве вечные (по выражению Ярослава Ивашкевича) «ферменты жизни».

Для В. Петровича это прежде всего нерасторжимая связь человека с родной землей, сознание своей причастности к ее судьбе и ответственности и долга перед ней. Среди характерных примеров рассказ «С ребенком за плечами», герой которого — солдат, пленный, оказавшийся в Сибири в первую мировую войну и женившийся на русской женщине,— упорно пробивается на родину с маленьким сыном. Им движет не просто тоска по дому, но сознание, что он и его

сын нужны родной земле, так настрадавшейся в войну.

В рассказе «Земля» старый крестьянин потрясен смертью сына-студента, возвращавшегося на родину пароходом, который был подорван немецкой торпедой (действие тоже происходит в первую мировую войну). Но едва ли не более тягостна для него мысль, что тело сына не будет предано земле — и таким образом нарушится вечный закон природы и долга человека перед землей: «Все, что есть на земле, должно в землю и возвратиться. И роса, и семя, и скот, и человек... Если бы мы не держались этого закона, откуда бы тогда и урожай, и все благосостояние бралось, и муки и радости человеческие?» Мудрый закон гармонической взаимосвязи всего живого тоже относится к тем «вечным ферментам», в которых герои писателя ищут устойчивость в самые трудные для себя минуты. В этой связи нельзя не вспомнить те поэтичные страницы прозы В. Петровича, которые посвящены природе (особенно в таких его рассказах, как «Бацко и его сестренка», «Одуванчик», «Маковка»). Они привлекают не только удивительно чутким, обостренным восприятием красоты земли — отношением к природе, глубинной связью с нею В. Петрович как бы проверяет человека, определяет его истинное существо, его ценность (как это происходит, например, в рассказе «Перепелка в руке»).

Война — одно из главных испытаний, выпавших на долю героев В. Петровича (и в 1914 году, и в годы Сопротивления). И для писателя очень важно осмыслить тот жизненный опыт, который помог не только его героям, а всему народу устоять в испытаниях. В скромных, вроде ничем не примечательных людях война открывает неиссякаемую силу духа, деятельное чувство добра, самоотверженность, безоглядную готовность помочь другому. Его солдат вступится и вызволит из беды раненых вражеской армии с той естественностью и достоинством, с каким человек выполняет свой долг («Даже имени его не знаю»). Одинокая, неприметная старуха, самоотверженно помогающая людям захваченного врагом городка, становится вровень с безымянными героями эпических народных песен («Баба Маца»). Скромный учитель музыки, способный, казалось, только на то, чтобы продержаться как-то в тени, не привлекая к себе внимания оккупантов, неожиданно для себя оказывает помощь участникам Сопротивления и, сделав этот первый шаг, уже сознательно и твердо вступает на путь борьбы с захватчиками («Перепелка в руке»).

Невольно вспоминаются попытки некоторых современных, особенно молодых, югославских писателей подвергнуть переоценке нравственные позиции человека в войне, представить его растерянным, сломленным ее ужасом. Но В. Петрович — всем своим творчеством, исполненным веры в человека,— убежденно противостоит этим тенденциям.

Р. ДОРОНИНА

Издано за рубежом

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА

Paolo Volponi. Il sipario ducale. Milano. Aldo Garzanti Editore, 1975.

Литературная судьба Паоло Вольпони сложилась не вполне обычно. Он начинал как тонкий, своеобразный поэт, и его талант спокойно признавали критики. Но уже первый роман Вольпони — «Мемориал» (1962) — вызвал бурные споры. С тех пор каждый новый роман Вольпони становится событием, но мнения как читателей, так и литературоведов резко разделяются. Определения «нравится», «не нравится» приобретают категорическую интонацию, но равнодушным как будто не остается никто. Причина, мне кажется, заключается в том, что проза Вольпони — страстная, нервная, напряженная — задевает за живое даже в том случае, если не убеждает.

Все романы Вольпони философичны; по существу, каждый из них — еще один поворот одной и той же темы: судьба человека в неокапиталистической Италии. Меняются герои книг: рабочий, крестьянин, интеллигент, меняется место действия, среда, атмосфера. Но не меняется самое главное: решительное неприятие псевдоценностей общества, в котором живет писатель и созданные им персонажи. Все они — бунтари, но бунт их неизменно индивидуален и во многом утопичен. Герои романов Вольпони — люди, чью психику нельзя назвать вполне нормальной; во всяком случае, это люди с очевидными отклонениями от того, что зовут здравым смыслом.

Каждый из них силен в отрицании, но не всегда твердо знает, что можно и нужно противопоставить лицемерной, в основе своей жестокой морали и идеологии «хозяев» сегодняшней Италии. Противоречия, в тисках которых бьются герои Вольпони, не абстрактные, они существуют на самом деле. Основываясь на многочисленных интервью и других публичных высказываниях писателя, мы вправе говорить о том, что сам он жестоко страдает от этих противоречий. Он испытывает чувство глубокой неудовлетворенности, он ищет выхода. Как и его герои.

Когда в 1974 году итальянские критики, всячески восхваляя талант Вольпони, все же писали в связи с опубликованием его третьего романа «Corporale» («Телесное») о хаосе, великолепном информальном искусстве и так далее — это явно произвело на автора впечатление. Герой «Corporale»,

страшившийся угрозы атомной смерти, искал индивидуального спасения и потерпел крах. Сам Вольпони в то время очень непосредственно сравнил свой роман с большим мешком, куда он запихивал «всякую всячину», и признавался в том, что и он не знает дальнейших путей героя. Но теперь создается впечатление, что Вольпони решил показать, что при желании ему ничего не стоит написать строго пропорциональный, симметричный, так сказать, «антихаотический» роман. И действительно написал его едва ли не за три месяца, работая «с гневом и яростью», как он сказал в одном интервью.

В этом романе, несколько условно названном «Герцогский занавес», параллельно развиваются две сюжетных линии. Действие происходит в родном городе Паоло Вольпони — Урбино. Время обозначено с предельной точностью, и речь идет о реальном событии.

12 декабря 1969 года в здании миланского сельскохозяйственного банка взорвалась бомба. В этот ярмарочный день в город, как обычно, съехались фермеры. От взрыва бомбы погибло шестнадцать человек, случайно в этот момент оказавшихся в банке. Бессмысленное кровавое преступление приписали анархистам, были произведены аресты. Один из арестованных, Пинелли, выбросился из окна во время допроса, при самых загадочных обстоятельствах. Второй, Вальпреда, до сих пор находится в ожидании суда, хотя множество данных доказывает, что «взрыв на площади Фонтана» (именно так называют в Италии этот взрыв, положивший начало «стратегии напряженности») — дело рук неофашистов.

Первая сюжетная линия «Герцогского занавеса» связана именно с событиями 12 декабря. В Урбино живет чета анархистов, потрясенных тем, что произошло в Милане. *Он* — педагог, «профессоре» Гаспаре Субиссони, анархист-федералист, убежденный в том, что все беды сегодняшней Италии берут начало в ее объединении, происшедшем сто лет тому назад. *Она*, Вивес Гуардахалль,— каталонка, пламенная анархистка, выдающаяся женщина с философским и математическим образованием. Они встретились в Испании, оба сражались на стороне республиканцев. В то время Вивес спасла Гаспаре жизнь, после победы фашистов им удалось выехать из Испании.

«Профессоре», которого в Урбино уважают и любят, хотя и замечают различные его странности (мы знаем, что Вольпони не может не наделять своих любимых героев всякого рода отклонениями от общепринятых норм), и его подруга Вивес живут замкнуто, трогательно привязанные друг к другу. Бескорыстные, чистые люди. Разумеется, все федералистические теории Гаспаре причудливо анахроничны, но в конце концов дело не в том, что он анархист-федералист. Мне кажется несомненным, что он такой лишь потому, что этого требует своеобразная эстетика Вольпони. Еще одна вариация на тему о современной утопии, как всегда поэтическая.

Взрыв на площади Фонтана — величайший шок. Вивес хочет немедленно ехать в Милан, там ей чудятся «баррикады», и, конечно, ее место на баррикадах. Но она заболевает, и спасти ее нельзя. Многие итальянские критики справедливо считают лучшими в романе страницы, посвященные болезни и смерти Вивес. Любовь и отчаянье Гаспаре патетичны и глубоко искренни. В Урбино нет крематория, и Гаспаре предпринимает долгое и мучительное путешествие в поисках возможности предать тело своей подруги огню. Вольпони, правда, уверял, что этот его роман не будет перегружен аллегориями, как «Corporale», но мне кажется, по самому складу его таланта он не мог обойтись без темы этого символического огня.

Параллельно с драмой Гаспаре и Вивес развивается вторая сюжетная линия. Юноша по имени Оддино, последний отпрыск древнего рода Оддино-Семпрони, накануне совершеннолетия увлекается придуманным им самим мифом. Этот эгоцентричный, наивный, ничего не понимающий в окружающей реальности юноша уверовал в то, что он, потомок владык Урбино, займет герцогский трон и «возвратит городу былое величие». Любовная история, страсть, захватившая Оддино, описана в манере барокко, изящно и чуть-чуть пышно. Вначале ничто не позволяет предположить, что Вольпони уготовил этому своему персонажу трагический конец.

Возлюбленную Оддино зовут Дирче. Она принадлежит к самым низам общества и находится в услужении у старой проститутки. Насколько я понимаю поэтику Вольпони, Дирче играет роль символа любви. Почти как в сказке: они проводят счастливую ночь, и Оддино везет Дирче в замок. Он представляет ее как невесту своим старым теткам. Тетки вежливы, но за их вежливостью — лед. Рано утром Дирче, подчиняясь неосознанному чувству, убегает из замка. Она не знает дороги, не знает, куда бежать. Но знает, что ее судьба иная, что, как бы ни был прекрасен Оддино, он ей чужой. Обнаружив исчезновение девушки, Оддино приходит в отчаянье. Он не может без нее жить, он должен ее найти.

И вот у автора возникает необходимость связать воедино две сюжетные линии, развивавшиеся параллельно (глава о Гаспаре, глава об Оддино), и Вольпони осуществляет контрапункт. Старый Гаспаре, возвращающийся пешком домой, после того как ему удалось кремировать тело Вивес, встречает на пустынной дороге девушку, которая при падении разбила колени и не может продолжать свой путь. С этого момента меняется интонация и ритм текста, который становится прозрачно-ясным. Гаспаре помогает девушке, лечит ее, прячет в своем доме. Дирче, доверчивая и чистая, несмотря на все свое прошлое, отвечает этому странному, неряшливому, непонятно говорящему человеку искренней и целомудренной нежностью. Опять символы и аллегории, что бы ни говорил по этому поводу автор, которому казалось, что

он написал только «политический роман». Но дело идет к развязке, и надо еще более сблизить разные линии романа.

Напоминаю, что Гастоне — федералист. И вот Вольпони заставляет его встретиться с Оддино. Посредник между ними — единственный «злодей» этого романа: шофер Джокондо Джокондини, коварный, жадный, циничный человек, который в собственных интересах старается развратить Оддино и со временем прибрать к рукам все, что еще осталось у старинного, но обедневшего рода. Именно Джокондини сводил Оддино с проститутками и невольно способствовал его знакомству с Дирче. Теперь он принимает активнейшее участие в поисках. Возникает безумная идея: Оддино обратится к своим согражданам с *эдиктом*, сограждане (подданные!) помогут ему найти девушку. Текст эдикта должен написать Гастоне Субиссони. Здесь перепутываются любовь и политика, повествование приобретает почти ирреальное звучание. Гастоне вступает в переговоры, Оддино даже симпатичен ему, но он чувствует, что над ним самим и над Дирче нависает опасность. Он принимает решение: надо немедленно и тайно вместе с девушкой покинуть Урбино. Они поедут в Милан. Дирче будет работать, а он сам... может быть, будет преподавать или сотрудничать в газете. Конечно, и Милан *после* взрыва на площади Фонтана приобретает значение символа борьбы.

Отъезд происходит в обстановке строжайшей тайны, но — ведь этого требует развитие фабулы — Джокондини все-таки о нем узнает. Проклятый старик, анархист, безбожник, похитил девушку. В погоню! Автомобиль Джокондини стоит перед замком. Оддино садится в машину. Но все окутано густым туманом, и они мчатся сквозь туман. Остается одна страница текста, и мы предугадываем конец. Гибель Оддино и коварного Джокондини предопределена, неизбежна. Этого требовал авторский замысел, сама логика развития образов. Гибнет «зло», воплощенное в Джокондини. Гибнет Оддино, который, несмотря на личное обаяние, принадлежит к числу исторически обреченных людей, мечтающих о реставрации феодального прошлого.

Расшифруем смысл сочетания Гастоне плюс Дирче. Здесь звучит тема надежды — новое качество, появившееся в этом романе Вольпони. В первых двух романах его герои, бунтари-индивидуалисты, погибали, сломленные враждебным, ненавидящим их неокапиталистическим обществом. В романе «Corporale» писатель сам не знает, что в будущем произойдет с его героем, может быть, он оправится после краха своей идеи об индивидуальном убежище и спасении. В «Герцогском занавесе» Паоло Вольпони впервые дарит нам нечто похожее на печальную и все же оптимистическую улыбку, которой заканчиваются некоторые фильмы Феллини. «Профессоре» Гастоне, со всеми своими причудами, странностями, архаичностью, находит в себе достаточно ума и мужества, чтобы оправиться после потери Вивес и спасти прекрасную Дирче. Эта девушка — символ красоты и чистой любви, которая подсказывает ей, что надо отвергнуть, а что принять как спасение в этом страшном-страшном мире.

«Герцогский занавес» получил премию Виареджо 1975 года, одну из самых авторитетных левых литературных премий Италии. До этого — любопытный факт — Вольпони отказался от возможности быть соискателем другой крупной премии — иной политической ориентации. Это вопрос личного выбора, политического выбора. Вольпони — убежденный демократ и антифашист. В июне 1975 года он был в числе виднейших представителей итальянской художественной интеллигенции, публично выступивших в поддержку Итальянской коммунистической партии на муниципальных выборах. Этого оказалось достаточно, чтобы потерять пост, который он занимал в «Фонде Аньелли».

Не только сам автор рассматривает «Герцогский занавес» как политический роман; это мнение разделяют многие авторитетные итальянские критики. Я лично воспринимаю эту книгу иначе: мне кажется, мы вправе говорить о печальной и в то же время радостной современной *сказке*, может быть, о поэме в прозе. Это очень причудливо, очень поэтично и с моральной точки зрения глубоко привлекательно. Что же касается «политики» как таковой — она, на мой взгляд, играет в романе лишь очень условную роль. Федерализм нужен был для развития сюжета, для контрапункта Субиссони — Оддино-Семпрони. И дело совсем не в смутных, запутанных и утопических теориях «профессоре», дело в поэзии и в морали. И в самом Паоло Вольпони, который, как и герои его книг, неустанно ищет *подлинного*, нравственного и в литературе и в жизни.

Ц. КИН

ЛАБИРИНТ СМЕРТИ, ИЛИ «ИДЕАЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЯ ДЛЯ ТИПИЧНОЙ АГРЕССИИ»

Rachid Boudjedra. Topographie idéale pour une agression caractérisée. Paris, Denoël, 1975.

Алжирец Рашид Буджедра — яркий представитель молодого поколения магрибских писателей, привнесших на рубеже 60—70-х годов новые тенденции во франкоязычную литературу Северной Африки. Новая жизнь, новые условия, причем в каждой из трех стран Магриба сложившиеся по-разному, диктовали не только другое содержание, но и иные формы, соответствующие глубине и резкости исторических перемен. Не всегда осмысление этих перемен происходило для писателей безболезненно, но почти всегда поиски новых духовных ценностей сопровождались и поисками в области литературного письма. Эти поиски стали характерны-

ми и для писателей более молодого поколения, и для тех, кто стоял у колыбели рождения национальных литератур Марокко, Алжира и Туниса, создателей героико-эпической традиции, запечатлевших эпоху рождения независимых государств — освобождение от гнета колониализма и обретение самостоятельности.

Такие известные писатели, как Катеб Ясин, Мухаммед Диб, Дрис Шрайби, Альбер Мемми, Мурад Бурбун, каждый по-своему придут к новым для них формам, но в целом критическое освоение реальности и осмысление своего места в ней повлечет за собой значительные перемены в творчестве этих писателей, протекавшем ранее в русле уже сложившегося метода.

Нельзя сказать, что молодое поколение франкоязычных писателей Магриба в лице Набиля Фареса, Ахмеда Тлили, Абделькадера Катиби, Мухаммеда Лааби, Мухаммеда Кайр-Эддина и Рашида Буджедры окончательно порвало с этой традицией. Новизна их тем кажущаяся, по существу это вариации того постоянного круга вопросов, которые издавна поднимались магрибской литературой (распад родо-племенных связей, ломка феодальных отношений, крушение патриархальных устоев, аккультурация, эмиграция, гнет религии, положение женщины, становление личности в процессе перехода от нового к старому). В творчестве писателей 60—70-х годов явно ощущается и влияние, которое оказали на них Катеб Ясин и Дрис Шрайби. Но по внешним приметам языка и стиля эта литература резко отличается от той, которая представлена именами Ферауна, Маммери, Сефриуи, Хаддада и многих других.

«Новая волна», возникшая в середине 60-х годов, обрушила на читателя поток блестяще усвоенных приемов авангардистской эстетики: герметический, а порой и зашифрованный характер автоматического письма, исчезновение последовательности повествования, нагромождение ассоциаций, лихорадочность стиля, нарочито хаотическую организацию сюжета и необычайную его усложненность. И зачастую, чтобы восстановить повествовательную ткань, соединить разрозненные эпизоды в нечто цельное, надо проделать нелегкую работу. Это само по себе не может обеспечить писателю достаточно тесный контакт и без того по многим причинам с не очень обширной читательской аудиторией у себя в стране. Но утешает то, что все эти издержки современного стиля, все эти поиски формы, способной наиболее точно передать нетерпение, «сказать правду» и «изменить мир», не подменяют собой основной задачи этой литературы. Большинство молодых писателей так остро реагируют на животрепещущие проблемы своего времени и своих народов, что их стремление к разрушению традиционного литературного языка отражает лишь особое, углубленное восприятие мира, оголенно-нервную реакцию на внешние явления. Поэтому, несмотря на кажущийся хаос и кружение потока сознания, явления социальной действительности не исчезают и не растворяются в нем, а выступают порой даже в более выразительной, гиперболизированной форме, соответствующей отношению автора к самой реальности этих явлений. Вот почему литература 60—70-х годов с ее очевидным стремлением сделать выбор, понять и критически сопоставить опыт настоящего и прошлого по сути не оторвана от традиции социально-реалистической, а по-новому связана с ней.

Именно с этой точки зрения, как нам кажется, и надо рассматривать творчество Рашида Буджедры (род. в 1941 г.), в прошлом бойца Армии национального освобождения, а сейчас — преподавателя философии в Алжирском университете. В 1965 году вышел его первый поэтический сборник «Чтоб больше не мечтать», призывавший к активному действию и реализации надежд, с которыми была связана антиколониальная борьба. «Марш! Марш, пока не сбудутся мечты!» — эти слова прозвучали лейтмотивом поэзии молодого Алжира. В 1969 году в Париже выходит роман Буджедры «Отверженные», а через три года другой—«Солнечный удар», в которых элементы автобиографические, переплетаясь с художественным вымыслом, создают сложный сплав реального и ирреального. В нем насилие, феодальные пережитки, косность патриархальных отношений, бесправное положение женщины в мусульманском обществе, углубленный анализ «душевной тюрьмы» порождают крик, рвущийся из «мрачных глубин» навстречу «изначальной чистоте», стремление к «очищению» и к «отвержению» всего того, что давит и угнетает человека. Очевидное влияние «Простого прошедшего» Д. Шрайби и «Неджмы» К. Ясина не снижает самобытной яркости таланта Рашида Буджедры, его горьких и резких красок. Сквозь бред (или озарения?) больного героя «Солнечного удара», сквозь ад его галлюцинаций рвутся наружу обвинения, обращенные против колониализма, приведшего Алжир к кровавой, изнурительной семилетней войне, и против тех, кто еще препятствует революционным преобразованиям. Кажется, что герой Буджедры никого не щадит в пылу своего гнева. Но для него — это способ освобождения от прошлого и утверждения новых ценностей. Рашид Буджедра всем своим творчеством являет пример писателя, пытающегося подчинить средства художественной выразительности наиболее адекватному отражению тех явлений, которые он стремится исследовать. В «Идеальной топографии для типичной агрессии» (1975) он использует такую форму, при которой даже сам язык произведения, его фонетическая и грамматическая структура отражают состояние героя, подвергшегося агрессии технической цивилизации Запада.

Тема нового романа Буджедры — больной вопрос не только для Алжира, но и для всей Северной Африки в целом: эмиграция в Европу на заработки.

Почти четыре миллиона североафриканских рабочих-иммигрантов трудятся в одной только Франции, выполняя самую черную

и низкооплачиваемую работу. Испытывая тяжкие лишения и трудности, связанные с психологической и социальной акклиматизацией и адаптацией, иммигранты вынуждены зачастую безропотно сносить все эти мучения, ибо их заработок — единственный источник существования для их семей, оставшихся по ту сторону моря. Проблема эта волнует многих магрибских писателей, и с особой трагичностью прозвучала она в творчестве Дриса Шрайби («Козлы»). Рашид Буджедра по следам горячих событий—вспышек расизма и неофашизма, последовавших одна за другой во Франции в сентябре 1973 года,— возвращается к этой проблеме, исследуя ее в новом ракурсе, помогающем обнаружить и ряд других проблем, порожденных противоречиями капиталистического общества.

Сюжет книги прост, хотя выявить его временную и логическую последовательность в бесконечном кружении героя в лабиринте отчаяния не так уж и просто. Восстановить целостную картину, связать разрозненные между собой эпизоды помогают обрывки разговоров, рассказы случайных прохожих, полицейских агентов, заключение медицинской экспертизы. Собранные воедино, они повествуют нам о бедном алжирском крестьянине, отправившемся за море искать работу, чтобы прокормить весь свой многочисленный род, стариков и детей, оставшихся там, в горном крае, и терпеливо ожидающих избавления от нужды.

Мы встречаемся с ним уже в парижском метро после всех тягот его путешествия по воде и суше. И вот он, наконец, на пути к цели, сжимая в руке данный ему товарищами адрес, который так старательно под восхищенными взглядами жителей деревни выводила девочка, умевшая писать. Что было написано на этом клочке бумаги, он и сам не знал, а когда спрашивал, то торопившиеся прохожие, не очень-то прислушиваясь и не совсем понимая, что он от них хотел, указывали ему на вывески, на таблички с названиями станций, на план метро, отсылая его по тем направлениям, которые казались им правильными, или просто так, чтоб отвязаться от этого странного, маленького, бедно одетого человека с огромным чемоданом в руке. Так он и блуждал целый день по бесконечным переходам, переезжал с одной станции на другую, возвращаясь к исходной точке и начиная все сначала.

Триста сорок пять станций, двести километров подземных дорог... Скрежет железа, хлопанье дверей, свист воздуха от проносившихся мимо вагонов, гудки, звонки плач детей, смех женщин — вся эта какофония звуков и слепящий, мертвенный свет неона парализовали его волю, вызывая головную боль и усталость. А расклеенные повсюду рекламные афиши и плакаты бессмысленным набором слов призывали его пользоваться всеми благами цивилизации. Реклама «самой лучшей в мире» зубной пасты, туалетной бумаги, бюстгальтеров, трусов, консервированных помидоров и фруктовых соков, шампуня для волос и мыльной пены для бритья; полуобнаженные тела, огромные зубы, оскалившиеся в улыбке,— все эти километры чудовищной фантасмагории приводили его в отчаяние. Запутавшись в хаосе подземного ада, он уже ничего не хотел узнавать, избегая столкновения с безразличием людей, полагаясь на волю провидения. Но случайно вырвавшись из-под земли вместе с поездом, прибывшим на наземную станцию метрополитена, он пришел еще в большее отчаяние от новых «умножений этого пространства, его раздвоений, громоздящихся одно над другим, но не совпадающих, а возникающих вдруг то там, то здесь, либо перпендикулярно, либо параллельно, либо вертикально, либо горизонтально, совмещаясь по одной прямой и агрессивно деформируя его поле зрения, глубоко травмируя его самого, превращая его в мышь, загнанную в некий лабиринт». Капкан, ловушка, лабиринт — эти образы возникают на протяжении всего повествования, в котором фразы бесконечно длинны и монотонны, как подземные переходы, или многоступенчатые, как эскалаторы, по которым движутся все эти блуждающие люди, печальные и тоскующие о зеленых лесах, о залитых светом просторах природы, об апельсиновых рощах...»

«Прибыл тчк Жив тчк Здоров тчк» («Незачем подписываться, и так поймут, кто отправитель»),— послал он телеграмму, едва ступив на новую землю. Но ему было суждено окончить навсегда свое путешествие под землей, так и не выбравшись из этого лабиринта тоски и отчаяния. С ним зверски расправились вооруженные молодчики, оголтелые расисты и неофашисты, избив велосипедной цепью и зарезав ножами, выместив на нем — на этом случайно попавшемся им на глаза не «их» человеке — всю свою ненависть и злобу Но это было уже завершением «агрессии», которая началась гораздо раньше. Агрессии человеческого равнодушия, агрессии отупляющей и болванящей бессмыслицы рекламного ада. Агрессии, которой подвергаются не только неграмотные «бико»[1], приехавшие искать счастья в «высокоразвитую страну», но и миллионы живущих в ней «цивилизованных» людей, для которых главная опасность состоит в том, что они уже не ощущают в своем притуплении всей чудовищной силы ее вторжения, ее тяжести и ее гнета. Не чувствуют, как выжимают из них человеческую душу и превращают в своеобразный автомат по перевариванию сомнительных благ «общества потребления».

Герою романа предстояло испытать еще один вид агрессии, которой подвергаются иммигранты,— ад жизни, проходящей «в тупиках, закрытых для надежды».

Но люди, рельсы, переходы, эскалаторы, поезда, фонари, реклама, автоматы и афиши — все сплелось в единый клубок «заговора» и привело его к смерти. Та «идеальная топография», которая во время войны за не-

[1] Так презрительно называют во Франции североафриканских иммигрантов.

зависимость служила алжирцам, живущим во Франции, надежным убежищем и укрытием от преследований, местом подпольных встреч и хранения оружия в стоящих у всех на виду мусорных урнах,— эта «идеальная топография» теперь послужила не во спасение, а стала символом «идеального» места казни, преступления против человека. Это — сквозная метафора романа, определившая и его форму, и его языковую «звукопись», передающую скрежет и грохот инфернальной какофонии, и паукообразную разветвленность его сюжетной канвы. Такая сознательно продуманная и искусно выстроенная структура еще более усиливает общую обличительную интонацию произведения Но светлые лирические образы родной земли и ее народа, постоянно возникающие в романе, свидетельствуют о том, что сам автор стоит вне круга трагической безысходности. А весь личный опыт писателя, немало лет прожившего на чужбине, его твердая позиция человека, сознательно вставшего в ряды строителей новой жизни Алжира, помогли ему воссоздать столь разрушительной силы картину гибели человеческих надежд и иллюзий в джунглях капиталистической цивилизации Запада.

С. ПРОЖОГИНА

В НАЧАЛЕ ВЕКА

E. L. Doctorow. Ragtime. New York, Random House, 1975.

«Америка — это ошибка... гигантская ошибка»,— заявил однажды Зигмунд Фрейд в разговоре со своим учеником Эрнстом Джонсом, после того как летом 1906 года побывал в США. И эта фраза, о которой напомнил в романе «Регтайм» американский писатель Э. Л. Доктороу, вошла в историю культурных взаимосвязей Старого и Нового Света, вместе с другими столь же решительными, сколь и противоречащими друг другу суждениями. «В то время многие в самой Америке были готовы согласиться с этими словами,— свидетельствует Доктороу.— Миллионы мужчин сидели дома без работы, а те, кому посчастливилось, не осмеливались объединяться в союзы... Каждый год линчевали сотню негров. Каждый год сотня детей становилась жертвой несчастных случаев на фабриках. Казалось, все это делалось в соответствии с принятым планом. Казалось, существовала контрольная цифра смертей от недоедания. Повсюду возникали нефтяные, мясные и стальные тресты, железнодорожные компании и огромные банки». Так было не очень давно—всего несколько десятилетий тому назад.

«Регтайм» Э. Л. Доктороу — сравнительно редкий в современной литературе Соединенных Штатов образец вдумчивого, «проблемного» произведения, написанного человеком, который убежден в том, что художественная проза и в наши дни способна на глубокие исторические и философские прозрения. Жанр исторической «хроники времен» не препятствует подчеркнутой злободневности. В последние годы миросозерцание американцев испытало, как известно, серьезные потрясения, вызванные, в частности, скандальными политическими разоблачениями, просчетами во внешней политике, экономическим спадом. «Куда идет Америка?» — этот вопрос ставится в редакционных статьях газет, звучит с экранов телевизоров, раздается в речах во время предвыборной кампании. Прогнозов немало, но, как известно, один из самых верных путей к познанию истины — сравнение, и вот автор «Регтайма» делает попытку нащупать «нерв» национальной истории, оценить социальную и нравственную эволюцию Америки в XX веке во всей неразрывности ее прошлого и настоящего.

Проблемы, так остро стоящие перед Соединенными Штатами сегодня, существовали и несколько поколений назад, утверждает Доктороу,— в «эпоху регтайма», этого провозвестника грядущих музыкальных ритмов от джаза до биг-бита включительно, стиля, снискавшего особую популярность в первые полтора десятилетия нашего столетия. «Регтайм» — роман сравнительно небольшого объема, но в нем представлена широкая картина американского национального уклада на заре XX века, причем в целях большей емкости изображения автор прибегает к своеобразному приему, введенному в американскую прозу еще в 30-е годы Дж. Дос Пассосом,— к смешению беллетристического повествования с документалистикой, теперь нередко именуемому «литературным коллажем». Но если Дос Пассос ограничивался тем. что чередовал беллетристические отрывки с информационным «экраном новостей» и биографическими миниатюрами, посвященными крупным фигурам общенационального масштаба, то Доктороу идет значительно дальше. В его изображении судьбы героев еще теснее «прикреплены» к конкретному историческому фону, переплетаясь в рамках повествования с судьбами таких действительно существовавших знаменитостей, как арктический путешественник Роберт Пири, писатель Теодор Драйзер, банкир Джон Пирпонт Морган, социалистка Эмма Голдман, и других.

К тому же вымышленных персонажей в «Регтайме» немного и сам факт отсутствия у них собственных имен отражает желание автора подчеркнуть особую характерность для американской реальности жизненного опыта этих людей. С одной стороны, в романе обрисована семья зажиточных американцев, состоящая из Отца, Матери и Младшего брата, жителей фешенебельного пригорода Нью-Йорка. Резко контрастирует с их благополучием жизнь полунищих иммигрантов, ютящихся в трущобах Ист-Сайда: поседевшего в тридцать лет талантливого фотографа Таты, его Жены, выброшенной на панель огромного города, и, наконец, Маленькой девочки, редкостная красота которой привлекает к себе восхищенные взгляды случайных визитеров из буржуазных кварталов.

Романическая интрига не раз сталкивает и разводит в стороны этих живых носите-

лей бедности и богатства, но детали сюжета не заслоняют от читателя общей концепции произведения Доктороу, задуманного как своего рода современная мистерия, фрескоподобная иллюстрация к общей эволюции «американского духа».

Начало XX века — время кристаллизации социальных сил, традиций и устойчивых черт характера нации, остававшихся, как полагает писатель, в своей основе неизменными на протяжении всех последующих поколений. Ритм жизни убыстрялся, свершались поразительные открытия: кино, радио, автомобиль, авиация; каждые несколько лет имели собственное лицо, собственный лозунг, собственных героев и мучеников. Столетие только начиналось, и все еще было впереди, но уже превозносились «события» и «чудеса» века, и о нем говорили как о начале нового летосчисления, о «дне восьмом» сотворения мира. То был конец американского изоляционизма, о чем свидетельствовали, в частности, испано-американская война и символическое покорение Северного полюса, совершенное Пири. Внутри самой страны ширилось рабочее движение, умножались ряды социалистов и феминисток, складывался культ «звезд» бульварной прессы и Голливуда. В Америке бурлили новые силы, и когда президент Теодор Рузвельт впервые принял в Белом доме негритянского лидера Букера Вашингтона, наиболее проницательные увидели в этом жесте предвестие грядущих перемен в «расовом балансе», назревшую необходимость расового равноправия.

Ностальгия по безвозвратно ушедшим, «унесенным ветром» истории временам — заметная черта духовного климата США середины 70-х годов, но в противовес широко распространившейся сейчас безоглядной идеализации минувшего автор «Регтайма» видит в американском прошлом прежде всего противоречия богатства и бедности, столкновение бесконтрольного индивидуализма как «традиционной» американской идеологии с растущими требованиями социальной справедливости. Страницы его книги напоминают о полузабытых сейчас в США романах Э. Синклера, Г. Филлипса, Э. Пула и других «разгребателей грязи», создавших в совокупности в 1900—1910 годы то литературное явление, которое было охарактеризовано Джеком Лондоном как «Хижина дяди Тома» пролетарской Америки».

В духе этой традиции, как бы воспроизводя технику «живых картин» кинематографа в момент его зарождения, писатель выделяет наиболее типичные приметы не столь уж далекого прошлого. «Во всей Америке любовь и смерть шли рука об руку»,— говорит он в начале произведения, и далее следует рассказ о том, как умирали младенцы и появлялись на свет новые заложники неискоренимой бедности, о попытках радикалов и реформистов, вроде Голдман и журналиста Джейкома Риса, хоть в чем-то изменить нетерпимый порядок вещей.

Сегодняшнему американцу Доктороу напоминает (а быть может, и повествует впервые) о забастовке лоренсвилльских ткачей в штате Массачусетс, о еще более нашумевшей Гомстедской стачке на сталелитейных заводах Эндрю Карнеги, будущего филантропа и покровителя искусств. Рассказ о покушении друга Голдман, революционера Александра Беркмана, наставленника капиталистов Генри Фрика мог бы пополнить любую антологию, посвященную пролетарскому движению в Соединенных Штатах. «Большая» американская литература уже долгие годы по существу чурается рабочей темы; обращение к ней автора «Регтайма» продиктовано глубокой внутренней потребностью писателя-реалиста, желанием сказать правду о важных движущих силах национальной истории.

Публикация «Регтайма», прочно укрепившегося во второй половине минувшего года во главе списка бестселлеров и разошедшегося уже в сотнях тысяч экземпляров, вызвала явное раздражение официозных органов американской печати. Заметно «поправевший» в последние годы ежемесячник «Комментари» увидел в романе «тенденциозную подборку фактов, призванную доказать, что главный импульс американской жизни описываемого времени находил выход в линчевании негров, расстреле забастовщиков, доведении иммигрантов до голодной смерти и тому подобных действиях...» Тут представлена «версия американской истории, которая может стать хорошим учебным пособием для современных городских партизан»,— не без запальчивости заявлял критик «Комментари», причисляя Доктороу к разряду писателей с «отчетливо радикалистскими устремлениями».

«Левизна» общественно-философского кредо автора «Регтайма» открылась читателям задолго до выхода в свет его последнего романа. О радикализме Э. Л. Доктороу можно было бы судить еще по его первому крупному произведению — «Книге Даниэля» (1971), материалом для которой послужила жизнь детей супругов Розенберг, бездоказательно обвиненных в атомном шпионаже и казненных на электрическом стуле летом 1953 года. Отличие «Регтайма» от предыдущей книги — в дальнейшем углублении историзма, в стремлении автора к эпичности, в смелости художественных обобщений.

Сопоставляя современные Соединенные Штаты с их образом, воссозданным Доктороу, можно обнаружить известные перемены во внешних формах жизни, навлекавших некогда на себя справедливое неудовольствие З. Фрейда да и других критиков заокеанской культуры. И в то же время роман дает основания говорить о глубоких корнях и давней преемственности прогрессивных черт общественного бытия американцев. Прошлое каждодневно возрождается в настоящем, и в жизнестойкости и жизнелюбии демократической Америки автор «Регтайма» усматривает залог преодоления тревог и сомнений нынешнего «смутного времени».

А. МУЛЯРЧИК

◆

Из нашей почты

Вот минул и еще один журнальный год. Редакция уже готовит весенние номера и к нам идут и идут письма отголоски на произведения напечатанные «Иностранной литературой» в 1976 году и в более ранние годы. Читатели спорят советуют одобряют и критикуют.

Хотелось бы представить на наших страницах частицу этой почты. Но выбор не так-то легок. Едва ли не в каждом из писем есть свои дельные и остроумные суждения замечания есть советы и предложения. которые заставляют задуматься С удовлетворением отмечаешь, что уровень этих писем культура их авторов заметно выросли за последние годы. Подход к литературе к отбору произведений зарубежных авторов в большинстве читательских откликов строг и доброжелателен. А вкусы... Что ж, о вкусах можно поспорить как это делают читатели. Спорят они и с редакцией, и— невольно — друг с другом Это видно из писем, ежедневно приносимых нам почтой

Свои суждения о печатаемых нами произведениях редакция имеет обыкновение высказывать в предисловиях и послесловиях к публикациям, в статьях критического раздела, но всегда рада познакомиться и еще с одной — важнейшей — читательской точкой зрения

Ведь журнал — это не только авторы и редакторы, переводчики и критики но и читатели отзывающиеся на его работу А потому и в дружеской поддержке и в критике выражающей неудовлетворенность теми или иными журнальными страницами, редакция видит выражение интереса и участия без которого не была бы возможна дальнейшая творческая и целеустремленная работа коллектива «Иностранной литературы».

Приводим выдержки из нескольких наиболее типичных читательских отзывов.

Ю. Е. СТУДЕНЦОВ,
инженер. Ленинград

Могу судить о журнале, так как был его читателем со времен «Интернациональной литературы».. «Иностранную литературу» в ее теперешнем виде выписывал все время и, понятно, читал Общий вывод — редакция сумела познакомить читателя с крупнейшими произведениями литературы многих стран мира, помогала ориентироваться в «море книг», давала необходимый комментарий к произведениям, известным за рубежом, но весьма спорным с нашей точки зрения Были номера очень интересные из-за стержневых («гвоздевых») романов, за которыми стояли очереди в библиотеках, много говорили. Были и «средние» (как правило, тематические, посвященные литературе одной страны). Стали уже ожидаемыми постоянные рубрики «Из месяца в месяц», «Культура и современность», «Среди книг».

Например, романы Саган, Уайлдера, Олдриджа, Стоуна и других авторов (как ранее М. Дрюона «Сильные мира сего») вызвали интерес. В этом году понравилась подборка рассказов американских писателей, повесть Жозефа д'Арбо, «Геофил Норт»...

Дело не в перечислениях и не в комплиментах редакции. Видимо, предложения будут интересовать больше, какими бы субъективными они ни были. Хотелось бы видеть постоянно один какой-то интересный роман. Причем, неужели редакция серьезно считает, что детективному жанру нет места на страницах «Иностранной литературы»? Пусть не Кристи и Чейз, но зачем же забывать Ж. Сименона, Райнова или Гуляшки? Читатели поймут правильно их появление в журнале. У Дрюона есть серия «Проклятые короли». Когда до нее доберется «Прогресс», сказать трудно. Почему бы не познакомить читателя с последними из серии?

Как говорится, мы ничего не раздаем с такой легкостью, как советы (Ларошфуко, кажется), но, право же, они вполне искренни!

Хочется, чтобы журнал с интересными произведениями хранился для других. А то ведь были в начале года и суховатые номера...

АНДРЕЙ ШАКИРОВ,
Усть-Илимск

Подписчиком вашего журнала я стал в прошлом (1975) году Здесь, на комсомольской стройке новые книги не такой уж частый гость на прилавках книжных магазинов, как этого бы хотелось. Если и появляются, то расхватываются мгновенно. Поэтому я и подписался на ваш журнал и еще на «Новый мир» Ребята выписывают «Москву» и «Юность» Так что литературного голода мы не испытываем Хочется выразить благодарность за доставку. Несмотря на удаленность от культурных центров, ваш журнал поступает регулярно Еще — за то время, что получаю ваш журнал, хочу выразить благодарность редакции за подбор произведений Не все нам, конечно, нравилось но речь идет не об этом Радость у меня оттого, что нашел еще одного друга, даже не хочется верить, что это только литературный образ, нет — такие люди были, есть и будут, иначе жизнь без них как стоячее болото Люди, способные удариться сердцем о чужую беду Сердечное спасибо что на страницах «Иностранной литературы» я имел радость встретить нового друга, роман Торнтона Уайлдера «Теофил Норт», прекрасный перевод которого сделал В. Голышев.

В. Е. МАКСИМОВ,
экономист. Хабаровск

Мне представляется, что в 1976 году пока ни одного выдающегося произведения вы не опубликовали. Выдающимися мне кажутся такие ваши публикации как «Назову себя Гантенбайн» М Фриша, «Шум и ярость» и «Осквернитель праха» Фолкнера, «Острова в океане» Э Хемингуэя, «Сто лет одиночества» Г. Маркеса

Г. БОЙКО,
пенсионерка. Саратов

Что мне нравится в журнале? Да все мне нравится, все интересно: и художественная литература, критика, публицистика, отдел «Из месяца в месяц».

В художественной литературе для меня представляют особый интерес произведения авторов латиноамериканских стран, с которыми, за исключением Ж. Амаду, не пришлось знакомиться ранее...

С интересом читаю статьи о японском искусстве и о Японии...

М. Я. МИШИН,
полковник запаса. Москва

Блестящее публицистическое, новаторское, я бы назвал и героическое, мероприятие, осуществленное Гюнтером Вальрафом и его друзьями, до глубины души взволновало. Такое могут совершать только люди глубоко идейные, безгранично преданные делу мира и прогресса. Столь умело раскрытый заговор — прекрасный пример умелой борьбы с реакцией, с заговорами против мира, прогресса, демократии Нет слов, чтобы выразить благодарность людям, взявшимся за столь высокий риск для себя лично, но в целях предотвратить гибель сотен тысяч людей, сторонников прогресса и демократии в Португалии. Читаешь сегодня этот репортаж с магнитофонной ленты и думаешь: как сегодня там, в тяжелых условиях, коммунисты и все те, кто борется за демократию, живут, работают? Действительно это, видимо, тоже фронт.

Р. БОБРОВА,
техник-строитель. Москва.

Очень мне нравятся разделы «Среди книг», «Из месяца в месяц», «Авторы этого номера». Эти разделы я прочитываю полностью уже много лет и очень обогащаюсь.

Немало в журнале хороших стихов, интересных критических статей, это я читаю выборочно Интересна и познавательна публицистика, как, например, в № 8 К Конкоревский «Как вы теперь поживаете?». Это страшно, но все это было знать это и напоминать об этом необходимо.

Но недовольна я и многие другие (об этом то и дело слышишь на работе) разделом прозы Сейчас читаю с интересом (хотя это и на любителя) роман Уайлдера «Теофил Норт» За последние два года мне доставили истинное удовольствие только два произведения: Сьюзен Хилл «Рассказы» (1976 № 1), Павон «Рыжие сестры» (1976, № 3)

Это настоящая художественная проза, прекрасный язык интересная фабула, искристый юмор (в «Рыжих сестрах»).

В. СИРИОС-ГИРА,
Вильнюс

Конечно, были и другие стоящие романы, рассказы и т д., но роман Уаилдера красуется среди прочей прозы, как вершина Килиманджаро среди серых (пожалуй, зеленых) холмов...

Е. И. АБРАМЕНКОВА,
врач-рентгенолог. Макеевка

Из последних произведений приятное впечатление произвела (в познавательном и эстетическом смысле) «Загадка Прометея» Лайоша Мештерхази... Отрадно видеть рубрику «Литературное наследие». Понравилась весьма оригинальная повесть Жозефа д'Арбо «Чудище из Ваккареса».

С. ДЫШКО,
Ворошиловград

Я давний подписчик вашего журнала, но, кажется мне, что скоро перестану им быть. Честно говоря, не нравится мне ваш журнал в этом году. Из публикаций восьми имеющихся у меня номеров могу положительно отметить лишь «Завтрак для чемпионов» Воннегута, «Загадку Прометея» Мештерхази и «Рыжих сестер» Павона. Прямо скажем, не густо. Я не понимаю, зачем, например, опубликован роман Уайлдера «Теофил Норт»? Может быть, для того, чтобы еще раз изобличить «их нравы»? Или возьмем «Переплывешь реку...» Кавальца. «Танцующий ястреб» был великолепен, а новая повесть, на мой взгляд, шаг назад в творчестве писателя.

О произведениях стран Азии, Африки и Латинской Америки. Как и большинство читателей, могу сказать, что их публикуют слишком много, часто только потому, что в них затрагиваются проблемы, характерные для этих стран. Я не против литературы развивающихся стран. Но после Амаду, после Маркеса читать «Осколки» не хочется...

А. В. ГОЛУБЕВА,
медицинский работник. Гор. Железнодорожный

С 1976 года я являюсь читательницей журнала «Иностранная литература». Благодаря этому интересному журналу я впервые познакомилась с произведениями талантливых прогрессивных писателей разных стран мира. С волнением читается роман испанского писателя Франсиско Гарсиа Павона «Рыжие сестры». Читая страницы этого романа, я ощущала как бы дыхание старой средневековой Испании, знакомилась с ее вековыми домами, древними площадками. Роман вызывает философские раздумья о прошлом и будущем Испании. Изменилось ли что в настоящем в этой древней, печальной и прекрасной стране? Хотелось бы познакомиться с произведениями других испанских писателей.

Не оставляет равнодушным роман Квеи Армы «Осколки». Очень современно, ярко показаны главные герои — доктор и журналист.

Большое сочувствие, желание помочь вызывает у меня рассказ (публицистика) французской журналистки Мадлен Риффо о тяжелом, изнурительном труде рядового медицинского персонала одной из клиник Франции. Сама я по профессии также медработник, и мне особенно понятен и близок их труд. Ярким контрастом выступает труд медиков в нашей Советской стране.

Большие художественные достоинства присущи роману писателя Уайлдера «Теофил Норт», который читается с большим интересом, легко.

ПАВЕЛ КИСЕЛЕВ,
Ленинград

Среди населения интерес к журналу огромнейший. В киосках его не найти, а за подписку на заводах происходят сражения. Культура населения с каждым годом растет, интерес к зарубежным странам огромнейший. Побывать лично во всех странах невозможно, зато «Иностранная литература» — это окно в мир.

Из публикаций в 1975—1976 гг. больше и чаще всего почему-то вспоминается «Завтрак для чемпионов» Воннегута. Великолепно написанный роман очень ясно показывает, что на Западе обыкновенный человек не может жить нормально. Общество беспощадно. Ирвин Шоу «Вечер в Византии» — чудесное произведение, чуть грустное, о месте человека в жизни и о несбывшихся надеждах. Макс Фриш «Назову себя Гантенбайн» и Луиджи Малерба «Сальто-мортале». После прочтения первая мысль: «Какое ужасное общество! Я не мог бы прожить там и одного дня». Из публицистики запоминаются Майк Дэвидов, «Колючая роза» Николая Хайтова, «Работа» Теркела. С особой радостью читаю «Человек-ящик» Кобо Абэ. Не дождусь номера с продолжением...

■

Редакция благодарит всех читателей, приславших свои письма, как старейших подписчиков, так и новых своих друзей. Все эти отзывы — от самых суровых и придирчивых до благожелательных и даже восторженных — демонстрируют горячую заинтересованность в том, чтобы журнал стал еще богаче содержанием, разнообразнее и ярче.

Мы предполагаем еще не раз вернуться к нашей читательской почте, в частности, к той ее части, где содержатся конкретные пожелания и советы читателей, их деловые предложения, которые редакция уже сейчас старается учесть в своей текущей работе и перспективных планах.

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

ГОЛОСА ПОЭТОВ

Английский еженедельник «Таймс литерари сапплмент» поместил статью Питера Портера, который анализирует несколько наиболее интересных поэтических сборников, вышедших в Австралии за последнее время: очередной номер ежемесячного журнала «Поэзия Австралии», посвященный творчеству одного из крупнейших австралийских поэтов Фрэнсиса Уэбба (1925 — 1973), сборник Дэвида Кэмпбелла «Смерть и симпатичные родственники», «Соседи в зарослях» Дэвида Мэлуфа, «Будни провинциального городка» Томаса Шэпкотта, «Сны Уилла» Филипа Робертса, сборник Роберта Грея «Жизнь у ручья».

«Поколение Генри Лоусона», то есть писатели и поэты второй половины XIX века, первыми начали бороться за самостоятельность австралийской литературы, против английских литературных рецептов. В XX веке поэты группы «Джиндиуоробэк», основанной в 1938 году Р. Ингамелсом, продолжали развивать в своем творчестве традиции демократической австралийской поэзии и широко пропагандировали произведения поэтов-аборигенов. Именно они первыми доказали то, чему никак не могла поверить литературная общественность Англии,— что на австралийской почве может возникнуть самобытная, национальная литература. Теперь, констатирует П. Портер, в современной англоязычной поэзии есть новые достижения, и это — австралийская поэзия. Еще сравнительно молодая, эта поэзия сейчас взрослеет, и австралийские поэты, которые одно время страдали своеобразным «национализмом», стремясь писать только об Австралии и только для Австралии, успешно осваивают новые темы, новые ритмы, новую поэтическую технику. Австралийские поэты, пишет П. Портер, не стараются быть похожими на английских или американских поэтов, хотя влияние последних очень ощутимо, например, в творчестве Т. Шэпкотта и Ф. Робертса. В то же время поэзия Д. Кэмпбелла, Леса Мюррея, Ф. Уэбба, отмечает рецензент,— явление действительно оригинальное.

«Трудно сказать, как будет развиваться дальше поэзия Австралии,— заканчивает П. Портер, — но одно ясно, что те интересные явления, которые происходят в ней сейчас, заслуживают самого пристального внимания».

АНГЛИЯ

ПРИТЧА БРАЙАНА ОЛДИССА

«Малаккский гобелен» — новый философско-исторический роман известного английского писателя-фантаста Брайана Олдисса, выпущенный издательством «Кейп». В последней книге, замечает рецензент «Таймс литерари сапплмент» Э. Корн, автор отошел от привычного жанра научной фантастики, но цель его осталась прежней: обратившись к далекому от современного общества миру, проанализировать происходящее в современной действительности.

Б. Олдисс описывает некий вымышленный город, достигший своего экономического и культурного расцвета в период Ренессанса. Однако история — только фон, удобный материал, который дает возможность автору обнажить пороки современного общества. Малакка и все происходящее в этом городе: борьба за власть, достижение любыми способами поставленных целей, антагонизм богатых и бедных, противопоставление прогрессивных сил и сил реакции — становится для автора, по словам Корна, символом любого социально-

го организма во все времена. Повествование в романе ведется от лица Периана де Чироло, плута, игрока, философа, который остраненно воспринимает все происходящее.

Рецензент высказывает мнение что Б. Олдисс не достиг поставленной им цели в последнем романе. «Хотя у него и получилась монументальная фреска,— пишет он,— в ней нет ничего нового... Мысли автора о бренности жизни и круговращении истории стали уже общим местом в западной литературе».

«ШОТЛАНДСКИЙ РАССКАЗ»

Это четвертая по счету антология, выпускаемая Шотландским советом искусства. Темы, затронутые в ней, пишет рецензент «Таймс литерари сапплмент» С. Лимб, очень широки.

Богато представлена фольклорная традиция в рассказе Джорджа Маккея Брауна «Пир в Паплее»: женщина готовит пир в честь примирения глав родов, но вместо торжества вновь льется кровь. Автор умело передает дух народных преданий, положенных в основу повествования. Стиль его тяжелый, витиеватый.

Рассказ Гордона Джайлза «Девятнадцать полицейских обыскивают берег» написан в детективном жанре. Его отличают динамизм повествования, сжатая, но яркая обрисовка героев.

А. Джексон выступает с экспериментальной прозой.

Лучший рассказ сборника, по мнению рецензента,— «Воскресные страдания Спада» Уильяма Гранта, где описывается день жизни одной семьи в Глазго. Возникают картины тупого, жестокого, пьяного существования.

Пол Милл включил в антологию свой первый рассказ «Хлеб», по жанру относящийся к «производственной» прозе. Здесь со знанием дела и, как пишет рецензент, с должной мерой художественности описывается процесс выпечки хлеба. Технические подробности, введенные в ткань рассказа, лишь подчеркивают трагедию жизни героев. Жестокость на фоне деловито налаженного процесса предстает в еще более обнаженном виде.

Сборник в целом высоко оценен рецензентом.

Выходящий в Ланкастере прогрессивный литературный журнал «Файрвид» опубликовал недавно стихи замечательного поэта — патриота Чили Пабло Неруды. Художник Кен Спрег создал воспроизводимый здесь рисунок к стихам поэта, символизирующий подавление гражданских свобод чилийской хунтой.

(Газета «Морнинг стар»)

АРГЕНТИНА

БОРХЕС НАГРАЖДЕН ПИНОЧЕТОМ

Главарь фашистской хунты Чили генерал Пиночет вручил орден аргентинскому поэту и прозаику Хорхе Луису Борхесу.

Сообщение о принятии Борхесом награды из рук палача чилийского народа вызвало возмущение литературной общественности Латинской Америки, хотя, впрочем, никого особенно не удивило. Борхес, прославляемый на страницах буржуазной печати Запада как «мэтр» аргентинской литературы и как «либерал», этим актом завершил свое идейное падение.

Уже давно изолировавшийся от жизни и борьбы аргентинского народа, противопоставивший себя его интересам, Борхес, вступив в консервативную партию, не скрывал и не скрывает свои реакционные, антикоммунистические и антисоветские взгляды.

Несколько месяцев назад, присутствуя на обеде у нынешнего аргентинского президента генерала Виделы, Борхес высказывался за усиление репрессий в стране и даже — согласно опубликованному в буэнос-айресском журнале «Кризис» свидетельству участника этой встречи, католического писателя Кастельяни — выразил сожаление, что Аргентина «никогда не очищалась какой-либо международной войной... Речь шла об очищении нации посредством войны! Небезынтересно, что президент Виделы — генерал, профессиональный военный — прервал эти высказывания, выразив свое несогласие. И на меня также будто вылили ушат холодной войны — столь ужасное это означало».

В статье «Персональная история бесчестья», напечатанной в крупнейшей венесуэльской газете «Эль насьональ», известный аргентинский романист Давид Виньяс подробно анализирует политический путь Борхеса, «ныне превозносимого латиноамериканским фашистским диктатором». Видный венесуэльский писатель и социолог Луис Бельтран Герреро отмечает, что «консерватор и реакционер Борхес остается в одиночестве со своей былой славой, которой трудно было бы достичь без соответствующей поддержки извне». «Восхваляя Пиночета, Борхес без колебаний поддерживает преступление,— пишет в «Эль насьональ» другой видный венесуэльский романист Адриано Гонсалес Леон. — Хорхе Луис Борхес, замкнувшись в своем словесном кафедральном соборе, теперь будет совсем один, как призрак, растерявший свои тайны на пороге смерти».

БОЛГАРИЯ

РУССКАЯ КЛАССИКА НА БОЛГАРСКОЙ СЦЕНЕ

В девятый раз проводились «Летние театральные дни» в старинном городе Видине, расположенном на живописном берегу Дуная. Сценической площадкой здесь служит средневековая крепость «Бабушка Вида». В этом году Видинские «театральные дни» были посвящены русской и советской классике. Как сообщает еженедельник «Народна култура», в них приняли участие шесть театров страны, показавшие «Чайку» А. П. Чехова, «Власть тьмы» Л. Толстого и четыре пьесы М. Горького — «Дети солнца», «Последние», «Зыковы» и «На дне».

Первая премия была присуждена Драматическому театру имени Саввы Огнянова (город Русе) за спектакль «На дне». Премии за лучшую режиссерскую работу удостоен народный артист Филипп Филиппов за постановку спектакля «Дети солнца» в Народном театре имени Ивана Вазова в Софии.

Театральный праздник в Видине, пишет еженедельник, вновь доказал, что наши театры успешно идут по пути идейного и художественного воплощения русской классики.

Венгерские кинематографисты (режиссер Золтан Варкони, сценарист Янош Эрдёди) обратились к роману классика венгерской литературы Мора Йокаи «Черные алмазы», написанного им в 1870 году. В фильме противопоставляются два мира: с одной стороны мир пустого, праздного «высшего» общества, с другой — жизнь шахтеров, скромных тружеников, носителей нравственной чистоты.
Критик Михай Батки на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика» высоко оценивает новую работу венгерских кинематографистов.
На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭСТАФЕТА

Молодежное издательство «Мора» и Объединение молодых писателей имени Аттилы Йожефа предприняли совместное издание — антологию поэзии, прозы и критики под названием «Эстафета», куда включены произведения пятидесяти пяти писателей, пришедших в литературу в конце 60-х и в 70-е годы.

Антология привлекла к себе внимание литературной общественности. Со статьей, посвященной новому пополнению венгерской литературы, выступил на страницах журнала «Критика» известный литературовед и критик Петер Агарди. «Длительное время,— указывает он,— принято было вступающих на литературное поприще именовать молодыми писателями. Думается, этот не совсем правомерный термин справедливо подвергался критике за попытку изолировать молодых, обособить их от общего литературного процесса. Однако нельзя забывать, что благодаря наиболее ценным произведениям этих «молодых» (многие из них уже свыше десятка лет работают в литературе) стало возможным принципиально определить новейшие явления нашего развития».

«Духовным портретом литературного пополнения» называет антологию «Эстафета» рецензент Клара Нача на страницах газеты «Мадьяр немзет».

Отмечая положительные стороны книги—общую приверженность ее авторов делу социализма, углубленный подход к проблемам, интеллектуализм и народность,— Петер Агарди и Клара Нача указывают и на некоторые ее недостатки. Однако в целом, по мнению критиков, антология «Эстафета» отражает главные тенденции современной венгерской литературы.

ГДР

НАГРАДЫ ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ

Лауреатами Национальной премии в 1976 году стали писатели Юрий Брезан и Эрвин Штриттматтер, которым премии присуждены за литературное творчество в целом.

Национальные премии получили также писатели Герберт Нахбар и Альфред Вельм, актеры, художники,

композиторы. Отмечены заслуги главного редактора журнала «Зинн унд форм» профессора Вильгельма Гирнуса, награжденного орденом Карла Маркса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ МАРТИНА ШТАЙНА

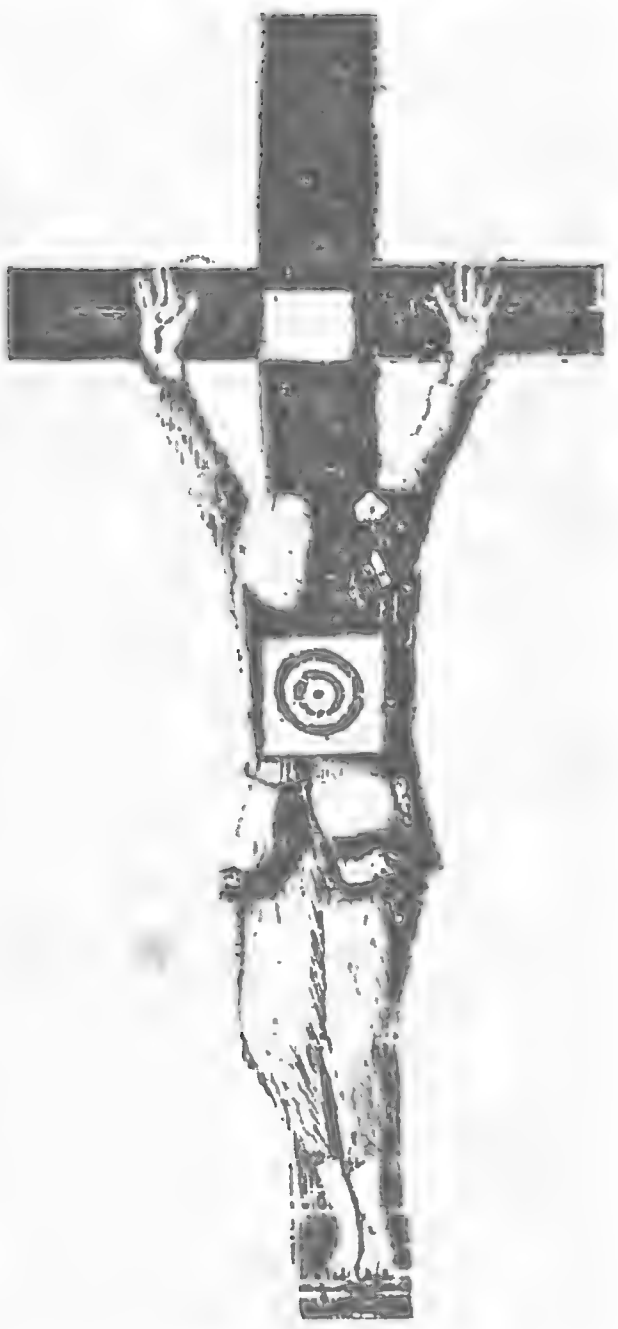
Около двух лет назад вышел в свет роман Гюнтера Гёрлиха «Возвращение в чужую страну», вызвавший большой интерес у читателей. Недавно издательство «Нойес лебен» выпустило третье издание романа. И почти одновременно телевидение Германской Демократической Республики показало созданный по этой книге фильм в трех частях. Сценарий принадлежит самому автору, режиссер фильма — Манфред Мосблех.

«Так же как в книге, в фильме рассказывается история Мартина Штайна — молодого человека, чья жизнь была искалечена фашизмом,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Совсем мальчиком он становится солдатом гитлеровской армии, попадает в плен, трудится в лагере для военнопленных за Уралом, а затем возвращается на родину, которая кажется ему «чужой страной». Ему все надо начинать заново. В фильме этот процесс показан подробнее, чем в романе. Молодому одаренному режиссеру и актерскому коллективу удалось найти ряд интересных кинематографических деталей, создать новые ситуации, которых не было в романе... Телевизионный фильм «Возвращение в чужую страну», показавший правдивую картину недавнего прошлого и сумевший перебросить мост от этого прошлого к настоящему, несомиенно явление значительное».

ДАНИЯ

СВЕНУ ЭНСЕЛЬМАНУ 50 ЛЕТ

В связи с пятидесятилетним юбилеем известного датского живописца и графика Свена Энсельмана в Копенгагене устроена большая ретроспективная выставка его работ. В числе самых интересных полотен, представленных на выставке, по словам обозревателя газеты «Ланд ог фольк»,—городские пейзажи, выполненные в характерной для художника манере: яркость красок сочетается со строгой простотой рисунка. Наиболее удачными произведениями графики датского художника обозреватель газеты считает цикл гравюр, посвященный впечатлениям от поездок по Италии и Греции. Одна из них, антивоенная гравюра «Солдат-мишень», была впервые в 1973 году выставлена в Калифорнийском музее в США, где пользовалась большим успехом.



На снимке: гравюра «Солдат-мишень».

(Газета «Ланд ог фольк»)

На снимке: исполнитель главной роли Петер Ройссе и артист Фред Дюрен в телевизионном фильме «Возвращение в чужую страну».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ИНДИЯ

СОВЕТСКАЯ ПОЭЗИЯ В ИНДИИ

Делийское издательство «Нэшнл паблишинг хаус», по сообщению газеты «Джаи юг», выпустило в свет в переводе на хинди сборник, в который вошло сто одно стихотворение видных советских поэтов. Составитель сборника и автор переводов — Рамеш Каушик. Сборник открывается статьей «Значение советской литературы для Индии», которую написал известный прогрессивный критик и литературовед Шивдинсинх Чаухан.

Газета оценивает выход сборника как новое свидетельство растущих и крепиущих культурных связей между Индией и Советским Союзом.

ОБЗОР ЖУРНАЛА «КАТХА»

Газета «Джан юг» (орган Компартии Индии), издающаяся в Дели на языке хинди, много внимания уделяет вопросам литературы. На ее страницах регулярно публикуются рассказы и стихи, рецензии, хроника литературной жизни, обзоры литературно-художест в е н н ы х журналов, выходящих как в столице, так и в других городах.

Недавно с большим обзором журнала «Катха», издающегося в Аллахабаде под редакцией известного прозаика Маркандэя, в газете выступил литературный критик Раджкумар Саини.

Маркандэй, пишет он, в роли редактора продолжает развивать прогрессивные, реалистические традиции литературы хинди. На страницах редактируемого им журнала впервые увидели свет многие новеллы выдающихся прогрессивных писателей: Бхишама Сахни, Амарканта, Шекхара Джоши и других.

Богато представлен в журнале критический раздел. Здесь печатались рецензии на книгу Рамвиласа Шармы о творчестве Ниралы, на новый роман Яшпала, на сборники рассказов ряда молодых прозайков хинди. Большие статьи посвящены творчеству выдающегося поэта Мухтибодха, личности и творческому наследию критика-марксиста Пракашчандры Гупты и других. Журнал не ограничивается индийскими именами — на его страницах, например, увидела свет большая статья о творчестве Пабло Неруды.

Плодотворно прошла дискуссия о вкладе молодых писателей в литературу хинди, в которой приняли участие многие писатели и критики. Не остается журнал в стороне и от актуальных общественно - политических проблем. В нем была опубликована, в частности, подборка высказываний ряда видных общественных и политических деятелей Индии на тему «Социализм в Индии: направленность и точка зрения».

Газета «Джан юг» опубликовала рецензию на новый фильм «Похитители сердец». Режиссер фильма Басу Чаттерджи, пишет рецензент, своей картиной покорил сердца зрителей, у каждого из них такое ощущение, что на экране он увидел кусочек своей собственной жизни. «Похитители сердец», по мнению рецензента, подлинная удача индийского кинематографа.

На снимке: Зарина Вахаб в главной роли в фильме «Похитители сердец».

(Газета «Джан юг»)

ИТАЛИЯ

«НЕКРАСИВЫЕ, ГРЯЗНЫЕ И ЗЛЫЕ»

Так называется новая социальная комедия режиссера-коммуниста Этторе Сколы, вышедшая на итальянские экраны. Самим своим названием фильм постановщика картины «Мы так любили друг друга» (получившей один из трех главных призов IX ММКФ) полемизирует с лентами того псевдофольклорного направления, которое иронически называли «розовым неореализмом» — комедиями «из народной жизни», из серий «Бедные, но красивые», «Хлеб, любовь и...». Но фильм Сколы полемичен не только по отношению к «утешительским» лентам буржуазного коммерческого кино, показывавшего красивых и веселых бедняков, которым нипочем нужда, поскольку есть любовь и фантазия. Он спорит и с фильмами тех режиссеров, которые, подобно покойному П. П. Пазолини, поэтизировали мир итальянских люмпенов, видя в них новых христианских мучеников или же «своих», «домашних» представителей «третьего мира», этаких примитивных, «естественных» созданий. Режиссер показывает, что обитатели римского «дна» деклассированные элементы — не только парии и жертвы современного «общества потребления», но и его порождение и живут они по тем же жестоким, бесчеловечным законам, что и это общество, — столь же бездуховно, поклоняясь только деньгам.

Центральная фигура фильма — римский люмпен Джачинто,— глава огромного семейства, целого клана, олицетворяющий в нем власть и закон. Этот суровый патриарх руководит всей жизнью своего маленького племени оборванцев, промышляющего воровством, жульничеством, проституцией. Внутри этого племени-семейства царят самые жестокие нравы, идет междоусобная борьба, но все единодушно жаждут завладеть «капиталом» Джачинто — миллионом мир, полученным им в компенсацию за потерянный глаз. (В фильме много подобных «цитат», при помощи которых Скола как бы возвращает зрителя к истории итальянского кино: история с глазом Джачинто заставляет вспомнить «Бум» Де Сика и Дзаваттини, персонаж беременной служанки — прислугу из их же «Умберто Д.», да и весь поселок бездомных очень напоминает лачуги из «Чуда в Милане» или «Крыши»; вырисовывающийся вдали купол собора св. Петра — символ равнодушия Ватикана и церкви к участи бедняков — напоминает о фильмах Пазолини «Нищий» и «Мама Рома».) Родичи неод-

Вышел на экраны новый фильм Федерико Феллини «Казанова». «Своим фильмом, — сказал Феллини корреспонденту французского журнала «Позитиф»,— я хотел развенчать миф о Казанове. Казанова видится мне предвестником фашизма, носителем зла, олицетворением грубой силы и самодовольства, которые так характерны для фашизма». На снимке: рисунок Федерико Феллини «Казанова» и английский актер Дональд Сазерленд в роли Казановы.

(Журнал «Фильм»)

нократно пытаются отправить Джачинто на тот свет, и хотя его ничто не берет, даже крысиный яд, подсыпанный в макароны, ему все же приходится взять себе на подмогу могучую свою сожительницу (ее гиперболизированная полнота и сила— «ссылка» на Феллини, создавшего персонаж Сарагины и ей подобных женщин в своих фильмах).

Скола, по-новому продолжающий традиции неореализма и программно считающий себя учеником Де Сика и Дзаваттини, этой своей комедией — социальным гротеском — вновь повторяет мысль, давно высказанную Дзаваттини в заглавии его книги «Бедняки мешают» и в фильмах, созданных в содружестве с Де Сика на «вечную» тему — богатые и бедные. Но Скола идет дальше: он не любуется бедностью, не сочувствует люмпенам, а видит в них часть ненавистной социальной системы, прогнившей сверху донизу. Мирок римских отверженных живет по тем же законам капиталистических джунглей, что и все буржуазное общество.

В фильме много очень смешных сцен, метких и остроумных наблюдений, приобретающих порой символическое звучание. Единственный, пожалуй, положительный персонаж — это старенькая неграмотная бабушка, проводящая все дни перед экраном огромного телевизора, изучая по телевидению английский язык, в то время как по утопающей в грязи трущобе, где ютится семейство, и по самому телевизору бегают огромные черные крысы... Но в целом сатира Сколы очень жестокая и мрачная, как тот мирок, который он показывает. Так же натуралистичен и груб текст фильма, герои которого говорят на жаргоне—смеси римского диалекта с блатным языком.

В главной роли «патриарха» Джачинто — Нино Манфреди, ныне один из самых видных комедийных итальянских актеров. В числе других исполнителей — Этторе Гарофало, некогда непрофессиональный актер, игравший сына мамы Рома Этторе в фильме Пазолини.

Критик газеты «Унита» Аджео Савиоли в рецензии на фильм пишет: «Эти жалкие, заброшенные существа в самом деле бессознательно стараются приспособиться к модели того самого общества, которое их из себя исторгает...»

КНИГА О МАНЦУ

Эта необычная книга о жизни и творчестве виднейшего итальянского скульптора озаглавлена «Манцу и мир». Ее автор Глауко Пеллегрини называет свой труд «беседой-фильмом». Действительно, в этой книге много элементов кинематографа — Пеллегрини, известный кинорежиссер, «смонтировал» в ней различные тексты, репродукции произведений Манцу, а также фотографии, связанные с его биографией, с местами, где он жил и работал.

Пеллегрини не в первый раз обращается к творчеству и личности этого большого мастера. Уже много лет он посвящает Манцу свои документальные фильмы: «Скульптор Манцу», «Дверь собора св. Петра», «Манцу и Бах». Но «тема Манцу» по-прежнему оказывается неисчерпанной, и Пеллегрини продолжает изучать и развивать ее.

Весной 1974 года он задумал создать если не полнометражный, то хотя бы среднеметражный фильм о Джакомо Манцу. Работа над этим фильмом продолжается до сих пор. Пока же режиссер решил опубликовать книгу, в которую вошли многие материалы, собранные для будущей картины.

Флорентийское издательство «Ла Градива» выпустило прекрасно оформленную книгу-альбом, дающую широкое представление о гуманном творчестве Манцу, его участии в борьбе за мир, за социальный прогресс в Италии. «Моя книга,— говорит Пеллегрини,— анализирует творчество художника за полвека жизни, борьбы, страданий, она говорит о том, что голос его — это голос, взывающий в защиту мира». Автор-составитель приводит многочисленные высказывания видных деятелей итальянской культуры, в том числе многих писателей и поэтов, о значении творчества Манцу. В своем предисловии к книге писатель Давиде Лайоло пишет: «В трудное для культуры время — циничное и жестокое... выбор Манцу был неизменен, и этот выбор был в пользу любви к людям и жизни».

Газета «Унита» посвятила книге «Манцу и мир» большую рецензию профессора Ломбардо-Радичо, который высказывает пожелание,

чтобы эта книга о величайшем современном итальянском художнике была включена в список школьного чтения, стала одним из краеугольных камней культуры для самых широких слоев итальянцев.

КОЛУМБИЯ

ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУ БРЕХТА

Летом 1976 года исполнилось двадцать лет со дня смерти замечательного драматурга и поэта Бертольта Брехта. В связи с этой датой «Театро насьональ де Богота» открыл сезон 1976/77 года премьерой «Трехгрошовой оперы», пишет колумбийский журнал «Алеф».

Удачная работа режиссера Хорхе Али Трианы знаменует, по мнению критики, «возрождение брехтовского театра» в Колумбии и вызывает огромный интерес к творчеству Брехта.

ЛИВИЯ

НОВЫЕ СБОРНИКИ РАССКАЗОВ

За последние годы ливийская новеллистика добилась значительных успехов. Хотя поэзия по-прежнему занимает главное место в литературе Ливии, на страницах ливийских газет и журналов все чаще и регулярнее печатаются рассказы местных авторов, в стране все больше выходит сборников новелл.

Как сообщает иракский журнал «Аль-Аклям», недавно объединенным тунисско-ливийским издательством «Дар аль-Китаб аль-араби» было выпущено несколько книг современных ливийских новеллистов. Среди них — «Голые ноги» Юсуфа аш-Шерифа, «Шестьдесят коротких рассказов» Абдаллаха аль-Куири и «На расстоянии взгляда» Юсуфа аль-Куири.

ПЕРУ

В Лиме с большим успехом прошла выставка работ известного перуанского художника Алехсандро Гонсалеса Трухильо, который известен в Перу под именем Ануримак. На выставке были представлены картины, посвященные родному городу художника — Куско.
На снимке: художник у своей картины.

(Журнал «Каретас»)

ПОЛЬША

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ

Большим событием в культурной жизни Польши стал выпуск первого полного собрания сочинений выдающегося польского поэта, философа и художника Циприана Камиля Норвида. Издание состоит из одиннадцати томов, последний из них — «Дополнения» — включает хронологию жизни поэта, титульный список его произведений, библиографию литературных и художественных публикаций, не публиковавшиеся ранее стихотворные варианты, поэмы, письма. В том «Дополнения» включены также 245 репродукций живописных работ Норвида.

По свидетельству печати, Юлиуш Виктор Гомулицкий, составитель собрания сочинений Циприана Камиля Норвида, проделал титаническую работу, посвятив этому монументальному изданию пятнадцать лет жизни. Без чьей-либо помощи исследователь собрал в единое целое дотоле разрозненное обширное наследие поэта, тем самым сделав неоценимый вклад в польскую культуру.

ТАДЕУШ ХОЛУЙ — ЛАУРЕАТ ГАЗЕТЫ «ТРИБУНА ЛЮДУ»

Под рубрикой «Наши лауреаты» газета «Трибуна люду» поместила большую

рецензию о творчестве известного польского писателя Тадеуша Холуя, отмеченном премией газеты.

Узник Освенцима с 1942 года до конца войны, Холуй в стихотворном сборнике «Стихи из лагеря», в пьесе «Дом под Освенцимом», в романе «Конец нашего мира» отразил борьбу узников за человеческое достоинство, деятельность подпольных организаций, показал все ужасы фашистской неволи.

Широко известна его историческая эпопея «Королевство без земли» о национально-освободительном движении в Польше в 20—40-е годы XIX столетия. Холуй — автор многих повестей, рассказов, стихов. Его роман «Роза и пылающий лес» посвящен замечательному польскому коммунисту Людвику Варынскому. Широкие отклики печати вызвал его роман «Особа», рецензия на который была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 10 за 1975 год.

Автор рецензии Антони Хойницкий пишет: «Оценивая творчество Тадеуша Холуя в целом, все критики отмечают, что Тадеуш Холуй в своих произведениях выступает не только как поэт, прозаик, драматург, но и как историк. Его интересует не только прошлое — история прошлого века, но и вторая мировая война, и современность. По его произведениям можно проследить, как формировалось общественно-классовое сознание польского народа, он поднимает сложную проблематику Сопротивления, а также морально-нравственные проблемы польской действительности».

ПОРТУГАЛИЯ

УСПЕХИ ПОРТУГАЛЬСКОГО ТЕАТРА

«Наконец-то португальский театр начинает преодолевать тройной барьер — географический, языковой и политический,— который в течение нескольких десятилетий мешал ему выйти за пределы страны»,— говорится в статье, напечатанной журналом «Ауториш». Большим успехом пользуется португальская драматургия в социалистических странах. Так, в советском журнале «Театр» опубликована пьеса Бернарду Сантарену «Португалец, писатель, возраст— 45 лет». «Преступление в старом селе» того же автора и «На следующий день» Луиша Франсишку Ребелу закуплены для показа по телевидению в ГДР. В текущем году телезрители ГДР увидят также спектакль «Последняя неделя перед праздником» португальского драматурга Карлуша Коутинью.

Кроме того, венгерское издательство «Эуропа» выпустит антологию португальской драматургии, а в итальянском издательстве «Абете» уже вышел труд Антонио Табукки «Португальский театр послевоенного периода. 30 лет цензуры». Автор последней книги, пишет журнал, разворачивает перед читателями «панораму тревог и фантазии, ограничений, запретов и надежд», из которых складывался португальский театр времен фашистской диктатуры.

РУМЫНИЯ

«ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА» ШТЕФАНА БЭНУЛЕСКУ

«Провинциальные письма» Шт. Бэнулеску — «восхитительная книга прозаика, в совершенстве владеющего своим искусством»,— такими словами встретил критик Н. Манолеску появление, после долгих лет молчания, новой книги автора «Зимы мужественных» (см. «Иностранную литературу» № 2 за 1967 год).

Речь идет о сборнике очерков, мастерски написанных картин не столь далекого прошлого. «Это подлинно художественная проза,— пишет рецензент,— отличающаяся классическим изяществом, блистательным юмором, неповторимым слогом». Вся книга — сплошной гимн искусству письма. Герой ее, Провинциал, «продолжает обитать в галактике Гутенберга», для него творения, написанные рукой человека, гораздо выше всех чудес современных средств массовой информации, которые, по его глубокому убеждению, обрекают на лень человеческий разум. Н. Манолеску уверенно заключает свою статью выводом, что Шт. Бэнулеску — достойный продолжатель дела прославленных рассказчиков прошлого.

США

ПРОТЕСТ ПРОТИВ УГНЕТЕНИЯ

Одним из ярких событий театральной жизни американские критики считают спектакль, созданный при участии писательницы Нтозейк Шейндж. Он называется «Для цветных девушек, которые размышляют о самоубийстве» и идет на сцене Общественного театра Джозефа Пэппа в Нью-Йорке. Жанр спектакля определяется как «хореографическая поэма». По существу же он представляет собой декламацию стихотворных и прозаических отрывков из новой книги писательницы «Стихийные бедствия и другие праздники», сопровождаемую музыкой, хореографическими сценами и пантомимой. В нем семь женских ролей, одну из них исполняет сама Нтозейк Шейндж (на снимке она третья справа).

По отзыву критика журнала «Ньюсуик» Джека Кролла, каждая сцена спектакля — минидрама, обладающая поистине взрывной силой. «Быть живой, быть женщиной и быть цветной — это метафизическая дилемма, в которой я до сих пор не вижу выхода»,— говорит со сцены писательница. Перед зрителем проходят трагические судьбы различных цветных женщин — студентки колледжа, танцовщицы, неимущей жительницы негритянских окраин. Все характеры, по сло-

вам Кролла, отличаются поразительной живостью и эмоциональностью. Спектакль воспринимается как вопль протеста против жестокости жизни, столь тяжкой для цветных девушек. Вместе с тем чувствуется, что его страстность находится под постоянным контролем самых строгих критериев искусства. Многие сцены пронизаны доброй иронией и поэтической красотой.

Успех Нтозейк Шейндж заслуженно разделил молодой режиссер Оз Скотт.

Сцена из спектакля «Для цветных девушек, которые размышляют о самоубийстве».

(Журнал «Ньюсуик»)

ПИСАТЕЛИ В ГОЛЛИВУДЕ

В издательстве «Чарльз Скрибнерз санз», по сообщению еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», вышла книга Тома Дардиса «Годы жизни в лучах солнца», где рассказывается о работе Ф. Скотта Фицджеральда, У. Фолкнера, Н. Уэста, а также известного английского романиста О. Хаксли в Голливуде. Книга, написанная на основании многих документов и личных встреч автора с писателями, свидетельствует о том, что приход американских писателей в «киноимперию» всегда был связан с их финансовыми затруднениями. Так, пишет Т. Дардис, «дела Фицджеральда в течение нескольких лет, предшествовавших его голливудскому трехлетию (писатель работал там с 1937 года до самой своей смерти), шли настолько плохо, что его многочисленные долги к тому времени составили сумму в 40 000 долларов, а общий доход от публикаций его книг в 1936 году равнялся... 81 доллару 18 центам». Лишь голливудские контракты позволили Фицджеральду выплатить долги и как-то поправить свое положение.

«Голливудские годы,— пишет далее Т. Дардис,—причинили писателю много неприятностей. Талантливый романист оказался посредственным сценаристом. За три года работы в Голливуде ему удалось завершить лишь одну работу — сценарий «Трех товарищей» по роману Э. М. Ремарка. Впрочем,— добавляет Т. Дардис,— Фицджеральду Голливуд дал богатый материал для его романа «Последний магнат», который, если бы был закончен, можно было считать его лучшей книгой».

Денежные трудности заставили направить свои стопы в Голливуд и Уильяма Фолкнера, крупнейшего романиста XX века. Ему нужно было содержать не только жену и троих детей, но и свою мать, вдову и детей покойного брата, семью другого брата. «Его книги, — пишет Т. Дардис,— хотя и получали лестные отзывы критиков, приносили небольшой доход: они мало раскупались».

«Годы жизни в лучах солнца» — не только интересная книга, содержащая много новых сведений из биографий знаменитых романистов. Она убедительно показывает, как непрочно положение художника в буржуазном обществе.

ФРАНЦИЯ

«ВОСПОМИНАНИЯ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ»

Эту книгу, вышедшую в издательстве «Эдисьон сосьяль», написал Рауль Калас, член ЦК ФКП, один из видных деятелей Сопротивления. Она начинается с рассказа о судебном процессе, на котором летом 1942 года военный трибунал Петэна судил 19 деятелей Сопротивления. Трое из них, в том числе Рауль Калас, были приговорены к смертной казни. В течение двух месяцев они находились в камере смертников, каждую ночь ожидая казни. Мощное народное движение протеста принудило власти заменить смертный приговор Каласу и его товарищам пожизненным заключением. В 1944 году они были освобождены силами Сопротивления.

Рауль Калас, член ФКП с 1924 года, возглавлял коммунистов своего родного края — Лангедока, затем департаментов Нор—Па-де-Кале, а накануне создания Народного фронта был редактором «Юманите». Во время оккупации Франции гитлеровской армией он уходит в подполье, затем становится организатором Сопротивления в ряде департаментов страны.

«Рауль Калас — живая страница истории партии»,— говорится в рецензии «Юмаините».— Его книга — прекрасное свидетельство скромности и величия... Рассказывает он отлично и с большой простотой: настоящие герои не любят громких слов. Патетичны не слова, а поступки настоящего коммуниста, преданного борца, сознающего свое место в истории...»

«В момент вступления в

коммунистическую партию,— пишет Р. Калас в своих воспоминаниях,— я решил, что буду действовать со всей самоотверженностью, на которую только способен, отдавая все силы своего разума служению рабочему классу и народу, служению великому делу коммунизма... Более чем через 50 лет после того памятного события, каким было для меня вступление во Французскую коммунистическую партию, я считаю возможным утверждать, что остался верен этой клятве».

На снимке: Даниэла Коларжова в роли Доубравки и Яромир Гаизлик в роли Ковбоя.

(Газета «Руде право»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НА ЭКРАНЕ — МОЛОДЕЖЬ

Большим успехом, особенно у молодежи, пользуется новая чешская комедия режиссера Иво Новака «Лето с Ковбоем» по сценарию известной писательницы Яромиры Коларовой.

Герой фильма Гонза — не ковбой из американских прерий, а скромный пастух, «разжалованный» из трактористов за поломку трактора. История его любви к приехавшей из города студентке, молодому психологу Доубравке, раскрытая на фоне современной жизни села, составляет основную сюжетную линию фильма.

Комедия не лишена и сатирических ноток, направленных против эгоизма и самовлюбленности, воплощенных в образах студента Бобо, его мамаши и некоторых других персонажей.

Чешская критика высоко оценивает интересно задуманный сценарий фильма, свидетельствующий о глубоком понимании автором проблем и психологии современной молодежи, так же как работу режиссера и актерского коллектива. Газета «Руде право» пишет: «Создателям фильма удалось оригинально, не стандартно рассказать о людях, которых можно считать типичными представителями молодого поколения, нашими молодыми современниками. Благодаря знанию своих героев и вдумчивому отношению к реализации сценарной основы режиссер создал фильм, который как бы издает аромат свежего хлеба. Фильм не рафинированный, он простой, человечный, и эта простота обусловлена подлинным профессиональным мастерством всех его участников».

Отмечая правдивую, убедительную игру актерской молодежи, газета в особенности выделяет образы Гонзы и Доубравки, созданные Яромиром Гаизликом и Даниэлой Коларжовой, определившими общую атмосферу фильма: его «молодость, современность, оптимизм, тонкий юмор и гуманизм».

Авторы этого номера

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ (род. в 1932 г.).

Болгарский поэт; главный редактор журнала «Пламк». Автор более десяти книг стихов.

Вступление к подборке «Молодые поэты Болгарии» получено в рукописи.

ИВАН ЦАНЕВ (род. в 1941 г.).

Болгарский поэт. Учился на отделении русской филологии в Софийском университете. В настоящее время заведует отделом поэзии журнала «Пламк». Издал поэтические сборники «Неделя» («Седмица», 1968), «Воскресное землетрясение» («Неделен земетръс», 1973) и книжку стихов для детей «Дневной сверчок» («Дневно щурче», 1975).

Стихи «Мемориальная доска» и «Ресторан» взяты из книги «Воскресное землетрясение» (София, Български писател, 1973).

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ (род. в 1943 г.).

Болгарский поэт; главный редактор журнала для школьников «Родная речь». Окончил отделение болгарской филологии Софийского университета. Автор пяти поэтических сборников, в том числе: «Тысячи окон» («Хиляди прозорци» 1972), «Голубь с подожженными крыльями» («Гълъб със запалени криле», 1976) и др. Выпустил в свет также сборник документальной прозы «Так живут легенды» («Така живеят легендите», 1973) и книгу детских сказок «Попугайчик Браво» («Папагалчето Браво», 1974).

Стихотворения «Кактус», «Стадион», «Твердят обо мне не напрасно» были напечатаны в книге «Личное время» («Лично време», София, Народна младеж, 1974) и в журнале «Пламк» (№ 1, 1976).

РАДА АЛЕКСАНДРОВА (род. в 1943 г.).

Болгарская поэтесса. Окончила отделение болгарской филологии Софийского университета; работает в отделе поэзии журнала «Пламк» Автор двух поэтических книг: «Золотые девушки» («Златни момичета» 1972) и «Невозможное бегство» («Невъзможно бягство». София, Български писател, 1975).

Стихотворения, вошедшие в подборку, взяты из последнего сборника и из журнала «Пламк» (№ 12, 1975).

КАЛИН ДОНКОВ (род. в 1941 г.).

Болгарский поэт. Окончил факультет журналистики в Софийском университете; работает редактором в газете «Антенны». Автор сборников стихов «Апрельские холмы» («Априлски хълмове», 1970) и «Внезапная зрелость» («Внезапна възраст». София, Народна младеж 1974).

Стихотворения «Как соль», «Черта» и др. взяты из сборника «Внезапная зрелость» и из журнала «Пламк» (№ 5, 1975).

ДЫМОВА ЛОРИНА ЕВГЕНЬЕВНА

Советская поэтесса и переводчица. В ее переводах публиковались стихи болгарских поэтов Елизаветы Багряны, Валерия Петрова, Благи Димитровой Андрея Германова, Ивана Давидкова, Петра Караангова. В издательстве «София-пресс» в ее переводе вышла книга стихов Станки Пенчевой.

ВИНОКУРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский поэт. Автор более 30 книг стихов. Его основные поэтические сборники: «Стихи о долге» (1951), «Синева» (1956), «Лицо человеческое» (1960), «Слово» (1962), «Музыка» (1964), «Характеры» (1965), «Ритм» (1966), «Зрелища» (1968), «Метафоры» (1972), «В силу вещей» (1973), «Кон-

трасты» (1975). Его книги переведены на многие языки народов мира.

Е. Винокуров — лауреат Международной премии имени Джавахарлала Неру за цикл стихов о Рабиндранате Тагоре и работу «Философская лирика Рабиндраната Тагора».

■

МАРГАРЕТА НОЙМАН — MARGARETE NEUMANN (род. в 1917 г.).

Немецкая писательница (ГДР). Начала печататься в 50-е годы. С тех пор М. Нойман выпустила семь романов, несколько сборников рассказов, повести, сборники стихов, пьесы, книги для детей. Наиболее известны романы «Путь через пашню» («Der Weg über den Acker», 1955), «...и все же они любили друг друга» («...und sie liebten sich doch», 1966), «Зеленый салон» («Der grüne Salon», 1972), «Веберы» («Die Webers», 1976), сборник стихов «Хлеб на деревянной тарелке» («Brot auf hölzerner Schale», 1959).

М. Нойман — лауреат литературных премий имени Генриха Манна и имени Фрица Ройтера.

Публикуемые рассказы были напечатаны в сборнике «Вечер перед отъездом домой» («Am Abend vor der Heimreise». Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1974).

■

ЛЬВОВА ЭВА ИОСИФОВНА

Советский переводчик, филолог-германист. Переводила произведения Б. Брехта, А. Зегерс, И. Бобровского, Ф. Фюмана, Э. Штриттматтера, рассказы австрийских и швейцарских писателей и др. Переводы Э. Львовой неоднократно печатались «Иностранной литературой».

■

РОБЕР АНДРЕ — ROBERT ANDRÉ (род. в 1921 г.).

Французский писатель, критик, доктор филологических наук, профессор, президент Международной ассоциации литературных критиков (МАЛК). Автор десяти романов, в том числе «Упорное сражение» («Un combat opiniâtre», 1960), «Тщеславная память» («La memoire vaine», 1964), «Любовь и жизнь женщины» («L'amour et la vie d'une femme», 1969), «Соблазнитель» («Le seducteur», 1972) и других, а также статей о Бальзаке, Стендале, Достоевском.

Мы публикуем повесть Р. Андре «Взгляд египтянки» («Le regard de l'Egyptienne», Paris, Gallimard, 1965).

■

ВАКСМАХЕР МОРИС НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1926 г.).

Советский переводчик и литературовед, кандидат филологических наук; автор книг «Французская литература наших дней» (1967), «Страницы европейской поэзии. XX век» (1976), ряда статей и предисловий. Переводил романы Роже Мартен дю Гара, Антуана де Сент-Экзюпери, Катеба Ясина, стихи Поля Элюара, Рене Шара, Гильвика, Пабло Неруды, Бертольта Брехта, Янниса Рицоса, Десанки Максимович, Леопольда Сенгора и других поэтов.

■

СЮГОРО ЯМАМОТО (1903—1967).

Японский писатель, автор ряда исторических романов и многочисленных рассказов. В 1967 г. издательство «Синтёся» выпустило тридцатитрехтомное собрание сочинений С. Ямамото.

В этом номере публикуются рассказы из его сборников «Рассказы голубой плоскодонки» (1969, удостоен читательской премии «Бунгэй сюндзю») и «Улица без сезонов» (1969).

■

РАСКИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1927 г.).

Советский японовед, переводчик. В его переводе на русский язык вышли романы Масудзи Ибусэ «Черный дождь», Такэси Кайко «Японская трехгрошовая опера» и «Горькое похмелье», Ясуси Иноуэ «Сны о России», книга Масакацу Гундзи «Японский театр Кабуки», а также рассказы Рюноскэ Акутагава, Ясунари Кавабата, Морио Кита и др.

■

ЗИГФРИД ЛЕНЦ — SIEGFRIED LENZ (род. в 1926 г.).

Западногерманский писатель и драматург; по образованию филолог. Печатается с 1951 г., награжден несколькими литературными премиями. Его перу принадлежат романы: «Ястребы в небе» («Es waren Habichte in der Luft», 1951), «Человек в стремнине» («Der Mann im Strom», 1957), «Городской

разговор» («Stadtgespräch», 1963), «Образец» («Das Vorbild», 1973), а также ряд сборников рассказов.

Имя Зигфрида Ленца знакомо советским читателям по переведенным на русский язык роману «Урок немецкого» («Иностранная литература» № 5—7, 1971), повести «Хлеба и зрелищ» и сборнику «Благонадежный гражданин и другие рассказы». Публикуемый сборник рассказов «Запах мирабели» («Der Geist der Mirabelle», Hamburg, Hoffmann und Campe, 1975) был признан лучшей книгой ФРГ 1975 г.

■

ЛУИС ДЕ ГОНГОРА И АРГОТЕ — LUÍS DE GÓNGORA Y ARGOTE (1561—1627).

Один из крупнейших испанских поэтов эпохи позднего Возрождения. Первые стихи Луиса де Гонгоры опубликованы в 1580 г., но сборник «Сочинения в стихах испанского Гомера» («Obras en verso del Homero español») вышел только в год его смерти. Стихи поэта были широко известны в списках. Полное собрание его поэтических произведений издано в 1633—1634 гг.

(О жизни и творчестве Луиса де Гонгоры см. во вступительной статье С. Гончаренко.)

Переводы выполнены по изданию: Luis de Góngora y Argote. Obras completas. Madrid, «Aguilar», 1972.

■

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ
(род. в 1945 г.).

Советский поэт-переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. В его переводах опубликованы стихи Мигеля де Унамуно, Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорки, Луиса де Гонгоры, Лопе де Веги, Гильермо Валенсии, Висенте Уидобро и других испанских и латиноамериканских поэтов. Автор ряда статей по романской филологии и теории перевода.

■

ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД — FRANCIS SCOTT FITZGERALD (1896—1940).

Известный американский писатель первой половины XX века. Признание ему принес во многом автобиографический роман «По эту сторону рая» («This Side of Paradise»), вышедший в 1920 г.

Затем появился роман «Прелестные и проклятые» («The Beautiful and the Damned», 1922) о жизни артистической богемы. С 1924 по 1930 г. Ф. С. Фицджеральд жил в Париже, где встречался и дружил с Э. Хемингуэем, посвятившим ему две главы в книге «Праздник, который всегда с тобой» (см. «Иностранную литературу» № 7, 1964). К значительным явлениям американской прозы XX в. принадлежит лучший роман Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби», вышедший в 1925 г. Спустя десять лет появился роман «Ночь нежна». Оба эти романа и ряд рассказов переведены на русский язык. Уже после смерти писателя был опубликован его неоконченный роман «Последний магнат» («The Last Tycoon»), предлагаемый вниманию читателя в этом номере. Перевод выполнен по изданию 1968 г. (Hardmondworth, Penguin Books).

■

СОРОКА ОСИЯ ПЕТРОВИЧ
(род. в 1927 г.).

Советский филолог, переводчик англо-американской прозы. В его переводе вышли романы: «Соглядатаи и поднадзорные» С. Чаплина, «Убийство по-джентльменски» Дж. Ле Карре, роман «Шум и ярость» У. Фолкнера («ИЛ» № 1—2, 1973) и рассказы (в сборнике «Избранное»), роман «Горы и оружие» Дж. Олдриджа («ИЛ» № 1—3, 1975).

■

ТОНЧО ЖЕЧЕВ (род. в 1929 г.).

Болгарский критик и литературовед, кандидат филологических наук, директор Института литературы Болгарской Академии наук, заслуженный деятель культуры. Автор книг: «Современные образы и идеи» (1964), «Идеи прозы» (1967), «Критические взгляды» (1971), «Болгарская пасха, или Страсти болгарские» (1975), «Литература и общество» (1976) и др.

Статья «Новые проблемы — новые романы» получена в рукописи.

■

ДЕЛЮСИН ЛЕВ ПЕТРОВИЧ
(род. в 1923 г.).

Советский историк-китаист, доктор исторических наук, заведующий отделом Китая Института востоковедения АН СССР. Автор книг «Спор о социализме» (1970), «Аграрно-крестьянский вопрос в политике КПК» (1972) и ряда работ по новейшей истории и общественно-политической мысли Китая.

ДЖЕБ СТЮАРТ МАГРУДЕР — JEB STUART MAGRUDER (род. в 1934 г.).

Американский политический деятель, один из высокопоставленных чиновников администрации бывшего президента США Р. Никсона. В этом номере публикуются фрагменты книги Джеба С. Магрудера «Американская жизнь. Одна из дорог к Уотергейту» («An American Life. One Man's Road to Watergate». London, Hodder and Stoughton, 1974).

КОНДРАШОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1928 г.).

Советский журналист, лауреат премии имени Воровского, собственный корреспондент газеты «Известия» в Вашингтоне. Автор книг «Жизнь и смерть Мартина Лютера Кинга» (1969), «Американцы в Америке» (1970), «Свидание с Калифорнией» (1975) и др.

УИЛЬЯМ САРОЯН — WILLIAM SAROYAN (род. в 1908 г.).

Американский писатель, драматург. Родился в семье армянских эмигрантов. С 1960 г. живет в Европе.

Советским читателям хорошо знакомо имя Уильяма Сарояна. На русский язык переведены его романы «Человеческая комедия», «Приключения Весли Джексона», «Мама, я тебя люблю», значительная часть рассказов, выпущен сборник пьес.

Рассказ «Вы когда-нибудь влюблялись в крошку?» был напечатан в сборнике «Современные короткие рассказы» («Modern Short Stories», 1954).

АРТУР МАРШАЛЛ — ARTHUR MARSHALL (род. в 1910 г.).

Английский писатель-юморист. Автор сборников сатирических и юмористических рассказов «Девятнадцать к дюжине» («Nineteen to the Dozen», 1953), «Девушки есть девушки» («Girls will be Girls», 1974) и др.

Предлагаемые в этом номере рассказы были напечатаны в нескольких номерах английского еженедельника «Нью стейтсмен» в 1976 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ**.

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

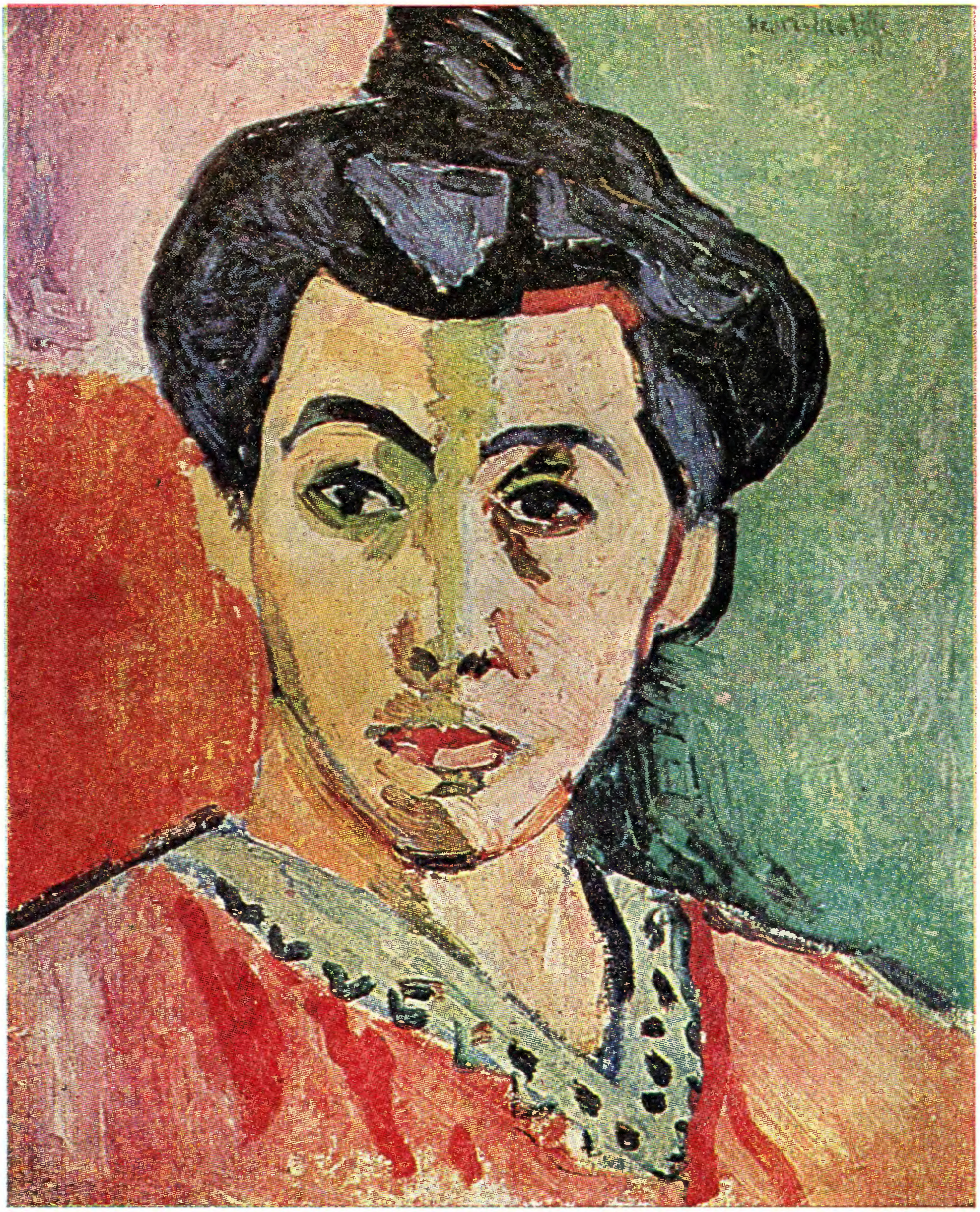
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/XI 1976 г. А 01879. Подписано к печати 8/XII 1976 г.
Бумага 70×108¹/₁₆ = 9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. Уч.-изд. л. 28,65.

Тираж 590 000 экз. (1-й завод 1—350.000 экз.) Зак. 3531.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

17 ИЛ



Мадам Матисс.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394